

Н О В Ъ И
М И Р

12

1(9)64

НОВОЫЕ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XL

№ 12

Декабрь, 1964 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е И С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
СТРАНИЦЫ ЛИРИКИ СЛОВЕНСКИХ ПОЭТОВ Магей Бор. Видение. Герой Хиросимы.— Тоне Селишкар. Товарищи. Водопад.— Сречко Ковсела. Солнце имеет корону. Усталые от работы. Перевел со словенского Алексей Сурков	3
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ — Лето в Сосняках , роман	9
ВЛ. КОРНИЛОВ — Четыре стихотворения	83
А. МАРЬЯМОВ — Полярный август. Продолжение	85
МУСБЕК КИБИЕВ — Белые звезды. Перевела с чеченского Новелла Матвеева	137
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
ДНЕВНИК АНАСТАСИИ ВАСИЛЬЕВНЫ ЯКУШКИНОЙ (С послесловием Н. В. Якушкина — Несостоявшаяся поездка А. В. Якушкиной в Сибирь)	138
Академик И. М. МАЙСКИЙ — Дни испытаний (Из воспоминаний посла)	160
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ЕЩЕ О МЕМУАРАХ. Р. Савицкая. Листая страницы воспоминаний о В. И. Ленине.— В. Шкловский. Память и время.— Л. Малюгин. Сочинение с ошибками (Заметки на полях мемуаров А. Штейна)	195
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
ПИСЬМО А. К. ВОРОНСКОГО В. И. ЛЕНИНУ (Публикация И. Смирнова)	213
ЛУИЗА БРАЙАНТ — Беседа с Н. К. Крупской. (Публикация, комментарии и перевод А. Байковой)	220

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	223
Г. Березкин. Он сделал все, что мог...— С. Соложенкина. Быть самим собой.— А. Синявский. Памфлет или пасквиль?— Ст. Рассадин. Среди людей.— Г. Трефилова. Азбука этики.— Л. Левицкий. Неведомый враг.— В. Адмони. С позиций человечности.	
<i>Политика и наука</i>	249
В. Кучерова, И. Кон. Безответственный подход к ответственной теме.— О. Семеновский. Об этом забывать нельзя.— И. Кичанова. Католическая церковь и политика.— С. Шостакович. Новая книга о Грибоедове.— И. Миндлин. Старое в новом.	
Трибуна читателя	
Н. Протасов — Литературные штормы	263
КОРОТКО О КНИГАХ	270
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	279
СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1964 ГОД	281

СТРАНИЦЫ ЛИРИКИ СЛОВЕНСКИХ ПОЭТОВ

Тридцать лет тому назад один хороший человек, коммунист-подпольщик из Югославии, ввел меня в мир дотоле неизвестной мне поэзии маленького славянского народа — словенцев. Он принес мне книги стихов живого классика словенской литературы Отона Жупанчича, прекрасного лирика Сречко Косовела, рано умершего от туберкулеза, молодых тогда представителей рабочей лирики Тоне Селишкара, Миле Клопчича (переводчика на словенский стихов Пушкина, Лермонтова, Некрасова).

С тех пор при помощи этого же человека, не сказавшего мне, по условиям конспирации, даже своей настоящей фамилии, я начал переводить словенских поэтов. Шли годы. К стихам межвоенных лет прибавились стихи об испанской гражданской войне, в которой немало словенцев-добровольцев участвовало на стороне республики. Потом пришла вторая мировая война. Она оборвала на некоторое время наши духовные связи с друзьями в Югославии. Но великий подвиг сопротивления немецко-итальянским поработителям-фашистам объединил в одном ряду и рабочих, и крестьян, и лучших представителей интеллигенции Югославии. Вместе с крестьянами и рабочими, перенося немыслимые испытания, сражались штыком и пером поэты всех поколений — от маститого Отона Жупанчича до молодых представителей словенской поэзии Миле Клопчича, Тоне Селишкара, Матей Бора и погибшего от руки врага Карела Дестовника Каюха.

Подборку своих новых переводов стихов Сречко Косовела, Тоне Селишкара, Матей Бора я и предлагаю вниманию читателей «Нового мира».

Алексей Сурков.

МАТЕЙ БОР

★

Видение

Письмо конференции по разоружению.

Город.
Город на земном шаре.
И бомбы.
Тяжелее земного шара.
Бомбы. Бомбы.

От триумфальных арок,
в пыль разрушенных,
отступает последний дозор человечества.
Голых глаза.
Ноги слепых.
Над ними —
генерал
безглавый.
И он кричит:
— Кто пить желает —
пить не смей:
в воде есть смерть!
Кто есть желает —
пусть не ест:

в хлебе есть смерть!
 Кто нынче думает —
 пусть не мыслит:
 в думах есть смерть!
 Кто жить желает —
 жить не должен:
 в жизни есть смерть!

Последний дозор человечества.
 Над ним генерал безглавый.

Куда?

Герой Хиросимы

Человек, сбросивший атомную бомбу на Хиросиму, потерял покой и пытался покончить жизнь самоубийством. Его объявили душевнобольным и поместили в военный госпиталь, откуда он недавно бежал в неизвестном направлении.

Под стражею раскаянья строгой
 озираюсь я на руины Хиросимы.
 Основа всей моей сущности
 есть смерть, которой подарил я
 еще сто тысяч жизней.
 Затерян я меж этими жизнями,
 как дитя в чаше.
 Страшат меня образы убитых.
 закрываю глаза, взываю:
 — Помогите!
 А кто мне поможет?
 Призраки? Ведь, кроме них,
 никого больше нет со мной.
 Лжете вы!
 Я разума еще не утратил,
 разум же утратил самого себя
 и кличет: — На помощь!
 Кличет моим горлом,
 сквозь эти уста.
 Жду, что, быть может, услышат
 люди мой крик и спросят:
 — Скажи, ты и вправду прекрасное любишь?
 И если впрямь его любишь,
 как же ты на свете живешь?
 Прекрасное было заглохло в землю,
 как упала смерть на Хиросиму.
 Скрылись под землю
 беспечность улыбок на личиках спящих детей —
 всё там,
 материнские вздохи над спящим ребенком —
 всё там,
 запыленные туфли,
 те, что тесны для ноги никогда не станут,
 весенний день в глазах

счастливых влюбленных,
глубокие вздохи близости
под покровом ночи,
чаянья, каким не хватало
для воплощения только минуты,
соль на груди девичьей, окропленной шумящим
прибоем,
смех подгулявших, что ночью свой дом не найдут,
подарки — матерям приношение,
матерям, что заждались подарков,
бабочек стаи на пашнях,
отраженные в детских глазах,
все прекрасное —
все нынче там...

А ты, в красоту влюбленный,
зачем ты здесь?
Я тут затем, чтоб кричать:— Лжете вы!
Вы, кричащие, что виноват.
Лжете вы!

Я вырвал из сердца

майора Изерли

и остался один,
для себя самого,
выгнал из себя Америку,
и я остался с человеком,
рядом с ним хожу я,
умоляю: дай мне доброе слово!
А он все глубже уходит в себя,
чтобы был неутоленным мой голод
по миру.

Мир... Говорят, будто он обитал
в человеческом сердце?

Возможно.

Но только давно это было
очень,
и люди еще не имели
этих атомных сердец,
что я имел.

Ах, кабы вы не слышали, что в нем есть:
скончание мира,
вопли отчаянья,
сирены,
кровь, кровь,
и все это в сердце моем,
в сердце разбитом;
натруженном, исплаканном моем.

Люди,

войдите в него. Побудьте вы в нем, словно
с пламенем рядом,

и говорите мне словами простыми,
сколько стоят весенние розы на рынке,
кто всех больше здесь выпивает пива
или что о рыбах,
светлых, рассверкавшихся тех рыбах
в струях изумрудных,
и о дожде,

о дожде, что мочит сено,
 которое просушилось
 и пахнет,
 как только пахнет юность.
 Юность.
 Голову ломит,
 голову ломит,
 так дайте уснуть мне,
 чародеи из Хиросимы,
 так дайте уснуть мне,
 младенцы из Хиросимы.
 Одну бы ночь я проспал
 без снов и крепко,
 без вас, младенцы.
 Хочу одиночества!
 Уходите вы из сердца
 назад в землю.
 Нейдете?
 Знал я сам, что назад не уйдете.
 Ладно, останьтесь,
 но слишком громко вы не говорите,
 пусть во мне больше да не пробудится зверь.
 Если вновь проснется зверь, снова будут беды.
 Еще раз,
 боюсь я, будут снова,
 ибо я все тот же, кем был я.
 Не был бы им и не грыз бы себя я,
 мозг не грыз бы
 клыком покаянья
 и всхлипами горя.
 Страшитесь же меня, младенцы, страшитесь!
 Как будет приказ —
 я снова все свершу. Снова.

ТОНЕ СЕЛИШКАР

★

Товарищи

За окнами камеры медленно узники ходят
 в тюремной одежде. Из них я каждого знаю —
 крестьянина с пахотной пылью в морщинах,
 студента, поюшего вечно с ветре и солнце,
 цыгана, который всегда о медведе вздыхает,
 парней городских и многих других заключенных.

Откуда они собралась, эти люди?
 На лицах их бледных я зла не читаю,
 глаза их не налиты кровью,
 шаги их спокойнее, мягче,
 чем топот тюремщиков, их осыпающих бранью.

Когда я отсюда опять попаду на дорогу
 и птицы меня на просторе приветствовать будут,

когда обниму я опять и деревья и воздух
и взглядом прощальным тюремные окна окину,
где бледно маячат друзей изможденные лица,
я буду неистовой в вере своей и надежде —
нас много на свете, нас тысячи тысяч!

Водопад

Из обомшелых угрюмых скал, из разверстой земли,
из глубин, которых представить себе невозможно,
от озера к озеру бесятся воды
и бесконечно падают в бесконечность.

И когда я, весь погруженный
в шум этих вод,
встал на скале, прикованный к пенистым брызгам
глубин,
где водопад, со скалы ниспадая, ревел,
бесновался и пел,
как молния пламенем в воздух врезаясь,
дыбился в небо, как вспененный жеребец,
и, окунувшись в ультрамарин распахнутой глади,
улегся спокойно на мягкой перине волн.

мне показался весь этот спектакль ураганный
похожим на песню любви, у которой
хотим мы увидеть и дно, и истоки,
и время рожденья и роста ее, и подъем.

О, нет и нет!
Никогда человеческий взгляд
не постигал глубину этих вод,
и никогда человек не извлек из глубин сердца
основных элементов любви.
Разве кто-нибудь знает,
что есть сладость, боль или слезы, смех или страх?

О женщина, если ночью подумаешь ты обо мне,
отдохни под гудение водопада.
Дрожат объятия любви, глушит землю зерно,
прорастая,
но нашим сердцам никогда не истлеть.

СРЕЧКО КОСОВЕЛА

★

Солнце имеет корону

Солнце имеет корону
из шелково-желтых листьев.

Листочки его шелковистей,
чем листья подсолнухов наших.

Но есть ли, как у подсолнуха,
у солнца черные зерна?

Не вижу.
Они мне кажутся огненно-золотыми.

Какой же огромный стебель надо иметь солнцу!
И кто в руках его держит —
большой, золотой подсолнух?

О, если бы он склонился
к земле, я своими руками
набрал бы солнечных зерен
и роздал бы черным труженикам,
что с работы вернулись в город,
для их ребятишек хилых.

Усталые от работы

К дому идут,
все в глине лопаты,
а плечи утомленьем измяты.

В двери лачуг входят устало —
без стекол окно,
каморка без света
и холод подвала.

Грязной ветошью укрыты
дети больные,
на столах немых
ужин бедняцкий.

Руки усталые мертво лежат
на мерзлом ложе,
горькие тихо слова умирают
в безмолвье ночей.



АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ

★

ЛЕТО В СОСНЯКАХ

Роман

1

Коттеджи на крутом берегу реки были построены в тридцатых годах для немецких специалистов. Когда немцы уехали, в них поселились итээровцы. Но город строился в стороне от заводов. Овражная улица, в свое время первая улица Сосняков, оказалась теперь его окраиной.

Кирпичные, неоштукатуренные домики с крутыми черепичными крышами и решетчатыми ставнями странно выглядели за штaketником провинциальных палисадников, среди чахлах огородов, спускавшихся к берегу по склонам широких оврагов. Справа виднелись массивы нового города, слева — химические заводы, покрытые рыже-желто-зелеными дымами, доносившими сюда запахи аммиака и хлора.

Как всегда в воскресенье, инженер Колчин работал в огороде с женой и дочерью. В стоптанных туфлях, застиранной пижамной куртке, молча копал землю. «При жизни не любил недоделанную работу и после смерти не хотел оставлять», — говорила потом соседям его жена. И поджимала губы, как человек, пусть и обиженный судьбой, но не нуждающийся в сочувствии людей.

Сели обедать в три часа. Колчин сосредоточенно жевал вставными челюстями, наклонив к тарелке лицо, схваченное розоватым старческим загаром. Обедали на кухне в чаду и запахах плиты, ели медленно и много: предстояло еще полдня тяжелого труда.

Подымаясь из-за стола, Колчин сказал:

— Идите, приду, — и ушел в комнаты.

Солнце садилось, высветляя оранжевым золотом березовые роши и перелески на другом берегу реки. На этом берегу растительности не было. Газовые отходы заводов истребили сосновые леса, в свое время давшие название городу. На смену лесам пришли пески. Желтые, однообразные, они тянулись между городом и заводами.

Прошло, наверное, с полчаса. Колчин не выходил.

— Не идет...

Ирина не ответила матери. Не замечала отсутствия отца, как старалась не замечать его присутствия.

Они продолжали копать молча. Эта узкая полоска давала немного овощей, ценных в войну, но сейчас выращиваемых по привычке. Перевернутая лопатой земля ложилась на грядках толстыми, нерассыпающимися пластами.

Мать выпрямилась, воткнула лопату в землю, подолом фартука вытерла лицо и пошла в дом.

В большой комнате мужа не было. Не оказалось его и в спальне. Она подошла к крутой деревянной лестнице, ведущей на чердак, где Колчин отгородил себе каморку.

— Корней!

Голос ее тревожно прозвучал в тишине пустого дома. Никто не ответил. Она вернулась на крыльцо.

— Ирина!

Та подошла, вытирая руки о передник.

— Зайди в дом! — сказала мать тихо, подчиняясь годами выработанным правилу: «чтобы люди не слышали».

Наступив на скребок, Ирина очистила прилипшую к подошвам грязь, сняла ботинки и осталась в плотных шерстяных носках.

— Отца-то нет. Думала — на чердаке, окликала — не отвечает. Слазай, посмотри, — прошептала мать.

— Чего лезть?! Был бы там — отозвался.

— Слазай, посмотри! — повторяла старуха, подталкивая Ирину к лестнице.

Боком, осторожно переставляя ноги на узких ступенях, Ирина поднялась по лестнице, открыла дверь, поднялась еще выше и исчезла на чердаке. Старуха услышала над собой осторожное, глухое шуршание шлака.

— Белье там, смотри!

На чердаке все смолкло. Потом опять послышалось шуршание шлака. И вдруг из люка свесилось горящее лицо Ирины:

— Иди сюда... Иди сюда... Он отравился...

Колчин отравился дихлорэтаном — бесцветной жидкостью с резким сладковатым запахом. Смертельная ее доза — двадцать граммов. Мгновенно обезжиривается и парализуется пищеварительный тракт. Спасения нет. Но умирает человек только на третьи, на четвертые, а то и на седьмые сутки. Инженер Колчин знал это лучше других. И все же он принял дихлорэтан и обрек себя на медленную, мучительную смерть.

Перед тем как принять яд, Колчин снял белье, висевшее на чердаке, аккуратно сложил его, смотал веревки, собрал в связку прищепки и повесил их на гвоздик, на котором они висели всегда. Сделал он это для того, чтобы не порвали веревок, не растеряли прищепок и не испортили белье в суматохе, которая произойдет, когда будут проносить его по низкому, тесному и темному чердаку.

Заводская больница, где лежал Колчин, находилась в восьми километрах от завода, в сосновом бору, не тронутом строителями и устоявшем перед химиками. Только иглы сосен были здесь желтыми. Разноцветные изделия из синтетических смол придавали больнице праздничную красочность и яркость.

Заведующий больницей Лев Абрамович Чернин сказал Ирине:

— Делаем все возможное. Хотите, перевезем его в городскую больницу?

Ирина знала, что положение отца безнадежно. Хотела даже сказать, что не надо вливать ему глюкозу, зачем зря мучить. Но сказала только:

— Что вы, Лев Абрамович, неужели мы вам не доверяем?!

Колчин лежал за занавеской в процедурной, равнодушный к врачу, задававшему ему ненужные вопросы, к сестрам, вводившим в брюшину шприц с бесполезной глюкозой, к нянкам, спорившим о недостающей

простыне, к жене и дочери, томившимся возле него в бездействии — бессильным ему помочь. Его сморщенная, пронзительно желтая кожа повисла на костях, глаза были полузакрыты, он был не в силах поднять веки. Иногда он бредил сквозь зубы, про себя, не двигаясь. Но ни разу не обмолвился словом о том, что побудило его выпить дихлорэтан.

Чернин был опытный врач. Так много видел он смертей, что, подходя к больному, мог сказать, умрет он или нет. И Чернин знал, что Колчин ничего не скажет, ибо уже не думает о тех, кто остается жить. Однако на третьи сутки, не шевелясь и не открывая глаз, Колчин вдруг отчетливо проговорил:

— Кузнецова... Пусть придет.

В смену аппаратчицы Кузнецовой Колчин налил в пробирку дихлорэтан.

Чернин позвонил на завод. Через сорок минут директорская легковая машина подкатила к крыльцу больницы.

Выздоровливающие больные, гревшиеся на сияющем и радостном майском солнце, уставились на Кузнецову с любопытством людей, истомленных однообразием больничной жизни. Лиля Кузнецова была молода и красива. И шофер директора Костя, демобилизованный моряк, тоже был молодой, здоровый парень. Шипение шин по мокрому асфальту, хлопанье дверей кабины, сверканье стекла и металла машины — все это нарушило монотонную тишину больницы, одиноко стоящей в лесу среди сосен, желтых игл и весенних неподвижных луж на накатанной дороге.

— Подошел к столику и налил. Странно! Я и подумать ничего не могла. Дихлорэтан! Им и девочки не травятся,— говорила Лиля и косила маленьким пухлым ртом, презрительно шурила голубые глаза. В грубой суконной куртке, защитной одежде химика, она стояла, приклонясь к перилам крыльца,— стройная женщина с нежным лицом и падающими на лоб прядями белокурых волос.

Больные были — как все больные: чужие болезни были поводом поговорить о своих. Но перед ними стояла молодая красивая женщина. Ею свободно могут любоваться даже они, бледные, небритые мужчины в матрацных пижамах, громадных шлепанцах и безобразных больничных халатах. И они продолжали обсуждать самоубийство, разговоры о котором занимали их третьи сутки.

— Прищепки и те собрал. О чем заботился человек перед смертью?

— Хладнокровный, значит.

— Чего надо было? При такой должности, в годах, дом собственный. Комедия.

— Затоскуешь, так и дом не нужен.

— Дом не нужен — прищепки нужны?

— Может, болел чем?

— Смерть найдет причину.

Припадая на протез, доктор Чернин вышел на крыльцо:

— Пойдемте, Кузнецова!

Лиля пошла за доктором, растерянно и неловко пытаясь удержать на плечах поданный ей няней белый халат, слишком узкий для толстой суконной куртки, которую она не догадалась снять, как не догадалась завязать на шее белые тесемки халата.

Только у постели Колчина она почувствовала, что тесемки болтаются у нее на груди. Она не завязала их, а держала крест-накрест, постепенно натягивая, и смотрела в лицо Колчину.

— Кузнецова к вам пришла, Кузнецова,— наклонясь к Колчину, громко повторял Чернин.

Колчин ничего не сказал, не пошевелился.

— Кузнецова к вам пришла, Кузнецова!

У Колчина дрогнули ресницы.

— Кузнецова к вам пришла, Кузнецова.

Колчин поднял веки. Жалкая улыбка мелькнула в его остекленевших глазах, исказила мертвое лицо — узнал Лию. И тут же задержался, забормотал непонятное, негодующее, жалобное. И затих.

Лия вышла в процедурную, скинула халат, сбросила на стул сумочную куртку, вымыла под краном руки, вытерла их краем салфетки. Потом подошла к зеркалу, тронула прическу, поправила воротник тонкого черного свитера. В ее лице сквозило равнодушие к больнице, к процедурной, ко всему, что здесь есть. Но в каждом ее движении было такое утверждение своей красоты, что и медсестра и няньки смотрели на нее с восхищением. А они были простые краснощекие девушки и гордились своей работой в больнице.

Вошел доктор Чернин, посмотрел на Лию из-под лохматых бровей:

— Кузнецова, идите! Вас машина ждет.

— Иду.

— Идите, а то он уедет.

— Иду.

Она ссшла с крыльца и увидела, что шофер Костя машет ей. Она обернулась, посмотрела на больницу и, уже больше не оглядываясь, пошла к машине.

2

По делу о самоубийстве Колчина в Сосняки приехал руководящий работник областного управления Евгений Федорович Лапин.

Он шел по улице — высокий, степенно сутуловатый человек с широкой грудью и сильными плечами. Лия обещала прийти в семь, и Лапин торопился все приготовить к ее приходу. Он купил коньяк, сухое вино, множество конфет и закусок. Эти хорошо знакомые магазины, улицы, дома существовали для него, как воспоминание о Лиле. Люди вокруг не были знакомы ему каждый в отдельности — знаком был лик толпы. Его волновало то, что раньше казалось скучным, провинциальным, от чего он стремился уехать и уехал: восьмизэтажные дома рядом с магазинами райпотребсоюза, Дворец культуры рядом со столовой, называемой диетической, потому что водку в ней не продавали, ее приносили с собой, аляповатые афиши цыганского ансамбля Чувашской филармонии на легком павильоне междугородной автомобильной станции. Новейшая техника воевала здесь с провинциальными вкусами, заводская инициатива — с местным бюджетом. История такого города не отягощена памятниками старины, реликвиями, легендами, преданиями — тем ошутимее здесь все живое и существующее.

Ровно в семь Лия, улыбаясь, вошла в номер.

Снимая с нее пальто, Лапин прикоснулся к старенькому знакомому габардину. Он хотел поцеловать Лию. Но она, улыбаясь, отстранилась от него. На ней был тонкий черный свитер, этого свитера у нее раньше не было. Короткие белокурые пряди закрывали бледный лоб — особая бледность химика, которую Лапин не замечал, когда работал на заводе, но которая бросилась ему в глаза теперь, после нескольких лет жизни вдали от дымов, газов и запахов химического производства.

Он взял ее руки в свои. Они стояли, смотрели друг на друга и улыбались. Лапин был растроган встречей; прошлое ожило в тесном номере провинциальной гостиницы. Он рад ее видеть как человека, с которым у него связано так много, как друга, который ему дорог всегда.

— Ты изменила прическу.

— Изменила.

Почему он не женился на ней? Красивая, молодая. Он старше ее почти на двадцать лет. И все же она любила его.

Почему он все-таки не женился? Чего испугался? Развода с женой? Осуждения взрослых сыновей? Или берег свободу, на которую имеет право, живя со старой и нелюбимой, и которую потерял бы, живя с любимой и молодой?

Она почти не ела, крошила хлеб — жест, который раздражал его в других, но казался милым у нее.

— Твой шофер застал меня на старой квартире совсем случайно, — говорила Лиля. — Ведь я получила новую квартиру, отдельную. И телефон есть. На наш дом дали всего два телефона. Я пошла к председателю горсовета. А он: нету телефонов, зачем вам телефон? Я и брякнула: личной жизни нет, вот зачем! И знаешь, поставил.

— Поставил и звонит, — рассмеялся Лапин.

— Это в домах народной стройки, — продолжала Лиля, — пришлось поработать. Куда пошлют... Таскала раствор, убирала мусор, бревна ворочала. Неквалифицированная сила. Такие морозы были!

Лапин посмотрел на ее пальцы. «Бревна ворочала».

— Тебе могли бы и так дать.

— Нет! — сразу нахмурилась Лиля.

Он поднял рюмку в знак того, что понимает все. Сочувственно помолчал. Потом спросил:

— Как дочурка?

— Ей уже три года.

— Неужели, — удивился Лапин, — впрочем, да, сейчас уже пятьдесят шестой год, правильно...

Лиля курила, задерживая и медленно выпуская дым.

Он взял ее руку, погладил тоненькие, чуть шершавые пальцы. Он не почувствовал в них тепла, но она и не отняла руки. Он притянул Лилю к себе и поцеловал в холодные, вычерченные губы.

— Подожди, Женя.

Лиля встала, поправила прическу, подошла к окну.

— Ты по делу Колчина приехал?

— Да.

— Он в мою смену взял. Потом вызывал в больницу.

— Да? Что он тебе сказал?

— Ничего не сказал.

— Тебя это беспокоит?

— Что же мне, пробирки в карман прятать?

— Ты его знала раньше?

— Он бывал у нас, вернее у Фаины. Давно, в войну, я маленькая была. Они с Фаиной на заводе с самого начала. Придет, сядет, смотрит на меня. А потом перестал ходить. Последние годы я только на заводе его видела.

Внушительно, чтобы избавить ее от беспокойства, Лапин сказал:

— Дело у меня, вот смотри.

Он вынул из портфеля папку, перелистал.

— О тебе даже не упоминается. Не в том дело, где взял яд, а в том, почему принял. Разговор идет о начальнике двенадцатого цеха Миронове. Ты, кажется, знаешь его?

Лиля утвердительно кивнула головой.

— Идут разговоры, — продолжал Лапин, — будто между Мироновым и Колчиным были трения и всякое такое, что всегда придумывают, когда происходит подобный случай.

Лиля усмехнулась.

— Что же, он из-за этого отравился?

— Конечно, нет. Но Богатырев на завод не вернется, в директора прочат Миронова, а тут такое кляузное дело. Кое-кому Миронов поперек дороги. Талант — бездарность, вечная проблема. Но ты за своего Миронова не беспокойся.

— Почему «своего»?

— Ты что-то рассказывала... Учились вместе?

— Учились,— сдержанно ответила Лиля.

Лапин взял ее за локти.

— Ты не уйдешь?

— Нет, Женя. Я не могу.

Он притянул ее к себе.

— Мне будет очень жаль, если мы просто так расстанемся.

— А ты со мной просто так не можешь? За кого ты меня считаешь?

— Лиля! Как ты можешь это говорить?!

— Вот и хорошо... Давай лучше допьем.— Она присела на ручку кресла, взяла в руки бутылку.— Что за вино? Номер семь... Аппетитное название...

— Ты изменилась, Лиля.

— Ты находишь?

— У тебя усталый вид, тебе не тяжело работать на аппарате?

— Хочешь мне другую работу предложить?

— Это можно было бы сделать.

— А зачем?

— Полегче, почище...

— Все в порядке: работа меня устраивает. И ведь других талантов у меня нет. Есть у меня ребенок, работа есть, свой дом... Хорошо иметь с вою теплую постель! Теплую постель и крышу над головой. Некуда преклонить голову, что может быть ужаснее? Ходишь, ходишь...— Она вдруг откинулась на спинку кресла, глаза ее заблестели.— И все же я бы все отдала за Москву. Такая она широкая, необъятная, так пахнет весной асфальт. Посидеть в «Национале», прошвырнуться по улице Горького, по Столешникову, Петровке, заглянуть к девочкам — все бы отдала, честное слово!

— Москва — это хорошо,— согласился Лапин.— Впрочем, всюду можно жить, все зависит от человека. Есть любимое дело, приятные и интересные люди...

— В кино еще можно ходить, на базар за огурцами, на поезде кататься, на трамвае?.. Что мне дали Сосняки? Глупое замужество, глупый роман с тобой,— она усмехнулась,— под репродуктор...

— Какой репродуктор? О чем ты говоришь?

Она насмешливо смотрела на него.

— Он висел в комнате твоего друга, помнишь? Ты включал его... Он хрипел, этот репродуктор, его хрип до сих пор у меня в ушах. Ты ведь всего боялся. А потом ты смотрелся в зеркало, все ли у тебя в порядке. А о том, что это меня унижает, ты не думал, лишь бы тебе было хорошо. Сознайся, Женечка, правда ведь: обо мне ты думал меньше всего...

— Ну, знаешь,— сбиделся Лапин.

— Ладно, ладно,— она примирительно положила свою руку на его,— ведь мы не для ссоры встретились... Я просто так сказала, не огорчайся. Ты еще не самое страшное...

Лапин поклонился:

— Спасибо.

— Правда, Женя, я не хотела тебя обидеть. Но... Я, наверно, не смогу тебе объяснить... Сейчас столько надежд... А какие мои надежды? Меня так закручивали и раскручивали. Что мне остается? Воспитывать Сонечку? Да, наверно...

— Ну, ну, — сказал Лапин, — у тебя все впереди. Только надо надеяться на себя.

Она пристально посмотрела на него.

— Ты так думаешь?

— Я не пророк и не провидец, — ответил Лапин.

Некоторое время она молчала, думала. Потом посмотрела на Лапина, улыбнулась.

— Трусилка ты все-таки, Женя...

3

Утром Лапина разбудил громкий разговор уборщиц в гостиничном коридоре. Он проснулся непривычно рано, и настроение его, испорченное неудачным свиданием с Лилей, испортилось окончательно. В довершение всего буфет оказался закрыт: буфетчица уехала за продуктами. Лапину хотелось курить, но первую папиросу он курил только после своего первого утреннего стакана чая. А чая не было.

В этом не слишком приятном расположении духа подъезжал Лапин к заводу. Почти сразу за городом потянулись гигантские корпуса, цехи, колонны, башни, колоссальные цистерны, тысячекубовые газгольдеры. Вдоль дороги на многие километры высились на бетонных опорах широкие подвесные трубопроводы, по ним днем и ночью текли хлор и этилен — главные нитки коммуникации завода. По реке двигались караваны барж, по берегу — железнодорожные составы с нефтью, солью, серным колчеданом, фосфатными и калийными рудами.

Дело, по которому Лапин приехал в Сосняки, было для него ясным. Виновен или невиновен Миронов в смерти Колчина — решит следствие. Есть в кодексе пункт об ответственности за «доведение до самоубийства путем жестокого обращения или унижения личного достоинства» — так, или приблизительно так, это сформулировано и карается сроком до пяти лет. Прокуратура, вероятно, дело прекратит, никаких доказательств виновности Миронова нет. Однако в связи с этим делом создана обстановка, исключаящая выдвижение Миронова на пост директора завода, и становится реальной вторая кандидатура — нынешнего заместителя директора завода Коршунова. С Коршуновым сейчас и должен встретиться Лапин, и при мысли об этой встрече он испытывал душевное неудобство и жалел, что согласился поехать в Сосняки. Хотелось повидать Лилю. Вот и повидал ее...

Лапин никогда не поднимался выше должности начальника отдела в управлении — Коршунов же совсем недавно был одним из руководящих работников министерства. Но они начинали вместе и сохранили на протяжении двадцати лет хорошие отношения. Коршунов ничего плохого ему не сделал, а мог бы сделать, если бы захотел. Они были даже на «ты». Впрочем, тогда Коршунов был со всеми на «ты», включая тех, кто был с ним на «вы».

Теперь Коршунов — всего лишь исполняющий обязанности директора завода. Все понятно. И все же он человек в беде. Коршунов приехал сюда в расчете заменить уходящего на пенсию Богатырева, как вдруг возникла кандидатура Миронова. Возникла законно — Миронов талантливый инженер, прекрасный организатор. Симпатии Лапина на стороне Миронова, но в этой ситуации он должен был остаться нейтральным. Ввязавшись в историю, он уже нейтральным остаться не сможет.

На лице Коршунова застыло скорбно-надменное выражение человека, чуть ли не из министров попавшего в заместители директора завода. Тонкие, плотно сжатые губы придавали этому нахмуренному лицу выражение, называемое властностью. Коршунов опустился в кресло, движением руки пригласил сесть Лапина.

Лапин сел, положил на стол папку с делом Колчина.

Коршунов кивнул на папку:

— Ну как?

— Видишь ли,— сказал Лапин,— допустим, между Мироновым и Колчиным были трения, хотя при тех опытных работах, что ведет Мионов, такие трения неизбежны: Мионов — человек молодой и требовательный, Колчин был стар и апатичен. Условия, в которых идут опытные работы, исключительно тяжелые, ты сам это знаешь. Но спрашивается: какая связь между этими трениями и смертью Колчина? Мионов хотел его прогнать? Оскорблял? Третировал? Мы не располагаем такими данными. И знаешь, трудно предположить, что инженер шестидесяти лет, всю жизнь проработавший на заводе, покончил с собой потому, что повздорил со своим начальником.

— Я думаю, ты прав,— сказал Коршунов,— это дело следственных органов — пусть разбираются.

Лапин облегченно вздохнул. Каков бы ни был Коршунов, он не пойдет на такую мелкую и неблагоприятную интригу.

— Но понимаешь, Женя,— Коршунов тщательно заправил в рукава манжеты,— есть и другая сторона дела — административная сторона, общественная, она-то меня и беспокоит.

— Что ты имеешь в виду?

— Самоубийство все же произошло,— значительно проговорил Коршунов и посмотрел на Лапина,— и произошло оно в двенадцатом цехе. Трения между Мироновым и Колчиным все же были. Сигнал это? И, между прочим, не единственный. Есть жалобы людей, ушедших из цеха, есть жалобы людей, продолжающих работать в цехе. И я хочу знать: все ли в цехе благополучно?

— Кто тебе мешает? Выясняй.

— Нет,— возразил Коршунов,— я здесь человек новый, а Мионов — ведущий работник завода, создатель ударопрочного полизола, в недалеком будущем создатель сактама. Не я, а управление должно проверить цех.

Расчет Коршунова был ясен: пока идет проверка цеха, кандидатура Миронова на директорство отпадает.

— Ты хочешь, чтобы я засел на полгода на заводе? — насмешливо спросил Лапин.

— Нет. Я хочу, чтобы управление назначило комиссию.

— Вряд ли такая комиссия поможет Миронову запустить установку сактама. Тебе это не кажется?

— Женя, не в сактаме дело. Ты имеешь в виду совсем другое.

— И это.

— Я огвожу его кандидатуру?

— Похоже.

— Так вот что я тебе скажу... Мионов завода не потянет. Я ему, отдаю должное как открывателю, изобретателю, новатору, не знаю, какие еще эпитеты подобрать. Но директор предприятия должен уметь управлять прежде всего. Впрочем, это мое личное мнение; годится Мионов в директора или нет — решат те, кому положено решать. Сейчас стоит только вопрос о двенадцатом цехе. В цехе неблагополучно. И, как утверждают, давно неблагополучно. Но Богатырев оберегал Миронова, и часто без надобности. Вот,— Коршунов достал из стола лист

бумаги,— заявление техника Самойлова, просит перевести его в двенадцатый цех. Резолюция Богатырева: «Володя, не сманивай людей». Между прочим, он ему все же отдал Самойлова и оставил четвертый цех без технолога. Теперь, видите ли, Богатырев назначил Миронова своим преемником. Что это за система назначения директоров?

— Он не назначил, а выдвинул его кандидатуру,— возразил Лапин.

— И все равно, в этом есть элементы того протекционизма, который оказывал ему Богатырев,— сказал Коршунов,— но мы опять отвлеклись. Речь идет только о событиях в двенадцатом цехе. Я тебе обрисовал положение, а ты решай. Можешь, конечно, вернуться к себе и доложить, что все в порядке. А если возникнут осложнения? Мне не хотелось бы тогда говорить: я поставил Лапина в известность, а он отмахнулся.

— Я должен ознакомиться с положением вещей,— уклончиво ответил Лапин.

— Безусловно,— согласился Коршунов,— могу тебе выделить в помощь Аврорина и Чернокоя. Ну, и потом Ангелюк.

Лапин поморщился.

— Не нравится Ангелюк? — рассмеялся наконец Коршунов.— Мне Ангелюк тоже не нравится. Но он начальник отдела кадров, и у тебя могут возникнуть вопросы...

— Хорошо, пусть будет Ангелюк.

— Видишь, какая авторитетная комиссия,— Коршунов загнул пальцы,— Аврорин — инженер, Чернокоя — экономист, Ангелюк — кадровик. Авторитетная, многосторонняя комиссия.

— Хватит резвиться,— сказал Лапин,— вызывай Миронова.

— Миронова мы сейчас доставим.

Коршунов нажал кнопку звонка и попросил секретаршу вызвать начальника двенадцатого цеха Миронова.

Миронов был на опытной установке, от нее до заводоуправления километра два, и пока Миронова доставляли, Лапин успел пообедать в заводской столовой и, после того как пообедал, прождал Миронова еще час.

Опытную установку сактама — полимера для нового синтетического волокна — Миронов монтировал прямо в действующем цехе: на постройку нового помещения не хватило денег.

Это был самый старый цех завода, построенный еще фирмой «Линде» в тридцатых годах,— светлый, просторный цех с кафельными полами и большими излишками площадей, как строили тогда вообще, а иностранные фирмы, не жалевшие советских денег, в особенности. Жалко громоздить сюда новые установки, но другого выхода нет. Важно сейчас создавать новые производства.

Миронов сидел на подоконнике в углу, где монтировалась установка, разговаривал с представителем машиностроительного завода и наблюдал за работой слесарей.

В цехе стоял слабый, но всегда угрожающий запах аммиака, на фарфоровых трубах сверкали вечные снеговые подушки — знак холода, который в них течет. Аппаратчики бесшумно передвигались у аппаратов, оплетенных густой сетью трубопроводов: красных с этиленом, желтых с аммиаком и азотом, голубых с этаном, черных с паром и водой. У уборщиц совки из пластмассы: металлических здесь употреблять нельзя, от удара может вспыхнуть искра, от искры взрыв. Искра может вспыхнуть и от удара молотка, зубила, гаечного ключа. И потому угол, где монтировалась опытная установка, огорожен кирпичной стеной.

Представитель машиностроительного завода, разбитной механик в сиреневой рубашке, говорил:

— Извините, что перебил вас, Владимир Иванович — (он не перебивал Миронова), — только по моим вкусовым качествам мне дай именно такую мешалку, и никакую другую. Безотказная вещь в производстве, как говорится.

— Мешалка на шестьсот оборотов, а нужно две тысячи, — сказал Миронов.

— Это уж, Владимир Иванович, полная перестройка ГОСТа, как говорится, — важно произнес механик.

Миронову было лень спорить, да и спорить было бесполезно. Этому парню нужна лишь справка, что поставленная его заводом мешалка благополучно смонтирована. Получив справку, он отправится на следующий завод, там тоже получит такую справку и оттуда поедет за такой же справкой на третий завод. Потом вернется к себе, сдаст справки, пристроится за свободным письменным столом, наморщит лоб и будет корявыми пальцами выводить отчет, обдумывая, как бы половчее отчитаться в полученных на командировку суммах. И доказывать ему, что эта мешалка устарела, — бесполезно, он в этом не виноват, и никто не виноват, заказ внеплановый, спасибо хоть сделали. И жаловаться, что аппараты некомплектны, пришли без электрооборудования и без контрольно-измерительных приборов, тоже бесполезно.

Молодой слесарь Студенков и его помощник Виктор закрепляли коллектор. Упираясь ногой в ступени железной лестницы, Виктор поддерживал коллектор на вытянутых руках, Студенков, полулежа на аппарате, затягивал болты.

— Быстрее затягивай, Ваня, — говорил Виктор, — руки затекли.

— Тренировочка хромает, слабак ты, — отвечал Студенков, вытягиваясь на аппарате длинным костлявым телом и плечом поправляя спадающие очки, — держи крепче, не дергайся, эпилептик. — И он вытягивался еще больше, пытаясь снизу захватить ключом ускользающую гайку.

Миронов поднялся на верхнюю площадку, поддержал коллектор. Коллектор встал на место. Студенков наживил и затянул болт.

Разминаясь, Виктор сделал несколько гимнастических упражнений.

— Вот, смотри. — Миронов положил руки на затылок и завертел туловищем. Это было его любимое упражнение.

— Класс! — с нескрываемым лицемерием объявил Студенков и спрыгнул с аппарата, поддерживая на голове замасленный колпак, сделанный из фетровой шляпы с обрезанными краями.

Виктор сжимал и разжимал кулаки.

— Проверьте насос и продувки, ребята, — сказал Миронов, — завтра будем подключать систему.

— Приступили — начали, — объявил Студенков, снова поднимаясь с Виктором на аппарат.

— Не было такого случая, Владимир Иванович, чтобы насос отказал, — сказал представитель завода в надежде получить справку сегодня, получить и уехать, не дожидаясь подключения системы, которая в случае неудачи может надолго задержать его.

Механик надоел Миронову — настырный человек, ходит целые дни по пятам. И как бы ни прошло подключение установки, толку от него все равно не будет. И все же отпустить нельзя: формальность требует, чтобы представитель поставщика присутствовал при опробовании установки.

— А понюхать аммиачку? — сказал Миронов.

Механик прижал руки к груди.

— Владимир Иванович, мне в Горохово. А сообщение, Владимир Иванович?

— Дадим тебе курортную карту, билет вне очереди.

— Так что с ей будет, Владимир Иванович, запустите великолепно,— сказал механик не слишком уверенным голосом: понимал, что у этого он справки просто так не получит. Если начальник цеха сам ставит коллктор и показывает слесарям физкультуру, то такого на кривой не объедешь. И все же получить надо, он знал, что такое пуск установки.

— Купил вчера в киоске сказки Гримма, как говорится,— сказал механик,— хорошо он писал.

— Так ведь не он, а она,— сказал Миронов.

— Извините, Владимир Иванович, оговорился,— поправился механик,— не оторвешься, хоть и детская литература, как говорится.

— Эта Гримма родом из Сосняков,— объявил с верхней площадки Студенков.

— Скажите пожалуйста,— удивился механик.

— Ты что же, биографии не читал?

— Про автобиографию пропустил,— признался механик,— так как, Владимир Иванович, уж очень в Горохово тороплюсь.

— Это какое Горохово — на Валдае, что ли? — спросил Студенков.

— Вот именно,— подтвердил механик.

— «И колокольчик — дар Валдая...» — пропел Студенков.— А Валдайскую возвышенность видел?

— Была там раньше возвышенность, была,— подтвердил механик,— только в настоящий период нет уж никакой возвышенности — совсем стерта, начисто, как говорится.

— Постарались валдайцы,— сказал Миронов, вставая,— ребята, как кончите — позвоните мне.

Когда он вышел, механик сказал:

— Формалист он у вас.

— Руководитель джаза он у нас,— сообщил Студенков, продувая насос.

— Скажи пожалуйста,— удивился механик,— талант.

— У нас знаменитый джаз, не слыхал? — Студенков быстро проерещал что-то вроде аджи-джу-джа-бара-бара-бу...— Ничего? Могу еще джаз сыграть.

— Весело живете,— сказал механик.

Они собрались в директорском кабинете. Директор завода Богатырев был болен. в кабинете давно не открывали окон, не раздвигали штор. Воздух был тяжел, неподвижен. На большой, во всю стену, грифельной доске не были стерты химические формулы. Никто давно не входил сюда, не выходил, молчали телефоны, пуста была приемная.

Лапин с неудовольствием думал о том, что Коршунов подсунул ему начальника отдела кадров Ангелюка. Удручающая тупость этого человека обескураживала Лапина, он терялся, робел перед ним. Что касается инженера Аврорина, тучного человека в короткой спортивной куртке на молнии, и экономиста Черноконя, маленького брюнета в твидовом пиджаке, с мышинным лицом и черными усиками, то это были рядовые сотрудники заводоуправления и люди Коршунова. Все хороши! И Миронов хорош — заставляет себя ждать. Способный человек Миронов, порядочный, но в смысле воспитанности не ушел далеко от этих.

Наконец пришел Миронов. Лапин облегченно вздохнул. Теперь их все же двое. Он приветливо улыбнулся.

— Владимир Иванович, есть кое-какие жалобы на вас.

— С жалобами веселее,— ответил Миронов.

— Вот,— Лапин протянул ему приготовленную Черноконем папку с документами,— познакомьтесь.

Мионов взял папку, уселся поудобнее и начал читать. Иногда он отрывал взгляд от бумаг, задумывался, и тогда казалось, что он немного косит.

В кабинете стояла томительная холодная духота, какая бывает весной в казенном помещении, когда за грязными окнами уже сияет и греет майское солнце.

Аврорин чертил на листе бумаги фигуры бессмысленные, как и выражение его толстого лица с капризно надутыми пухлыми губами. Черноконь в своем мохнатом твиде сосал трубку, изредка трогая усы, делавшие его похожим на грузина. Черноконь слыл на заводе элегантным мужчиной. Брюнет! Умница! Какой вкус! В смысле вкуса Черноконь был в Сосняках даже некоторого рода законодателем. Ангелюк, сбывчившись, просматривал бумаги в папке. Лапин с тоской думал, что Мионов уйдет, а Ангелюк останется.

Мионов перелистал папку, положил ее на стол.

— Ну и что?

— Хотелось бы знать ваше мнение.

— Мое мнение? Эти документы, по-видимому, не первой свежести: все это давным-давно известно, обсуждалось тысячу раз. Сметные нарушения, и за каждое я получил по выговору. Что касается людей— да, правильно! На опытных работах нужны знающие, инициативные, смелые люди, их я и подбираю. И впредь буду подбирать.

— Если вам позволят,— проскрипел Ангелюк, не поднимая головы.

— Кого мы видим! — сказал Мионов.— И Ангелюк здесь.

— Товарищи, товарищи! — Лапин предупреждающе поднял руку.

В душе он восхищался Мироновым: молодец! Но найти собственную линию поведения Лапин никак не мог. Дурацкое положение, дурацкая история!

— Есть вопросы к Владимиру Ивановичу? — спросил Лапин.

— Э-э,— зашепелявил Аврорин, обдергивая на себе узкую спортивную курточку,— Владимир Иванович, меня интересует качество хлорина. Помните, была претензия Клинского завода?

Качество хлорина не интересовало никого, в том числе и самого Аврорина.

— Не помню,— ответил Мионов небрежно.

— Есть еще вопросы к Владимиру Ивановичу? — спросил Лапин.

— У меня у самого есть вопрос,— сказал Мионов,— что все это значит?

— Ровно ничего,— засмеялся Лапин,— есть заявления, их надо разобрать. Сами посудите: не можем мы их выбросить в корзину.

Лапин протянул руку к тому месту, где у его стола стояла корзинка для бумаг. Но возле этого стола корзинки не было. Лапин убрал руку.

— И теперь последнее, Владимир Иванович,— продолжал Лапин,— вопрос малоприятный для всех нас. Колчин. Надеюсь, у вас с ним были нормальные отношения?

— Как вам сказать... Он отстал, не знал новой аппаратуры. В обычный производственный цех с уже налаженными процессами он еще годился, старые аппараты знал кое-как. Но на опытных установках, на новом оборудовании был не на месте. А ведь старший механик цеха! Молодые слесаря знали больше, чем он. Я предложил ему перейти в технический архив, оклад тот же, до пенсии ему оставался год. Он отказался. Я не настаивал.

Лапин нахмурился: этого обстоятельства он не знал. Неожиданное обстоятельство. И, по-видимому, не только для него, вон даже Аврорин

с Черноконем переглянулись, невозмутимый Ангелюк и тот заерзал на стуле. Дело серьезнее, чем он думал! И зачем Миронов вспомнил про этот перевод, кто его тянул за язык? Лезет на рожон!

— Когда это было?

— Месяца два назад, точно не помню. Ангелюк, наверное, лучше помнит.

— А я здесь при чем?— спросил Ангелюк.

— Ты же мне предложил эту перестановку.

— Не помню.

Миронов насмешливо кивнул в сторону Ангелюка.

— Память ему вдруг отшибло.

— Заявляю ответственно,— объявил Ангелюк,— ни про какой перевод Колчина я не знаю. Первый раз слышу. И теперь все ясно.

— Что тебе ясно?— спросил Миронов.

— Человек тридцать лет проработал в цехе, а ты его хотел выгнать. Хорошо, хоть честно признался.

«Попался Миронов,— подумал Лапин,— теперь они на этом запляшут. Зачем он это рассказал, ведь никто ничего не знал?» Да, дело серьезнее и кляузнее, чем он думал. И могут всплыть новые обстоятельства — Коршунов довольно прозрачно намекал на это. Нет, такого дела он на себя не возьмет, спасибо. Миронов плохой союзник, не понимает или не хочет понимать, с кем имеет дело. Нет, пусть комиссия разбирается. Конечно, ничего Миронову не будет, только прозевал директорство, сам виноват.

— Владимир Иванович, дорогой,— опять зашепелявил Аврорин,— ваши опыты, хотя и очень интересные, не должны все же вытеснять людей с производства. Как вы думаете, дорогой? Колчин после тридцати лет работы в цехе вдруг оказался негоден — как же так? Этак завтра каждого из нас могут попросить выйти вон! Все же у нас не люди для опытов, а опыты для людей.

— Повторяю,— сказал Миронов,— перевод в архив не мог сыграть никакой роли. К тому же этот перевод не состоялся.

— Наш разговор носит предварительный характер,— сказал Лапин,— возможно, будет создана более широкая и компетентная комиссия.

— Очередная проверочка,— засмеялся Миронов.

4

Когда Лиля привела Сонечку из детсада, накормила и уложила спать, было уже девять — ночь для человека, которому вставать в шесть часов утра.

Но Лиля не хотела спать. Она притушила свет и прошла к Фаине, оставив двери полуоткрытыми,— Фаина жила на той же площадке. Они вместе работали на стройке и квартиры попросили рядом. В завкомке поморщились, но квартиры дали. Только предупредили, чтобы жили тихо.

Фаина чистила селедку — черноспинку, большую, жирную, копченую.

— Так селедочки захотелось, так захотелось,— Фаина жмурила толстое, обветренное, но все еще красивое лицо с узкими и горячими глазами,— я как этот залом увидала — задрожала вся, ей-богу! То одну возьму, то другую. Мне уж продавец говорит: «Ты что, тетка, корову выбираешь?»

Они начали готовить селедку с неторопливым энтузиазмом одиноких женщин, не привыкших тратить на еду ни времени, ни денег —

получали на заводе бесплатное питание, и теперь наслаждались хлопотами, которые придавали домашность их холостому жилью, коротали вечер одни, без мужчин, без шума и галдежа.

— Первая рыба — селедка, — Фаина крошила лук, морщилась и отворачивала голову, — и самая дешевая. Балыки, осетрины — ни в какое сравнение.

Они перешли из кухни в комнату, накрыли стол.

— Сообразим, что ли? — Фаина покосилась на Лилю. — Закуска пропадает. — И крикнула вдогонку: — Лизавета! Много не неси, так только, для аппетита.

Пила она маленькими глотками, держала рюмку двумя пальцами, брезгливо, точно это насекомое, которое надо стряхнуть с руки. Зато с аппетитом ела селедку, обсасывала жирную шкурку.

— Надоели в столовой белки эти и калории, душа не принимает. А селедка — лучше нет закуски. И отец твой любил.

— Папа пил?

— Не скажу, чтобы пил, но выпивал. И поругает человека, и выпьет с ним, когда надо. Все поставит по-своему, а человека ни вот на столечко не обидит. — Фаина показала кончик широкого ногтя. — Каленый был мужик. Механизация — лопата, транспорт — тачка. А ты давай: начальник строительства! Начнут, бывало, полоскать и на собрании, и на бюро, и в горкоме. А он ничего, будто так и надо. Не боялись тогда критики. А взять того же Коршунова, приедет в цех, с людьми не разговаривает, презирает. Обидно ему, конечно, из Москвы сюда запятели. А почему? Дела не делал и здесь дела не делает. А твой отец и делал и спрашивал крепко, а любили его.

— И убили.

Фаина пожала плечом.

— Такая веялка! Брали самых, можно сказать, кто дело начинал. Такого страху напустили. Ангелюк, паразит, Соловками меня пугал, в Соловки, говорит, поедешь. Как же! Воспитываю дочь врагов народа. А я ему: «Все равно, говорю, где землю копать, хоть здесь, хоть на Соловках». Я тогда на котловане землекопом работала.

Фаина раскраснелась, глазки ее весело блестели, стали совсем узенькими и добрыми. Лиля, наоборот, хмурилась. Вино веселило ее только в шумной компании.

Она вспомнила, как пришла первый раз в отдел кадров... Ангелюк стоял, упираясь коленом в стул, читал ее анкету, которую знал, наверно, наизусть.

— За что арестован ваш отец?

— Не знаю.

— На сколько осужден?

— Не знаю.

— Мать?

— На десять лет.

— Кончила срок... Где она?

— В Александрове.

— Имеет минус?

— Да.

Девуцы, сотрудницы отдела кадров, пригнулись к столам, затаили дыхание — бывали с Лилей в клубе, на танцах, и не знали, что она такая я.

— Ах, ваша фамилия Кузнецова, — как бы начиная о чем-то догадываться, сказал Ангелюк.

Не следовало говорить ему, где живет мама. Он может написать

туда, снова начнутся мамины мучения. Зачем она сказала? Ведь могла ответить, что не знает.

— Кузнецов,— Ангелюк сделал вид, будто догадался наконец, в чем дело,— тот самый Кузнецов, который был здесь когда-то начальником строительства?

— Да, был.

— Как же вы не знаете, за что арестован Кузнецов? Он арестован как враг народа. Как враг народа,— повторил Ангелюк,— а вы умолчали, скрыли.

— Я написала: родители арестованы в тридцать седьмом году.

— Арестованы,— подхватил Ангелюк,— а за что? Скрыли! Все знают, а вы не знаете? Родная дочь! Скрыли! Нехорошо! Не и с к р е н н е! Так стыдил он Лилю. Да и что от такой ожидать? Озлоблена. И всегда будет озлоблена.

— Вы понимаете, на какой завод хотите поступить?

Лиля молчала.

— Здесь работают только проверенные люди. А вы скрыли. Плохо!— Ангелюк закрыл папку.— Придете завтра за документами...

Фаина убирала со стола. Сколько бы ни выпила, никогда не оставляла стол неубранным.

Лиля сидела, подперев щеки кулаками. Она отчетливо помнила: Колчин приходил к ним в барак, смотрел на нее, на маленькую. В войну приносил продукты. После войны пытался устроить ее на завод. И все же всегда он был непонятен ей и неудобен. И говорить о нем не хотелось. И Фаина о нем не говорила. А если и говорила, то нехотя — не говорила, отговаривалась: мало ли людей помирает, все помирают, царствие им небесное, на всех ни слез, ни горя не хватит.

Но Лиля видела: что-то сильно задело Фаину в этой смерти, и раз уж зашла об этом речь, Лиля не даст ей отговориться.

— Почему Колчин отравился?

Фаина разбирала постель. Лиля видела ее толстую, широкую, непробиваемую спину.

— А кто его знает, всегда был чокнутый.

— Почему он у меня взял пробирку, потом в больницу вызывал?

— Мог и у другого взять, мог и другого вызвать.

— Ведь он бывал у нас.

— Когда это?

— Когда в бараке жили.

— В ба-ра-ке. Бывал. Мало кто бывал. Все старые работники бывали. Сколько нас осталось, старых работников?

— Ведь это серьезно. Разве ты не понимаешь?

— Все понимаю,— насмешливо протянула Фаина,— только о чем говорить? Помер — о чем говорить-то? Как дознаешься? Человек родится — кричит, помирает — молчит. Отчего да почему. Взял, да и помер. Лег, вздохнул, да и ножки протянул.

— А зачем меня к нему посылала на завод устраиваться?

Толстое лицо Фаины изобразило искреннее удивление.

— Забыла, в какое время жили? Тут к кому хочешь пошлешь. Я тебя и так и этак. Спасибо, Миронов Володя помог.

— Думаешь, я ничего не помню? Все помню. И как приходил, и как талоны тебе давал. Что за этим есть? Знаешь, только говорить не хочешь.

— Никто ничего не знает,— вздохнула Фаина,— без нас судили. И никакие бы свидетели не помогли, ни за, ни против. Думаешь, одну тебя гоняли? Этого Колчина трепали еще почище тебя.

— Как ты его защищаешь! Из-за него теперь Володю мучают. Что ему Володя плохого сделал? Володя всю свою жизнь отдал заводу.

— Ты это откуда знаешь?

— Знаю. Я своими глазами материал этот видела.

С подушкой в руках Фаина обернулась к ней.

— Где?

— Видела.

— Во сне ты видела,— пробормотала Фаина, отворачиваясь.

— У Лапина. Он приезжал дело расследовать.

Фаина снова обернулась.

— Где ты видела Лапина?

— В гостинице.

— В номера ходила?

— Ходила насчет Володи узнать.

— Зачем ходила — спрашивать не буду. Узнать хотела, в гостиницу побежала, нашла у кого? Да хоть бы и сказал, тебе какое дело? Ты кто Володе? В семнадцать не сумела взять, так уж теперь не думай, не мечтай... Грешат, понимаешь, а потом Христа себе придумывают.

— Чем ты меня попрекаешь?

— Про то и говорю,— вдруг примирительно сказала Фаина,— жили, как умели, и некого стыдиться.— Она села, положила на стол полные белые руки.— Миронов — человек, ничего не скажу. Только ведь кем стал — рукой не достанешь. И что сломано, того не скленишь.

— Что ты понимаешь? — грустно сказала Лиля.

— Все понимаю. Боишься одна жизнь доживать — не бойся! Ты за него переживаешь, а он не интересуется. Выбрось из головы! А теперь спать давай, я тебя завтра за ноги тащить не буду.

5

Территория химического завода огромна. Но в цехах почти не видно рабочих — процессы автоматически совершаются в гигантских колоннах. И все же нигде рабочие не связаны так, как в химии: оплошность одного угрожает всем. За стенами заводских корпусов химик совершает подвиг, которому отдано не мгновение, а жизнь.

Аппаратчик не видит, что происходит внутри аппарата,— он обязан это знать. Более семидесяти приборов расположено перед ним на щитах пульта управления. Он отмечает малейшее колебание, почти незаметное дрожание стрелки на каждом, ведет непрерывные записи, вычисления, исследования проб тут же, на лабораторном столике. Он стоит один на один с могучим врагом, который клокочет и мечется там, внутри аппаратов, при температуре плюс девятьсот градусов или зловеще притаился при температуре минус сто пять. Мало знать, что там происходит,— это надо чувствовать. Он приобщен к таинству, которое совершается в этих безмолвных колоннах.

Как всегда, Фаина вела смену спокойно и сосредоточенно. Как-призничала третья колонна, соединения замерзали — пропускали газ, уровень падал, температура повышалась, из-за избытка тепла этан поднимался вверх, обеднял этиленовую фракцию. Фаина отогревала трубы, подтягивала крепления, воевала за каждый градус холода, за десятую долю давления, за миллиметр уровня.

Фаина никогда не приbedнялась, но знала свое место в жизни: важно и на своем месте быть человеком. Знала она и расстояния, разделяющие людей. Для нее, простой работницы, Миронов был человеком необыкновенным: тысячи людей делали работу, заранее известную ему

одному. А ведь она знала Миронова мальчишкой, знала его отца — слесаря, мать — кладовщицу с вещевого склада. Еще тогда, в бараке, она поняла, что он не такой, как все. И другие стали инженерами, но таких, как Миронов, не было.

Если бы в то время между Мироновым и Лилей что-нибудь случилось, Лиле досталось бы все, что Фаина ей желала: образование, счастливая семейная жизнь, тянулась бы за ним. Все получилось иначе. И раз так, пусть так и будет. Миронов! Не пара они друг другу. Не принесет она ему счастья — всего хлебнула, все повидала, нет ни нервов, ни спокойствия, не годится Лилька для семейной жизни, попробовала раз — что получилось? Не жена она, тем более Миронову — этот терпеть не будет.

Что касается того дела, которое беспокоит Лилю и угрожает Миронову, — пусть не беспокоятся. С этим она разберется сама. Она здесь тоже не последний человек. Она строила этот завод, жила в землянках, дышала газами и ядами производства, работала на оборону, голодала и холодала во время войны. Когда надо было сутками долбить мерзлую землю, она брала лом и долбила. Она не знала тогда, что такое газгольдер, компрессор, этилен или пропилен. Она знала нечто большее и значительное — она строила новую жизнь.

К двум часам Фаина выровняла процесс в колонне. Сменщик расписался — режим нормальный.

В душевой и раздевалке царило оживление, естественное для женщин, благополучно отработавших смену у своих грозных аппаратов. Теперь они свободны сутки, а некоторые и двое суток. Переодеваясь у шкафов, они громко разговаривали, шутили, смеялись. Химический запах спецовки мешался с запахом чистой воды, туалетного мыла, дешевого одеколona.

Всем молодые девки! Химия — производство молодежное. Аппаратчик должен иметь образование не менее десятилетки или ремесленного училища. Аппаратчиками работают первые два года и молодые инженеры. Фаина самая старшая. Впрочем, здесь не делят на молодых и старых. Суконная куртка и противогаз уравнивают всех.

Фаина озабоченно вглядывалась в маленькое зеркало, висевшее на двери ее шкафа. Хотя шла она к Ангелюку, а все равно — заводоуправление. Она еще ничего баба, кожа гладкая, глаза блестят, блестят еще глаза-то. Брови черные, в волосах ни сединок.

Фаина повязала косынку так, чтобы был виден пробор. Подбиралась, подтягивалась. Такая, подобранная и самоуверенная, прошла она через шумный вестибюль заводоуправления, медленно поднялась по широкой лестнице. В руках у нее был плоский пакет, завернутый в газету и перевязанный ниткой. По коридору проходили девушки с бумагами, служащие; возле отдела снабжения толкались командировочные, у отдела найма — рабочие и курсанты. Фаина здоровалась, с кем была знакома, иногда останавливалась, с ней разговаривали почтительно. Она была старая кадровая работница, заслужившая право до всего иметь дело.

И, разговаривая с Ангелюком, Фаина понимала, что в этом праве до всего иметь дело заключается ее сила. Она уселась плотно и основательно, как усаживаются в мягких креслах непривычные к ним простые полные женщины. С грубоватой фамильярностью спросила:

— Слушай, Матвей Кузьмич, что за заваруха с Колчиным? Будь друг, расскажи, пожалуйста.

— Тебе какая забота? — ответил Ангелюк, стараясь говорить дружелюбно. Понимал, кто перед ним сидит.

— Так ведь Лильку мою вызывал.

— Не знаю, зачем вызывал. У покойника надо спросить, зачем вызывал.

— Теперь Миронова тянут.

— «Миронова тянут»... Кто тебе сказал?

— Сказали люди.

— Люди ей сказали! Баба тебе на базаре сказала. Мало чего люди говорят! Говорят, будто твоя Лилька чересчур часто в гостиницу ходит.

Проницательный взгляд Фаины показал, что она оценила значение этой осведомленности. Пытаясь исправить свой промах, Ангелюк ворчливо, но примирительно добавил:

— Мне все равно, куда она ходит. Привожу как пример.

Фаина не спускала с него проницательного взгляда.

— Чего хотят от Миронова?

— А я при чем? — возразил Ангелюк. — Не я это дело разбираю.

— Знала я Колчина, — продолжала Фаина, — да и ты его знал. Сколько нас осталось — старых работников? Мы с тобой да еще несколько человек. Колчин тоже с первых лет. И вот смотри — руки на себя наложил. Суждена, видно, ему такая смерть. Кому сгореть, тот не утонет... Значит, жизнь не мила, значит, жизнь надоела.

— Товарищ Абросимова, какие у вас ко мне вопросы?

Фаина повернулась в широком, низком и неудобном для нее кресле, развернула пакет. В нем оказалась старая групповая фотография, наклеенная на толстый картон, обтрепанный по краям. Большая группа людей была сфотографирована перед баракom заводоуправления. Первый ряд на земле, второй — на стульях, за ними возвышались еще несколько рядов. В центре сидел начальник строительства Кузнецов. И Фаина стоит сбоку. Вот она стоит, молодая, в косынке, надвинутой до самых бровей.

— Такая находка неожиданная. Припрятала я ее тогда, а тут сундук разбирала — лежит на самом дне. Какие мы с тобой молодые, я девчонка, ты мальчишка — помню, в вахтерах, потом в табельщиках ходил. Вот Колчин, видишь, — она водила пальцем по фотографии, — Меркулов — главный инженер, это вот секретарша Марья Дмитриевна, Загородный — начальник корпуса. Всех знала, все знакомые, да не осталось никого, всех разметало.

Она расстраивалась от того, что говорила. Эти стертые лица, френчи, толстовки, косоворотки, короткие женские прически возникали из глубины времени — оно ушло, это время, промчалось, как один долгий день. И вот наступил вечер, и жить осталось меньше того, что прожито.

— Не вернешь того, что было, — растроганно говорила Фаина, — ни хорошего, ни плохого. Как в песне поется: «Эх, кабы жизнь начать сначала». Не возвращается время.

Она с надеждой смотрела на Ангелюка. Все бы простила ему, если бы увидела, что и ему щемит сердце. Такое было время... Ведь он, Ангелюк, все знает, встал бы и сказал, правду бы сказал, успокоил бы свою совесть и человека бы выручил.

Но Ангелюк, усмехаясь, сказал:

— Устроим вечер воспоминаний? Только время у меня рабочее. Некогда мне слюни распускать.

Она скосила на него узкие, черные, горячие глаза, потянула к себе фотографию.

— Бери, бери, полюбуйся, какая ты кралячка была, порадуйся.

Она завернула фотографию в газету.

— Уж какая была...

— Ничего была, веселая... Веселая была, время не теряла.

- Я к тебе как к человеку, а ты? Как был сукин сын, так и остался.
- Кто вам позволил так разговаривать, товарищ Абросимова?
- Опираясь на ручки кресла, Фаина тяжело поднялась, оправила платье.
- Я тебе не товарищ! Дуролом ты!
- Что?! Вы что?! Да за это...
- Что «за это»?! — передразнила она с вызовом, со скандальной бесцеремонностью женщины из барака. — Что ты мне сделаешь! «Вы что», «вы кто»... Рабочий класс — вот я кто! Запомни! Ты!

В начале тридцатых годов Ангелюк отпирал и запирал табельную доску в проходной завода. У него был четкий писарский почерк человека, мысль которого не опережает букву, которую он выводит. Его перевели в отдел кадров и назначили инспектором по учету инженерно-технического состава.

Сутками просиживал Ангелюк над личными делами, сличал бумаги, выискивал неточности, неясности, несоответствия, аккуратно разглаживал потрепанные, а кое-где и порванные сгибы. За подчистки положена уголовная ответственность; вот и сгибают, будто само собой стерлось, Ангелюк хорошо знал эти коварные приемы. Человек со всеми потрохами был у него в скоросшивателе. Ходит такой субчик в отутюженном костюме, в коричневых полуботинках. А шевельнет Ангелюк пальцем — и нет ни человека, ни его одеколона, ни коричневых полуботинок, мать их через семь гробов...

В век техники Ангелюк знал только одно орудие — дырокол. В эпоху величайшего энтузиазма и самоотверженности не видел ни одного хорошего человека. Кругом вредители, саботажники, примазавшиеся, чужаки, двурушники, враги народа, кулаки, подкулачники, примиренцы, ротозеи, политически беспечные, политически неустойчивые, морально неустойчивые, обиженные, притаившиеся, замаскировавшиеся, агенты иностранных разведок. Ангелюк распознавал, разоблачал, выводил на чистую воду, выкуривал из щелей, выкорчевывал, вытраивал... И никак не мог понять, почему эти шибко в умные и чересчур грамотные получают персональные оклады, отдельные квартиры, литерное снабжение. А он, Ангелюк, перебивается на мизерном жаловании, ютится с женой в крохотной комнате стандартного дома, снабжается по третьей категории, кормится в рабочей столовой.

Пищеблок помещался тогда в бараке. Направо — дверь в столовую итээр, налево — в общую. Ангелюк шел налево и смотрел, как весело и свободно проходят итээровцы к себе. Небрежно взмахивают пропусками, а некоторые и не взмахивают — уверены, что их знают в лицо. Едят на белых скатертях, под тюлевыми занавесками, официантки им подносят волокут, буфетчицы пакеты заворачивают. А он, Ангелюк, сам несет из раздаточной алюминиевую тарелку с пустыми шами, ест за голым, сбитым из досок столом на разошедшихся козлах, пакетов ему не заворачивают.

Когда Ангелюка назначили начальником отдела кадров, он получил пропуск в итээровскую столовую. С этой минуты всякое улучшение в общей столовой рассматривал, как направленное против себя лично.

В столовой буфетчицей работала жена Ангелюка, Клавдия, дебая, но еще фигуристая особа с повадками компанейской каторжанки, с накрашенным ртом и двумя рядами стальных зубов. «Мы — торговые работники», — говорила она так, как говорят: «Мы — минеры».

Вместе с Клавдией работала жена Колчина, кассиршей. Как-то Клавдия сказала:

— На майские пойдем к Колчиным.

Отчего не пойти? На то и праздники, чтобы в гости ходить. Надо и с людьми посидеть, хоть они и сволочи, люди! Ангелюк знал людей по анкетам, а анкеты Колчина у него не было. Колчин работал приемщиком на станции и по итэровской номенклатуре не проходил.

Колчины жили в деревне Онуфриево, в трех километрах от завода. Многие работники завода снимали тогда комнаты по окрестным деревням. Почему не пройтись? Коптишься целый день в канцелярии. Надо и свежим воздухом подышать.

В чем тут дело — Ангелюк сообразил, как только вошел в горницу. Горница была просторная, чистая. Но чистота эта была особенная, беженская. Ангелюк, сам из мужиков, сразу это заметил. На столе — льняная скатерть, на кровати — покрывало, под кроватью — фибровый чемодан. У Ангелюка фибрового чемодана нет! Прибежали люди на новое место и несчастья свои покрывалами завешивают. Загнаны в угол, а куражатся.

Выпили, закусили. Колчин, молодой мужчина, гладко выбритый, хоть и сидел на одном месте, а кружил. Ангелюк хорошо знал этот осторожный, нащупывающий взгляд. Икрой и шпротами угощает. У Ангелюка шпрот не бывает! Развалился на стуле, косоворотка белая, вышитая, пиджак серый в елочку, на гитаре тренькает. На гитаре красный бант, ишь ты, модник какой! Тренькай! Тренькай! Думаешь, Ангелюк продажная пил? Ошибаешься!

Ангелюк пил и ел. Глазки его хотя и подернулись хмельным салъцем, но смотрели зло и выжидательно, замечали все. И как Колчин мало ел, а пил еще меньше. Что за невоспитанность такая! Подносят, как дворнику, а сами на гитаре бренчат! Бренчи, бренчи! Как бы ты у меня по-другому не забренчал. Выправка у тебя того, офицерская.

Не ускользнул от Ангелюка и взгляд, который Колчин подал жене. Та позвала Клавдию, и они вышли во двор посмотреть высаженные за домом цветы. Только девочка осталась. Ничего девочка, к отцовским коленям жметя, беленькая, с ленточкой в косичках, лет трех или четырех, хорошая девочка.

Колчин налил себе и Ангелюку, не закусывая выпил. Ангелюк выпил, но закусил. Колчин перебрал струны, поднял голову, посмотрел на Ангелюка выпуклым, оловянным взглядом. Офицерский взглядик! Не страшно! По прежнему времени он, Ангелюк, тоже бы имел не меньше унтера. Колчин опустил глаза к гитаре.

— Надоело приемщиком работать, Матвей Кузьмич. Дождь не дождь, снег не снег — торчи на станции, принимай. Оборудование некомплектное, не вовремя вывозят, ржавеет, портится — большая ответственность.

— Кому-то надо и оборудование принимать, — ответил Ангелюк тоном государственного человека.

— Естественно, кто-то должен. Но посудите, Матвей Кузьмич, я уже год на приемке. Новых техников прямо на должности зачисляют, а я все на станции. Справляюсь — вот и держат.

Ангелюк сидел, сложив руки на животе.

— В отделе главного механика, — продолжал Колчин, — есть вакантная должность инженера по оборудованию. Оборудование я знаю. Главный механик не возражает. Документы у меня в порядке, хотя кое-что и подрастерялось...

Ангелюк налил, выпил, закусил. Все ясно. Кое-какие документы подрастерялись — все ясно. У него, у Ангелюка, ничего не подрастерялось.

— Образование техническое?

— Техническое. Диплом при мне.

Ангелюк загрустил:

— Заявки пишем, а собственных кадров не знаем, не выявляем. Мало нас за это колотят.

— Значит, договорились?

— Оформим.

Долго просидел Ангелюк над документами Колчина. Документы подлинные, можно пока оформить. Пусть работает. А там все пойдет своим чередом.

Через несколько дней в приказе по заводууправлению в длинном списке зачисленных, перемещенных, уволенных появилась фамилия Колчина, назначенного на должность инженера по оборудованию.

Вечером жена Колчина что-то там передала Клавдии... Люди торговые, у них свои расчеты. Ангелюк этих расчетов не касается. Но зря люди не благодарят. Они и за дело не благодарят, гады!

Ангелюк запросил учреждения, в которых работал Колчин. Почти все они оказались реорганизованными, переформированными, упраздненными, слитыми с другими или разделенными на несколько. Но Ангелюк был далек от теории — Ангелюк был практик. В некотором роде он был даже гениален, ибо освобождал человеческую жизнь от всякой сложности. Труднопроверяемая биография замечает следы. Замечай, друг, замечай!

Вызвал он Колчина через полгода, накануне октябрьских праздников. Все веселятся, а ты посиди подумай, пораскинь мозгами...

— Товарищ Ангелюк занят,— объявила Колчину секретарша.

Иногда она уходила в кабинет, плотно прикрывая за собой обитую клеенкой дверь. Вызывал ее Ангелюк ударами кулака в стену. В душе был демократ и звонком не пользовался.

Ангелюк продержал Колчина в приемной всего каких-нибудь два часа. Манежить тоже надо уметь, перебирать нельзя.

Теплый, солнечный осенний день располагал к благодушию. Замечательная нынче осень, просто лето... Надо и о погоде поговорить.

Наконец Ангелюк положил ладонь на папку с делом Колчина:

— Надо уточнить данные. Поступили сведения.

Неожиданный переход от благодушного тона к казенному был испытанным приемом Ангелюка. Надо огорошить, огорошить надо!

— Какие сведения?

— Вы не знаете?

— Выдайте мне трудовую книжку, и я уеду,— сказал Колчин.

Ангелюк насупился:

— Без приказа об увольнении? На преступление меня толкаете?

Чем грубее говорил Ангелюк, тем большим доверием проникался к нему Колчин. Убеждал себя, что Ангелюк грубостью прикрывает свое намерение выручить его.

— Освободите меня по собственному желанию,— сказал Колчин.

Ангелюк опять положил руку на папку.

— Человек не иголка. Не затеряется.

Колчин молчал. Деваться ему было некуда. Мысль о новых страданиях, ожидающих его, семью, его маленькую девочку, была невыносима. Он только наконец устроился. Нет! Нужно зацепиться здесь.

Вид этого раздавленного человека не трогал Ангелюка. С гитарой в руках он был не таким. Дотренькался! Непорядочный человек. Прикинулся простым рабочим, пробрался на специальный завод. Ведь это какой завод: чиркни спичкой — и все на воздух. Не каждый день такие птички залетают.

— Что будем делать? — спросил Ангелюк.

Колчин молчал. Ангелюк протянул ему лист бумаги:

- Напишите все. Чистосердечно. Что скрыли. Почему скрыли.
- Матвей Кузьмич...
- Пишите! Порядок такой. Что вам может еще помочь?
- А потом?
- Ангелюк вдруг засмеялся.
- Работать будете потом. Работали и будете работать.

6

Вот и все его, Ангелюка, отношение к делу Колчина. Остальное прочее не докажется. И все же приход Фаины его встревожил. Явилась, пугать вздумала... Я те поугаю! Вахтера припомнила... Я те припомню! И все же... Черт его знает, что стоит за этим... Вон как все повернулось. Пошли в ход шибко в умные и чересчур грамотные... Но ничего, драться и мы умеем.

Придя на вечерний доклад к Коршунову, Ангелюк опять завел разговор о Миронове. Кончатся пора с этим делом. Не умеет Миронов работать с людьми и Колчина довел.

— Колчин не имел отношения к кузнецовскому делу? — спросил вдруг Коршунов.

— А кто его знает, — ответил Ангелюк, — открытого суда ведь не было. Многих тут таскали, может, и Колчина потянули.

— А вас?

— А как же! — неожиданно весело проговорил Ангелюк. — Была засоренность кадров? Была. Обязан был я это подтвердить? Обязан. У нас тут тридцать седьмой год строгий был, серьезный. Только ведь можно и с другой стороны посмотреть. Где они были, когда мы социализм строили, когда мы воевали на фронтах Отечественной войны? В лагерях отсиживались. Честно говоря, я бы их не реабилитировал. Отпустил бы там жен, детей, которые остались, да и то осмотрительно. К чему ворошить? Кому на пользу? Что было, то было. Тот же Колчин! Может, что и подписал. А как было не подписывать? Один он был такой?

— А какова роль Кузнецовой? — спросил Коршунов.

Ангелюк презрительно скривил губы.

— Она у нас известная... Миронов протащил ее на завод. Землю носом рыл, чтобы устроить... Морально разложившиеся люди.

Ничего более конкретного Ангелюк сообщить не мог — не интересовался женщинами. Раньше интересовался врагами, а теперь даже не знает, чем интересоваться.

— Материал у прокурора? — спросил Ангелюк.

— Надо подождать.

Ангелюк насупился.

— Чего ждатель-то? Плохо вы знаете Миронова. Непорядочный человек.

Коршунов пристально посмотрел на Ангелюка.

— По-видимому, я не обязан отчитываться перед вами, товарищ Ангелюк.

Ангелюк пожал плечами.

— Ну что ж, с горы виднее. Только знаете... Вожжи упустить легко, подобрать трудно.

Ангелюк вышел. Некоторое время Коршунов сидел задумавшись. Потом встал, неслышно ступая по ковру, прошелся по кабинету, остановился у окна. Гигантская панорама завода расстилалась перед ним. Коршунов не отрываясь взглядывался в нее. Люди умрут, и он умрет, забудутся и здержки, а заводы останутся, и никто не сумеет вычерк-

нуть этого. Он много раз приезжал сюда, его встречали, каждое его слово решало судьбы заводов и судьбы людей. Теперь его отбросило назад. Ничего, жизнь есть — все остальное приложится. «Каждый побеждает, как может, только бессильный не побеждает никогда». Кто это сказал? Умный человек сказал.

Он отошел от окна, открыл дверь кабинета. Сидевшая за столом секретарша посмотрела на него вопрошающим и преданным взглядом.

— Анна Семеновна, совещание в Верхнем завтра в час?

— Да, Валерий Николаевич.

— Скажите Миронову, что он поедет со мной и будет докладчиком от завода. Передайте ему весь материал по «Нефтегазу», пусть готовится.

На совещании в Верхнем Коршунов всячески выдвигал Миронова, сам оставаясь в тени, — умный и опытный хозяйственник, понимающий, что главное — это умение руководить людьми. И он любовался Мироновым — знает дело, умеет держаться, авторитетен.

В заседании участвовал и Лапин, сухо кивнул Коршунову, мило улыбнулся Миронову. Коршунов отметил это, посмеиваясь в душе. Струсил Лапин и, как истинный интеллигент, винит не себя, а того, перед кем струсил. Совесть мучает, насчет совести он мастак.

Обсуждались разногласия завода с главным поставщиком — «Нефтегазом». Спорили долго, но в конце концов все решилось. Согласовали основные пункты, окончательную редакцию поручили Лапину.

Заседание кончилось в пять. Можно не возвращаться на завод.

— А я отпустил Костю до семи. Перекусим, Владимир Иванович?

— Перекусим, — согласился Миронов.

Ресторан был пуст. Официантки лениво разговаривали в углу, бергли силы к вечеру. Наконец одна поднялась и подошла к столику.

Коршунов снисходительно рассматривал карточку. Долгое заседание не утомило его: его жизнь прошла на заседаниях. И он был в прекрасном настроении: они с Мироновым отлично действовали в паре. Почему бы им так не продолжать? Директор — Коршунов, главный инженер — Миронов, великолепная комбинация. Они бы горы своротили: один — с его умением руководить, другой — с его техническим талантом. Пойдет ли на такую комбинацию Миронов? Почему нет? После истории с Колчиным дела его не слишком блестящи. Еще вопрос, удержится ли на заводе. А он его выручит, замнет кляuzu, вместо провала выдвинет в главные инженеры.

Остаются их технические разногласия. Коршунову нужен завод как завод. Миронов хочет превратить его в «завод заводов», в гигантскую лабораторию, создающую новые материалы. Разногласие существенное, но устранимое. Когда Миронов станет главным инженером, ему будет не до новой техники — за план надо будет отвечать. Есть кому заниматься новой техникой и новыми материалами, хватает институтов, докторов и кандидатов-бездельников.

— По бифштексу? Кусок мяса сумеют поджарить. Осетрина отварная? Что вы пьете, Владимир Иванович? Коньяк? И я коньяк. Расширяет сосуды. Так говорят врачи, которым я не верю. Мое правило: ешь, что хошь, но не сколько хошь.

Он бил на обаяние: государственный человек, но простой парень. в доску свой, любитель выпить, погулять.

— Прошло неплохо, — сказал Коршунов про заседание, — правда, не совсем удачно поручили редакцию Лапину, формулировки будут обтекаемые.

— Я думаю, решение он составит, — ответил Миронов.

— Лапин — приличный человек, — сказал Коршунов, — но лавирует, избегает ответственности. Взять дело Колчина... Страшного ничего нет, но набрасывает тень. «Какой Миронов? Из-за которого отравился Колчин?..» Лапин был обязан занять четкую позицию. Не занял.

— Не занял, — согласился Миронов.

Коршунов посмотрел на него. Они ведь неврастеники, а этот хладнокровен:

— Владимир Иванович, ваша и моя кандидатуры обсуждаются на директорство. Предлагаю «предвыборное» соглашение.

— Вкусная осетрина, — сказал Миронов.

— Если пройдет моя кандидатура — вы идете на главного инженера. Если пройдет ваша — отпускаете меня с завода. Что касается истории с Колчиным, я при всех обстоятельствах ее нейтрализую.

— Да ну? — сказал Миронов.

— Могут назначить третьего. Но если назначат вас, вы отпускаете меня с завода.

— Отпускаю.

«Так, — подумал Коршунов, — бьет по мордасам».

— Прекрасно! — воскликнул Коршунов. — Второе условие: если назначат меня — вы становитесь главным инженером.

— Нет.

— Почему?

— А кто за вас будет работать?

— Вы не говорили, я не слышал. А если нам попробовать?

— Вы много лет тормозили дело.

— Вы отрицаете роль обстоятельств?

— И в обстоятельствах надо оставаться человеком.

Коршунов поднял рюмку, улыбнулся. С кем хотел договориться! Он подозвал официантку, кивнул на графин:

— Еще двести грамм. — Повернулся к Миронову: — Бутылку коньяка на двоих, при таком приятном разговоре...

— Будет в самый раз, — сказал Миронов.

Официантка поворачивалась быстрее. Ресторан наполнялся посетителями, общее движение сообщило и ей некоторую скорость.

— Итак, — сказал Коршунов, — предвыборное соглашение не состоялось. Все же я надеюсь, мы еще вернемся к этому.

— Интересно, как сегодня сыграл наш «Химик» с московским «Локомотивом»? — спросил Миронов.

7

Из Верхнего Миронов поехал не в машине Коршунова, а на электричке, до Сосняков было сорок минут езды.

В вагоне ехали люди, работавшие в Верхнем или в Сосняках и жившие в Сосняках или в Верхнем или между Сосняками и Верхним, и в вагоне стоял смешанный спокойный говор, как это бывает в электричке, где изо дня в день в один и тот же час едут люди, вместе живущие или вместе работающие. Среди них Миронов мог безошибочно отличить случайного пассажира: он знал этих людей с детства. За окном, освещенные полной луней, мелькали придорожные леса, перелески, поляны, темные постройки, спящие деревеньки, на безлюдных платформах высоко и тускло мерцали станционные огни.

Когда Володю Миронова привезли в Сосняки, ему было семь лет. Его поразил тогда мотоцикл с коляской, он принял его за маленький

автомобиль и испытал восторг, какой испытывает ребенок, увидевший пони. крошечная, но настоящая, живая лошадь. Мотоцикл стоял возле управленческого барака.

Часами простаивал Володя у мотоцикла, выбегал на улицу, услышав громкое стрекотание, и долго смотрел ему вслед; подпрыгивая и перекашиваясь на ухабах, мотоцикл скрывался в далекой пыли. На мотоцикле ездил начальник строительства химкомбината Кузнецов — высокий человек в брезентовом дождевике, под которым виднелся защитный френч с большими накладными карманами. Возил его шофер Валя, хмурый парень, закованный в черный кожаный костюм.

Для сверстников Володи Кузнецов был главный человек на свете. «Кузнецов приказал», «Кузнецов сказал», «Придется к Кузнецову идти», «Все от Кузнецова зависит» — так говорили о нем в бараке, где жили рабочие трестов «Сантехстрой» и «Водоканалстрой». В этом бараке жили и Мироновы.

Володя мечтал, что Кузнецов подойдет к нему, поднимет, посадит в пружинящую коляску мотоцикла и повезет на территорию — недоступное пространство земли, где строился комбинат. И шофер Валя, увидев такое расположение начальства, научит Володю управлять машиной. А еще потом Кузнецов возьмет его к себе в шоферы.

Мечты эти не сбылись. Кузнецов ни разу не прокатил Володю, не взял его в шоферы. Со временем Володя понял, что это всего лишь мотоцикл с коляской. Но и чудесный конек-горбунок, и время, когда Володя с матерью приехал сюда к отцу из деревни, когда здесь были лес, бараки, раскулаченные грабари, голодные пайки и люди, строившие новые заводы и новый город, — все это слилось в его памяти с образом всемогущего высокого человека в брезентовом дождевике, который топорщился и ломко гнулся на нем, когда он усаживался в крошечную коляску мотоцикла.

Кузнецова арестовали. Герой гражданской войны, на пустом месте построивший крупнейший в стране химкомбинат, тоже стал «врагом народа», и о нем тоже больше не говорили.

Вскоре выслали из Сосняков жену Кузнецова. И тогда в бараке, где жили Мироновы, появилась маленькая Лиля. Ее взяла к себе Фаина, землекоп, беспутная девка, забубенная голова. В свое время Кузнецов не дал ее выгнать со строительства за ничтожный проступок, который хотели раздуть в преступление. И теперь Фаина отблагодарила его.

Лиля запомнилась Миронову маленькой беленькой девочкой, робко стоящей в дверях барака с куклой в руках — единственной новой куклой в бараке: у других девочек были старые, ободранные куклы. И одета была Лиля не в родительские обноски, как другие девочки в бараке, а в купленные в магазине платица, носочки, туфельки.

— Набалуешь девку, — говорили Фаине соседки.

— Ну и пусть, — отвечала Фаина, — пусть побалуется, пока маленькая, еще хлебнет своего, вырастет.

Как-то Лиля поцарапала ногу.

— Зеленкой помажь, — посоветовала Фаине мать Миронова, — возьми у меня зеленку.

— Буду я ее зеленкой мазать, — ответила Фаина презрительно, — приютская она у меня, что ли?

Из-за слова «приютская» Миронов и запомнил этот случай.

Миронов не обращал на Лилю внимания и запомнил ее больше по разговорам в бараке. Отец ее хотел взорвать завод, для того и строил, чтобы взорвать, чтобы все труды пропали даром. Но к Лиле в бараке относились сочувственно: ребенок не виноват. И Фаине сочувствовали:

смотри, чего отколола. Поступок Фаины возвышал людей в их собственных глазах.

По вечерам к Фаине приходили гости, она выбегала к соседям одолжить хлеба или огурчика, а иногда и пряталась от своих буйных ухажеров. За эти шумные пирушки с песнями, скандалами Фаину не осуждали. А вот за то, что воспитывает Лильку по-господски, осуждали. «Вырастет, сядет на шею и ноги спустит».

Володя Миронов никак не относился к Лиле — девочка и девочка, много их шумело в барачных коридорах. Он даже никак не связывал ее с всемогущим человеком, поразившим его детское воображение.

Мироновым владели тогда первые ощущения новой самостоятельной жизни, ему было шестнадцать лет, и он только начал работать на заводе. Эти новые ощущения связывались в его памяти с запахами карболки, формалина, тухлой рыбы, хлорки, уксуса, нашатырного спирта, горького миндаля. В действительности это были запахи фенола, хлора, аммиака, уксусной кислоты, нитробензола. Но тогда они были запахами обыденными. Знакомые, домашние запахи в громадных таинственных корпусах.

Это были напряженные предвоенные годы, но Миронов воспринимал все таким, каким застал, начиная жить, ему не с чем было сравнивать: он был убежден, что так было раньше, должно быть сейчас и будет всегда.

Три его товарища по училищу были осуждены за прогул: Иван Цокарев, Миша Еремин и Саша Харьков. Опоздали на работу на двадцать одну минуту и получили по году тюрьмы. Миша Еремин не вернулся из тюрьмы, Иван и Саша вернулись и вскоре опять попались: хотели обворовать продуктовый ларек. Вместе с другими рабочими Миронов пошел на суд.

Ввели Ивана и Сашку, наголо остриженных, большеголовых, крупных и заматерелых, в телогрейках и грубых сапогах, переданных им родителями в тюрьму. Сашка, увидев в зале Володю Миронова, незаметно и хитро подмигнул ему, а потом встал и начал врать суду насчет того, что они будто и не думали грабить ларек. Шли мимо, увидели дверь открытой, заглянули из любопытства, взяли по пачке «казбека», тут их и накрыли охранники завода. И нож, что у них нашли, они не приносили с собой, а взяли в том же ларьке. И замка они не сбивали, до них кто-то сбил, а кто — откуда им знать?

Так он лгал и изворачивался, видел, что ему никто не верит, и не рассчитывал, что поверят, и не нуждался в этом. Нельзя признаваться. — вот он и не признавался. Был он отпетый, плевал и на суд и на тюрьму: тюремная дорожка теперь уже навсегда его дорожкой. И он не нуждался в сочувствии людей, презирал и ненавидел их, своей откровенной ложью издевался и смеялся над ними.

И, глядя на него, Володя подумал, что раньше Сашка никогда не лгал, этим и отличался в училище, был тихий, слабый паренек, а вот никогда не лгал. И то, что он сейчас беззастенчиво врал, нагло и вызывающе ухмыляясь, поразило Володю.

Он вспомнил, как ходил с Сашей на кладбище ловить синичек. Они их тогда очень ловко ловили — простым сачком. И когда Володя поймал первую синичку, дал поддержать ее Сашке, Сашка осторожно взял ее в сложенные кузовком ладони и, улыбаясь, сказал:

— Вот сердечко-то колотится, послушай.

Он дал Володе послушать, как колотится ее сердечко, потом опустил руки и, улыбаясь, смотрел, как испуганно дергается из стороны в сторону черная птичья головка, как широко раскрывает она клюв, издавая тоненький писк.

И учился Сашка хорошо, только часто просыпал и опаздывал на работу. Отца у него не было, мать — уборщица — рано уходила в цех, и разбудить его было некому, вот и просыпал. Когда он опоздал третий раз и вахтер не допустил его на завод, он стоял в проходной испуганный, бледный, жалкий, просил вахтера пропустить, а тот не пропускал. И Володя просил, и другие ребята, но вахтер сказал:

— Мы этих делов не знаем.

И не пропустил Сашку. А что бы стоило пропустить? Сашка не получил бы тогда года тюрьмы, и сейчас тоже ничего бы не было.

А теперь он стоял перед судом, грубил судьям, потом, презрительно ухмыляясь, выслушал приговор: восемь лет.

Бабы заголосили. Судьи быстро собрали бумаги со стола и, протискиваясь между столом и креслами, на которых сидели, удалились в боковую комнату.

— Мама! — деловито крикнул Сашка, когда его уводили. — Носки и рукавички не забудь.

Он уже больше не ухмылялся, не подмигивал Володе, был решителен и суров, как сурова была предстоящая ему жизнь.

В тот вечер мать Володи пошла к Сашкиной матери, та плакала и убивалась в своей камере.

Володя ужинал с отцом под громадным абажуром из яркой материи. Этот абажур, гордость матери, висел низко над самым столом, и от этого их и без того крошечная комната казалась еще теснее, ниже, неудобнее. Володе это было безразлично, а отец ни в чем не перечил матери, молчаливый человек, слесарь, невысокий, суховатый, узкоплечий. Володя был не в него, а в мать.

Володе было жаль Сашку, жаль его мать, он не мог слышать ее плача, но он не хотел показывать этого отцу, он был уже взрослый, рабочий человек, и отец держал себя с ним на равных. И чтобы не обнаружить жалости, которая по его тогдашнему разумению не подобала комсомольцу, он сказал:

— Сам виноват — не воруй.

Отец исподлобья посмотрел на него, положил ложку на стол и, чуть подавшись вперед, отвесил ему пощечину. Володя опешил — не от боли, не от обиды, а просто от удивления: отец никогда не бил его, даже маленького.

— Ты что дерешься, — растерянно пробормотал он, держась за щеку, — за что?..

— Не говори, чего не думаешь, — спокойно ответил отец, взял ложку и снова стал есть.

— Можно бы и не драться, — тоже спокойно сказал Володя.

В эту минуту открылась дверь, в комнату заглянула Лиля.

— Марья Захаровна!

— Нету, — крикнул Володя, пытаясь скрыть смущение, опасаясь, что Лиля видела, как его ударил отец.

Лиля прикрыла дверь, послышался топот ее ножек по дощатому полу коридора.

Несколько дней, встречая Лилю, Володя вглядывался в нее: видела или не видела? Она была уже школьница, первоклассница, худенькая, верткая. И когда Володя убедился, что ничего она не видела, он успокоился и перестал обращать на нее внимание.

Возвращаясь мыслью к тем годам, Миронов не осуждал себя — ему было шестнадцать лет, но и не оправдывал — человечным надо быть и в шестнадцать лет. Даже когда силы времени сильнее твоих сил.

Мионов вернулся из армии летом сорок пятого года. Первую, кого увидел он, подходя к бараку, была Лиля — стройная девочка колола шепу у дверей. Она подняла голову и посмотрела на Миронова, не узнала его в этом молодом лейтенанте, увешанном орденами и медалями, а может, и не помнила его. А Мионов ее узнал, смогрел на нее и улыбался — первый человек из родного дома. Он смотрел на нее и поражался тому, как она выросла, совсем большая девочка. Она стояла у входа в барак с топором в руках, босая, загорелая, и короткое ситцевое платье, из которого она выросла, открывало худенькие плечи, длинные ноги.

— Здравствуй, Лиля,— сказал Мионов, только в эту минуту вспомнив ее имя.

— Здравствуйте,— ответила Лиля, вглядываясь в Миронова и не узнавая его. И не узнав, не вспомнив, отвела глаза и начала поправлять топор: он неплотно сидел на рукоятке.

И Мионов с радостью подумал, что этот топор был еще при нем, один топор на весь барак, он и тогда соскальзывал с топорща, и та же вокруг барака низкая изгородь из врытых в землю крест-накрест палочек, и те же жалкие, но милые цветочки за ней...

Потом Миронова окружили люди, сбежался весь барак, и из других барakov прибежали: Мироновых Володька приехал из армии, живой и невредимый. И Фаина, выбежав из барака, упала ему на грудь и заплакала, и другие женщины заплакали... Они плакали и о том, что он вернулся с войны живой, и о том, что в войну умерла Марья Захаровна, его мать, плакали по тем, кто не вернулся и никогда уже не вернется.

И, как водится на святой Руси, Фаина притащила бутылку, Мионов послал еще за вином и закуской, соседки принесли огурцов и помидоров — один бог знает, как уместилось все это на столе и как втиснулось в каморку столько людей.

Дали знать на завод, приехал отец, начальник цеха по такому поводу дал ему грузовую машину и отпустил на весь день. Отец всхлипнул, припав к его плечу, совсем уже маленький и сухонький старичок, и надрывно закашлял.

Опять заплакали женщины и стали говорить о Марье Захаровне, какая она была рассудительная, справедливая женщина, и какая душевная была, всякому придет на помощь, и хозяйка какая, картошку в пяти водах мыла, и как умирала достойно, хотела только сыночка своего поглядеть ненаглядного, и вот не пришлось ей дожить до такой радости.

Потом пришли с работы ребята, товарищи Володи по училищу и по заводу, начали гулять уже всерьез, появился баянист с немецким аккордеоном, украшенным белыми кнопками, и женщины пошли переодеваться, а то сидели, в чем Володю встретили. Мионов вынул пачку денег, передал Фаине.

— Распоряжайся.

Фаина, хоть и была навеселе, тщательно отсчитала, сколько нужно, остальные тоже пересчитала, показала Володе, мол, все не пропьем, не беспкойся, целы будут, и положила на грудь за кофточку.

Но Мионов велел ей добавить еще столько же. Фаина вынула деньги из-за кофточки, отсчитала, сколько Володя велел, и опять спрятала, одобрительно заметив:

— Хорошо гуляешь, молодец!

Вернулись женщины, переодетые в праздничные платья, помятые от долгого лежанья в сундуках и чересчур яркие. И еще подошли люди. Те, кто хорошо знал Миронова, оставались, те, кто знал мало, поздравляли с благополучным возвращением, деликатно выпивали по рюмке и удалялись, чтобы не мешать. Под окнами сидели девчонки, бегали мальчишки, заглядывали в окна, пересчитывали ордена и медали Миронова,

спорили, смеялись, и аккордеон рыдал на весь поселок: «Ты говорила, что не забыла солнечных радостных встреч...» Поселок гулял по случаю его, Миронова, благополучного возвращения с фронта...

Было жарко, Миронов снял ремень, расстегнул ворот, ордена и медали звенели на его груди.

— Иконостас у тебя,— восхищалась Фаина,— герой! Теперь как — женишься или погуляешь?

— Погуляю.

— Правильно, с этим не торопись, еще заарканят.— И подмигнула ему, и подтолкнула локтем, грудастая, еще красивая баба, и посмотрела ему в глаза смеющимся взглядом.

— Не облизывайся, Фаина,— крикнула худая высокая женщина из соседнего барака, в которой Миронов узнал Верку Панюшкину, крановщицу с электролизного,— связался черт с младенцем.

— Помалкивай,— беззлобно огрызнулась Фаина,— уж тебе тут ничего не отвалится, мы своих не отдаем, так ведь, Володя?

И Миронов вспомнил, что еще при нем эту Верку Панюшкину дразнили каблучницей, а почему так дразнили — не помнил. Была она подруга Фаины, вместе погуливали: как к одной гости придут, так она за другой бежит.

— Ну, Миронов,— сказал Воробьев, старый аппаратчик с обожженным кислотой лицом,— подерутся из-за тебя бабы.

Фаина махнула рукой.

— Где уж нам... В тираж вышли... Эх, Володя, жалко, стара я для тебя, а то бы окрутила. А Лилька моя молода, не фартит нам. Узнал ты Лильку?

— Я-то узнал, она меня не узнала.

— Не помнит. Так ведь крошкой была, а теперь, смотри, барышня. Лилька! — крикнула она в окно.

Девочка неохотно и не сразу встала со скамейки, где сидела с подругами, и подошла к окну.

— Чего?

— Смотри, какая барышня, в шестой класс перешла, отличница, ну-ка, принеси табель.

— Ладно тебе,— ответила Лиля и вернулась на скамейку.

— Какая! — с гордостью проговорила Фаина.

— Узбечки в тринадцать выходят,— сказал кто-то за столом,— выходят — и ничего.

— Или уж избаловался? — продолжала допрашивать Фаина.— Фронтные подруги были?

— Все было,— отмахнулся Миронов.

Рыже-зелено-желтые дымы плыли в воздухе, донося с детства знакомые запахи завода. Аккордеон не умолкал, уже заспорили о чем-то соседки, завели производственный разговор старики, парни пытались затянуть песню, и детишки шумели и бегали под окном. Миронов с радостью и грустью смотрел на знакомые лица. Ему так хотелось доставить им хоть какую-нибудь, пусть самую малую, радость. Он раскрыл чемодан и роздал подарки — бесхитростные свои солдатские трофеи, купленные на оккупационные боны, которых сначала было много, тратил их направо и налево, а потом, когда мало осталось, вдруг понадобились.

Глаза женщин восхищенно блестели, детишки сгрудились у окна: все это чужое и яркое было им в диковинку.

— Не расходишь,— говорила Фаина, любуясь подаренным ей платком,— в нашем колхозе на всех не напасешься, оставь, подаришь своей девушке,— и не без сожаления протянула ему платок.

Смеясь, он с силой затянул платок на ее шее.

— Пусти, черт здоровый!

Она оттолкнула его, и Миронов, уже не слишком твердо стоявший на ногах, ухватился за стол.

— А ну, кто кого поборет? — поддразнила их Верка Панюшкина.

В эту минуту Миронов посмотрел в окно, увидел ребятишек и среди них Лилю, она внимательно и напряженно смотрела на него, худенькая, строгая, беленькая девочка.

— А, Лиля! — сказал Миронов, будто только сейчас ее увидя.

Он наклонился к чемодану, разбросал вещи, обрадовался, увидев маленький кожаный несессер на молнии, и протянул его в окно Лиле.

— Тебе!

Лиля посмотрела на Фаину и взяла несессер.

— Спасибо.

— Продолжим, — сказал Миронов, возвращаясь к столу. Но сел не рядом с Фаиной, а напротив.

На следующий день он пошел с отцом на кладбище.

Деревянный крест стоял на могиле матери, деревянный крест за ветхой деревянной оградой. Когда-то кладбище было возле деревни, и была здесь часовня, теперь деревни не было, снесли, и часовни не было, рухнула наверно, а кладбище осталось, одинокое кладбище в степи, неогороженное, неохраняемое. Оно перекинуло могилы через дорогу, земли кругом было много, и синички вспархивали в кустах, как и тогда, когда он приходил сюда с Сашкой Харьковым.

Миронов укрепил холмик, убрал опавшие листья, подмел, полил и посадил поздние цветы.

Отец сидел на пенечке, кашлял и, точно извиняясь за свой кашель, говорил:

— Как глотну свежего воздуха, так и дохаю.

Миронов знал, что это за кашель — пневмоклероз, неизлечимая болезнь химика, на минуту пренебрегшего противоголозом в особо вредном цеху.

— Проживешь в Москве-то? — спросил отец. — А то думал на пенсию выходить.

— Проживем, — ответил Миронов ласково.

До экзаменов оставалось полтора месяца. Миронов выходил из комнаты только в заводскую библиотеку.

Люди уходили на работу и приходили с работы утром, днем, вечером — завод работал круглые сутки. Отец приносил обед в судочке, Миронов ел и снова садился заниматься.

Прошло возбуждение первой встречи, только ребятишки не оставляли Миронова своим вниманием. По вечерам они садились у его окна. Перед Мироновым лежали тетради, исписанные химическими формулами. Заглядывая через окно, Лиля громко читала их, передразнивала голос школьной химички. Она была уже не такая тихая и робкая, как раньше и какой показалась Миронову в день его возвращения из армии. Она была бойкая девочка, заводила и вела себя с беспардонностью жительницы барака, где все живут на виду друг у друга и каждый терпит назойливость соседа потому, что сам вынужден быть назойливым.

На ней уже не было новых платьев, новых туфелек, новых носочков — все было старое, ношеное, как у других девочек. И все же она выделялась среди них — высокая для своих лет, стройная, с чистой кожей и правильными чертами лица, бойкая, насмешливая, воспитанная Фаи-

ной и, может быть, зная больше, чем ей положено знать в свои тринадцать лет.

— Нравись ты моей Лильке,— говорила Фаина,— глаз с тебя не сводит.

Миронов воспринимал интерес Лили к себе, как и интерес остальных детей,— интерес к новому человеку, тем более военному. Но он понимал, что внимание Лили особое — ответ на его внимание. А он выделял Лилю среди других детей из-за ее судьбы, из-за того, что стояло за ней, что волновало его, было предметом его долгих размышлений.

Знает ли Лилия, кто она такая? Помнит ли своего отца, свою мать, знает ли об их судьбе? Все в ее жизни с Фаиной казалось таким простым, ясным, будничным: живут, как все, как дочь с матерью, хоть и с матерью приемной; сейчас, после войны, их много — приемных матерей и дочерей. Может быть, и лучше, если она ничего не знает. И все же при мысли о том, что она ничего не знает, Миронову становилось грустно: неужели даже эта память об ее отце вычеркнута?

Иногда она пела. Все девочки в бараке пели, но Миронов узнавал ее голосок:

Вот солдаты идут по степи опаленной,
Тихо песню поют про березки и клены...

Грусть дрожала в ее голосе, и тогда ему казалось, что она все знает. Но потом она снова бегала с девочками, бегала и смеялась, заигрывала с Мироновым, по-детски кокетничала с ним.

Миронов жалел, что у него нет времени, которое он мог бы уделить этой девочке, ничего для нее не сделал, не оказал внимания, которого она ждала от него, инстинктивно чувствуя во всяком внимании к себе — защиту.

8

Раза два Миронов приезжал из Москвы на каникулы, но Лилю в бараке не встречал. Одно лето она была в пионерском лагере, другое — на Кавказе, ездила туда со старшей сестрой Верой, жившей в Москве.

— На Кавказе моя Лилька,— говорила Фаина.

В голосе ее слышались и гордость тем, что вот ее Лилька, единственная среди девочек барака, поехала на Кавказ, и тайная ревность, приподнимавшая завесу над сложными отношениями Фаины с Верой.

Эти известия Миронов принимал в ряду других новостей, сообщаемых ему жителями барака: хотели снять старого директора Богатырева, но не сняли, пустили девятнадцатый корпус, жена плотника Сысоева родила двойню, осенью в их бараке собираются перестилать полы, а зачем их перестилать, если обещают переселить в новые дома, и перестилать там нечего, все сгнило, тронешь — оно и рассыплется. Этими новостями здесь жили, жил ими и Миронов, приезжая сюда, — они на короткое время вытесняли то, чем жил он в Москве.

В пятидесятом году он окончил институт и вернулся. Он открыл дверь своей комнаты и вместо отца увидел девушку в синих спортивных шароварах. Положив ноги на стол, она читала. Она повернула голову на скрип отворенной двери и быстро сунула в пепельницу недокуренную папиросу. Пепельница стояла рядом, на другом стуле, старая их пепельница, фарфоровая обезьянка. Свет из низкого окна падал на тонкий дымок недопогащенной папиросы, оставляя голову девушки в тени, может быть, поэтому Миронов сразу не узнал Лилю, а может быть, не узнал потому, что никак не думал встретить ее в комнате отца с ногами на столе, курящей папиросу.

— Здравствуйте,— Миронов поставил чемодан на пол.

— Здравствуйте.

— А где мой отец?

— Ах! — Лиля вскочила, растерянно посмотрела на Миронова. Совсем взрослая девушка, по-прежнему стройная и гибкая, особенно в шароварах и в футболке с закатанными рукавами, но какая-то сухая — «шкилет», как называли таких в бараке, с потрескавшимися и обветренными губами и несколько острыми чертами лица, на котором только иногда, когда она задумывалась, появлялась детская округлость. И глаза ее не были такие чисто голубые, как раньше, а с сероватым оттенком, голубизна в них только искрилась. И это придавало ее лицу несколько затаенное выражение.

Миронов присел к столу.

— Где же отец?

— В больнице... А ключ нам оставил,— добавила Лиля, как бы оправдываясь в том, что сидит в чужой комнате.

— Что с ним?

— Уже все хорошо, завтра выпишется. А говорили, что вы в Москве останетесь.

— Передумал. Фаина здорова?

— Здорова. А военная форма вам больше идет.

— Думаешь?.. А зачем куришь?

— Балуюсь... А почему вы в Москве не остались?

— Пере-ду-мал,— повторил Миронов, усмехаясь,— выросла ты, сколько тебе?

— Семнадцать.

— Ну, рассказывай, что тут нового?

Она пожала плечами.

— Что тут может быть нового? Дымит завод.

— Дымит, говоришь? — рассеянно переспросил Миронов.

Она насмешливо повторила:

— Дымит, говорю. Что же вас в Москве не оставили?

— Не поняли меня в Москве.

— Не поняли... — повторила Лиля,— а Фаина говорила, что вы будете профессором.

— А ты что говорила?

— Я говорила, что никогда.

— Почему?

— Никогда, и все.

— Почему же?

— А где ваша жена? — спросила вдруг Лиля.

— Какая жена? — удивился Миронов.— У меня нет жены.

— Наверно... А с кем вы приезжали сюда?

— Ах, это...

— Вот именно.

— Видишь ли,— Миронов старался говорить убедительно потому, что говорил неправду, вернее не всю правду,— приезжала студентка нашего института, институт наш химический, имени Менделеева, она интересовалась заводом, вот и приехала посмотреть.

— Ага, из окна гостиницы.

Миронова рассмешила эта барачная осведомленность, построенная на догадках, но всегда близкая к истине. Тут все знают и обо всем говорят. Года два назад Лариса действительно приезжала с ним в Сосняки, но остановилась в городе, в гостинице. Из гостиницы она один раз приезжала сюда, на это могли не обратить внимания, мало ли кто приехал

днем. А вот ведь знают, что приехала с ним из Москвы, что жила в гостинице, и приняли за жену. Это было не так, но близко к истине.

— Разве ты ее видела?

— Люди видели. В очках?

— В очках.

— Ну вот,—удовлетворенно проговорила Лиля, как человек, доказавший свою правоту.

Мионову стало грустно при мысли, что уже нет беленькой девочки, робко стоявшей в дверях барака с новой куклой в руках, и той, коловшей щепу, когда он вернулся из армии. Девушка — как и другие девушки в бараке и, наверно, бездельница, курит, задрав ноги на стол, и спрашивает и поддразнивает с любопытством, так свойственным женщинам барака.

— В какой больнице отец? — спросил Мионов.

— В заводской, Фаина завтра поедет за ним.

— Поеду сейчас,—сказал Мионов.

Мионова назначили старшим технологом двенадцатого, самого крупного цеха завода. Как утверждали многие, основанием к такому высокому для молодого специалиста назначению был не диплом с отличием, а то, что Мионов до войны работал в этом цехе и начальником цеха тогда был нынешний директор завода Богатырев. За Мионовым установилась репутация человека, находящегося под покровительством директора завода, репутация, мешавшая оценке его достоинств даже тогда, когда всем стало ясно, что Мионов существует сам по себе.

— Куда хочешь? — спросил Богатырев, когда Мионов явился к нему.

Он сидел в широком кресле перед громадным письменным столом, грузный, седой, непроницаемый, перебирал в толстых, негнущихся пальцах цепочку из вдетых одна в другую канцелярских скрепок,— старый зубр, потомственный химик, прошедший в промышленности классический путь от рабочего до директора завода.

— В ЦЗЛ,—ответил Мионов, имея в виду центральную заводскую лабораторию.

— Не найдешь ты в нашей лаборатории чего ищешь. Тебя ведь в аспирантуре оставляли?

— Не оставили,—только и ответил Мионов.

Не оставили Мионова в аспирантуре потому, что он защищал своего учителя профессора Павлова, утверждавшего, что в производстве синтетических материалов мы отстаем от заграницы.

— В нашей ЦЗЛ даже камерной установки не соорудишь,—продолжал Богатырев, удовлетворенный ответом Мионова,— а двенадцатый цех большой, хватит места и для опытной установки. Пойдешь в двенадцатый. Цех отстающий, прямо скажу. Вытянешь программу — позволю опытноичать. Чем будешь заниматься?

— Полизолом.

Богатырев покачал головой — эта проблема была ему известна, его как раз и занимался профессор Павлов. Полизол у нас уже производился, но в малых количествах и очень хрупкий. Создание ударопрочного полизола дало бы стране ценный материал самого широкого применения.

— Трудное дело. Справишься с программой — в будущем году позволю начать. Принимай пока цех. С квартирой потерпи, много на очереди. В каком бараке твой отец? Во втором? Скоро несем, получишь квартиру в новом доме.

Они прекрасно поняли друг друга, оба увлекались полимерами, были убеждены, что человечество может добывать все ему нужное из воз-

духа. Но эта химия была тогда не в почете у руководителей промышленности, у Коршунова, у Аврорина, ходившего при нем в ученых консультантах. И все приходилось делать на свой риск и страх. Много думать, мало спать.

Эксперимент открывает новые возможности, возникают иные потребности, а они не предусмотрены, не запланированы, все надо просить, вырывать, доставать. Опытная установка — это цех в миниатюре, ступень от лаборатории к заводу, и ступень самая сложная. В лаборатории процесс идет в колбе, в стекле, в условиях почти теоретических. В опытной установке процесс совершается в металле, вступает в действие грубая практика, нет уже той чистоты, много соединений, совсем другие температуры, ничтожное нарушение в размерах сводит на нет всю работу. Бывает, что освоение опытной установки длится годами. И за эти годы новое перестает быть новым.

Миронов редко видел Лилю, рано уходил на завод, поздно возвращался, иногда не возвращался — ночевал в цехе. И все же Лиля умудрилась встречать Миронова у дверей барака, заходила за спичками, почему-то именно всегда за спичками. Брала коробок, усаживалась на подоконнике, смотрела на склоненного над книгами Миронова, напевала, высывалась в окно, шутила с подругами, болтала ногами, курила.

Ее сверстницы учились в ремесленном училище, готовившем аппаратчиков. И только Лиля ездила в город в десятый класс.

— Я тоже хотела в ремесленное, — покачивая ногой, говорила она, — но поговорите с ней, — она кивала в сторону своей комнаты, имея в виду Фаину, — она и слышать не желает, хочет мне образование дать, хочет «в люди вывести».

— В ремесленном ты получила бы и десятилетку и специальность, — замечал Миронов, рассматривая чертежи.

— А я ей что говорю! Тысячу раз объясняла, кажется. А она уперлась, пунктик у нее.

— Сама не можешь решить?

— Попробуйте! Вы еще не знаете, какие она умеет закатывать истерики.

Так говорила она о Фаине, сидела на подоконнике, качала ногой, насколько не стесняясь Миронова.

— Шла бы ты гулять.

— Я вам очень мешаю? А почему вы не гуляете? Охота ишачить. Для чего? Я вас ни разу в клубе не видела, ни на танцах, ни в кино. Ларису свою ждете?

Он удивленно оглянулся на нее, откуда ей известно это имя?

Лиля удовлетворенно улыбалась, видно, давно готовила это неожиданное сообщение.

— Ты — фрукт, — только и сказал Миронов.

— Думали: не знаю? А я знаю. Почему вы ее бросили? Надоела?

— Возможно.

— С ума посходили мужчины, — повторяла Лиля сакраментальную фразу барака.

Потом приходила Фаина, улыбалась, видя Лилю с Мироновым, искренне выговаривала Лиле — человек работает, не видишь разве, мешаешь — и уводила с собой. В дверях Лиля оборачивалась, подмигивала Миронову: видите какая, ладно, не будем перечить старухе.

Однажды после собрания Миронов зашел на танцплощадку в саду при клубе. С танцплощадки доносились звуки радиолы, и кто-то из молодых инженеров сказал:

— Пофокстротим?!

Они поднялись на площадку. В толпе девушек Миронов увидел Лилю рядом с Ириной — дочкой инженера Колчина, приземистой девочкой с толстыми косами. Ирина обернулась к Лиле, Лиля отрицательно качнула головой, Ирина пошла танцевать с другой девочкой, и остальные девушки пошли танцевать, и на том месте, где они только что стояли, осталась одна Лиля. Она стояла на другом конце площадки, фонари светили тускло, и между Мироновым и Лилей были танцующие, и все равно Лиля была ему видна, видна ее беленькая головка, ожерелье из янтаря на груди, ожерелье, которое он видел как-то на Фаине, и был виден взгляд ее, обращенный в его сторону. Он подошел к ней, улыбаясь, и она положила ему руку на плечо с серьезным выражением лица и на какую-то долю секунды раньше, чем он сказал «потанцуем».

Она танцевала несколько напряженно, привыкла танцевать с девушками за кавалера. Но потом освоилась и стала двигаться легко и послушно. Миронов всегда хорошо танцевал, любил танцевать и удивлялся тому, что ничего не забыл.

Они танцевали и вальс, и румбу, и краковяк. Иногда Лиля поднимала к нему лицо, глаза ее счастливо улыбались тому, что у нее настоящий кавалер, они так хорошо танцуют и все смотрят на них.

Миронов вышел с товарищами выпить пива, и, когда вернулся, Лиля схватила его за руку и увлекла в круг, боясь пропустить танец, как боялся пропустить танец и он когда-то. И так же, как когда-то, он не уходил с площадки, пока не кончились танцы, хотя было уже поздно и завтра ему было рано вставать на завод.

В перерыве между танцами он познакомил Лилю со своими товарищами. Она протянула каждому руку со сдержанностью, которой барачные девочки ограждают себя от развязности барачных мальчишек. Сейчас эта сдержанность выглядела даже величественно.

— Старик, а ведь она красotka, — шепнул Миронову кто-то из ребят.

Возвращаясь домой, они перелезли через каменный забор, ограждавший заводские подъездные пути и выщербленный в том месте, где много лет через него перелезали жители бараков, сокращая себе путь из города. Миронов спрыгнул с забора, протянул руки, волосы ее мягко коснулись его лица. И он осторожно поставил ее на землю, чтобы она не оступилась о высоко положенные шпалы, пропитанные смолой и мрачно черневшие в свете луны.

Уже у дверей барака он спросил:

— Натанцевалась сегодня?

— Да, — прошептала Лиля, подняла голову и посмотрела ему в глаза.

Ему хотелось покурить перед сном, но он не мог стоять здесь ночью с этой девочкой.

— Ну, давай руку!

Она посмотрела на него с грустью.

— Ну, ну, — сказал Миронов, — тебе уже давно пора спать.

Дома он снял пиджак, развязал галстук. Ему послышался шорох в узком барачном коридоре, сердце его забилося. Он прислушался. Все было тихо. Он открыл окно, закурил. Одинокие фонари тускло освещали бараки — прижатые к земле длинные темные коробки, набитые спящими людьми.

Имеет ли он право на любовь этой девочки? Ей семнадцать лет. Когда он вернулся из армии, он поразил ее детское воображение. «Военная форма вам больше идет...» Теперь, воспитанная Фаиной, выросшая в бараке с его откровенными нравами, избалованная мужским вниманием, она ищет любви — ничего другого не было перед ее глазами. Нет, пусть поживет, поборется, обретет другую цель.

Он вспомнил Ларису. Это был совсем неплохой год, год, что он провел с Ларисой. И все же он оставил ее... Она сказала ему:

— Ты должен думать о себе. В конце концов ты должен подумать обо мне.

— А о нем? — спросил Миронов, они говорили о профессоре Павлове.

— Чем ты можешь ему помочь? Благородный жест? Ты представляешь, во что он тебе обойдется?

— Ты веришь во все это? — спросил он ее.

— Верю или не верю — это не имеет ровно никакого значения.

— Это имеет значение для меня.

— Ах, для тебя. Ну что ж, предпочитаю верить.

— А если это коснется твоего отца?

— Тогда к нам никто не придет, — убежденно сказала Лариса.

— Мне очень жаль тебя, — сказал Миронов, — к тебе действительно никто не придет, даже я.

— Как мне следует это понимать?

— Так, как ты уже поняла...

Миронов докурил папиросу. На улице было уже свежо и не чувствовались химические запахи заводов. Пахло весенним дождем.

Возвращаясь с работы, Миронов теперь всякий раз встречал Лилю. Она ждала его на скамеечке у дверей барака. Если было не слишком поздно, он присаживался на несколько минут.

— Что-то вас вчера не было видно вовсе? — спрашивала Лиля.

— В цехе задержался.

— В цехе, наверно... У своих девочек-лаборанток — вот где.

— Фантазерка ты, — смеялся Миронов.

Слишком далеко заходит игра, и надо положить ей конец. Он укрепился в этом намерении, когда убедился, что Лиля втянула и других девочек. Какая-нибудь из них обязательно сидела вечером на скамеечке и, завидя Миронова, бежала предупредить Лилю. Это открытие было неприятно Миронову. Смеющиеся взгляды девочек, их перешептывание, переглядывание, когда он проходил мимо них, гоже были ему неприятны.

Как-то к ним зашла Фаина.

— Вскружил ты голову моей девке.

— Что вы, Фаина Григорьевна, — засмеялся Миронов, — я ей в отцы гожусь.

— Ну уж в отцы! Десять лет — самая подходящая разница, если хочешь знать, — откровенно объявила Фаина.

Когда она ушла, отец, кашляя, сказал:

— Ловят тебя, как бобра за хвост. Фаина не хочет Елизавету в Москву отпускать, не хочет старшей сестре отдавать, вот и пристраивает.

Это было не так. Все шло от Лили, никакого умысла Фаины тут не было, смешно было говорить об этом.

Однажды Миронов шел по тропинке от бараков к станции. Лиля возникла неожиданно, он даже не заметил откуда, появилась из-за куста или неслышно догнала его. В руке она держала два синих билета. И в глазах ее мелькнула улыбка, удовлетворенная, по-детски довольная: увидела его мгновенную растерянность.

— Володя! — Лиля тряхнула длинными волосами. — Вот! — протянула синенькие листочки. — Это билеты на Утесова. Пойдем?

Этого концерта давно ждал город. Сюда, в глушь, придет Утесов. Миронов видел в глазах Лили торжество: она сумела достать билеты, решила подойти к нему, увидела на его лице то, что давно

хотела увидеть. Она стояла рядом, и совсем близко были ее обветренные губы, ее синие глаза, нежная шея в вырезе короткого ситцевого платья.

Что вложила она в эти листки, какие мечты, какие надежды? О чем думала, когда доставала их, потом терпеливо дожидалась часа, когда тропинка будет пустынно? Ему нужно сделать одно только движение, чтобы притянуть ее к себе.

Мионов не сделал этого движения. Он был очень прямолинеен, чересчур прямолинеен, в свои двадцать семь лет. То, что чувствовал он в эту минуту, казалось ему лишь испытанием его порядочности.

Лиля опустила руку, опустила голову, тронула ногой желтые листья, занесенные ветром на полевою гропинку.

— А шестнадцатого я занят, — сказал Мионов.

Это был шумный день в бараке, все собирались в Дом культуры. Девчонки стирали, гладили, шили. На Фаине было яркое, в цветах, платье, зеленая шаль. Она была еще тогда красива, со своим полным белым лицом и узкими, черными, горячими глазами. Но все ее тщеславие сосредоточилось на Лиле. Стройная, длинноногая, с собранными в клубок льяными волосами, одетая в гладкий серый костюм и туфли на высоком каблуке, Лиля выглядела красавицей. Девчонки с завистью льнули к ней, соседки шумно выражали одобрение. Увидев Мионова, Лиля скользнула по нему взглядом и отвернулась. Фаина посмотрела насмешливо и торжествующе.

С этого дня Лиля уже не встречала Мионова в дверях барака, не садилась у его окна. Она не избегала, но и не искала его.

Та зима была особенно тяжелой для Мионова. Взрывом на центрифуге убило молодого парня, помощника аппаратчика, только недавно кончившего ремесленное училище. На центрифуге отфуговывали полимер от бензина. Аппаратчица вышла в столовую и сказала помощнику: «Посмотри за этим делом». Процесс кончился раньше, чем она вернулась. Парень забыл перекрыть кран, попавший в аппарат воздух образовал с парами бензина взрывоопасную концентрацию. И взрыв произошел. Парня убило на месте.

Кто тут виноват? Сам парень? Он забыл перекрыть кран и не подал своевременно азот. Аппаратчица? Она не должна была оставлять аппарата на попечение своего помощника. Но парень этот знал назначение и действие центрифуги, и аппаратчица уже не раз оставляла его одного.

Обвинили Мионова. К этому времени он уже стал начальником цеха и монтировал опытную установку для производства ударопрочного полизола. На завод приезжал Коршунов, остался недоволен заводом, а Мионовым в особенности. Коршунов не хотел заниматься ударопрочным полизолом.

— Бросьте вы свои формулы! — сказал он Мионову. — Умные все стали!

Коршунов смутно представлял себе назначение тех или иных аппаратов, а спрашивать не спрашивал, чтобы не выдавать своей неосведомленности. Зато требовал чистоты на производстве, по чистоте судил о деловой пригодности людей. Он пришел в ярость, увидев в цехе грязь. Грязно было из-за монтажа установки, которую Коршунов запретил монтировать. Центрифуга была ее частью. В гибели мальчика Коршунов обвинил Мионова.

Вопреки всему Мионов пустил установку, получил первый в Союзе ударопрочный полизол. Министерство дало план выпуска продукции, хотя установка не была готова к промышленной эксплуатации. Получив первый выговор за самовольный монтаж установки, Мионов получил второй за ее слабую эксплуатацию.

Но это было потом, а тогда, в ту зиму, Миронова таскали по прокурорам, грепали на комиссиях, и, если бы не защита директора завода Богатырева, ему пришлось бы плохо. Лилю в ту зиму Мионов почти не видел, и она не знала о его мытарствах. Да и никто в бараке не знал. Мионов умел молчать о своих невзгодах в отличие от эгоистов, которые своими несчастьями делятся со всеми, а счастьем — ни с кем.

Весной жителей барака переселили в новые дома. Завод строил много домов, но бараки оставались — в них тут же поселялись жильцы других барачков в надежде жить попросторнее. Было решено бараки уничтожать.

В назначенный час пожарники окружили барак. Жильцы выносили вещи, грузили их на машины. Все было весело, оживлено — переезжали в новые дома, в благоустроенные квартиры. Вид пожарников в касках, брезентовых костюмах, с баграми и топорами в руках взвинчивал общее возбуждение.

Мионов вынес свой чемодан и связку книг. Фаина стояла в кузове машины, распоряжалась погрузкой. Лиля молча перетаскивала пожитки, то наклоняясь к вещам, то поднимаясь на носки и перебрасывая их в кузов.

Пожарники начали рубить крышу. В воздух взвился черный клуб пыли, поползли обрывки толя, гнилые доски обрушились на землю. Люди шумели, устраиваясь на машинах, расставляя и увязывая вещи.

Мионов смотрел на распадающийся барак. Лиля тоже смотрела. Грусть, которую он увидел в ее глазах, тронула Миронова. И его детство прошло в этом бараке, здесь он вырос, здесь умерла его мать. Но только для Лили барак был символом ее судьбы, она расставалась с ним, как со своим единственным и спасительным прибежищем. Мионов с нежностью и пониманием улыбнулся Лиле, она вспыхнула, увидев его улыбку. Потом стала на колесо и легко прыгнула через борт. Машины тронулись.

9

Теперь они жили в разных районах, и Мионов не видел Лилю. Фаину он на заводе встречал, но о Лиле с ней не разговаривал. Только однажды как бы мимоходом Фаина обронила, что Лиля уехала в Москву учиться.

В пятьдесят втором году работы на ударопрочном полизоле опять приостановились — требовалось серебро, чтобы выложить им аппарат; дать серебро мог только сам Меньшов. Ходатайство о серебре было послано в Москву давно, но ответа не было. Для продвижения этого и других дел завода Мионов выехал в Москву.

Мионову часто приходилось бывать в Москве. Москва вызывала, требовала, запрашивала, запрещала, проверяла, созывала экстренные совещания, требовала по ночам на доклады. Люди садились в самолеты и поезда и прибывали в точно назначенное время. Секретарша открывала тяжелую, обитую дерматином дверь: «Завод номер такой-то ждет». И в ответ из глубины кабинета раздавалось «вызову».

Администраторши гостиницы «Москва» знали Миронова. Он не шел у них по главной категории тех «областных товарищей», для которых заранее бронируются номера. Не был Мионов и тем обходительным командировочным, который носит в портфеле плитку шоколада, знает всех по именам и говорит: «Не уйду, буду сидеть всю ночь у ваших ног». Мионов был молод, серьезен, прокален солнцем и широкоплеч. И ему давали номер всегда, иногда сразу, иногда к вечеру. И оттого, что он нравился администраторшам гостиницы «Москва», у него сразу делалось прекрасное настроение, он становился веселым, с удовольствием прохо-

дил по знакомым этажам, заглядывал в буфет, в парикмахерскую, на почту, стоял у газетного киоска, здесь его тоже знали, спрашивали: надолго ли приехал.

У себя в номере Миронов вынимал из портфеля мыльницу, зубную щетку, бритвенный прибор, портфель из разбухшего командировочного превращался в умеренно-учрежденческий, и отправлялся в министерство.

Знакомая секретарша докладывала: «Завод номер такой-то при-был». Миронов слышал «вызову» и отправлялся в коридор покурить и потрепаться с другими «заводами номера такие-то», которые уже слышали свое «вызову» и тоже отправились в коридор покурить и потрепаться с другими «заводами номера такие-то». Все были знакомы, вместе когда-то учились или работали, ездили друг к другу на заводы, часто ругались, иногда сутяжничали, но были спаяны, как люди, отдающие жизнь одному делу. Миронова знали все, он был битый-перебитый, приказы с выговорами ему рассылались по всем заводам. Но все понимали, что он делает, и следили за тем, что он делает.

Его окружали, расспрашивали, поддразнивали, но он видел за этим интерес к своей работе. Его настроение становилось еще более приподнятым, хотя он и знал, что скоро начнутся его мытарства в бесконечных министерских кабинетах, где отказать может каждый, а разрешить должны все.

В этот свой приезд Миронов сравнительно быстро протолкнул заводские дела, и только вопрос с серебром не был решен. В главке надеялись получить резолюцию Меньшова через два дня. Как ни торопился Миронов домой, на завод, он решил подождать эти два дня: возвращаться на завод без серебра он не мог, без серебра нет установки, нет ударопрочного полизола.

Надежда встретить Лилю не покидала Миронова. Иногда на улице ему казалось, что идущая впереди девушка — Лиля. Он обгонял ее, оборачивался — это была не Лиля. И тогда он решил зайти к ее сестре Вере. Веру он не знал, знал ее имя-отчество — Вера Петровна, знал фамилию мужа, известного молодого ученого.

Миронов поехал на Большую Калужскую по адресу, полученному в справочном бюро.

Дверь ему открыла Вера. Миронов сразу догадался, что это она: такие же, как у Лили, голубые глаза, льняные волосы, только ниже ростом, немного поблекшая, изящная, интеллигентная.

— Здравствуйте,— сказал Миронов, улыбаясь,— я из Сосняков.

Тревожная тень пробежала по ее лицу. Она пропустила Миронова в комнату и стала в дверях.

— Моя фамилия Миронов.

Она сразу успокоилась.

— Я вас знаю. Присаживайтесь.

Комната была обставлена модным по тому времени тяжелым темно-коричневым гарнитуром — низкий, во всю стену сервант, застекленные книжные полки, квадратные кресла чешского или немецкого происхождения.

Окна выходили во двор, в комнате было темно, и оттого и сервант, и журнальный столик, и кресла, и книжные полки, и книжные корешки казались еще темнее.

— Вы надолго в Москву?

— Завтра уезжаю.

Оттого, что он просто так, без особенного дела, без предупреждения, без звонка явился в чужой, незнакомый дом, Миронов чувствовал себя неуклюжим и назойливым провинциалом. Подыскивая оправдание своему приходу, он сказал:

— Мы с Фаиной Григорьевной работаем на одном заводе, раньше жили в одном доме, вот и решил зайти. Может быть, вы хотите что-либо передать.

Она слегка, едва заметно пожала плечами:

— Особенно ничего. Лиля уехала к маме.

— Как у нее с институтом?

— Год она пропустила, не решила, в какой подавать. Может быть, в этом году поступит, хотя всюду конкурс.

— Лилия не скоро вернется?

— Я не знаю.

— Передайте ей привет из родных Сосняков.

— Спасибо, передам,— что-то грустное и тревожное опять промелькнуло на ее лице,— я их совсем не помню. Сосняки.

Выйдя на улицу, Миронов оглянулся... Новый академический дом, бдительный лифтер в подъезде, академическая дама в кружевной гипюровой блузке... И нет уже, наверно, той Лили, Лили в ситцевом платье, с билетами в руках, Лили, печально смотрящей на горящий барак... Нет уже, наверно, этой Лили.

На следующий день Мирснгов явился в главк. Начальник главка не был таким веселым и радушным, как вчера. Он строго посмотрел на Миронова и протянул ему ходатайство завода о выделении серебра. На углу рукой Меньшова было написано: «А золота вам не требуется?!»

Прошло полгода после этой поездки. Однажды в цехе Фаина подошла к Миронову и попросила устроить Лилию на завод.

— Лилия вернулась?

— Что ей делать в Москве? Не для нее Москва. И здесь ничего хорошего. Не оформляет ее Ангелюк, подлец. Отцом-матерью попрекает. А она при чем? Я ей отец, я ей и мать.

— Пусть придет завтра в заводоуправление.

И вот он увидел Лилию. Он увидел другую Лилию. Не ту, с которой расстался два года назад, и не ту, какой думал встретить ее в Москве, в приличном и чинном академическом доме. Это была другая Лилия — вызывающая, беззастенчивая, в модной клетчатой юбке, с сумкой через плечо. Она еще больше вытянулась, и было в ней что-то усталое — отпечаток, который накладывает беспокойная жизнь на очень нежные лица. И Миронов понял, что были для нее эти два года, что была для нее эта новая жизнь, в которой, по его мудрым предположениям, она должна была найти новую цель.

Она улыбнулась ему по-приятельски.

— Будешь устраивать меня?

— Попытаюсь.

— Лапонька! Ведь я ничего не умею делать.

— Научишься.

Обращаясь к Богатыреву, Миронов ставил его в неловкое положение: директор завода не занимается наймом и увольнением рабочих, он должен сделать исключение не ради ценного работника, а ради неквалифицированной подсобницы.

— Абросимова — кадровая аппаратчица,— сказал Миронов,— а ее приемной дочери мы не даем работу. Куда ей идти?

Богатырев посмотрел на Миронова: он знал, кто такая приемная дочь Фаины, и хотел убедиться: знает ли это Миронов? И убедился — знает.

Некоторое время Богатырев молчал, наклонив седую голову. Потом закрутил скрепки вокруг ладони и поднял трубку.

— Ангелюк! Богатырев говорит. Что же будет с подсобниками? Ставим аппаратчиков, платим сверхурочные... В какой цех ни приду — один и тот же разговор, слушать надоело! Привыкли, понимаешь, высокими материями заниматься. Ты это брось! Вот Миронов у меня, сегодня в ночь некого на загрузку аппаратов ставить. Пришла к нему подсобница, ты не оформляешь... Ты погоди, погоди, не перебивай, меня ее фамилия не интересует. Я по фамилиям всех помнить не могу и не хочу... Да не перебивайте вы меня, товарищ Ангелюк! С директором завода разговариваете! — И без того багровая шея Богатырева налилась кровью. — Извольте слушать! Кто, что — этого я знать не хочу, это ваше дело знать. И ваше дело обеспечить производство рабочей силой — понял? Иначе тебя поставлю на подсобные работы. И Миронова поставлю, и всех начальников корпусов, чтобы не бегали ко мне, а делом занимались. Думайте об интересах завода, черт возьми! Сегодня ночью объеду цеха и, если увижу хоть одного аппаратчика на подсобных работах, завтра выгоню с завода начальника корпуса и Ангелюка в придачу... Понял? Это я без вас знаю. И будем требовать бдительность. Но тормозить производство не позволю. Не пропускаете по анкете — найдите другого человека. И чтобы я больше о подсобниках не слыхал!

Он бросил трубку. Помолчал. Размотал с ладони скрепки. Хмуро и устало проговорил:

— Сделано твое дело. Иди.

А Лиля сидела в коридоре, закинув ногу за ногу, и курила — молодая, красивая, хорошо одетая. И все думали: «Какая красивая, какая счастливая». А у нее обрывалось сердце в предчувствии унижительного разговора, который ей предстоит, оскорбительного отказа, который услышит. Всюду ее встречали любезной улыбкой — она сползала с лица, как только выяснялось, кто Лиля такая.

Ангелюк оформил Лилю. Но Миронову сказал:

— За кого хлопочешь, за сволочей?

— Сам ты сволочь! — ответил Миронов.

Ангелюк испуганно посмотрел на него и отошел.

В спецовке, с подобранными под косынку волосами Лиля была совсем не такая, как вчера, простая, беленькая, растерянная девушка, впервые пришедшая на завод, на незнакомую и малопонятную работу.

— Не трудно тебе?

— Нисколько.

Он смотрел на нее.

— Я так тебе благодарна, — сказала Лиля, — надоело унижаться.

— Месяц проработаешь — перейдешь на аппарат.

— Спасибо.

— Я хотел зайти к вам завтра.

— Завтра? Я думала с утра поехать в Верхний, надо кое-что купить.

К вечеру вернусь.

— Вот совпадение, — сказал Миронов, — я тоже еду. У меня назначена встреча. Поедем вместе?

— На машине? Это будет замечательно. Руль дашь?

— Ты едешь?

— Езжу.

— Хорошо?

— Чего я буду сама себя хвалить? Посмотришь. Я езжу здорово.

Она ездила «здорово» в том смысле, что гнала машину, как человек, убежденный, что с ним ничего не может случиться. Но с такими все и случается.

Мионов любил быструю езду, сам ездил быстро, ему нравились ее смелость и бесстрашие, и только в опасных местах он предупреждал: поворот, развилка, переезд, деревня. Шоссе было пустынно, изредка попадались одинокие машины, укрытые брезентом и обвязанные веревками, ранние безропотные трудяги, несущие на усталых колесах пыль дальних рейсов.

— Один раз я проехала за рулем от Москвы до Харькова, — говорила Лиля, — слово! И сразу выучилась, никто не поверил, что я первый раз. А потом села Танька, моя подружка, машина завияла — и в кювет. Обошлось! Мы смеемся, а Таньку трясет, больше за руль не садилась. А я ездила и на «опеле-капитане» и на «победе». Будь у меня московская прописка, я бы и права получила. Здесь можно права получить?

— Конечно.

— Надо будет получить. Это ничего выглядит — девушка-шофер?

— Неплохо.

— Не хуже, чем чихать в твоём корпусе?

— Не хуже.

Они подъехали к бензоколонке. В проезде стоял самосвал.

— Алло, шеф! — крикнула Лиля шоферу. — Ты здесь не один.

— Успеешь, — ответил шофер, садясь в кабину.

— Отчаливай! — смеясь, сказала Лиля.

В магазине продавщицы были ей знакомы. И всем хотелось посмотреть, кого наконец от х в а т и л а себе Лилька. Продавщицы улыбались и перешептывались, старались ей угодить, чтобы она угодила ему — извечная солидарность одиноких женщин, живущих отблеском чужого счастья.

Мионов был далек от мира вещей. Но сегодня ему это все нравилось, казалось праздничным и обаятельным.

— Я ведь тряпичница, — весело говорила Лиля. Она приложила к груди кофточку, вопросительно посмотрела на Миронова.

— Тебе нравится?

— Замечательно.

Она положила кофточку на прилавок.

— Тугриков не хватает.

— Я тебе дам.

— С какой стати?

— Мне хочется, чтобы у тебя была такая кофточка.

Она повернулась и посмотрела ему в глаза.

— И учти, — сказал Мионов, — у меня с собой есть еще деньги.

— Давай их лучше прокутим, — сказала Лиля.

Они шли в толпе по солнечной воскресной улице мимо магазинов, кафе, закусовых. Он держал ее руку в своей, и Лиля улыбалась ему дружески и доверчиво.

Наталья Кирилловна Елохова, доктор химических наук, профессор, ученая московская дама, возвращалась из командировки и остановилась в Верхнем, чтобы повидать Миронова. Командировка ее продолжалась три месяца, она торопилась домой, в Москву, и все же задержалась в Верхнем. От Миронова зависела судьба ее очередной работы, которая должна принести ей очередную порцию славы.

Это была сорокалетняя, грузная, коротконогая женщина, с квадратными плечами и смуглым лицом, миловидность которого портило выражение собственной значительности, какое бывает у ученых женщин, сознающих свою необходимость человечеству. Она умела показывать свою работу, смело отстаивала правду и справедливость, под коими понимала прежде всего собственные интересы. Притом, однако, была

талантлива, работающая, прогрессивна, поскольку прогрессивным было дело, которым занималась.

В поездке ее сопровождал научный сотрудник института Ленья, молодой человек, у которого всегда был такой вид, как будто он вчера прилетел из Сочи. Его знали все химики, хотя в химии он ровным счетом ничего не сделал. Наталья Кирилловна позволяла себе оказывать ему покровительство за счет науки, в которой она, как известно, была первой, а сама эта наука, как известно, была первой среди других наук.

Лиля заказала яичницу — была голодна. Миронов сосиски — тоже был голоден. Наталья Кирилловна ограничилась мороженым — уже позавтракала. Ленья тоже уже позавтракал, но потребовал и яичницу, и сосиски, и мороженое.

— И по рюмке чего-нибудь, — объявил Ленья бодрым голосом командировочного человека, дорвавшегося наконец до компании, где ему не запретят выпить.

— Я за рулем, — сказал Миронов.

— Пока поедем, все выветрится, — беззаботно сказала Лиля, — выпей, Володя, я поведу. Ты выпей, а я не буду.

Она казалась ему изумительной за этим столиком, в этом павильоне, на этой улице — стройная, с длинными льняными волосами, падающими на светло-синюю куртку на золотых пуговицах.

— Армянский коньяк три звездочки — мимо, армянский коньяк четыре звездочки — мимо, «двин» — о! — сказал Ленья, читая карточку вин.

Наталья Кирилловна не повернулась к нему, только звякнули лауреатские значки на ее груди.

— Ленья, вы не рано принимаетесь за коньяк?

— Раньше сядешь — раньше выйдешь, — ответил Ленья и посмотрел на девиц, сидевших за соседним столиком.

— У вас красивая куртка, — сказала Наталья Кирилловна Лиле.

— Вам нравится? А вот...

Она начала развязывать пакет, в котором лежала купленная кофточка. Но Наталья Кирилловна уже заговорила с Мироновым. Похвалив Лилину куртку, она отметила присутствие Лили за столом, чтобы больше к ней не возвращаться и приступить к делу, ради которого приехала.

Лиля растерянно посмотрела на нее и медленно завязала шпагат на пакете.

— Надо форсировать, Володя, — сказала Наталья Кирилловна, — фактор времени — решающий. Успеем до ноября — попадем на соискание: вы понимаете, как это важно.

— Успеем, сделаем, — ответил Миронов, глядя на Лилю и улыбкой призывая ее к снисходительности. Сейчас они поговорят и разойдутся, и не будет никакой Натальи Кирилловны, и не стоит обращать на нее внимания.

Слушая себя, Наталья Кирилловна продолжала:

— В случае необходимости я напишу в правительство. Через голову Селезнева. Пусть он получит мое письмо не от меня, а из правительства. Этих людей больше ничем не пробьешь.

— Селезнев шатается, не удержится Селезнев — в ближайшем времени скovyрнется, — объявил Ленья.

— От вашего завода на соискание войдете вы, — продолжала Наталья Кирилловна, — от института я, Леонид и Шебодаев. Шебодаев бездарность, но он еще не получал сталинской, ему хотят дать, его надо вставить обязательно.

Наталья Кирилловна говорила так откровенно не потому, что сталинская премия была ей нужна, у нее их было две, а потому, что полу-

чение сталинской премии означало признание ее работы, признание ее личности, а неполучение означало непризнание.

— Работу закончим в срок,— сказал Миронов сухо,— что касается выдвижения на премию, то ни один работник завода не может быть включен в список института.

— Что за чепуха! — возразила Наталья Кирилловна.

— Таково решение партийной организации,— сказал Миронов, хотя такого решения не было.— Как вы съездили?

В обращении с собой Наталья Кирилловна не допускала такого тона. Но уж очень нужен был ей Миронов.

— Ужасные гостиницы,— сказала она.— И во всем подражание Москве. Поезжайте в Прибалтику — там все самобытно, а у нас под одну гребенку. Построили в Москве такие павильоны,— она обвела рукой павильон, в котором они сидели,— пожалуйста, и здесь и тенты, и мороженое, и девицы.— Она кивнула в сторону девиц, на которых поглядывал Ляня.

— А чем вам не нравятся эти девушки? — спросила вдруг Лиля.

— Вам они нравятся?

— Очень. Молодые. Очень нравятся.

Медали на груди Натальи Кирилловны звякнули.

— Ляня, попросите счет!

— Вы же их не знаете,— кривя губы, продолжала Лиля,— может быть, они совсем не то, что вы думаете! Пьют вино — разве это запрещено? Ведь мы тоже пьем.

— Я предпочитаю девушку с книгой, а не с бутылкой вина,— сказала Наталья Кирилловна.

— А они предпочитают бутылку вина. Кому до этого дело?

Миронов взял у официантки счет.

— Володя, Володя! — Наталья Кирилловна протянула одну руку к счету, другой раскрыла сумочку.

— Вы у меня в гостях,— ответил Миронов, расплачиваясь.

Наталья Кирилловна встала.

— Я жду от вас подробного письма, Володя. А еще лучше — жду вас в Москве.

Лиля сидела, опустив голову на руки.

— Ты на меня сердишься?

— Что ты, Лиля.

— Я плохо вела себя, извини. Только знаешь, сидит здесь. А что она видела, что знает? Она в автоматных будках не ночевала, ее, как мышь, не гоняли из угла в угол. Еще смеет осуждать! Любовника содержит, корова! Она порядочная, другие не порядочные!

— Не расстраивайся,— сказал Миронов,— она маленько идиотка.

— Думаешь, я не могла в Москве остаться? Сколько угодно! За меня большие люди хлопотали. Сама не захотела.

— Слушай, она категорична, бестактна. Но она не делает людям подлостей — уже это хорошо. У нас с ней общая работа.

— А я тебе помешала,— печально проговорила Лиля.

— Нисколько. Не она мне нужна, я ей нужен.

— Тебе еще попадет за меня.

— За что это?

— Устроил, встречаешься... Ведь здесь не Москва, всё знают.

— Никогда не говори об этом. Никогда, слышишь!

Она покачала головой.

— Нет, Володя, не принесу я тебе счастья. Ты талантливый, все это говорят, а я тебе только помешаю. Видишь, даже вести себя не умею.

— Мне никто не нужен, кроме тебя,— сказал Миронов.

— Я совсем не такая, как ты думаешь. Ты не знаешь, что я повидала, чего хлебнула, и никогда не узнаешь. Я давно приехала и все не решалась встретиться с тобой. Обстоятельства заставили, не могла никак устроиться на работу. Я не хотела идти на наш завод, но никуда не брали.— Она закрыла лицо руками.

— Не страшно,— сказал Миронов,— справимся.

— Меня посадят,— сказала Лиля,— и тебя, если будешь со мной. Нет, нет, ничего не надо. Ничего не хочу.

— Я люблю тебя, всегда любил, я ждал тебя,— сказал Миронов.

— Ничего не выйдет, Володя,— она вынула платочек, вытерла глаза,— тогда не вышло — и сейчас не выйдет, и ничего ты не знаешь.

— Прощу тебя, успокойся, поговорим в другой раз. Идет?

— Идет,— прошептала Лиля и заплакала опять.

А улица шумела и веселилась — главная улица областного города в солнечный воскресный полдень. Толпы людей растекались по магазинам, кафе, закусочным, и новые толпы вливались в нее из боковых улиц и переулков. За столиками кафе люди пили, ели, смеялись, разговаривали, дети играли в скверике, в воздухе дрожала мелодия песенки. И не верилось, что кому-то нет места, нет выхода, нет надежды.

На следующий день он подошел к ней в цехе.

— Прости меня, Володя,— сказала Лиля.

— Это за что?

— Прости, что я поехала с тобой, я не имела права.

— О чем ты говоришь?

— Я люблю другого человека,— прошептала Лиля.

— Так.— Он видел, что она говорит неправду.— Это тебе не мешает встретиться и поговорить со мной.

— О чем нам говорить?

— Я прошу тебя.

— Ну, хорошо,— сухо проговорила Лиля,— завтра.

Груды соли лежали на берегу. По реке, уже окутанной предвечерним туманом, тянулись баржи с нефтью, с серным колчеданом, лесом, углем.

Лиля останавливалась, наклонялась, морщилась, жаловалась, что ей жмут туфли.

— Ладно,— добродушно сказал Миронов,— эта дорожка не для твоих туфель.

Они присели на доски, издававшие смолистый запах сосны и сухой, щекочущий запах свежих опилок. Лиля сняла туфли, вытряхнула песок.

Миронов, улыбаясь, смотрел на нее. Не так уж, наверно, жмут ей туфли. Просто хочет удержаться в состоянии враждебности. Но это ей не удастся. Сейчас она рассмеется, улыбнется ему, как улыбалась позавчера в магазине и кафе, как улыбалась, когда они шли в толпе по оживленной улице и он держал ее руку в своей.

— Ну, так что? — вытряхивая туфли, спросила Лиля.

— Может, поженимся?

— Я тебе все сказала: я люблю другого.

— Это мы уладим,— засмеялся Миронов.

— Нам нечего улаживать. С чего ты взял? Смешно. Ты совсем не то подумал. Мне хотелось посидеть за рулем. Ты сам предложил. Если бы я знала, что ты так поймешь, я бы не поехала. Я поехала с тобой просто по-дружески. Неужели мы не можем быть хорошими товарищами?

Он взял ее за плечи, повернул к себе:

- Я люблю тебя.
 Освобождаясь, она повела плечами.
 — Я тебе сказала: я люблю другого человека. И я уеду к нему.
 — Врешь, конечно. Кто он?
 — Парень. Какая тебе разница? Простой парень. Не всем же быть знаменитостями.
 — И ты уезжаешь к нему?
 — Уезжаю.
 — Зачем ты устраивалась на завод?
 — Тебе жалко, что зря устраивал?
 — Ах ты дура, дура.
 — Только тебя я должна любить, почему? Ты ведь тогда отказался от меня.
 — Тогда тебе было семнадцать лет,— сказал Миронов.
 — Ведь ты жил без меня, и я жила без тебя, и дальше так жить будем. И не хочу я жить здесь — мне здесь все противно, все равно уеду.
 Он взял ее за руку.
 — Никуда ты не уедешь.
 — Ты так думаешь, имеешь на меня права?
 — Конечно.
 — Даже так! Может быть, считаешь, что я у тебя в долгу? За то, что на работу устроил? Пожалуйста, могу рассчитаться, если тебе это требуется.

Он молча смотрел на нее, на ее измученное лицо. Она закрыла лицо руками.

— Прости меня, Володя, прости, это ужасно, что я сказала, но мне так тяжело, у меня ничего нет, ведь я предупреждала тебя: не надо было нам видаться,— она вскочила,— прости меня, Володя, дорогой.— И, увязая в песке, побежала от берега.

Другие события заслонили прошлое, отбросили его далеко назад. Лилю Миронов почти не видел. Но однажды к нему подошла Фаина, сияя, сказала:

- Поздравь, Володя, девочка у нас теперь, дочка.
 — Лиля вышла замуж?
 — Вышла, да не вышло. Ничего. Чей бы бычок ни скакал, а телочка наша...

Лилия снова появилась на заводе. Она изменилась, стала еще красивее. В улыбке ее, обращенной к Миронову, было что-то новое, доброе, что-то от прошлого, которое касалось только их двоих.

Всё в ней было законченное, сложившееся, завершённое. Раньше она ни на кого не была похожа. Теперь она стала похожа на других, таких же красивых, уверенных в себе зрелых женщин.

Как-то Миронов поехал на стройку жилых корпусов. Разыскивая прораба, он поднялся на третий этаж и увидел женщин, их было пять или шесть, гревшихся возле железной времянки в пустой, только что оштукатуренной, еще не побеленной и не оклеенной комнате.

Они сидели тихо, как сидят строители, знающие, что среди этих бесчисленных пустых комнат их никто не найдет, если только сами они не будут шуметь, не выдадут себя своими голосами.

Грязные, еще не промытые окна не пропускали солнечного света: в комнате было темновато и от запаха сырости, от красного накала железной времянки еще темнее.

Лилия сидела на полу, вытянув ноги в стеганых брюках и крошечных зеленых носочках. На полке возле печки сушились ее валенки. Тело-

грейка была наброшена на плечи для того, чтобы можно было прислониться к сырой стене. Под курткой была голубая, низко вырезанная майка, обнажавшая тонкие руки, нежную шею и худую грудь с заметными ключицами. Ушанка была сдвинута на затылок.

— Баранова не видели?— спросил Миронов про прораба.

Фаина махнула рукой.

— Ищи в шалмане.

— Посиди с нами, Володя,— сказала Лиля,— все мы холостые, любую выбирай.

— Темновато здесь, разглядеть вас трудно.

— Не пугай его, Лилька,— вступила в игру Фаина,— а то в самом деле напугаешь.

— Сейчас Баранова пришло — сгонит он вас с теплого местечка,— сказал Миронов.

— Куда гнать-то,— возразила Фаина,— нет материала, не подвезли материал.

Лиля лениво улыбнулась.

— Для себя работаем, собственные квартиры строим, сами себе начальники, ты нас лучше не трогай.

— Вас тронешь,— ответил Миронов.

Это был единственный случай, единственная встреча, когда Лиля вела себя так свободно. Шутливость ее была добрая, дружеская, но она завершала их прошлые отношения: Лиля говорила и шутила с ним так, как говорила и шутила с другими.

10

Будущему историку покажется, быть может, самым поразительным то, что мы называем прозаическим словом: «заводской коллектив». В людях, объединенных, на первый взгляд, только производственным процессом, он увидит прообраз будущего общества. Завод для рабочего — это его завод, репутация завода — его репутация. Он хочет, чтобы завод был знаменит делами, а не клязумами.

Коршунов не придавал этому значения: общественным мнением надо руководить, а не руководствоваться. И с Мироновым не сговоришься, прав Ангелюк. Но признаться в этом Коршунов мог только самому себе: выглядеть в данную минуту умнее других, в этом и состоит секрет руководства.

Коршунов позвонил прокурору в присутствии Ангелюка.

— Для обвинения Миронова не собрано никаких данных,— ответил прокурор,— основания к прекращению дела бесспорны.

— Я рад, что все кончилось благополучно,— сказал Коршунов и положил трубку.— Ну что ж, никто не хотел плохого Миронову, но обстановку на заводе надо разрядить. Я думаю, управление согласится перевести Миронова на другой завод. Хорошие инженеры всюду нужны.

Он опять поднял трубку и велел соединить себя с Верхним.

— Кого вы там найдете? — усмехнулся Ангелюк.— Время десять, они свои часы соблюдают.

Ангелюк и на этот раз оказался прав: в управлении никого не было.

— Рады поскорее домой удрать,— продолжал Ангелюк,— а что дома? Телевизоры смотрят... Обывательщина! Еще придумали в субботу на два часа раньше отпускать.

Коршунов приказал соединить себя с квартирой Лапина. Лапин был дома.

— Женя,— сказал Коршунов,— в связи с делом Колчина на заводе создалась нездоровая обстановка, ее надо разрядить. Было бы правильно перевести Миронова на другой завод. Прошу меня поддержать.

— Позволь,— возразил Лапин,— ты настаивал на создании комиссии.

— Но комиссии нет.

— Будет, вероятно...

— Почему «вероятно»?..

— Здесь не уверены, что нужна проверка.

— А ты?

— Я тоже не уверен.

— Почему такое изменение позиции?

— Выясняются новые обстоятельства.

— Что ты имеешь в виду?

— Прокурор прекратил дело, ты знаешь?

— Знаю. Что из того?

— Валерий,— сказал Лапин,— неужели ты не видишь, что происходит?

Ничего больше Коршунову не надо было говорить, он все хорошо понял. Интонации голоса, малейшие оттенки голоса он мог бы различить и по самому дальнему междугородному телефону, вырос на этом. И если уж Лапин так осмелел...

Коршунов пристально посмотрел на Ангелюка, тот неподвижно сидел в кресле, только глаза его внимательно следили за Коршуновым. Какая, однако, тупая, злобная морда...

— Матвей Кузьмич,— спросил Коршунов,— Миронов утверждает, что именно вы посоветовали ему перевести Колчина в архив. Так это? Ангелюк продолжал сверлить его своими свинными глазками.

— Я у вас спрашиваю, Матвей Кузьмич?

Ангелюк усмехнулся:

— Миронову надо было взять в цех инженера-механика, способного... Вакансии для этого способного не было. Я и сказал Миронову: есть в архиве вакансия, хочешь — перемещай. Но про Колчина я ничего не говорил и имени его не упоминал.

— Но ведь никого, кроме Колчина, он перевести не мог, механиком у него работал Колчин.

— А это меня не касается. Спросил про вакансию — я ему сказал, что есть в архиве.

— Некрасиво вышло,— сказал Коршунов,— делали вместе, а сваливаете на одного.

Кончено с Ангелюком. Он не намерен верить свою судьбу какому-то Ангелюку.

— Позвоните в седьмой корпус,— приказал Коршунов,— и выясните, когда работает аппаратчица Кузнецова. Если работает сейчас, пусть после смены зайдет ко мне.

И вот Лиля сидит в кабинете Коршунова, в том самом кресле, в котором несколько дней назад сидел Лапин.

В ее облике, в модной прическе что-то московское, что-то от Столешникова и Петровки. Коршунов с сочувствием и симпатией смотрел на нее. И она заброшена судьбой в Сосняки так же случайно, как и он сам. Да, легко понимать издержки времени теоретически, но когда это перед твоими глазами...

— Я не был знаком с вашим отцом лично, но, конечно, слышал,— начал Коршунов.— его знала вся страна. Его имя напоминает великое время, он был из той железной кагорты. Что делать? Все получилось

так ужасно. Но прошлого не вернешь. Я давно хотел поговорить с вами, но опасался, что разговор этот будет вам неприятен. Вы в чем-нибудь нуждаетесь?

— Все у меня есть.

— Вы замужем, у вас дети?

— Дети есть, мужа пока нет.

— Квартира?

— В новых корпусах живу.

— Хотите учиться?

— Ученая уже.

— Кстати, каким образом Колчин взял у вас дихлорэтан?

Когда поднялась, мне моя лаборантка говорит: «Приходил инженер, пробу взял». Ну взял и взял, мне-то что!

— Вы его раньше знали, Колчина?

— Знала, что инженер по аппаратам, — небрежно бросила Лиля.

— Ну, а так... Он с вами никогда не разговаривал? Ведь он давно на заводе. Еще при вашем отце работал.

Скрытый смысл этой фразы заставил Лилю поднять голову, посмотреть на Коршунова.

— Ничего не знаю!

— Поразительные есть люди, — сказал Коршунов, — зачем он вас припутал?

— Чем же он меня припутал? Взял дихлорэтан? Так ведь он инженер, имел право.

— Я того же мнения.

— Ну и слава богу, — насмешливо сказала Лиля.

Трудно говорить с девкой, держится, как в милиции... Коршунов посмотрел на стенные часы — они показывали половину первого.

— Вот как я вас задержал, — он повернулся к телефонному столу, — сейчас вызову машину, вас отвезут.

— Не беспокойтесь, — сказала Лиля, вставая, — доеду...

Лиля пересекла площадь и подошла к трамвайной остановке. Последний трамвай еще должен быть, а будет или нет — неизвестно.

Лиля поехала, застегнула верхнюю пуговицу пальто, не то холодно, не то поздно. Светились огнями проходная, несколько окон в заводоуправлении, верхние этажи корпусов. На площади никого не было, ночная смена уже заступила, вечерняя разъехалась.

Показались огни автомашины, Лиля побежала на шоссе, машина промчалась, не останавливаясь. Лиля хотела вернуться на остановку, но показались еще огни. Лиля подняла руку. Машина, это был маленький автобус, резко затормозила.

Шофер открыл дверцу, и Лиля услышала громкое «джи-джи, буджи-буджи, бу-бу-бу»... Она вошла в автобус и увидела молодых слесарей Студенкова и Виктора и двух девочек с завода.

— Добрый вечер, Елизавета Петровна, — сказал Виктор.

Студенков и обе девушки тоже поздоровались.

— Привет, ребята, — ответила Лиля, — вы откуда?

— «Средь шумного бала, случайно...» — запел Студенков.

— Повторяешься, повторяешься, Студенков, — закричала девушка, которую Лиля знала в лицо, лаборантка из ЦЗЛ.

Виктор посмотрел на Лилю так, будто хотел извиниться за глупое вселье своих друзей, все это, может быть, несмешно, но нам смешно. Девушки были хорошенькие, в широких юбках, надетых на шуршащие нижние юбки, в рубашках, похожих на мужские. Мода новая, и сами

они новые, как называла Сонечка тех, кого находила молодыми. И лица новые, и голоса, и даже слова.

— Вы откуда, ребята? — спросила Лиля.

— «Средь шумного бала, случайно...» — снова запел Студенков.

— Заткнись ты! — крикнул Виктор.

— Осторожнее: он может укусить, — засмеялась вторая девушка, похожая на хорошенькую негрятяночку.

— Думаете, просто быть душой общества? — сказал Студенков. — Никто не берется. Устаешь, иссякаешь, изматываешься. А я и без того уже уставший, измотанный, издерганный на работе.

Виктор сказал Лиле, что они едут из Верхнего, были на балу в честь комсомольцев, уезжающих на Север на строительство новых электростанций и промышленных предприятий...

— По призыву ЦК КПСС от восемнадцатого мая! — объявил Студенков. — В счет пятисот тысяч комсомольцев! Я один из пятисот тысяч!

— Ты уезжаешь, Студенков? — удивилась Лиля. — Ты же на установке.

— Установка пущена, разве вы не знаете? — сказал Виктор, радуясь возможности сообщить такую новость новому человеку. — И девчача едут...

Лилия с удивлением посмотрела на девочек, а те смеялись и веселились...

— Мы думали, придется поездом возвращаться, — сказала лаборантка из ЦЗЛ, — а нам дали автобус.

— Ура! — закричал Виктор. — Споем что-нибудь в честь водителя — простого нашего рабочего парня!

Они встали у кабины и спели веселую песню — что-то спортивное, туристическое и лихое, что-то такое, чего никогда не пела и не слышала Лиля.

И шофер высовывался из кабины, и кричал им тоже веселое и лихое, и прибавлял скорости, и помчал автобус по пустому ночному шоссе.

А Лиля сидела на скамейке под надписью «для детей и инвалидов» и улыбалась им.

— Елизавета Петровна, — услышала она басок Виктора, — а вам не хочется петь?

— Мне? Я не знаю слов, — ответила Лиля.

— Зачем слова? — закричал Студенков. — Можно мычать. Важен темп, ритм. Джибл-джибл. Даже Виктор с этим справляется.

— Заткнись или защищайся! — Виктор встал в боксерскую стойку — последний раунд они провели в мчащемся автобусе, и прекрасные девушки смотрели на них.

— Сам заткнись! — заорал Студенков. — Щажу в тебе своего презмника.

— Брек! — закричала одна из девушек.

Виктор смеялся, и девушки смеялись, и Лиля смеялась вместе с ними.

— Завтра в первую смену — опять не выспимся, — сказал Виктор.

— Не выспимся, — сказали девушки радостно.

— А ты, Виктор, не едешь в Минусинск? — спросила Лиля.

— Ой, не могу, — Студенков схватился за живот, — Виктор в Минусинск!

— Виктор едет на всесоюзную спартакиаду, — сказала девушка из ЦЗЛ.

— Виктор у нас поедет в Мельбурн, — с улыбкой глядя на Виктора, сказала девушка, похожая на негрятяночку.

— Виктор не выйдет даже в полуфинал,— объявил Студенков,— у Виктора нет удара левой.

— У тебя у самого нет удара левой,— обиделась девушка, похожая на негротяночку.

— В Мельбурне наши веса: полулегкий, легкий, первый полусредний, второй средний и полутяжелый. В остальных весах серебряные,— сказал Виктор.

— Брось ты свои прогнозы.— сказал Студенков,— что ты прочил зимой, вспомни, когда наши поехали в Кортино д'Ампеццо?

Они заспорили об очках, голах, медалях.

Девушка из ЦЗЛ пересела к Лиле на скамейку и сказала:

— Совсем не хочется спать. Правда? Хороший автобус.

— А я вижу огни Сосняков,— объявил Виктор.

— Музыка играет гуш,— сказал Студенков.

11

Лилия встретила Ирину Колчину после работы на трамвайной остановке. Сдержанно кивнула ей — так обычно здоровалась со своими бывшими школьными подругами, не любила их, по ним видела, как стареет сама.

Ирина была такая же, как и в школе — толстая, курносая, недалекая, но добрая, только старая. А ей столько же, сколько и Лиле.

— Как живешь?

— Спасибо, живу.

В вагоне они сидели друг против друга. Громыхая и звеня, трамвай несся по проложенным в степи рельсам, задерживаясь на редких остановках, похожих на полустанки, с невысокими деревянными платформами и одиноким фонарем посередине. Узкие деревянные тротуары, переброшенные через шоссе, соединяли платформы с воротами заводов, номера или названия которых кондукторша объявляла монотонным голосом: «двадцать четвертый», «восемнадцатый», «Корд», «Калинина», «ТЭЦ», «насосная», «регенераторный»... И только когда трамвай стал приближаться к городу, она объявила первую улицу — «Овражная».

— Про комиссию знаешь? — спросила Лилия.

— Какую комиссию?

— Насчет твоего отца. Выясняют.

— А чего выяснять, нечего выяснять.

— Довели его, говорят. Миронов довел, знаешь Миронова?

— Глупости все это.

— А ты не слышала?

— Не слышала.

Странное дело: Лилия верила ей. Не хотела верить, а верила. Она не дружила с ней после школы. Встретятся на улице или в проходной, кивнут друг другу, перекинутся словом — вот и все. И все же Лилия верила ей.

— Ребята твои где?

— В лагере.

— Мать?

— В Пензу уехала, сестры там у нее.

— Одна живешь?

— Одна.

— Заехать к тебе, что ли, на минуточку, давно в этих местах не была.

— Чего же, буду рада.

Давно не сходила Лиля на этой остановке. Бараки, где жила она когда-то, снесли, новых домов не построили — заводы слишком близко. И только на берегу реки, как и раньше, стояли итээровские коттеджи.

Они обветшали, старые, облупленные, заставленные сараями и навесами. И та же твердая, как камень, гропинка, строительный мусор, сваленный по оврагам, продуктовый ларек в выцветшей голубой краске, с пачками «беломора» и дешевыми конфетами за стеклом.

И этот старый, запущенный дом, в котором она бывала девочкой. Колчин приходил к ним в барак, брал ее поиграть с Ириной. Фаина одевала ее почище — в гости идет, к инженеру, в хороший дом. Тогда этот дом действительно казался Лиле хорошим, особенным: ничего, кроме барака, она не видела. Она вспомнила запах ватрушек, которыми ее здесь угощали, румяных горячих ватрушек со сладким творогом. Теперь здесь пахло пылью, скрипели под ногами разошедшие половицы, шуршали старые обои, вздувшиеся и отставшие от стен.

Флегматичная Ирина была возбуждена. Лиля Кузнецова, франтиха, столичная штучка, сидит у нее в комнате, нога на ногу, курит сигареты, весело рассказывает о своей жизни, о своем неудачном замужестве.

— Он работал в кино — оператором на кинохронике, — рассказывала Лиля. — Ну что тебе сказать? Пока мы ездили на футбол или ходили в ресторан, все было мило, а как началась настоящая жизнь — оказалось не то. Дома ему скучно, всем недоволен, сам не знает, чего хочет... И мамочка его во все вмешивалась. Он у нее единственный. Он жил в Верхнем, а я в Сосняках... Как-то он долго не приезжал, дней пять, наверно. Я к этому привыкла, он иногда неделями не появлялся — уезжал на съемки. А в этот раз я знала, что он в Верхнем и никаких съемок нет. Мне это было безразлично, я уже понимала, что жизни не будет. С ним не ладилось, с мамашей его не ладилось, и на Фаину они косились, а разве я позволю на Фаину коситься? Все понимала, а обидно: заставляет меня сидеть одну, я тогда была уже на шестом месяце. В это время, сама знаешь, все задевает, все кажется обидным. Вечером я собралась и поехала в Верхний. Открывает дверь его мамочка, увидела меня: «Эдика нет дома», а сама стоит в дверях, растерялась. Я вхожу, Эдик мой сидит за столом с девицей, выпивают, рука его у нее на плече, — Лиля засмеялась, — смотрят на меня, онемели от ужаса. А мамаша шепчет за моей спиной: «Лилечка, Лилечка»... Я стою и раздумываю, что надо в таких случаях делать? Ведь полагается что-то делать, скандалить, тарелки на пол кидать. А я ничего не могу и ничего не хочу, только уйти. У меня скоро ребенок должен быть. Повернулась и ушла... Приехала домой, собрала его барахлс и отослала с Фаиной, — Лиля опять засмеялась, — ну а что им там Фаина выдавала, за это я, конечно, не отвечаю.

— Вот как у тебя получилось, — Ирина покачала головой, — такая красotka... Как ты в Москву уехала, ну, думаю, не вернется наша Лилька, устроит свою жизнь.

— Люди везде одинаковые, — пожала плечами Лиля. — А мне серьезные никогда не попадались. Все такие, знаешь, для компании. Пока я была рядом — были хороши со мной, а когда рядом не было — забывали. Я перекидывала сумочку через плечо, — Лиля взмахнула рукой, показывая, как она перекидывала сумочку через плечо, — и никто не спрашивал, куда я пойду, есть ли мне куда идти. Знали, что мне куда идти, и потому не спрашивали. А что они могли для меня сделать? Ни-че-го!

— Да уж, — сочувственно проговорила Ирина, — пришлось тебе хлебнуть.

— И знаешь, — грустно улыбаясь, продолжала Лиля, — только таким мальчишкам я и нравилась. И откровенно сказать: и они мне тогда

нравились, просто так нравились, по-человечески. Веселые, беззаботные, живут, как птицы, и чего их шпыняют! И как они говорили, мне нравилось: «кир», «верзать», еще как-то, я уже не помню.

Лиля улыбнулась своим воспоминаниям, потом тряхнула головой:

— Вот так... Я и решила после Москвы — все! Надо прибавиться к берегу. Заведу семью, выпишу мать, хватит! Вот и выскочила. Выскочила и обожглась.

— Помогает он тебе? — спросила Ирина.

— Ты что! — ответила Лиля. — Что я, не могу собственного ребенка прокормить? Нужны мне его деньги!

Ирина вздохнула:

— Тебе хорошо, ты красивая, ты свое возьмешь.

Жалуясь на судьбу, Ирина рассказала печальную историю своих неудач. Отец был причиной ее невзгод и несчастий.

— Ни один человек ко мне не заходил. «Не желаю я чужого человека в доме, не пропишу, на порог не пушу», — вот как он поставил вопрос. Могла я удержать кого?

— Что ж ты, маленькая была? Совершеннолетняя. Имела право привести кого хочешь. Тем более мужа.

— Боялась я его, немела, честное слово! Взгляд, как у Николая Первого, я в кино видела, такой оловянный взгляд. Он меня ненавидел, и мать ненавидел, весь дом, всю семью и детей моих ненавидел.

— За что так?

— Спроси его! А ведь, когда я была маленькая, любил меня. Мать рассказывала, и я сама помню, смутно, конечно. А потом изменился. Жизнь тяжелая, отца расстреляли.

— Кого расстреляли?

— Его отца. Дедушку моего.

— Когда?

— А когда и других.

Лиля ошеломленно смотрела на нее.

— Мы и бумажку получили, его реабилитировали.

Из альбома, где лежали фотографии, Ирина достала конверт, протянула Лиле сложенную вчетверо бумажку. Такое же извещение, какое получила Лиля об отце: «За отсутствием состава преступления дело прекратить...»

— Ему было плохо. А мы при чем? — продолжала Ирина. — Мы чем виноваты? Нас за что ел? Грешно про покойника плохое говорить, но, знаешь, характер был такой, трудно передать. Что я от него вытерпела, боже мой, жизни не было, даже сейчас бьет по нервам. Поверишь — как вечер, так двери на запоры, сидим, как в домзаке, не войти, не выйти. Станет за занавеской и на улицу смотрит. На чердаке себе ну прямо сторожевую вышку устроил, из окошка всю улицу видно, все подходы. И никого я не могла к себе привести. Не то что мужчину — подруги и то не допускал. Ведь, кроме тебя, никто не ходил к нам. А как ты в Москву уехала, так все, никого не пускал.

— Чего же он боялся, может, деньги копил?

Ирина скосила глаза.

— Откуда им быть, деньгам? Как там ни говори, семья пять человек. Конечно, детей своих я на собственные содержала. Но все равно, дом — пай выплатили. Не в деньгах дело. Не мог страх перебороть. Как дедушку расстреляли, так он уже больше не мог страх перебороть.

— У меня тоже отца расстреляли.

— Ты молодая была, что ты понимала?

— Думаешь, мне от этого было легче?

— У тебя один характер, у него другой, — не стала спорить Ирина.

- Слушай, Ирина. а почему он отравился?
— Не знаю.
— Нехорошо, Ирина!
— Что такое, что ты меня стыдишь? — с беспокойством спросила Ирина, — объясни, что случилось?
— Сама должна понимать. Миронова обвиняют.
— Ничего не знаю, ничего он не рассказывал. Только не из-за Миронова. Умер человек, и все его дела с ним умерли.
— А из-за чего? Скажи!
— Не из-за Миронова, и все. И не хочу я ничего касаться. Лиля взяла ее за руку.
— Ирина, мы столько всего пережили, должны же мы быть людьми. Ирина молчала, и Лиля молчала. Потом Ирина спросила:
— Что же ты от меня хочешь?
— Скажи, что знаешь.
Ирина опять помолчала, потом сказала:
— Когда судили твоего отца, он свидетелем был. Запутался.
— Он не запутался, — резко проговорила Лиля.
Ирина молчала.
— Что же ты молчишь?
— Разве я за него отвечаю?
— Я всю жизнь за отца отвечала.
Ирина посмотрела на нее исподлобья:
— Я не хотела ничего говорить, ты заставила.
— Все это было, — сказала Лиля, — и я на твоего отца зла не имею, и не таких, как он, ломали... Ну, а теперь? Теперь из-за чего человека обвиняют? Разве это правильно? Пойди скажи, что Миронов ни при чем. Ты дочь, тебя послушают.
— Куда я должна идти? — колеблясь, спросила Ирина.
— В партком.
— Стоит ли мне? Разберутся. Разве тебя кто обвиняет? И Миронов отобьется. У вас что, все снова?
— А что снова... У нас и не было ничего.
— Ах, — вздохнула Ирина, — как вы тогда хорошо танцевали, я до сих пор помню, все любовались, такая молодость была хорошая, помнишь, я нарочно ушла, чтобы вам не мешать, боялась одна домой идти, я ведь трусиха была, а пошла, пусть, думаю, ее проводит, а у вас ничего не вышло, жалко... Ведь ты нравилась ему...
— Он любил меня тогда, — сказала Лиля, — но, когда он меня любил, у меня не было веры. Я ни во что уже не верила и в любовь не верила.
— Брось ты, — Ирина махнула рукой, — у кого чего не было в жизни, где они, святые-то?
— Нет, — сказала Лиля, — ты его не знаешь. Он себе ничего не прощает и другим не прощает... Да и старая я уже...
— Ну да...
— Разве такой была я в восемнадцать лет? Если бы я была рядом с ним, он бы не заметил, как я постарела. Мужчины не замечают, когда женщина стареет на их глазах... Время нас развело.
— Увидишь, — сказала Ирина, — перепадет и тебе счастье, довольно ты натерпелась. Я ладно — и условия такие были тяжелые, и дети. Но ты... Прямо жалко было на тебя смотреть, честное слово! — Ирина вздохнула. — Все мы разбрелись после школы, встречаемся, как чужие. Помнишь Власа Егорова?
Она начала перебирать однокашников. Хотя далекие, эти имена будили теплые воспоминания.

— А моя жизнь? — Ирина махнула рукой. — Вспоминать страшно. Я ему смерти желала. Раньше в монастырях грехи замаливали, а теперь где? — Она посмотрела на Лилю, осторожно спросила: — Ты как, веруешь?

— Нет.

— Ну, ну, я просто так спросила.

12

Расколов тогда Колчина, Ангелюк его больше не беспокоил. Колчин работал на прежнем месте, получил квартиру, допуск к операциям с заграничными фирмами.

Однажды к его столу подсел молодой человек, улыбнулся, как старому приятелю. Колчин привык к развязности молодых снабженцев и сухо проговорил:

— Слушаю вас.

Молодой человек молча улыбался. Колчин увидел бордовую книжечку, лежащую в его ладони. Мелькнули фотография, фамилия и еще что-то, чего Колчин не разобрал и не запомнил. Удостоверение захлопнулось.

— Скажите, что вы на некоторое время отлучитесь.

Колчин неторопливо собрал бумаги, положил в средний ящик стола. В боковом ящике лежали паспорт, профсоюзная книжка, метрики дочери. Если он возьмет их с собой, то там их отберут, если оставит здесь, то потом, когда вскроют стол, возможно, отдадут жене. Он долго жил под страхом ареста, давно ждал тюрьмы и действовал с хладнокровием опытного заключенного.

Колчин оглядел пустой стол, снял нарукавники, положил их в ящик. Проходя мимо секретаря, сказал:

— Я иду на территорию.

В коридоре, не глядя на молодого человека, спросил:

— Мне можно заехать домой?

— Не надо.

Колчин прошел мимо знакомых комнат, молча кивнул двум слугивцам, спустился по лестнице, пересек вестибюль заводоуправления, пошел к трамвайной остановке. Они хотят, чтобы никто не знал, что его уводят и куда уводят, и надо делать так, как они хотят. По тому, как его взяли, Колчин понимал, что не все еще потеряно. Иначе пришли бы домой ночью, предъявили бы ордер, сделали бы обыск, соблюли бы формальности.

В трамвае молодой человек сидел рядом с Колчиным, смотрел мимо него в окно и держал руку на кармане.

Колчин смотрел на знакомую дорогу. Он жил здесь не больше года, а ему казалось, что здесь прошла жизнь, тут он обрел надежду. Посадят его или отпустят — жизнь его кончена. Он увидел свой дом за оградой палисадника. Сердце его сжалось от тоски за себя, за своего ребенка, маленькую девочку, не знающую, куда сейчас везут ее отца. И он понял, что сделает все, пойдет на все, лишь бы вернуться домой.

В комнате стоял запах хлорки, знакомый Колчину по тюрьме, куда он носил отцу передачи. Окно было замазано белилами до верхней рамы, за которой виднелись прутья железной решетки. У окна стоял стол и два стула.

Вошел плотный человек в военной форме, с двумя шпалами в петлицах гимнастерки, в хромовых сапогах. делавших его еще ниже и толще.

Он быстро взглянул на Колчина. И на его лице появилось особенное выражение — возбуждал в себе ненависть к человеку, который виновен только в том, что его надо уничтожить.

Он сел за стол, откинул на себя ящик, вынул пачку допросных бланков, ученическую ручку и круглую невыливающуюся чернильницу и поднял ее на свет, проверяя, есть ли чернила.

— Фамилия? Имя? Отчество? Год рождения? Место рождения?

Не найдя на столе пресс-папье, он помахал бланком в воздухе, отложил в сторону и положил перед собой чистый лист. Задумался. Потом прислонил ручку к чернильнице, откинулся назад и впервые посмотрел на Колчина.

Игра! Его хотят деморализовать, сделать уступчивее, сговорчивее, податливее. Пусть! Лишь бы вырваться отсюда. Хоть на один день. Он уедет, скроется, переждет тяжелое время: они не будут разыскивать его, ведь никакого преступления он не совершил.

— Так, Корней Корнеевич,— следовательно точно выговорил имя и отчество Колчина,— как вам работается в Сосняках?

В его голосе звучало угнетающее, казенное дружелюбие: «Я буду разговаривать с тобой как с человеком. Но и сам будь человеком».

— Работаю. Спасибо.

— Вы оборудованием занимаетесь?

— Да.

— Оборудование уникальное, есть где развернуться инженерной мысли. Только вот частые аварии. А ведь мы валютой расплачиваемся. Может быть, они нам всучивают барахло? — Сощурившись, он смотрел на Колчина.

Колчин понимал значение этого вопроса: это он принимал оборудование от иностранцев.

— Видите ли, фирмы сами монтируют оборудование. Мы принимаем его только после испытаний под нагрузкой. Затем имеем срок для рекламаций. Если обнаруживаются дефекты, фирма сама их устраняет.

— Чем же вы объясняете аварии и поломки?

— Мне трудно судить, я не занимаюсь эксплуатацией оборудования. На каждую аварию составляется акт. Там указаны ее причины.

— Акт — дело формальное. Вы инженер, должны иметь свое суждение. И вы советский инженер, должны болеть за дело. А? Должны вы болеть за дело?

— Конечно.

— На аварийных актах есть и ваша подпись. Есть ваша подпись?

— Должна быть подпись главного механика. Иногда его представителем бываю я.

— А говорите: трудно судить! Нельзя так, Колчин. Вы подписываете акты и пытаетесь нас убедить, что вы не в курсе дела. Так, Колчин, мы с вами ни до чего не договоримся.

— Видите ли...

— Что «видите»? Ясно спрашиваю: откуда аварии и поломки? А вы мне отвечаете «видите»? Будьте искренни, Колчин!

— Большинство аварий происходит из-за неопытности рабочего и технического состава,— сказал Колчин,— оборудование новое, идет процесс освоения и...

Колчина перебили так, как перебивает учитель ученика, который наконец ответил правильно, но если дать ему продолжать, то он испортит свой правильный ответ:

— Значит, аварии происходят из-за людей?

— Да, из-за неопытности...

— Позвольте нам судить: опытность это или неопытность. Перед вами один вопрос: кто виноват в авариях оборудования, мы или фирмы? Вы утверждаете, что фирмы поставляют нам исправное оборудование, так ведь?

— Так.

— Значит, мы ломаем?

— Получается так.

— «Получается»... Для чего вы запутываете дело, Колчин? Я вас спрашиваю: наши люди ломают аппараты?

— Да.

— Кто эти люди, их фамилии?

— Надо посмотреть акты.

— Посмотрите. Они у вас есть?

— У меня их нет, не я отвечаю за этот участок.

— Моя хата с краю?

— Я не говорю, что это хорошо,— испуганно проговорил Колчин,— но...

— Мы все за это отвечаем,— снова перебил его следователь.— А вы, Колчин, в особенности. Мы давно вас ждали. Ждали, что вы придете, расскажете о безобразиях, которые творятся на ваших глазах. А вы не пришли — не захотели.— Он сокрушенно покачал головой.— А какие прекрасные возможности у вас были. Помочь государству, доказать свою искренность, свою преданность. И этих возможностей вы не использовали. Вы не хотите разоблачения вредителей и саботажников! Вы хотите, чтобы они продолжали вредить и саботировать?

— Я честно работаю и ничем не давал повода...

— Как же не давали?! Ведь вы скрыли свое прошлое. Почему вы скрыли?

— Это была моя ошибка. Я хотел спокойно работать.

— «Хотели спокойно работать»? Значит, если бы вы написали правду, вам бы не дали спокойно работать? Только за то, что ваш отец осужден? У нас не трогают невинных людей. Наши законы справедливы. Вы считаете их справедливыми?

— Да, конечно.

— Почему же вы их обошли?

Колчин молчал.

— Вы их обошли, чтобы проникнуть на завод! У вас есть родственники за границей?

— Нет.

— Вы это утверждаете? — так, будто ему известно совсем обратное, спросил следователь.

— У меня нет родственников за границей.

— Допустим,— сказал следователь опять так, будто ему известно совсем обратное,— почему же вы выбрали работу, связанную с иностранцами?

— Я ее не выбирал. Я имею дело с иностранцами по должности.

— Но ведь вы пробрались на эту должность. Напиши вы все честно, вас бы не допустили на нее. А вы скрыли, пошли на обман. Покрываете вредителей и ищите связи с иностранцами. Вот какой круг получается! Или вы не понимаете, кого они к нам присылают? Может быть, эти иностранцы наши друзья?

— Я имею с ними только деловые связи. Никаких разговоров...

— Будь вы бдительны, Колчин,— сказал вдруг следователь,— вы бы предотвратили не одну диверсию. Слабость наших людей составляет не техническая отсталость, а политическая беспечность, слепое доверие к людям. Об этом нам с вами, Колчин, всегда надо помнить.

Эти два слова «нас с вами», сказанные с дружедлюбной досадой, открыли перед Колчиным новую психологическую перспективу. Он хотел, чтобы с ним разговаривали, как с обыкновенным человеком, рядовым, простым человеком, хотел подчиняться сильной, властной воле, которая бы думала за него, решала за него, берегла и охраняла его. Именно это он услышал в словах следователя. Он понимал, что стоит за этим. Пусть! Лишь бы выйти отсюда на день, на час, а так он уйдет от них.

— С какими иностранцами вы имели и имеете дело?

Колчин перечислил фирмы, у которых принимал оборудование.

— Как они к нам относятся?

Подыскивая выражения, которые понравились бы следователю, Колчин сказал:

— Вряд ли они нам сочувствуют.

— Из чего это видно?

— Они люди другого мира.

— Конкретнее, конкретнее! Почему вы утверждаете, что они нам не сочувствуют?

Колчин понял, что попался.

— Особенных фактов нет,—осторожно проговорил он и тут же испугался злой гримасы следователя,— но они думают, что мы не сумеем эффективно эксплуатировать аппаратуру, не опытные, не располагаем грамотными кадрами.

— Факты, факты! Что, это у них на лице написано? Факты дайте! Не забывайте, где вы находитесь, Колчин! Надо отвечать за свои слова. Домыслы и предположения никого здесь не интересуют. Только факты! Выкладывайте, выкладывайте! Факты, имена, разговоры!

— Я не знаю, насколько это существенно. Один их мастер, Мюллер, он уже уехал в Германию... Он вел монтаж девятого корпуса. Так вот Мюллер говорил, что эти девчонки, он имел в виду наших аппаратчиц, переломают оборудование и в конце концов взорвут завод. Мол, в Германии на таких аппаратах работают старые, опытные рабочие, а у нас девчонки.

— Он при вас это говорил?

— Да.

— Кто еще был при этом?

— Он при всех это говорил, никого не стеснялся. Он знал дело, но брюзжал, всем был недоволен, говорил, что у нас плохая организация.

— Все же при ком он говорил, что девушки взорвут завод?

— При всех. И при начальнике корпуса Загороднем. И при директоре комбината Кузнецове. При всех.

— Кузнецов слышал, как он говорил про взрыв завода?

— Все это слышали.

— Кузнецов слышал, как он говорил про взрыв завода?

— Слышал.

— И как на это реагировал?

— Как все— смеялся. Но он уважал Мюллера. И когда Мюллер обращался к нему, удовлетворял его требования.

Колчин хотел добавить: «Потому что эти требования были справедливы», но не добавил. Какое это имеет значение? Мюллер, старый, сварливый немец, давно уехал. И все, что болтал Мюллер, не имеет никакого значения. А Кузнецов в его защите не нуждается. По сравнению с Кузнецовым этот человек — никто!

— Кто инструктировал аппаратчиков? Он же, Мюллер?

— Да. Инструктаж вела фирма.

— Я спрашиваю: Мюллер инструктировал аппаратчиков?

— Мюллер.

— Так, — задумчиво проговорил следователь. Посмотрел на Колчина. И вдруг засмеялся. — А ведь в девятом корпусе были аварии. А, Колчин! Были?

— Были.

— И вы не видите никакой связи?

Колчин молчал. Только теперь дошла до него эта нелепая и страшная логика.

— А ведь связь-то есть, Корней Корнеевич! — улыбаясь, продолжал следователь. — Немец проговаривается, что будут аварии, и аварии происходят. Немец заранее сваливает все на аппаратчиц, а их отдают на инструктаж этому же немцу. Немец прямо говорит об этом директору завода, а тот только посмеивается и спешит удовлетворить все требования немца. И никого это не настораживает.

Некоторое время он молчал. Потом тронул допросные бланки, подвинул к себе, опять отодвинул.

— Как же нам быть, Колчин? Вы понимаете, как вы будете выглядеть в этом протоколе? Плохо будете выглядеть! Неприглядно.

Он обиженно вздохнул, как бы досадуя на Колчина за то, что приходится выручать его.

— Вам следует хорошенько подумать, Колчин. Подумать, как жить дальше, как вести себя. Мы вас ждали — вы не пришли. Пойдем еще раз вам навстречу, дадим еще раз возможность доказать свою искренность. Но смотрите, как бы эта возможность не оказалась последней! — Твердо выговаривая слова, он продолжал: — Я не буду составлять протокола. Вы сами напишете все, что здесь рассказали. Что рассказали и что еще вспомните. А вам есть что вспомнить, Колчин! Мы от вас многого не требуем. Только факты! Аварии, их виновники, Мюллер, разговоры Мюллера, Загородний, Кузнецов. Повторяю: только факты! Все это вы могли бы рассказать на любом собрании и выполнили бы этим свой долг.

Если он откажется, то не выйдет отсюда, если не подчинится, то погибнет. А за что он будет погибать?! Честь? Кому она нужна! Совесть? Что с ней делать! Кто узнает о нем, кто пожалеет? В отделе созовут митинг, объявят его врагом народа. Выцарапаться отсюда во что бы то ни стало! Сохранить себя, жизнь сохранить свою! Он понимает, чего они от него хотят, этого они никогда не получают, он им не помощник уничтожать людей. Только бы выйти за эти двери...

— Когда я должен это написать?

— Недели вам хватит?

«Недели...» Колчин старался не выдать своей радости:

— Надо все акты подобрать.

— Значит, в следующую пятницу. В семь часов вечера вас устраивает?

— Да.

— Придете сюда. Пропуск на вас будет готов.

Дорога до улицы была самой длинной в его жизни, он не верил, что ему дадут ее пройти. Он шел по коридору, спускался по лестнице и ухватился за перила, когда через входную дверь увидел свет и солнце улицы, почувствовал ее запахи, услышал ее звуки — это были звуки и запахи жизни.

Главное — усыпить их бдительность, не выдать себя. Пусть думают, что он оправдывает доверие. Они всемогущи, а он их перехитрит. Кто-то невидимый, всемогущий следит за каждым его шагом, движением, помыслом — он обманет этого невидимого соглядатая.

Он шел по улице не оглядываясь, оглянувшись, он бы выдал себя. Не оглядывался он и в трамвае, и когда шел от трамвайной остановки к дому, и когда отпирал калитку. Даже не запер — для этого надо было бы обернуться.

На работе он, как обычно, принялся за свои дела. Но не хлопотал, как раньше, — это уже не имеет значения. Если его объявят вредителем, никто не вспомнит, каким хорошим работником он был, скажут, что он был плохой работник: вредитель не может быть хорошим работником.

Кругом люди работали, разговаривали, смеялись. Как они могут смеяться! Люди! Эти люди знали, что его отец ни в чем не был виноват. Честный железнодорожный трудяга! И судьи это знали. И все же записали в приговоре: «...перевыполняя на своем участке план ремонта паровозов, тем самым маскировал вредительскую работу остальных членов диверсионной группы». Люди, заполнившие клуб, встали и молча выслушали приговор — расстрелять! Колчин тоже встал, смотрел на сцену, слушал приговор. Когда их уводили, отец глазами поискал его в зале, повернулся и пошел, окруженный конвоирами. Колчин увидел его старую спину, седые волосы на затылке...

Нет! Он так не пойдет, не понесет голову на плаху. Только бы обмануть невидимого соглядатая, который стоит рядом с ним, стережет каждое его движение.

Колчин разыскал папки с аварийными актами, проверил, когда Мюллер вел монтаж девятого корпуса. Он делал это открыто, документы лежали на его столе, уйдя на обед, тоже оставил на столе, вечером не сдал секретарю, а положил в ящик стола. Пусть смотрят, пусть проверяют!

Все что нужно он выписал на отдельный листок: даты аварий, номера актов, фамилии причастных лиц. Это была еще не та бумага, которую требовал следователь, это был уже ее конспект. Ничего дурного в ней не было — обыкновенный рабочий документ, эти факты никому не угрожают, все равно он им ее не отдаст.

Но когда Колчин положил листок в карман, неожиданное и спасительное чувство защищенности пришло к нему. Он выбрался из трясины на твердую дорогу. Место, на котором он стоял, оказалось совсем не страшным. Страшным было то, к чему эта дорога вела. Но Колчин и не собирался идти по ней: он составил конспект только для невидимого соглядатая.

Он лежал возле его сердца, этот листок, но не жег, а защищал, как панцирь, как броня. Теперь Колчин не боялся даже ареста. Пожалуйста! Он честно собирался все написать. Но не успел. Не успел, что поделаешь. Вот он, листок с записями. Хотел, но не успел. Не успел.

Мысль убежать Колчин отверг. Куда он убежит без документов? И здесь он уже живет, работает, уже через все прошел. На новом месте надо все начинать сначала, снова пройти через все.

Он должен уехать в Челябинск, только так он их проведет. В Челябинске создается агентство завода, постоянное представительство для приемки оборудования от уральских поставщиков. В Челябинск они за ним не поедут. Но на комбинате есть только один человек, который может его туда послать. Этот человек Кузнецов. Единственный человек, чья воля не оспаривается никем и выполняется всеми.

В среду Колчин был на совещании у Кузнецова. Вводился в эксплуатацию двадцатый корпус. Пуск корпуса — событие равное пуску завода, каждый корпус здесь равен заводу. Все знали: пустить его к первому невозможно. Но все знали: первого числа корпус будет

пущен. Этот высокий, сухошавый, еще стройный человек в военном френче, с копной соломенного цвета волос на голове, отдавал распоряжения с решительностью, на которую способен человек всесильный. Колчин не сомневался в том, что он его спасет. Не только потому, что это в его собственных интересах. Кузнецов ценит людей, полезных делу, которому сам беззаветно служит.

Совещание кончилось. Несколько человек задержалось возле Кузнецова, договаривая свои дела. Наконец ушли и они.

— Что у вас, Корней Корнеевич?

— Петр Андреевич, — сказал Колчин, — пошлите меня в Челябинск. В самой просьбе не было ничего необычного. Необычным был дрогнувший голос Колчина.

— Почему вы хотите ехать в Челябинск?

Скажи Колчин, что эта работа ему интересна, привлекает его, что он, допустим, хорошо знаком с заводами-поставщиками или имеет полезные для комбината связи, то есть выдвини он мотив, связанный с общими интересами, — Кузнецов, возможно, отнесся бы к его просьбе благосклонно. Колчин не выдвинул такого мотива. Он должен играть наперняка — послезавтра пятница. Ему мало получить согласие. Его должны отправить в Челябинск немедленно, сегодня, с последующим оформлением, так, чтобы Ангелюк узнал об этом, когда он будет уже в Челябинске.

— Меня вызывали... — сказал Колчин.

Кузнецов нахмурился:

— По какому делу?

— Видите ли, мой отец...

— Это известно. Зачем вас вызывали?

Колчин умоляющим взглядом смотрел на Кузнецова. Он не имеет права ничего рассказывать. Сказав, что его вызывали, он уже совершил преступление.

Кузнецов сделал вид, что не замечает этого взгляда. Кто этот человек: болван или провокатор? Приходить сюда с таким сообщением, в такое время.

— Они интересуются аварийностью...

— Пусть это вас не беспокоит, идите и работайте.

— Они считают, что я пробрался на завод, чтобы иметь дело с иностранцами.

Кузнецов понял намек. Но не от Колчина должен он получить такую информацию.

— Идите и работайте!

— Умоляю вас, переведите меня в Челябинск. Сегодня же. Это очень важно. И не только для меня.

— На Урал мы пошлем другого человека, — сказал Кузнецов.

Считая Кузнецова лицом неприкосновенным, Колчин совершил роковую ошибку, упоминая его имя, придал себе ценность, которая вредила ему.

Будь это десять, даже пять лет назад, Кузнецов вмешался бы. Теперь он этого не сумел. Не те были годы. Он сам под огнем, теперь все под огнем. Кузнецов защищал не себя. Построить крупнейший в стране химический комбинат было делом его жизни, его революционным, партийным долгом. Из-за одного человека, пусть даже невинного, он не мог ставить под удар громадный коллектив самоотверженно работающих людей. Ему ничего не стоило направить Колчина в Челябинск. Но это означало пойти на тайный сговор. И с кем?

Через двадцать лет Колчин отказывался от показаний в том самом доме, где двадцать лет назад эти показания давал. Как и тогда, им владело паническое стремление выйти отсюда. Но он вышел не очищенным, а еще больше запутанным в своем преступлении. Он не мог сказать, как Ангелюк: я т а к это тогда понимал, и тогда он это так не понимал.

Жизнь прожита, и плохо прожита, ничтожно прожита, подло прожита. С этим к кому идти, кому об этом сказать? А сказать надо. Встать и рассказать все. Ему надоело ждать и пугаться каждого шороха. Тогда он был молод, дорожил жизнью, спасал семью. Теперь у него нет молодости, нет семьи, сколько ему осталось жить? Пусть люди слушают, пусть ужасаются. Подробно, обстоятельно, по порядку. Главное, по порядку. Чтобы был во всем порядок, чтобы было все ясно, все чисто. Во всем разобраться и навести порядок. И когда он наведет порядок, все встанет на свои места, станет ясным и понятным. Станет ясным, понятным, чистым. Чистым, понятным, ясным. И будет ясно и понятно, с чего начать, к кому идти, что сказать. И что сказать и как сказать. Это очень важно, как сказать, чтобы поняли.

Он вернулся к себе, просмотрел ящики стола, привел в порядок служебные бумаги. Главное — навести порядок, порядок надо навести. Эти бумаги в корзину, эти — секретарю, эти сложить по датам, по числам, по вопросам, чтобы был полный порядок. Скрепки валяются — в коробочку их. И булавки в коробочку. Грязь, крошки, ящики выбить, вытряхнуть. Запущено, грязно, плохо, очень плохо. Все должно быть чисто, ясно, аккуратно.

Потом он пошел в седьмой корпус. Он все продумал, все сделает по порядку. Главное — удержать в голове этот продуманный, ясный порядок, иначе все перепутается и он сделает не так, и опять не будет ни ясности, ни чистоты, ни аккуратности. Прежде всего поговорить с Фаиной. Ей ничего не надо объяснять — все поймет, мудрая женщина. Она знает, что он не такой плохой, старался делать и хорошее. Она одобрит, подбодрит его, простая умная женщина. Они с Фаиной здесь с первых камней, с первых кирпичей, разве здесь нет и его труда? Неужели это не учтут, не оценят? Фаина подтвердит, она все подтвердит, умная, добрая, сердечная женщина.

Признавался ли когда-нибудь Колчин Фаине в том, что совершил? Вряд ли. Но Фаина все понимала. Простила ли ему это? Может быть, и не простила. Но когда Колчин пришел в барак к ней и к маленькой Лиле, Фаина не прогнала его. Она была простая женщина. Ставя себя на место Колчина, она не знала, выдержала ли бы она все эти мучения. Что сделано, того не вернешь. Кое-кто обходил ее и Лилию за версту. Колчин не обогел, а пришел к ним. Не оттолкнула она и его помощи. Если человек сделал плохое, нельзя мешать ему делать хорошее. Колчин брал Лилию поиграть с Ирочкой — пусть побудет в хорошем доме: что видит она в бараке? Пьянь, ругань, деревенщину. И одеть Лилию ей хотелось получше, и накормить послаще бедную сиротку.

Колчин вошел в корпус, поднялся в цех. Фаины у аппарата не было. У аппарата стояла Лилия. И он сразу увидел того, в френче, с золотой шевелюрой, молодого, решительного. Так она была похожа на него.

Колчин стоял возле лабораторного столика и смотрел на Лилию, как смотрел на нее на маленькую. Но как тогда, так и сейчас он ничего не мог ей сказать. Тогда бы она не поняла, сейчас поймет так, как поймут все.

Теперь он хорошо знал, как поймут все. Его никто не оправдает. Он хотел все рассказать, но не может. Не может, чтобы это узнала Лиля.

Размышляя об этом, он делал вид, будто рассматривает журнал на лабораторном столике. Потом налил в пробирку дихлорэтан.

В эту минуту он не думал о том, что берет дихлорэтан у Лили. Перед тем, что ему предстояло, уже ничто не имело значения.

14

Миронов знал, что Колчин взял дихлорэтан в смену Лили, знал, что вызывал ее в больницу, но не придавал этому значения. У него не было способности к собиранию и сопоставлению фактов — качество, которое люди называют здравым смыслом. Но когда он узнал обстоятельства дела, узнал, в какой степени оно касается Лили, им овладело беспокойство за нее.

Он подошел к Лиле в цехе. Она сидела перед аппаратом, облокотившись о лабораторный столик — поза, присущая аппаратчику, когда процесс в колоннах идет нормально. Она обернулась, увидела Миронова, улыбнулась ему. Лицо ее было спокойно, доброжелательно, безмятежно. Видимо, ничто не беспокоило ее, не волновало. Миронов был рад этому. И все же в эту минуту он искал на ее лице что-то другое. Он перелистал журнал.

— Как у тебя?

— В порядке. Что так поздно?

— На сактаме был.

— Ну как?

— Дает продукт.

— Ехал бы ты в Москву, Володя. Человеком бы стал. А мы бы отсюда тобой любовались.

— А здесь я кто?

— Что здесь? Ведь ты све-ти-ло... Только и слышишь: Миронов, Миронов. В Москве получишь лабораторию, институт, будешь номер один.

— Неплохое предложение.

Миронов вынул из кармашка пиджака очки, поднял к глазам, бросил привычный взгляд на приборы. Потом кивнул Лиле — перо на диаграмме поползло вверх.

Она отошла к шиту, тронула ручку регулятора, постояла, вернулась. Миронов опустил очки в кармашек.

— Слушай, — сказала Лилия, улыбаясь, — а почему ты очки не носишь, ведь ты близорукий.

— Привык.

— Знаешь, что у тебя глаза красивые, хочешь нравиться женщинам?

— Возможно.

— А однажды я тебя видела в очках, — сказала вдруг Лилия.

— Иногда я их надеваю, в машине, например.

— Тогда я тебя увидела в очках впервые, — продолжала Лилия, — приехала кинопередвижка, показывали картину на баскетбольном поле, я забыла какую картину, но неважно. Ты немного опоздал и стал как раз передо мной. Мне было приятно видеть тебя в очках, какой-то ты стал совсем другой. Народу на площадке было много, стояли тесно, меня прижали к тебе, но ты этого не замечал. Я тихонько вывела пальцем на твоей шинели «Лилия». Я не хотела сильно нажимать,

боялась, что ты оглянешься. Ты смотрел на экран и ничего не чувствовал. Не чувствовал ведь?

Миронов смотрел на нее.

— Нет.

— А я все помню. Как ты стоял, и очки, и шинель твою, на плечах дырочки для погонов, ты в ней вернулся из армии. А потом ты стал носить штатский костюм без галстука. В галстук я тебя увидела позже, на заводе, широкий галстук с широким узлом, как тогда носили,— видишь, все помню...— Она весело засмеялась, потом кивнула на его галстук.— Это сейчас ты носишь узкий галстук. Ты следишь за модой, интересно, для кого?

— Зачем следят за модой,— засмеялся Миронов,— все одеваются по моде. Кому хочется выглядеть старомодным?

— Женился бы ты, Володя,— сказала Лиля,— смотри, сколько девочек на заводе, одна в одну. Чудные девчонки, хочешь — сосватаю.

— Тоже неплохое предложение,— сказал Миронов.

Так они стояли и разговаривали, и никто в цехе не находил в этом ничего удивительного. Миронов мог подойти к любому аппарату, простоять час или два, наблюдая за процессом. Иногда Лиля отходила к шиту, трогала ручки регуляторов, снова возвращалась.

— Я рада, что все выяснилось,— сказала Лиля,— по правде говоря, я беспокоилась за тебя.

— И напрасно.

Она задумчиво проговорила:

— Ты никогда ничего не боялся, я всегда завидовала тебе. Наверно, смелым надо родиться.

— Для этого надо только верить.

— Да, конечно,— тихо проговорила она.

— Люди ошибаются, как люди,— сказал Миронов,— но мудрость не в том, чтобы не совершать ошибок, а в том, чтобы их не повторять.

Она встревоженно посмотрела на него.

— Что ты имеешь в виду?

— Все то, что было, и то, что мы сейчас переживаем.

— Да, ты прав, и я рада за тебя.

— За меня?

— Я, наверно, не смогу тебе объяснить. Но когда я читала это, я думала о тебе. Ведь это не для Коршунова и не для Ангелюка. Это для тебя и для таких, как ты.

— А для тебя?

Она улыбнулась.

— И для меня, конечно... Вернее, для моего положения, что ли...

В цех торопливо вошла Антонина Васильевна, сменный инженер: узнала, что Миронов у аппаратов. Она была в такой же защитной куртке, что и рабочие, молодая женщина, наверное, одних лет с Лилей. И все же Лиля выглядела свежее и моложе.

— Вот тебе и невеста,— вполголоса проговорила Лиля,— красивая, образованная. Пары заклепок, правда, в голове не хватает, свои добавишь.

Миронов пошел с Антониной Васильевной вдоль колонн, останавливаясь и выслушивая, что она ему говорила. А Лиля смотрела ему вслед. В дверях Миронов обернулся и улыбнулся ей.

Вечером Миронов поехал к отцу в больницу. В больницу отец ложился два, а то и три раза в год. Полежит, выпишется, заскучает — и снова отправляется к «Абрамычу», как говорили на заводе про тех, кто лежал в заводской больнице.

— Хорошо тебе, видно, там живет, — смеялся Миронов.

— Надо подлечиться малость, — отвечал отец и отправлялся в больницу, как в родной дом, знал, что надо брать с собой, чего не брать и когда явиться, чтобы получить койку в хорошей палате.

Миронов как-то отправил его в Ялту. Но старик не пробыл там и половины срока, вернулся и лег к «Абрамычу». Их была там компания старых слесарей и аппаратчиков — любителей поваляться в больнице. Болезнь не позволяла им посещать завод, и потому от его дел они держались несколько отстраненно, играли в шашки, обсуждали новый закон о пенсиях, спорили о культе личности. Отец воспринимал как собственную победу каждое новое постановление правительства, будь то увеличение женщинам отпуска по беременности или учреждение Ленинских премий.

В накинутом на плечи халате Миронов сидел у его постели, улыбаясь слушал рассуждения старика.

— Еще долго придется распахивать, — говорил отец, — молодым надо объяснять, чтобы поняли, чтобы ценили...

Он был рабочий человек, уважал всякое настоящее дело, и если гордился сыном, то потому, что сын знал свое дело хорошо. Но на людях своей гордости не показывал.

Миронов любил отца, жалел его, видел — ему тяжело быть не у дела, оттого и ищет дело в своей болезни. И он чувствовал себя виноватым в том, что он молод и здоров, а отец стар и немощен.

Приезжая в больницу, Миронов заходил к доктору Чернину, который был ему приятелем еще с войны. Зашел он к нему и в этот раз.

Доктор был свободен, и они уселись поболтать во дворе больницы, на скамеечке возле жилого флигеля, опутанного зелеными ветками дикого винограда. Флигель был кирпичный, одноэтажный, своим видом повторял больницу, и на его окнах играли такие же оранжевые блики заката.

Санитарки складывали на машину громадные узлы — отправляли белье в стирку. Их поторапливал завхоз — суетливый старик в кителе, синих галифе и хромовых сапогах.

Два стриженных парня в пижамах, свесившись из окна палаты, заигрывали с санитарками.

— Курносая, а курносая, ноги промочишь, — говорил тот, что был побойчее.

А второй, поглядывая на Чернина, улыбался, точно извиняясь за развязность своего товарища.

Чернин видел и не видел этого. Все хорошо, все правильно... Никому это ни во вред, только на пользу.

Когда дивизия, в которой служили Миронов и Чернин, наступала на Гомель, они оба, Миронов и Чернин, остановились у противотанкового рва, где были закопаны расстрелянные немцами евреи и среди них жена, мать и двое детей Чернина. Невысокий бугор извивался по полю, упираясь одним концом в лес, другим в берег реки. Длина его была двести сорок четыре метра — ровно столько, сколько нужно, чтобы закопать одну тысячу восемьсот семьдесят два человека, уложенных один на другого в шесть рядов. На дно лег первый ряд людей — их расстреляли из автоматов. На первый ряд лег второй, их тоже расстреляли из автоматов. Потом расстреляли из автоматов третий ряд. После третьего — четвертый, после четвертого — пятый. Так расстреляли шесть рядов по триста двенадцать человек в каждом. Ровно одна тысяча восемьсот семьдесят два человека, полученных под расписку начальником зондеркоманды от коменданта гетто.

Дождаясь своей очереди лечь в ров, люди сидели на корточках. Женщины кормили детей, старики молились — согласно инструкции это не запрещалось. Запрещалось кричать и нарушать порядок. И еще немцы следили, чтобы люди ложились во рву плотно, иначе не хватит места, придется копать новую яму, и это нарушит график операции.

Не всех убивали наповал, люди шевелились, дергались, пытались подняться. И чем плотнее ложился верхний ряд на нижний, тем меньше люди шевелились, ворочались, дергались. И, как это было указано в инструкции, два верхних ряда были расстреляны особенно тщательно, добиты из пулеметов и потому плотно и тяжело придавили нижних.

В боях на Висле Чернину оторвало ногу. Миронов привез его в Сосняки. С тех пор у Чернина не было другой жизни, кроме больницы, он построил и оборудовал ее, никого не знал, кроме больных, и они доверяли ему.

Миронов любил Чернина. Чернин испытал самое страшное, что может испытать человек, и все же он слушал Миронова с доброй улыбкой. Он никак не разбирался в той сложной и неизведанной химии, которой занимался Миронов. Миронэву это и не надо было. Его борьба, его искания требовали соприкосновения с человечностью, ее излучал этот маленький, толстый, одноногий доктор. Чернин имел дело с людьми, стоящими на грани жизни и смерти, человеческие страсти казались ему маленькими, иногда смешными, всегда простительными.

— У нас тут слухи, — улыбаясь, сказал Чернин, — больным до всего дело. Говорят, будто вас назначают директором завода.

— Хорошенькая новость!

— Ай, бросьте! Такой почет. И поможете нам построить новый корпус для физиотерапии. Это будет стоить совсем недорого. Электропроцедуры, нужны нам электропроцедуры? Водолечебница, нужна нам водолечебница? Массаж, лечебная гимнастика, лаборатория. У людей все это давно есть.

— Ну, раз есть у людей, нам тоже надо, — рассмеялся Миронов.

— Шутите, вам шутки.

Миронов думал о Лиле. «Для моего положения», — сказала она. А он ей ничего не ответил, не нашел, что сказать, она и ее жизнь слишком сложны для него. Он не нашел нужных слов и тогда, когда ушел от нее по узкой полевой тропинке, и когда она убежала от него, увязая в прибрежном песке. Почему он отпустил ее тогда? Он и теперь хочет простоты и ясности, живет по формуле теперь, когда формулы отброшены. Собственные страдания преодолеваются и слабый, надо уметь разделять чужие страдания. Человек падает и подымается — это и есть жизнь, надо помогать ему — это и есть добро.

Чернин с доброй улыбкой смотрел на него.

— О чем вы думаете, Володя?

— О нашем времени, — ответил Миронов. — Пусть новое поколение не повторит наших ошибок, пусть оно повторит наши подвиги. В сущности, самая большая ошибка — ничего не делать.

Миронов включил фары, их яркий свет упал на дорогу, и сразу пропали и луна и деревья. Он выехал на шоссе и снова увидел луну, и пылающее пламя заводов под ней, и быстро вырастающие белые огни встречных машин.

Дорога была сильно выбита, пересечена железнодорожными путями. Миронов два раза стоял у опущенных шлагбаумов. Он терпеливо ждал. Много лет каждый день ездил по этой дороге на завод и с завода

и привык к ее неудобствам. И когда поехал по пустынным улицам города, прибавил скорости.

Район новых заводских домов был знаком Миронову. Но он бывал здесь только днем — ночью все выглядело другим. Выложенные из силикатного кирпича трехэтажные дома широко и просторно стояли на большой и голой территории. В ее песчаной необжитости была прелесть возникновения человеческого жилья, в тишине и безлюдности — мир и спокойствие спящего рабочего поселка, где рано ложатся и рано встают и нет ни ночных автобусов, ни запоздалых пешеходов.

В полумраке лестницы Миронов не заметил кнопки звонка и постучал.

Лиля встала с постели и, не спросив, кто стучит, открыла дверь издалека, вытянутой рукой, поворачиваясь назад, как открывают дверь своим домашним, которые сами закроют ее за собой. Думала, что это Фаина.

Но на пороге стоял Миронов. И так, вполуборот, с вытянутой рукой, Лиля замерла на месте. босая, в длинной рубашке, неожиданно маленькая, со спутанными волосами, падающими на глаза и уши.

— Здравствуй, Лиля!

Она молча смотрела на него.

— Ты меня не узнаешь?

Он услышал за спиной стук открываемого замка, оглянулся и увидел Фаину. Она стояла в дверях своей квартиры, постаревшая, в длинном халате, и щурила глаза, вглядываясь в полуосвещенный коридор, где стояли Миронов и Лиля.

— Явилась пропащая душа на костылях, — сказала Фаина так, будто Миронов приходил к ним часто, а последнее время что-то не заходил.

Вслед за Мироновым и Лилей она вошла в комнату, шлепая туфлями и придерживая на груди халат.

— Слышу — стучат, голос слышу мужской, что за мужчина такой явился? К нам и днем-то мужчины не ходят, а тут ночью. Не случилось, думаю, чего. А это вот он кто, Володя!

Лиля зажгла верхний свет и вышла.

— Я сейчас, Володя.

Румяная девочка спала в кроватке. Сколько ей? Три года? Пять? Миронов вспомнил маленькую Лилю у барака с куклой в руках.

— Видал ты нашу доченьку? — говорила между тем Фаина, поправляя на девочке одеяло. — Не видал еще? Вся в мамку, все крошечки подобрала, золотое мое колечко, солнышко красное. Теперь уже большая, все понимает. А маленькая была, на шаг не даст отойти, все ей надо, беспокойная, сгребится и в слезы. Так, бывало, плачет, сердце рвет, колокольчик мой бесценный...

Вернулась Лиля в платье, в туфлях на высоком каблуке, с наспех подобранными волосами. Улыбнулась Миронову.

— Так и стоять будем? — сказала Фаина. — Принимай гостя! Есть чем принять-то? Накрывай на стол, добавлю. — И хотя Миронов ничего не возразил, погрозила ему пальцем: — Ты это брось! Давно я с мужчинами не чокалась. Не заходят к нам мужчины больше, а тут такой случай! Хорошо, я услышала: кто-то стучит. Разве бы она меня позвала? Спрятала бы небось Володю? А, спрятала бы?

— Ладно, иди! — несколько сурово ответила Лиля.

Шлепая туфлями, Фаина вышла.

— Не сдастся Фаина, — сказал Миронов.

— Прихварывает.

Лиля пошарила озабоченным взглядом по полкам буфета, потом расстелила на столе скатерть, поставила рюмки.

— Ты из какой будешь пить?
— Все равно.
— Тогда я поставлю тебе большую, Фаине поменьше, а мне совсем маленькую.

— Хорошю.
Вернулась Фаина.
— Вино есть! Заводи, Лилька, музыку. Как рюмку выпью, так музыки хочется.

— Сонечку разбудим,— ответила Лиля, не глядя на Миронова.
— Перекатим! — Фаина с готовностью взялась за кровать.— Берись! Ах ты, буксирчик мой драгоценный! Посмотри, Володя! Миронов нагнулся к кровати. У девочки дрогнули веки.

— Может, оставим? — с сомнением проговорила Фаина.
— Нет, нет,— Лиля не смотрела на Миронова,— бери, поехали!
Они осторожно повезли кровать в комнату Фаины. Потом вернулись, оставив двери полуоткрытыми.

— На площадке только мы живем с Фаиной,— сказала Лиля,— никому не помешаем. И Сонечку услышим, если проснется.

Патефон оказался неисправен, хотя Лиля для вида и покрутила его.
— Никак не починишь,— проворчала Фаина,— ну ничего, было бы вино. «Эх, зачем я с казенкою спознался...» Расскажи, Володя, что нового на свете. Никуда я не хожу, ничего не знаю, живу, как темная бутылка.

— Побольше бы таких бутылок,— улыбнулся Миронов.
— Откуда нам чего знать? — продолжала Фаина.— Что видим мы в Сосняках? Ты хоть по всему свету ездишь, а мы? Только одну дорожку и знаем: на завод да с завода. Начихаешься за день, накашляешься. Говорю Лильке: переходи в контору, разве она чушка необразованная? Подумаешь, какие там профурсетки работают.

— Заладила,— сказала Лиля.
— Правду говорю! Пусть Володя скажет, он мужчина! Или в Москву переезжай. Теперь никто не запретит, теперь отдай, что положено. А в Москве мы замуж выйдем за генерала. А что? Повидала я генеральских жен...

— Выпей лучше,— сдержанно заметила Лиля.
— И выпьем! — Фаина протянула Миронову рюмку.— Давай, Володя! Что мне, старухе, осталось? Ушли годы. А молодая была — пожила, погуляла, ничего не скажешь. И не жалею ни о чем. Да и сейчас, если бы кто под бочок завалился, не оттолкнула бы, ей-богу! Только нет любителей. Вон сколько молоденьких пасется, нет старухам вакансии. Вчера Верку Панюшкину встретила. Опять, смотрю, на низкий каблук перешла. «Что, Верка, спрашиваю, ухажера сменила?» А она мне: «Если мне человек нравится, зачем я буду его своим ростом обижать?» Потеха! Знаешь ты ее, Панюшкину Верку, на электролизе крановщицей работает?

— Помню,— улыбнулся Миронов.
— Мы ее тут каблучницей зовем. Как на низкий каблук перейдет — значит, кавалер маленький. Обрато на высокий — значит, и кавалер подходящего росту. Так по каблукам мы все ее амуры и знаем. И смешно, между прочим, если человек в свои годы взошел, должен он об этом помнить. А она мне ровесница.

— Сменила бы ты пластинку,— заметила Лиля.
— А что такого! Надо и по личному вопросу поговорить, правда, Володя? А то все о химии! Могу и о химии.

Фаина пустилась в рассуждения о химии органического синтеза. Они поразили бы человека постороннего. Нигде нет такого уровня техниче-

ской подготовки рабочих, как в химии. Аппаратчица может говорить «ндравиться» и «пользительно», но она с легкостью исписывает лист бумаги химическими формулами, более сложными, чем те, перед которыми в тупом недоумении многие из нас стояли в свое время у классной доски.

— Только ведь нельзя одним производством жить,— заключила Фаина,— еще чего-то в жизни требуется. Некоторые общественной работой увлекаются. И меня раз подбили,— Фаина засмеялась,— в жилищную комиссию выбрали, решаем, кому дать, кому не дать. А как решишь? Всем надо, все нуждающие! Ну, думаю, вас к аллаху, разбирайтесь, как хотите! Мы с Лилькой ни у кого не просили, отработали на стройке. И живем. Крыша над головой, отопление центральное, картошку на зиму запасем. Чего еще?

— Совсем завралась,— сказала Лиля.

— И то верно, заболталась.— Фаина тяжело поднялась. запахла халат.— А вы посидите. Ты, Володя, посиди. Твой конь? — Она кивнула в сторону стоящей на улице машины.

— Мой.

— Вот и хорошо, можешь сидеть, сколько хочешь. Здесь у нас ночью ни автобусов, ни такси. А своя машина...

Лиля закрыла за Фанной дверь, рука ее задержалась на замке. Потом она посмотрела на Миронова, подошла к окну и, не оборачиваясь, спросила:

— Ты останешься?..

— Посажу,— сказал Миронов.

Она забилась в угол дивана, прикрыла ноги платком.

— Садись поудобнее, сними пиджак, если жарко.

Они помолчали, потом, улыбаясь, Лиля сказала:

— Вот мы и сидим с тобой на диване, смешно.

Миронов посмотрел на нее. Она спросила:

— Помнишь фундаменты возле бараков? Туда, ближе к лесу. Что-то там хотели строить, потом бросили.

— Там хотели строить гараж,— сказал Миронов.

— Да, да, там гараж хотели строить,— сказала Лиля,— Фаина ругалась, говорила: будут ездить машины — ребят передавят, а потом почему-то перестали строить. Фундаменты заросли травой, мы там прятались, когда играли. И как-то я увидела там подвал — большое квадратное помещение вроде котельной, там даже висела железная дверь. И я придумала, что это наша с тобой тайная комната. Никто про нее не знает, вся она в коврах, у стены громадный диван и на нем тоже ковер. Я лежу на этом диване и жду тебя. Ты приходишь, и мы вдвоем. Днем я приходила туда, смотрела на скользкие стены, понимала, что ничего здесь не может быть. А ночью все это возвращалось ко мне, я все точно представляла, и ковры и диван, как я лежу и приходишь ты. Это поразительно, ведь только о тебе я так думала. И потом... я тоже думала о тебе. Я так любила тебя тогда. Ты не пошел со мной в театр, я хотела умереть. И картины, которые я себе рисовала, комната, наши свидания — тоже было детское, чистое. Почему именно ты? Моим подругам ты казался стариком, а вот нравился ты один. Что-то было в тебе, в твоих глазах, в твоем взгляде, в твоем отношении ко мне. Ведь я знала, ктоя. Фаина первое время темнила, выдавала себя то за мать, то за тетку, плела всякое. Разве это скроешь? Напомнили! Но в тебе, в том, как ты смотрел на меня, я чувствовала не просто жалость, не просто сочувствие. Ты сам страдал, ты темнел лицом, когда смотрел на меня на маленькую. Когда папу брали, я спала. А утром мама сказала, что он уехал в Москву. А когда за мамой пришли, тоже ночью, она меня схватила на

руки и не отпускает. Меня вырвали, мама кричала, ее оттащили от меня, и я тоже кричала, вырывалась. Управдом отнес меня к соседям, сказал, что утром за мной придут. Но утром за мной не пришли, и на следующий день не пришли, забыли, наверно. А соседям было страшно меня дергать, боялись, как бы за меня не попало, хотя и было мне три года. Потом пришла Фаина и забрала меня. Так я очутилась в бараке.

Она встала, нашла папиросы. Сидела на диване, курила.

— Ты пришел сегодня, и я подумала: останешься ты или нет? Я спросила тебя об этом, мне ни капельки не было стыдно. Глупо, конечно. Уж так колотила меня жизнь, так зачерствело сердце, а все равно думала о тебе, думала и ждала тебя. Что было в моей жизни? Фаина? Она, конечно, человек, я ей обязана всем. Но она своя, привычная, как дом, как мать, я и люблю ее, как мать. А ведь у меня и настоящая мама была. Я ее тоже любила и жалела. Я к ней в Александров ездила. Во что она превратилась после лагерей, боже мой! И за что? Только за то, что она жена? По каким это законам?

— Это не по законам,— сказал Миронов,— это по беззаконию.

— Москва меня, конечно, оглушила,— продолжала Лиля,— сколько мне было лет? Семнадцать. Что я видела до этого? Ничего. Когда папу с мамой забрали, Вера училась в Москве в восьмом классе. В Сосняках тогда была только семилетка. У кого-то там жила, столовалась, и когда папу с мамой арестовали, тоже натерпелась в Москве: девчонка одна, школу пришлось бросить, платить за квартиру нечем. Взяли ее к себе папины друзья, тоже старые большевики, потом и их посадили, пошла она работать, чтобы получить койку в общежитии. Выручила ее война. Попала она на фронт зенитчицей, нахватала орденов и замуж вышла. Муж ее, Евгеша, физик известный. Ну, вот! После войны Вера окончила институт, а чего же! Фронтовичка, орденоска, а главное — уже не Кузнецова. Живут на Большой Калужской, в шикарнейшей квартире. Ты был у них, видел. Ничего я против не имею, рада их благополучию, она мне сестра, я не могу ее не любить. Только сверлило мне сердце то, что прикрылась она мужем и своими орденами.

А я ничего не хотела скрывать. И в вуз бумаги не подала, все равно знала — не примут. Вера с мужем меня, конечно, уговаривали, доказывали, что обязательно надо образование получить. А я им сказала: «Я своего отца на вуз не променяю. Мой отец революцию делал, я от него никогда не отрекусь. Видела я подлецов, которые от родителей отказываются». Я не хотела ее обидеть, даже не думала об этом: ведь я знаю, сколько она натерпелась. А она, дура, приняла на свой счет — и в истерику. Стала кричать, что я не хочу учиться, что мне только бы по ресторанам шляться и так далее, в таком духе. И Евгеша тоже чего-то там вякал, будто я поздно домой прихожу, спать им мешаю. Я им и рубанула: «Ну и черт с вами! Лучше на улицу пойду, а жить с вами не буду!»

Была у меня подружка Таня. Прискакала она в Москву откуда-то из Ейска. Ни родных, ни знакомых, ни работы, ни прописки, хотела в актрисы попасть, здорово врать умела, вот и думала, что у нее талант. Фигурка, правда, ничего, мордочка смазливая, надеялась, что ее в кино будут снимать. А пока сама снимала угол в подвале, у дворничихи, на улице Огарева, в самом центре. Ходит целый день по улице Горького, в руках программа для поступающих в вуз, а у самой шесть классов. К этой Таньке я и перешла жить, стали мы снимать этот угол на двоих. В общем, о чем говорить, сам понимаешь. Ели мы один раз в день, вечером в ресторане, наедались на сутки вперед. Все московские кабаки узнала. Вертелись вокруг нас мальчишки, и хорошие мальчишки и плохие, и просто дяди в воротниках шалью.

Лиля потянулась за папиросой. Он перехватил ее руки.

— Хватит курить.

— Я хочу тебе все рассказать. — Она закурила, села на диване, закрыла ноги платком. — Так на чем я остановилась? Да, как я у Таньки жила. Ну, что тебе сказать. Сдавала я кровь на донорском пункте, плавали за это. Только, чтобы кровь сдавать, надо хорошо питаться, а какое у меня питание? И сдавать можно было раз в два месяца. Кидалась я во все стороны, лишь бы как-нибудь устроиться. Работы кругом много, а у меня нет прописки, нет жилплощади, кто мне может помочь? Попадались, конечно, и хорошие люди. Был летчик один, Сережа, хотел меня устроить на аэродром официанткой в столовую. Не хотелось мне в официантки, да и аэродром этот был за Москвой, но что делать? Давали койку в общежитии и временную прописку. Хоть и загородная прописка, а все же почти Москва. Согласилась. Поехала на аэродром поездом, потом автобусом, к черту на кулички, а меня не взяли: воинская часть, а у меня а н к е т а. Куда деваться? Все обещают, а никто ничего не делает. Да и кто что может сделать? А тут новое несчастье. Возвращаемся мы в свой подвал, а дворничиха нам говорит: «Участковый про вас спрашивал, не могу я вас больше держать без прописки, уходите скорее!» Выставила нас, а мы ей за месяц вперед заплатили, плакали наши денешки. Очутились мы с Танькой на улице. Она пошла куда-то ночевать, а я хожу с чехоманчиком, в нем все мои вещи и простыня. Ведь черт его знает, где придется ночевать, а все же на своей простыне. Походила я, походила, потом села в поезд и поехала в Александров, давно у мамы не была.

У меня сердце разрывалось, когда я к маме приезжала. Старенькая, сгорбленная, седая, несчастная. Что я могла для нее сделать, сам скажи, что я могла? Если и бывали у меня деньги, так только для нее. Куплю колбасы докторской, кефира, конфет. Снимала она даже не комнату, а клетушку рядом с хлебом, дуло изо всех углов, холод собачий. Платила она за этот хлев двести рублей. Жила мама на то, что Вера ей посылала — четыреста рублей она ей посылала. Двести рублей квартира, остается на жизнь тоже двести, живи как хочешь! Звала ее Фаина в Сосняки, но мама боялась возвращаться туда, где ее знают. Боялась, опять посадят или вышлют на поселение. Таких, как она, уже отбывших срок, хватали ни с того ни с сего и опять выслали. Не смотрели, старик ты или старуха.

Ну, ладно! Пожила я у мамы три дня — вижу, ей самой есть нечего, и спала я на полу, зима, морозы лютые, какой там пол. Вернулась я в Москву. Что, думаю, делать! Прописки нет, работы нет, в институт я не поступила, жить негде, спать негде, надо возвращаться в Сосняки — и неохота: Москва все-таки. Зашла я к Вере, передала, что к маме ездила, рассказала, как мучается она, поплакали мы, как полагается, расчувствовались, стали виниться друг перед другом. И начала меня Вера уговаривать не возвращаться в Сосняки, а выйти замуж. Представь себе! Был у них знакомый, тоже физик, с Евгешей работал, Севою его звали, Всеволод, молодой еще. Когда приходил, тарашил на меня глаза. Вера уговаривает: способный, талант, любит тебя, не спеша, посмотри, подумай, в Сосняки всегда успеешь.

Ладно! Собрались у них гости. И Севу позвали. По какому поводу собрались — не помню, приемы и банкеты у них бывали часто. И вот сижу я среди них и думаю о маме, как она сейчас в своем хлеву дует на замерзшие пальцы. Мы, ее дочери, сидим в роскошных комнатах, слушаем магнитофонные ленты, пьем коньяк, едим крабы и сациви из «Арагви»! А она там дует на замерзшие пальцы и прячет хлебные корки, чтобы их крысы не поели.

Миронов погладил ее руку.

— Хватит, не надо, прошу тебя, не надо.

— Нет,— сказала Лиля,— я хочу все рассказать. Слушай. И вот вдруг в эту минуту я вспомнила, как еще вчера, в Александрове, рано утром я открыла глаза и вижу: мама стоит в углу и раздевается. Видно, только с улицы пришла. Я сквозь сон услышала шорох и открыла глаза. Мама стоит в углу, сгорбленная, закутанная, голова закутана в платки и тряпки и все тело, и на ногах какая-то рвань. И все это с себя разматывает. И палка в углу стоит. Я спрашиваю: «Мама, ты откуда?» Она говорит: «На рынок ходила, вот картошку принесла». И показывает мне в авоське картошку. «Спи, говорит, еще рано». Холодина была страшная, я пальто на голову натянула и заснула... Тогда, в Александрове, я не придала этому значения. А сейчас вдруг, сидя за этим столом, я вдруг поняла... Боже мой!.. Ведь мама ходила к монастырю, ведь это она милостыню собирала у монастыря с протянутой рукой, в тряпье, под снегом, сгорбленная, седая. Такая безысходность меня охватила, так страдают невинные люди, моя маленькая, седая, сгорбленная мама. За что ее преследуют, гоняют по всей России, ведь она едва двигает ногами.

— Прошу тебя, не говори больше об этом,— сказал Миронов.— Не надо ничего рассказывать, прошу тебя. Когда-нибудь в другой раз.

— Прости меня, я дура, разволновалась. Столько лет ждала тебя и чуть истерику не устроила, дура, идиотка! Извини меня, не сердись. Позволь мне все рассказать. Я не буду волноваться, честное слово. Мне хочется рассказать тебе, как я вернулась в Сосняки. Я хочу, чтобы ты все знал, все понял. Ведь когда я вернулась в Сосняки, я так хотела тебя видеть, и я увидела тебя, помнишь, мы ехали на твоей машине в Верхний, я была за рулем. Потом мы сидели в кафе, ели мороженое с этой профессоршей. Так глупо все получилось! Я сама виновата, но я хочу, чтобы ты все понял.

— Я сам виноват,— сказал Миронов.

— Нет, нет, слушай, тогда на вечере у моей сестры Сева этот жених мой, заметил мое состояние, он сидел рядом и ухаживал за мной, он спросил, что со мной. Он спросил участливо. Но у него был невыносимо бархатный голос, а в моих ушах стоял хриплый, простуженный голос моей матери. Он озабоченно склонился ко мне, на нем был белый крахмальный воротничок, и на мне шикарное Верино платье. И я хотела разорвать на себе это платье потому, что моя мама куталась сейчас в грязные тряпки, мерзла и подыхала в них...

Подошла Вера. Она тоже видела мое состояние, в глазах ее был такой страх, такая боязнь скандала, испорченного вечера, что я взяла себя в руки. Черт с ней, пусть веселится, если может! Все танцевали. Только мы с Севой оставались за столом. Я его спросила: «Вы бы отдали свою жизнь за то, чтобы на свете не было обездоленных людей? Отдали бы вы свою жизнь, свою науку, свою карьеру?» Он подумал и ответил: «Жизнь бы я отдал, науку нет. Если что и даст людям счастье, то это только наука». Так умно и культурно он мне ответил. А я подумала: «Нет! Этот по Владимирке не пойдет. И врет! Не отдаст он жизнь ни за кого!..» В общем, невыносимо стало мне все это: и Сева, и сестра с Евгешей, и все эти гении доморожденные. Наклонилась я к Севе, спрашиваю: «У вас мать есть?» — «Есть»,— отвечает и тарашит на меня глаза, чучело! Я наливаю два фужера водки — они из этих фужеров боржом пили — и говорю: «Выпьем за то, чтобы вашей маме никогда не пришлось стоять с протянутой рукой». Он еще больше вылупился на меня: «Неужели вы это выпьете?» — «Эх, ты, говорю, слабак мужчина!» — и выдула весь фужер. И не закусила...

Какое-то время я еще соображала, что делала. Оделась, вышла на улицу, доехала до центра, прошла от площади Дзержинского до Охотного, потом по Горького до Центрального телеграфа. А что потом — все в тумане... Наутро просыпаюсь в милиции... Стою на своем: приехала к сестре из Сосняков, выпили по случаю приезда, вышла погулять, запуталась в Москве, пристал ко мне нахал, я защищалась. Позвонили они Вере, та все подтвердила, примчалась в милицию и Евгешу притащила, а он член-корр, грозят жаловаться, требуют, чтобы выпустили.

— Короче говоря, попало мое дело на Петровку. Привозят туда. Сидит в кабинете полковник милиции, пожилой такой русачок в милицейской форме, с погонями и пистолетом, голубоглазый, пузатенький, продувная, видно, бестия. Просмотрел мое дело и начал стыдить. А раз начал стыдить — значит, выпустит, когда хотят запечь — не стыдят... «У всех, говорит, есть родственники вполне приличные, попадают даже академики (это он на Евгешу намекал). Однако не родственники устроили скандал в пьяном виде, а вы устроили, так что родственники здесь ни при чем. Все же, принимая во внимание вашу молодость, ограничимся пока приводом, сделаем отметку на всякий случай. А еще раз попадетесь — заставим прогуляться годика на два в такое место, где вы забудете, как водка пахнет. А пока потрудитесь оставить Москву. В двадцать четыре часа».

В общем, так это весело, я бы даже сказала, галантно говорит. Я тоже осмелела, все равно отпустит, я и говорю: «Почему я должна оставить Москву? В Москве я родилась, в Москве у меня сестра родная». А он меня не слушает, пишет резолюцию о прекращении дела и рассеянно бормочет, так, для себя бормочет: «Ничего, поезжайте к папочке, к мамочке в... (он посмотрел в документы) в родные Сосняки поезжайте!» Зло меня взяло. «Нет у меня папочки», отвечаю. Он подумал, что папа погиб на войне, и покачал головой: мол, твой отец погиб на фронте, защищая родину, а ты вот чем занимаешься... А сам все пишет, пишет... Потом вдруг задумался и спрашивает: «Это какие Сосняки, где химкомбинат?..»

...И не знаю почему, от этого вопроса у меня вдруг перехватило горло, что-то очень напряженное и особенное послышалось мне в его голосе. Я тихо говорю: «Да, где химкомбинат», а сама смотрю на его руку, она перестала водить пером по бумаге и замерла, такая белая, хотя и короткопалая, мужицкая рука. И я не вижу, но чувствую, как он откинулся назад и смотрит на меня. И я не могу поднять глаз. Чувствую по этой неподвижной, короткопалой руке, что сейчас произойдет что-то ужасное.

Потом я подняла голову. И на том месте, где только что было круглое румяное лицо, я увидела оцепеневшие, окаменевшие морщины, я увидела тусклые глаза старика... Я даже не уловила движения его губ, просто услышала откуда-то: «Петра Андреевича дочь?» Я ничего не могла выговорить, только наклонила голову: да! «Софьи Артемовны дочь?..» И я шепотом отвечаю: «Мама в Александрове, у мамы минус после лагерей. А папу расстреляли». И вдруг лицо его опять стало простым и круглым, он опустил локти на стол, сжал лоб руками, вот так вот, и по его щекам потекли слезы...

Это, Володя, было такое, что я тебе и передать не могу. По коридору топают сапоги, шум, телефонные звонки, а начальник всего этого, полковник милиции, сидит, сжав руками лоб, и плачет. Я тихонько говорю: «Сюда могут войти». А он глотает слезы, пожилой мужчина, и не стыдится меня, девчонки. И я всем своим существом чувствую и понимаю, какую жизнь прожил этот человек. И оттого, что он заплакал, оттого, что это так поразило его, дрогнуло и мое сердце.

Он отошел к окну и долго стоял спиной ко мне, сморкался в платок. И сел за стол как будто уже спокойный, официальный, на меня не смотрит, казенным голосом говорит: «Поскольку единственные ваши родственники проживают постоянно в Москве и площадь у них достаточная — прописывайтесь. Я вам дам отношение в паспортный стол». Я смотрю на него и улыбаюсь. Смешно мне, что перешел он на этот казенный тон, радостно, что хочет сделать мне хорошее. Он насупился: «Чему вы улыбаетесь?» Я говорю: «Знаете, лучше я вернусь в Сосняки. Когда это случилось, мне было три года. И подобрала меня одна простая женщина, землекоп. Она меня и воспитала. Как же я теперь ее брошу?» Он посмотрел на меня, у него опять задрожали губы и глаза наполнились слезами. И не забывай, Володя, это было в пятьдесят втором году.

— Он знал твоего отца, — сказал Миронов.

— Да. В гражданскую войну он служил в дивизии, которой командовал папа. Хочешь знать, чем он кончил, этот полковник? Стал он ездить к маме в Александров, в гражданской одежде, конечно. Выташил ее из хлева, устроил на приличную квартиру, в общем, помогал. Но об этом узнали, собственная жена донесла: решила, что он к любовнице ездит! Исключили его из партии, выгнали из милиции, разжаловали и, наверно, посадили бы. Но тут умер Сталин. Его восстановили, хотя и не сразу, а когда папу реабилитировали. Теперь он на пенсии. Когда я приезжаю в Москву, обязательно к нему захожу. Он читает исторические книги, пишет какие-то воспоминания. Это трогательно и забавно слушать. Каждый раз мы ездим к маме на могилку. Близко нам не удалось ее похоронить, и лежит она на Востряковском кладбище. Это довольно далеко, но туда ходит автобус. Если выехать с площади Киевского вокзала часов в восемь-девять, то к часу дня можно быть обратно...

Лиля замолчала.

За окном рассвело, и в комнате уже отчетливо были видны предметы.

— Ты будешь приходить ко мне? — спросила Лиля.

— Я не уйду от тебя, — сказал Миронов.

1958—1964 гг.

Москва,



ВЛ. КОРНИЛОВ

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Свежим сеном
Запахло вдруг!
Чем-то целым,
Таким, как луг,

Стадо, избы...
Видать, село
Запах издали
Донесло.

Стой, мгновение,
Не казни!
Дай мне в сене
Найти концы.

Хоть на миг
В этот тихий час
Дай мне с миром
Услышать связь.

* * *

Мы хоронили старика,
А было все не просто.
Была дорога далека
От дома до погоста.
Наехал из Москвы народ,
В поселке стало тесно,
И впереди сосновый гроб
Желтел на полотенцах.
Там, в подмосковной вышине,
Над скопищем народа,
Покачиваясь, как в челне,
Открыт для небосвода,
В простом гробу, в цветах по грудь,
Без знамени, без меди
Плыл человек в последний путь,
От смерти до бессмертья.
И я, тот погребальный холст

Перетянув, как перевязь,
 Щекою мокрою прирос
 К неструганому дереву.
 И падал полуденный зной,
 И свет склонялся низко
 Перед высокой простотою
 Тех похорон российских.

* * *

Без меня — осень, дождь,
 Снег, весна, слякоть...
 Без меня подрастешь
 Жить, любить, плакать.

Без меня — навсегда.
 До конца. Точка.
 Говорят, сирота
 Без отца — дочка.

Сам решил. Сам ушел.
 И молчу в тряпку.
 Мне теперь хорошо,
 Изнутри зябко.

Так вот жизнь свою сам
 Собственной властью
 Разрубил пополам,
 Надвое,
 настезь!

* * *

Беднее икса, даже игрека,
 Душа не слишком широка,
 А вот плачú,
 и чаще — втридорога,
 И не могу нашармака...

На холоду — ветру распахиваюсь
 (Не по годам, не по плечу!),
 Но рву с плеча и вдрызг расплачиваюсь,
 Растрачиваюсь,

но плачу

До одуренья, до отчаянья
 Бедой, а чаще — головой!
 За брнное, за нескончаемое,
 За ненависть и за любовь.

В изнеможении распластываюсь,
 Рукой сжимаю боль в боку
 И все плачу, плачу,
 расплачиваюсь,
 На дармовщину — не могу.



А. МАРЬЯМОВ

★

ПОЛЯРНЫЙ АВГУСТ*

Казалось, ничего нет на свете красивее, чем широкий разлив Оби в лесных берегах за Тюменью.

Но вот пошел белый теплоход «А. П. Чехов» от Дудинки к Игарке, вверх по Енисею, — поворот, еще поворот, и за устьем Хантайки такая вдруг открылась тут красота, что уже все позабыл, что прежде видел, и кажется: нет, лучше этого ничего быть не может. Простор, тишина, закатное солнце над темными зубчатыми гольцами; широкие рукава уходят в стороны, скрываясь в лесах, берега поднимаются повыше, река теснится в них, будто собирая силу, и даже тревожно становится от явственного ощущения этой силы, отовсюду обступившей тебя на Енисее. И гитара с кормы слышится тревожно, и тревожно поют там над водой два мужских голоса и один девичий.

А потом из душисто-тесовой, заново остроенной после большого пожара Игарки летишь в Хатангу, а оттуда в Тикси, и уже не Енисей, а Лена оказывается под крылом самолета. И потом такой же точно белый теплоход — только называется он «Механик Кулибин» — одним из бесчисленных рукавов ленской дельты входит из залива Буорхая в устье реки, чтобы подняться в Булун, Сиктях, Джарджан и дальше — к Жиганску, Сангару, Якутску... Сперва безбрежно широкая, река входит в такие высокие скалы, что ели на их зубцах едва различимы. Скалы темны, где красноваты, а где с зеленой, угрюмы. Но все это опять повторимо красиво, не похоже ни на что прежде виденное.

Уже ночью, в темноте, полной дождя и снега, силился я разглядеть ту скалу, про которую рассказал якутский историк на палубе. Где-то здесь, на широком, нависшем над водою скальном отвесе, много веков назад изображен всадник с длинным копьём и флагом. Руническая надпись под изображением расшифрована так: «Я не наслаждался».

Это эпитафия погибшему в битве неизвестному древнему вождю, высказанная от имени мертвого жизнелюбца.

Но теплоход шел в крошечной тьме, вокруг был дождь пополам со снегом, черная вода, черные скалы. Ни всадника, ни надписи под его конем было не разглядеть.

Я обошел палубу; дул сильный и мокрый ветер, берега были черны, пустынно. Из кают сквозь опущенные жалюзи пробивались узенькие полосы света. Только широкие окна ресторана светились в полную силу. За стеклами я увидел ленинградскую экономистку, изучавшую в Тикси материалы Северного морского пути. Она что-то говорила учительнице из дальнего селения Борогон, которой надо было сдавать в Якутске переводные экзамены в заочном пединституте и успеть возвратиться в свое

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 11 с. г.

селение, или, как говорят здесь, наслег, к началу школьного учебного года. С ними был якутский историк, приезжавший под Кюсюр посмотреть первые находки недавно начатых археологических раскопок. У другого окна в одиночестве работал челюстями незнакомый лысый толстяк. Дальше тесно сидела компания геологов. Они не переставая смеялись. За толстым стеклом все происходило беззвучно, будто в аквариуме. Освещенные окна остались позади. Только зеленый бортовой огонь мерцал в темноте да полосками светились каюты. Какая-то пара шепталась у борта, тесно прижавшись друг к другу под холодным ветром. Дождь перестал. Даже одинокая звезда просверкнула остро и дико между ползущих набухших туч. Смутно завиднелись черные берега: справа — высокий, слева — пониже, с лесом, сбегаящим к самой воде. И на обоих — ни огонька, ни жилья. Не на этот ли черный камень малорослый ордынский конек вынес всадника, нашедшего здесь смерть от поюшей стрелы, так и не успев насладиться?

И зачем привел он под своим флагом с двумя хвостами орду воинов в эту тундровую пустыню, десять месяцев в году покрытую снегом? Только для того, чтобы сказать: «Вот еще версты и версты моей земли» — и от этого испытать наслаждение?

Жизнелюбец не насладился и не принес сюда жизни.

По-прежнему от наслег к наслегу ведут сотни километров таежных троп и тундровых топей.

И все же ничего не осталось по-прежнему.

Даже расстоянья — другие.

Сколько надо было добираться от Борогона до Тикси на собачьей упряжке? Трое-четверо суток, с ночевками по охотничьим избам. А маленькая учительница прилетела к теплоходу на «аннушке» за какой-нибудь час.

И если из каюты в каюту обойти весь теплоход наш, поднимающийся вверх по Лене между таких темных и таких безлюдно-пустынных скал, то от всех его пассажиров как бы протянутся ниточки к самым дальним и разным якутским местам, где уже вовсю пошла или еще только начала зарождаться жизнь, какой тут прежде еще не бывало.

А чтобы заглянуть в то, что будет, опять приходишь к воротам, как в сказке.

На Таймыре были ворота «медные».

Тут должны быть «алмазные».

А пойдешь еще дальше — увидишь и «золотые».

У ВТОРЫХ ВОРОТ

Пусть он называется Веселый

1

Выход назначили на завтра, на восемь утра.

С вечера пошел дождь со снегом, но утренний выход не отменили. Пришлось только отказаться от затеи печь картошку на берегу ручья.

Печь картошку предложила Марина, когда еще стоял теплый и совсем ясный день. Теперь она повторяла огорченно:

— Всегда тут так. Придумаешь что-нибудь — и ничего не выходит.

Она сварила гороховый концентрат; на второе перемешала консервированную фасоль с колбасным фаршем — тоже из консервной банки. Получилось вкусно. И чай был крепкий, как надо. Однако разговор за ужином как-то не сладился, настроенье пропало. Николай не захотел играть на гитаре, и мы с Гусаровым скоро ушли в его избушку, шлепая

сапогами по жидкой снежной каше, сразу чернеющей на свежих следах. Гусаров положил для меня спальный мешок на запасную раскладушку, сам забрался в свою постель и мгновенно заснул.

Мы познакомились сегодня. Еще и четырех часов не прошло, как мы добрались до этого поселка, а уже чуть ли не все нам знакомы, даже вроде и друзья завелись. Были у Марины с Сергеем — как дома. Теперь у Гусарова — тоже дома.

Даже перестал удивляться, как быстро сживаешься в этих местах с людьми.

Да так ли это? Не привычная ли это фраза, произносимая всеми новоиспеченными северными новичками, как заклинание — с настойчивостью, порой истерической? А ведь в конце-то концов и здесь, как везде, человек человеку рознь.

Но есть правда в том, что на малолюдье хорошие люди виднее и навстречу друг другу они раскрываются быстрее и легче.

Сегодня утром Женя Бабунов посадил свой хлипкий с виду самолетик на небольшой лысине посреди жидкой тайги. Он сажал машину привычно и ловко, но, выйдя на поле, мы увидели, что вся земля здесь усеяна обломками выветренного камня. Только узкая посадочная дорожка была прибрана кое-как. Посадка тут не могла быть легкой, но для Жени она стала такой же привычной, как и весь трехчасовой полет по этому маршруту.

Сперва мы шли в этом полете по течению Вилюя, потом видели внизу другие речки, поменьше. Мы уходили на север, и тайга сменялась лесотундрой; прикрытые ягелем болотные кочки казались сверху пятнами ржавых песков.

В самолете все было по-домашнему. Женя и его бортмеханик (пилот называл его почему-то не иначе, как «генеральным консулом») летели без кителей, в полосатых зефировых рубашечках-безрукавках. На железных лавках кабины сидели два рабочих-строителя и один коллектор. Их перебрасывали на новое место из других изыскательских партий, свернувших свою работу. Напротив примостилась бедовая тетка; она уже второй год работала в новом поселке завмагом. Теперь возвращалась домой из Нюрбинской больницы и в самолете — с откровенной подковыркой — страшила новичков неустроенностью и дикостью предстоящей им жизни.

— А тебе, дядя, будет хуже всех, — дразнила она хмурого пожилого строителя, чьи высокие залысины угадывались даже под шапкой. — Тебе женская забота нужна, волос у тебя редкий, голову в тепле содержать надо, уход нужен...

— Так ведь от женского ухода и облысел он: слишком много думал об вас, — отзывался строитель помоложе.

И видно было, что и сам этот похожий на телка, губастый двадцатипятилетний парень вовсе не прочь подкатиться к удалому завмагу. Добрый десяток лет разницы в возрасте не отпугивал парня; напротив, вроде и подзадоривал даже. И рука его как бы сама по себе тянулась к защитной солдатской куртке, туго круглящейся на ядреном теле завмага.

— Ну и Надя! — окликал ее парень. — Вот это Надя!.. — Он успел схватить имя попутчицы, услышав короткий ее разговор с Женей Бабуновым при посадке в машину.

— Кому Надя, а кому Надежда Сергеевна, — с ошарашивающей жесткостью откликнулась она, и рука парня, как бы замерзнув в воздухе, неуклюже падала на его колени.

А коллектор при этом краснел и старался изобразить совершенную отрешенность на детском лице, окруженном красноватой тщедушной бородкой.

Про парня и про завмага я уже знаю немало от «генерального консула». Этот, кажется, со знаком поголовно со всей округой и рассказывает о своих пассажирах снисходительным юморком. Человечество делится для него на многочисленные виды, подвиды и экземпляры, обозначаемые им тщательно разработанными, устоявшимися терминами. Наиболее распространенный вид — «деятели». Наиболее редкий и вызывающий у «консула» неизменную симпатию — «рохлики». Нет, «рохлик» — это не просто рохля, как я подумал сначала. Недаром в это слово привнесен некий птичий оттенок, нечто роднящее человека, так названного, с зябликом или чистиком. «Консул» имеет в виду не растяпистость рохли, но еще и неприспособленность, незащищенность, непременную для данного вида внутреннюю чистоту. «Рохлик», например, — это юный коллектор с его жалостно-тщедушной бородкой и большими моргающими глазами. А молодой парень-строитель отнесен к «бурыгам». А что же такое бурыги? Выходило, что это, собственно, еще и не вид, а только тесто, и лишь потом будет видно, какие из этого теста получатся пироги... Однако тесто вроде и неплохое: парень, летящий по соседству, принадлежит к компании отслуживших службу солдат, что приехали в Мирный целым взводом. Домой торопиться не к чему — дело холостое, старые гнезда тесны, да и не к родителям же на шею садиться. А прочитали про якутские алмазы, потолковали: «Валяй, братва, поглядим, что она за земля Якутия, полюс холода и сокровищница алмазов...»

Земля оказалась большая — приехали вместе, а тут стали разбредаться: кого куда пошлют, руки по всей мерзлоте нужны. Один в нашем самолете летит, трое в Нюрбе остались, прочие рассыпались от Вилюя до Неры — придется ли еще когда повстречаться?..

«Генеральный» только посмеивается:

— Бурыги, без ефрейтора непривычны... Через годик посмотрим.

Что же касается до завмага, то она — по классификации «генерального» — с о л о х а. Корень тут ясен: родоначальница вида — та самая «несравненная Солоха», что произвела на свет сорочинского кузнеца Вакулу. А завмаг и впрямь той же породы. Не зря полная, белая и гладкая рука ее так привлекала к себе бурыгину руку. И с мужиками, видно, умеет она обходиться не хуже; и можно сказать про нее теми же словами, что Гоголь говорил про сорочинскую чаровницу: «Эх, добрая баба! Черт-баба!»

В изложении «генерального» история ее жизни вьется извилисто, но прихотливое течение остается незамутненным и чистым.

С мужем своим Надежда познакомилась на фронте. Он был шофер; она — регулировщица. Прошли Румынию, Болгарию. Теряли друг друга, находили снова. Листочки, исписанные крупным почерком вчерашних школьников и полные наивной и верной страсти, они складывали небольшими треугольничками и отправляли блуждать по полевым почтам, не зная порою, что их разделяет какой-нибудь десяток километров. Надя была ранена во время одной из бомбежек — на перекресток налетел какой-то случайный «штукас», кинул фугаску, в ту пору это уже случалось так редко, что Надя даже не побежала к кювету, и крупный осколок угодил ей в плечо. Федор отыскал ее в госпитале. Она уже начинала ходить, собиралась возвращаться в свой батальон. Госпиталь располагался где-то у Старой Загоры. Исполненные шумного доброжелательства, местные цыгане и сухопарые болгарские старики бродили меж госпитальных палаток, протягивая раненым гроздь сладкого сизого винограда. Слова их звучали знакомо, но часто означали совсем не то, что по-нашему. К примеру, «булка» означало не хлеб, а молодку. А иное привычное слово при болгарине даже произнести оказывалось неприлично.

Быстрая горная река шумела у самых палаток на крупных камнях. Вечер здесь свалился на них внезапной и глухой темнотой. Ни у Надежды, ни у Федора не было привычки к беспокойной и звездной черноте южного неба: она была родом из-под Вологды, он — пермский. Три последних года они вообще не замечали неба над собою, видели разве только вспышки зеленых и красных ракет, полыханье «катюш», мертвый свет «люстр», развешанных неприятелем перед воздушным налетом или перед артиллерийской подготовкой. Здесь они поразились близкой огромности звезд в низком небе и в быстрой черной воде. Надежде можно было не возвращаться на госпитальную койку до позднего часа; она перемигнулась с «сестричкой», и та отпустила ее без строгости, с уместной к случаю шуткой. «Виллис» Федора был поставлен до утра в надежном болгарском дворе, где спали свои ребята. Гуляя у речки, Надежда с Федором решили назавтра же расписаться. Оказалось, однако, что на чужой земле расписаться не так-то просто. Так и не доискавшись, куда же за этим идти, они разъехались снова на целый год, и только после войны, демобилизовавшись, Федор вышел из поезда на станции Вожега и заявился оттуда напрямиком в Надеждино родное Чарозеро — при всех медалях и с солдатским сундучком. Тут они только и расписались, покрасовались с недельку молодой парой и, завербовавшись, отправились на новые земли, к Балтийскому морю — в Калининградской области город Гвардейск.

Это Надежда первая спросила:

— Поехали?

И они в самом деле поехали.

Место оказалось продувное, на крепком сквознячке; сдвинутые с мест люди не успевали обжиться, пустить корешки, а их уже сдувало ветерком неудовлетворенного любопытства: а может, в другом-то месте получше?..

И Надежду с Федором подхватил этот ветер. Их отнесло поблизости, в Светлогорск, мотануло к Бресту — уже с маленькой дочкой. Потом — на Дунай, к Измаилу, в знакомые, пройденные по военной дороге места. Что не удержало там Надежду, даже и понять трудно. Ревновать начала Федора, что ли, увозила его, пошучивая: чтоб не привыкал, мол, к какой-то там «дуре Любке»:

— Вот поедет за тобой, покажет любовь, может, и отпущу.

Но, наверно, ничего у Федора с дурой Любкой на самом деле и не было, и Надежда сама это знала, только дразнилась на всякий случай. Скорее всего другое сдувало ее с места на место. Еще до Светлогорска пошла Надежда по торговой части; сама она была не загребушая, Федор тоже не жадный; боялась оскользнуться, влезть в чужие грехи, вот и торопилась унести ноги, пока не замаралась.

— Поехали?

Так и добрались до Нюрбы, а оттуда еще дальше, на север. Работала тут Надежда одна, никого близко не было, никакого соблазну. Уже пятый год пошел, как осели; дочке уже на будущую осень — в школу. Придется в Нюрбу везти, пристраивать в интернат.

Все бы хорошо, вот только болеть начала здесь несокрушимая прежде «черт-баба». За два года третий раз ложилась в больницу, стесняясь Федора, боясь, что он переменится к ней, и торопясь прежде своего времени возвратиться в поселок.

То, что губошлеп-строитель заигрывал с ней в самолете, нравилось Надежде. «Значит, не так уж с лица сошла», — наверно, подумала она, когда показала на пустое место с краю скамьи и сказала парню:

— Ты вот что, емеля, отсядь вон туда, поостынь, тебе полезней будет.

— А мне и тут хорошо,— обидчиво возразил парень.

Но замолчал и будто даже начал дремать.

Теперь в кабине «антона» слышался только сухой треск мотора. Строитель постарше спал уже давно, укрыв лицо в поднятый воротник защитной полувоенной куртки, подбитой ватой.

Коллектор смотрел в окошко.

Машина шла низко. Вилась по земле меж пустынных холмов узкая речка, и ничего больше не было видно.

Я спросил у коллектора: бывал ли он уже в тех местах, куда мы летим. Он ответил: нет, еще не бывал. Кроме Нюрбы, нигде он еще здесь не бывал. А в Нюрбу приехал месяца три назад и привыкал поначалу — работал с геологами «на камералке». Теперь отпросился в поисковую партию, и, как ни старался не придавать словам никакого особенного выражения, все равно вышло так, будто необстрелянный солдат-новобранец рассказал, что сам отпросился из тыла на передовую.

Десять минут ни к чему не обязывающего дорожного разговора — и вся недолгая жизнь восемнадцатилетнего бородача открыта, как на ладошке. Может показаться: чего же тут, собственно, и открывать? Только и могло быть в этой по-настоящему не начавшейся еще жизни, что родительский дом да школа. А каким же ветром его сюда занесло? Ленивой мыслью нетрудно было представить и это. Подвернулся знакомый геолог, предложил забрать с собой в поле на летнее время: пусть поухаает парень той жизни, какой привык завидовать по книжкам. А статья на несколько месяцев коллектором — смышленому молодцу много ли надо умения? Мама, наверно, посомневалась, поахала («Тайга все же, даль какая, медведи»), но отпустила. Так я думал, когда надоело смотреть из окошка «антона» на ту же тундру и те же холмы.

Читать не хотелось. Винты шумели негромко, и времяпрепровождения ради я спросил у соседа, откуда он здесь и надолго ли?

А жизнь-то и на этот раз упрямо вывернулась из предложенного ей нехитрого чертежика. Оказалось, не так все просто.

Коллектор повернул ко мне бородатое, но все еще детское лицо на трогательной цыплячьей шейке. Он подумал, прежде чем отозваться. Но разговор пошел. Сперва суховато, в рамках вежливости, потом с той внезапной дорожной откровенностью, какая возникает от сознания, что встреча случайна, с попутчиком жизнь вряд ли еще раз сведет, и выговориться охота не так для него, для попутчика, как для себя самого.

— Меня теперь Ромкой называют,— рассказывал парень.— А в паспорте написано: Рэм. Рэм Иванович. Короткое имя, а понимать его надо так: Революция, Электрификация, Металл... Он мне сколько раз объяснял. Как пойдет разговор, так снова. Я и электрификация, я и металл... Выходит, Металл Иванович. Сам себя испугаешься.

Уже в начале разговора стало известно, что он не на лето сюда приехал, не на каникулы, а по договору. Сам из Красноярска. С домашними сперва поругался; теперь и он и 'они отошли, пишут письма. «Только посылки никаких я им не разрешаю». Выходит, принцип. И чем дальше, тем больше обнаруживается у него твердых принципов и смятенных, жестких раздумий. И трещина в отношениях с домашними осталась. Про отца Ромка неизменно говорит «он». Однако не с отчужденностью, а с этаким сострадательной нежностью. Ромка убежден, что отец теперь, кроме как в своих револьверных станках, ни в чем разобраться не может, зато самому Ромке открыто все: и родительская душа, и собственная нерушимая правда, и управляющие миром законы. По его рассказу выходит, что «он» был крупным инженером, эвакуировал в военное время на Восток большие заводы, строил потом новые, возил семью за собой по Сибири, из края в край. Теперь оставил производство, профес-

сорస్తుует в Красноярске. «И доволен»,— добавил Ромка, будто осудив отца за это его довольство и пожелав ему втайне каких-то забот и волнений.

— Ведь он мне Рэма когда придумал?! — все не мог отвязаться от своего имени Ромка.— Я в сорок втором родился, тогда уже лет десять никого так не называли. Со мной в классе пять Игорей училось и два Ростислава. Ну, еще Викторы. Девчонку одну знаю, сорок пятого года, Победой ее зовут, это я могу понимать... А для него мое имя как раз победу и означало. Революция, Электрификация, Металл — ведь это и есть вся его вера, без остатка...— Он остановил меня, не давая задать вопрос.— Нет, вы не подумайте. Это я уважаю. Это — всё. И когда меня на свете не было, он давно в это верил. И тогда, в сорок втором, еще, наверно, сильнее...

— Так это же хорошо,— вырвалось у меня.

— Хорошо,— серьезно согласился Ромка.— Конечно! Только есть в нем трещинка.

Он вдруг замолчал, словно очутившись у какой-то головокружительной кручи, над которой ему приходилось замирать уже не впервые.

Потом снова повернулся ко мне и в упор уставился совсем не детскими глазами.

— Зигзагом живет,— трудно выговорил он наконец.— Хороший человек, это я знаю. А живет так, будто чего-то боится. Нет, не подумайте, что я о квартире или там о машине, о том, что в романах называется «положением». Да, все это тоже есть. И квартира хорошая, и машина своя. Но этого он не держится, и знаю, что умеет без всего этого обходиться. Мальчишкой я с ним как-то целое лето на стройке жил, без мамы, в тайге. Когда время было, на охоту ходили. Иногда он меня на карьер брал, на вездеходе. Очень он там был хороший, я тогда на него, как на бога, смотрел, это железно.— Он поправился:— Честно. А теперь понимаю: и там это было.

— Да что же было?

— Трещинка. Говорит и не договаривает. Идет и не доходит. Даже со мной. Не могу же я этого не видеть.

— А как же — Рэм?

Ромка отмахнулся сердито и нервно.

— Я же сказал, что он хороший. Значит, честный. От своей веры он никогда не отречется.

— Ничего не понимаю,— признался я.

— И не поймете,— пренебрежительно отрубил Ромка.— И он ведь не может понять.

Проще всего было предположить за трудным разговором мнимую мальчишескую сложность, обычную строптивость подростка, надуманную, мнимую отчужденность. Мало ли книг написано во всей мировой литературе о том, как это появляется у семнадцатилетних? Еще один обыкновенный случай. Обычно говорят: переберется — успокоится, понюхает жизни — обомнется. Но этот не хочет ни успокаиваться, ни обмигаться. Он пытается что-то себе объяснить и опять говорит о том же:

— Вы представьте: я иду по ровному. Все вижу. Впереди тоже ровно. Спокойно ступаю. А меня вдруг за плечо — хват! «Осторожно. Не оступись». Да где же тут оступиться? Ведь ровно! Нет. Оказывается, он видит мою дорогу вовсе не так, как я ее вижу. Он меня начинает учить: «Туда не ходи, про это не говори». Он хочет сбить меня на свой зигзаг, чтобы я продолжал обходить то же самое, чего он когда-то испугался и что ему мерещится на ровном месте. А я вовсе не собираюсь пугаться и не хочу никакого зигзага...

От «зигзага» и убежал сюда Ромка. Выбрал место не потому, что увлекла книжная романтика. Он узнал тайгу еще в детстве; завидовал отцу — такому, каким запомнил с тех мальчишеских дней, в затерянных избах и у таежных костров. Запомнил и теперь хотел как бы повторить его, но только без всякой «трещинки» и без почудившейся ему старческой опаски. Ставши Ромкой, он про Рэма не забывал. И может, из путаных и горячих его слов мне захотелось вытащить больше, чем в них на самом деле было, — но только показалось, что мальчишка не поверил в то, что металл дается человеку сам собою, с полученным в младенчестве именем, но и понял, что нужно его выплавлять самому, своим трудом. В Рэме могло его и не быть, а в Ромке будет. Потому и удрал. И не позволил и м, чтобы посылали посылки.

За окошко «антона» выше поднималось солнце.

Снова река появлялась внизу и невысокие горы.

Самолет продолжал идти на небольшой высоте; были различимы отдельные редкие сосны чахлого леса, ягельники, мокрые болотные пади.

Плосковерхие холмы обозначили водораздел Вилюя и северной реки Оленек.

Я подхожу к пилотской кабине и сажусь на широкий ремень, пристегнутый в ее дверях. Рядом с Женей Бабуновым развернута штурманская карта, на ней видны сотни километров безлюдной земли, извилистые ниточки рек: Марюка, Мархара; невысокие горы Кыччыгай-Хая, Курунг-Джелинде и самая высокая безымянная высота «710», над которой мы сейчас проходим на бреющем полете: голый склон с черными обнажениями и осыпями выветренных пород. Несколько белых дощатых домиков какого-то временного поселка — и снова просторы пустынной, безлюдной земли. Как далеко видно здесь все, что сделано на этой земле человеческими руками. И как виден сам человек на этом безбрежном безлюдье.

Говорят, самолет не позволяет по-настоящему ощутить расстояние и понять землю, над которой ты пролетаешь. Север, мол, надо увидеть с нарт, запряженных оленьей или собачьей упряжкой, пробежать на местных широких и коротких лыжах, проплыть на лодке по порожистым речкам. Я пробовал все, и верно — всякий раз по-новому открывалась дорога. Может, и привязался я к Северу сердцем в то давнее-давнее время, когда, приехав в саамское стойбище на оленьих нартах, проснулся однажды, разбуженный окликом старого Тимофея:

— Пойдем-ка, скоро солнце выходить будет.

Мы встретили первое солнце после двухмесячной зимней ночи на берегу замерзшего озера. В первый раз многоцветно окрасился синий снег. А потом я стоял один в снежном лесу, а Тимофей пропал за деревьями, он бегал, что-то коротко вскрикивая, его голос то отдалялся, то приближался, и вдруг олени выбежали на поляну, и Тимофей принялся вылавливать упряжку, накидывая аркан на кустистые рога. И таким счастьем было все это: хруст снега, потрескивание промерзших деревьев, огромный снежный простор, первое солнце, гортанный голос саама — таким все это было удивительным счастьем, что захотелось искать его снова и снова, хоть не могло оно больше никогда и нигде повториться.

Но лодка, летящая в буруны взбитой на камнях пены, и отвес красных, будто срезанных скал, и ели, поднятые на огромную высоту над рекою, и потом толчок, бросок, удар об ровную быструю воду, и уже бурун далеко за тобою, и потом вечер, костер на берегу; хариус повел леску, метнувшись; негромкая песня послышалась с берега, — ведь и это вспоминается как другое и тоже неповторимое счастье.

С самолета — все по-иному. Даже с небыстро и невысоко летящего «антона» не различишь отдельные зерна снега, в которых вдруг всем

спектром сверкнет холодный солнечный луч. Отсюда не вдохнешь запах хвои, не услышишь шума ручья. Но по-настоящему понять землю можно именно с этой высоты, непременно с высоты — с ее распахнутым горизонтом и быстро развертывающимися просторами.

Путешествие длилось не первый год, обрываясь и начинаясь сызнова. После салехардских дней мы ушли на восток очень уже далеко. Природа менялась. Земля и реки были совсем другими, и опять другими, а суть оставалась все та же. Именно сверху, с самолета, можно увидеть, как ступает и укореняется здесь новая жизнь, образуя в тундре как бы проталины. Проталины расширяются, и, видя их сверху, начинаешь думать про то, что может когда-нибудь наступить время, когда они сомкнутся, появятся между ними нитки наезженных привычных дорог, и тогда земля с полета станет казаться тут такую же обжитой, как там, где мы пролетали недавно, — например, от Новосибирска к Бийску. Может, придумают и такое, чтобы здесь хлеб созрел: случалось ведь читать немало проектов — порой даже будто и правдоподобных, — как обогреть Ледовитый океан и растопить вечную мерзлоту. Но все это пока лишь фантастика, и трудно сказать, как бы такое, случись оно, могло для нашего «шарика» обернуться. А другого — несомненно, полезного людям и сейчас уже необходимого всей стране — отыскалось здесь очень много; недаром в планах наших пятилеток столько цифр относится к этим землям, и все чаще мелькают на газетных страницах здешние географические названия — в таких сочетаниях, как Вилюйская ГЭС, или березовская нефть, или чукотское золото. И таких сочетаний, и даже гораздо более удивительных, от года к году становится больше.

Может, узнается так вскоре и то — пока безвестное — место, куда летит наш «антон».

А сейчас знают о нем только в одном-единственном пункте на всей земле — в Нюрбе, в «столице» геологов, идущих все дальше и дальше на якутский Север в поисках алмазов.

2

Площадка, на которой мы сели, оказалась небольшим распадком меж невысоких гор; мокрая тропа уходила в жидкий сосняк. На грязи виднелись и тут же рядом пропадали в воде рубчатые следы тракторных гусениц.

Трактор стоял возле кривобокой избушки на краю площадки. Это муж-тракторист приехал на нем за Надей. Долговязый и тощий, многодневно небритый, он подошел к ней и подхватил с земли фанерный баул.

— Растрясет тебя, — сказал он очень тихо.

Никаких объятий и поцелуев. Но такая вдруг ощутилась в этом свидании нежность, что даже губастый парень отвернулся, чтобы им не мешать. И женщина словно бы освободилась от потребности что-то изображать ненастоящее, прикидываться на людях; деланный ее задор пропал, мужская солдатская куртка не прятала внезапной незащищенности.

— Валюшку не взял почему?

Можно было догадаться, что она спрашивает у мужа про дочку. Тихого его ответа уже не было слышно. Они пошли краем поля, и Надя клонилась к мужу, приникала к нему, говорила что-то, поднимая кверху круглое свое лицо, пока не поднялись оба в тесную кабину старого трактора. Машина загрохотала, пустила синий дым и, кренясь из стороны в сторону, заковыляла по жидкому болоту, уходящему в жидкий сосняк.

Второй пилот, он же «генеральный консул», захопотап среди пассажиров, которые дожидались здесь обратного рейса: семеро взрослых и трое детей; узлы, сундучки и авоськи. «Генеральный» проверял билеты,

ерничал и покрикивал, потом все вдруг заторопились, пропали внутри самолета; шумно завертелись винты, машина побежала, разбрызгивая по сторонам камешки, оторвалась — и сразу очутилась в крутом развороте над недалней горкой. Мы даже не попрощались с Женей Бабуновым. Впрочем, это было ни к чему. Если пустит погода, он должен снова прилететь сюда через три дня. И еще через три дня нам нужно будет возвращаться вместе с ним в Нюрбу.

А пока — хорошо бы побыстрее добраться в поселок.

С воздуха он было открылся нам на мгновение. Несколько домиков близ ручья. Потом, в вираже, лес полез на небо, домики пропали из виду, и сейчас нельзя было сообразить, далеко ли остались они от посадочной площадки и в какой они теперь стороне.

На поле оставались только наши попутчики-строители, рыжебородый Ромка да нас четверо.

У избушки кто-то возился — похоже, ладил багажные веса. Отсыревший полосатый ветродуй свисал с кривого шеста. До нас никому дела не было. Только две крупные лохматые лайки прибежали от построек и так восторженно завияли хвостами, будто именно нас дожидались они целую вечность. Мы разобрали багаж и следом за гостеприимными псами потянулись к избе-развалюшке.

Разговор с аэродромным служителем начал разбитной губастый парень. Он выяснил, что до поселка отсюда километров десять («Ну, может, двенадцать»). Тропа туда одна, с нее не собьешься. Попутного транспорта не предвидится. Надо шагать...

И строители зашагали.

Закинув рюкзак на одно плечо, с видом бывалого ходока, присоединился к ним Ромка.

Мы тоже хотели отправиться за ними, но этого не мог допустить наш распорядитель и организатор, торжественно именуемый директором, а в просторечии — Юрой. Юра решил во что бы то ни стало оправдать свое звание и добиться, как он говорил, транспорта. Жажда деятельности обуревала его. Он рвался к телефону. Но никакого телефона здесь не было. Радиосвязи не было тоже.

— Транспорт должен прийти, — повторял он убежденно. — Ведь я из Нюрбы давал телеграмму.

Он верил во всемогущество своих телеграмм, во всеобщее почтение к кинематографу, в то, что одно слово «киноэкспедиция» должно магически раскрывать все двери и располагать все сердца.

Однако тройка наших попутчиков давно уже скрылась на лесной тропе; шум трактора, на котором уехала Надя, заглух еще раньше, и вокруг стояла девственная, торжественная тишина, не нарушаемая никаким работающим мотором. Транспорта не было.

Веселые аэродромные псы старательно отвлекали директора от мрачных мыслей. Уже стало известно, что лайка побольше называется Север; пес прибегал сюда из поселка и был любимцем старшего геолога тамошней изыскательской партии. Лайка поменьше жила здесь постоянно. Имени у нее вовсе не было. Неразговорчивый «аэродромный» служащий называл ее Кабысдох, но относился к ней с очевидной заботливостью. Это доказывала миска с кашей, выставленная у порога избушки.

В этой избушке Степан Корнеевич — так звали здешнего служащего — жил второй год, то есть с того самого времени, когда появились в этих местах первые изыскатели, поставлены были первые избы и Женя Бабунов впервые посадил своего «антона», с воздуха выбрав подходящее место.

— А откуда же вас сюда принесло?

- Из Нюрбы.
- А в Нюрбу?
- Из Жиганска.
- А в Жиганск?
- В Жиганске я шесть лет прожил.
- А до того?

Он не ответил. Полчаса прошло, куда Степан Корнеевич обронил невзначай, что сам он вятский, и уж больше ничего к этому не добавил. Может, Юра, который задавал первые вопросы, что-нибудь из него еще и смог бы выжать, но Юры не было. Он успел уехать в поселок.

Это произошло так.

На краю поля появился вдруг неожиданный силуэт.

— Это что? — оживленно осведомился наш директор у Степана Корнеевича.

- Лошадь это.
- Чья лошадь?
- Строительная, — туманно определил Степан Корнеевич.
- А повозка какая-нибудь есть? — продолжал жадно настаивать Юра.

Но повозки не было. То есть, может быть, и была, но не здесь, а в поселке.

Тогда Юра решительно объявил, что он отправится в поселок верхом и придет за нами транспорт оттуда.

Бессмысленно было спорить с ним и доказывать, что куда проще добраться до поселка пешком и всем вместе. Такой проект уязвлял Юрино администраторское достоинство. По его мнению, любой предоставленный «транспорт», пусть даже верховой, необходим был для поддержания престижа вверенной ему киногруппы.

Степан Корнеевич ничем не выдал своего отношения к кавалерийским склонностям одного из случайных своих авиапассажиров. Верховом так верхом. Наблюдение за лошадьё не входило в его обязанности.

Не выпуская из рук директорского портфеля, Юра резво потрусил на край поля. Мы эскортировали его с пристойной торжественностью.

«Строительная» лошадь оказалась при ближайшем рассмотрении весьма малорослым и старым коньком. Масти он был розовой, а на Юру смотрел так, что его сокровенную мысль можно было понять сразу. «Лучше бы ты меня не трогал», — выразительно говорили его выпуклые, слезящиеся глаза. Седла, конечно, не оказалось. Зато уздечка была.

Мокрая лесная тропа скрыла седока на розовом коне так же быстро, как и тех, кто ступил на нее часом раньше.

— Да вы тут чаю попейте, что ли, — предложил Степан Корнеевич. Он-то в точности знал, что если мы станем дожидаться возвращения всадника, то времени нам здесь придется провести немало.

Печка в избе топилась. Мы достали из багажа чай и консервы, оглядывая бесприютное жилье нашего хозяина. В просторной — во всю избу — комнате стояли только самодельный стол, шаткая лавка и дощатый топчан на высоких козлах. А всего имущества только и было, что толстая конторская книга для каких-то служебных записей, старый кожушок, постеленный на топчане, и закопченный артельный чайник, стоявший на печке рядом с такой же почерневшей кастрюлей.

— Ручеек — вот, близко, — указал Степан Корнеевич на поле, в сторону реденького леска. И прибавил: — Вода тут ничего, сладкая, пить можно...

Теперь мы его разглядели. Лет ему, наверно, было за сорок. Может, и далеко за сорок. Опушенная голова, сутулое долговязое туловище и длинные руки придавали всему его облику выражение нелюдимости и

угрюмства, но глаза оказались живыми и любопытными, даже доброжелательными. И еще видно было, что давно уже привык он жить бобылем, не стараясь ничем приукрасить свое жилье, не думая об уюте. Стены оставались голыми, и нигде не было видно никаких памяток об иной, прежней жизни — ни фотографии, ни какой-либо вещи, отмеченной женской заботой, ни брошеного невзначай письма. Это было не жилье, а скорее логово. Чаще всего на такое житьишко обрекают себя обозленные неудавшейся жизнью люди. Но Степан Корнеевич вовсе не казался обозленным; напротив, чем дальше, тем очевиднее выказывал он приметы душевной уравновешенности и ясности. Даже и неразговорчивость его была скорее от внутреннего спокойствия, чем от нелюдимости. От чаю нашего он сперва вежливо отказался, потом присел на край лавки, подставил под протянутый ему чайник стеклянную банку из-под компота, поглядел налитый чай на свет и заключил:

— Сибиряки вы, видать, недавние.

Значит, не оказалось — на его пристальный глаз — настоящей «сибирской» черноты в нашем чае.

Однако в самом ли деле она сибирская — эта пресловутая здешняя крепость напитка, по которой проверял нас Степан Корнеевич? Мы уже пробовали на разных сибирских широтах крепчайший черный чай шоферов и строителей, изыскателей и портовиков — вся пачка на заварку: чтоб не клонило в сон за баранкой, или на утомительном переходе по тундре, или на мутной послеполуночной (недаром ее называют «собачьей») вахте, когда дряхлый портовый буксир мотается взад и вперед на поспешной разгрузке пришедшего из льдов каравана. Такой чай подстегивает сердца; он вошел тут в привычку у вятских и вологодских, у смоленских и кубанских, полтавских и витебских. Пришельцы делали эту землю обитаемой, и все они стали здесь сибиряками и земляками в наиболее емком значении этого слова. И все, к чему они наново тут привыкли и что помогало им в здешней жизни, стало для них тоже сибирским, то есть своим, ими на сибирской земле заведенным, объединяющим их. Оно вошло в тот самый пресловутый пуд соли, который они съели как бы вместе, на разных, отдаленных концах огромной и трудной земли.

Степан Корнеевич поглядел налитую банку на свет и не признал нас за сибиряков. Но осуждения в этом непризнании не было. Он лишь отметил несомненную, на его взгляд, приметку, которая избавляла его от надобности задавать лишние вопросы.

Лишних вопросов Степан Корнеевич, по-видимому, вообще не любил. Он не стал спрашивать, откуда мы и надолго ли, только посмотрел на ящики с киноаппаратурой и пленкой, похожие по внешности на обычный багаж изыскательских экспедиций, и снова отметил:

— К геологам, значит.

Погода прояснилась, лайки резвились за порогом; к двум знакомым присоединилась третья, и мы узнали, что это Мулька, недавно привезенная из самой Нюрбы новым поселковым радистом.

— Домой хочет,— заключил Степан Корнеевич.— Как самолет услышит — сюда бежит. Только, пока добежит, непременно на посадку опаздывает.

Он сказал это с такой особенной понимающей жалостью, что даже второй Юра — оставшийся с нами молодой кинооператор, который никогда прежде не выказывал большого душевного интереса и чуткости к случайным дорожным встречным,— не утерпел и задал-таки один из тех вопросов, от каких старательно ограждал себя Степан Корнеевич:

— Ну, а вам домой не хочется?

— А я и тут дома.

— И не скучно вам здесь? — не отстал Юра, хоть уже и потерял любопытство, а только поддерживал для пристойности светскую беседу.

Степан Корнеевич только пожал острыми плечами, будто и самого слова не понял.

— А какая у вас специальность? — опять спросил Юра, добывая говядину из разогретой на огне банки.

«Аэродромный» служитель поглядел ему прямо в глаза. Бледная десна приоткрылась под недобро поднявшейся верхней губой.

— Специальностей у меня, начальник, много. Только здесь они все без надобности. Вот, выходит, и хорошо.

— Ясно, — сказал Юра.

Он принялся жевать, и видно было, что ясным для него стало только то, что разговор пора кончить.

А между тем все действительно стало ясно. Отшельническое жилье, принятое с первого взгляда за логово неудачника, оказалось чистилищем для отстоявшейся, как вода, незамутненной теперь и непритязательной души. И прорвавшееся (быть может, намеренно) словечко «начальничек» оказывалось содержательнее самого подробного рассказа. Встречалась мне уже и такая разновидность сибиряков — первые десятилетия их жизни были отрублены начисто. Все начиналось сызнова, и по ту сторону порой оставалось очень многое. У иных перечеркнуто было лишь начало их жизни; другим (как могло быть и на этот раз) прожитого хватило бы и на целую жизнь: по ту сторону оставалась и семья, и даже подобие промелькнувшего счастья. И если трудно бывает отделаться от сторонних праздных расспросов, то свои воспоминания отогнать еще труднее. А они — так, наверно, бывает — приносят щемящую боль, как ампутированная конечность.

Степан Корнеевич вышел и у двери снова принялся ладить весы.

День менял краски. В этих широтах пора полярного круглосуточного дня кончалась, но сейчас еще солнце стояло в зените, лес расцвтился ярко, тишина его по-прежнему оставалась нерушимой. А ведь уже часа три, не меньше, прошло после того, как наш директор отправился в кавалерийский рейд.

— В ремонте, наверно, трактор, — заметил Степан Корнеевич. — Он тут разок проползет и сдохнет, чинить надо.

Мы с Юрой предложили оставить груз в избушке, а самим идти налегке к поселку навстречу другому Юре.

Толя, четвертый участник нашей группы, по должности помощник оператора, снял очки. Черные близорукие глаза посмотрели на Юру с жалобной беспомощностью.

— Я лучше тут побуду, — сказал он.

Было очевидно, что шагать пешком десять, а то и все двенадцать километров ему очень не хочется. Юра взглянул на него испытующе и строго.

— Все ж таки пленка, — оправдался Толя. Не дождавшись ответа, он добавил с деланной озабоченностью: — Опять же объективы...

Юра сказал:

— Поспишь?

— Ну, посплю, — согласился Толя. — А что, и поспать нельзя человеку?

— Ты же весь полет проспал.

— Подумаешь, три часа лету...

Он мог спать когда угодно и сколько угодно. Удобства тоже роли не играли. Высокий (метр восемьдесят четыре), широкий в плечах и даже несколько уже грузноватый, Толя отпраздновал свое девятнадцатилетие

месяц назад, когда мы еще были на Полярном Урале. Зоотехники, с которыми мы встретились в кочующем к морю оленьем стаде, узнав про именинника, открыли заветную бутылку шампанского и банку персикового компота. Толя выпил что было налито и направился к чуму.

— Посплю, что ли...

Одна из девушек возмутилась:

— Да ты что, тюхтя какой? Старик ты, что ли?

— Конечно, немолодой,— согласился Толя.— Второй десяток кончается.— И исчез в чуме.

Его и в помощники оператора определили, потому что он казался крепким, спортивным парнем, а в этом деле нужна сила, чтобы таскать тяжелые штативы, кофры и ящики с пленкой. Но Толя оказался увальнем и соней. Он вечно путал объективы, выводя Юру из себя на каждой съемке.

Теперь Юра махнул рукой.

— Ладно, дрыхни. Все равно тебя с места не сдвинешь. Если оголодаешь, мяса там почти полная банка. Не забудь только хозяина угостить.

Еда была второй неутолимой Толиной страстью.

Мы не успели выйти за порог, как Толя уже заснул, завалившись на кожушок Степана Корнеевича.

Север и Мулька устремились вперед, показывая дорогу.

3

Колея, проложенная трактором, часто уходила в глубокую жидкую грязь. Приходилось сворачивать в нехоженое редколесье, на сплошные рыже-зеленые мхи. Стояли здесь чахлые лиственницы, редко — тонкая ель, еще реже — сосна и березка. Между деревьев — низкие заросли голубоватого можжевельника. Цветов не видать было вовсе. Седые ягельные кочки иссохли; они шуршали, крошились в прах и под ягелем оказывались пустыми, словно пузырь, вздувшийся и присохший над болотом. Под ногой кочка проваливалась, и след тотчас наполнялся болотной водой. То и дело трещал и ломался на пути палый сухостой — стволы и ветки. Шли, то спотыкаясь, то увязая, — трудно и медленно. Даже разговаривать не хотелось.

Кое-где попадались кустики голубики. Но еще Степан Корнеевич предупреждал, что ягод нам по пути не достанется: побило поздним морозом недавно, в самом конце июня. Однако, если встречалась все же изредка созревшая ягода, ее приятно было собрать в горсть и съесть сразу, целой пригоршней: кисловатая, крупная, она хорошо освежала.

Север и Мулька часто скрывались из виду, издалека слышался их bestолковый лай, но вдруг они возвращались и, терпеливо дождавшись нас, снова показывали дорогу, как трудолюбивые проводники.

Четыре часа, как мы вышли с площадки, а поселка все не видать. Хорошо, что день еще стоит долгий. Время предвечернее, а солнце держится высоко, и лес по-прежнему яркий — в странной, растрепанной и неприютной своей красоте.

Шел уже седьмой час пополудни, когда совсем близко послышалось вдруг оглушительное чиханье тракторного мотора. Тропа выскочила из леса в открытый распадок, и мы очутились у сарая, обшитого еще не успевшими потемнеть досками. Двое людей пытались завести трактор. Невдалеке розовый конь отмахивался редким хвостом от гнуса, тучкой кружившего над его плешивой спиной. Тут же был Юра. Видимо, он пытался руководить починкой трактора, но увидел нас и деловито пошел навстречу.

— Радиосвязи, понимаешь, не было,— сообщил он.— Непроходимость волн. Нашу телеграмму только при мне начальнику принесли. Он тут мужик хороший...

По всему видно было, что наш директор успел почувствовать себя здесь в своей тарелке. Несмотря на юный возраст, Юра обладал характером застарелого неврастеника. Приступы самого черного пессимизма сменялись у него полосами непобедимого, оголтелого оптимизма, сопряженного с жадной кипучей деятельностью. По счастью, сегодня он был весь день в наилучшей своей форме — обуреваемый деятельным нетерпением и исполненный веры в удачу. Он торопился показать нам, что не потерял времени зря, успел провести все необходимые встречи на высшем уровне и завязать самую тесную дружбу со всеми, от кого зависело наше дальнейшее благополучие. Начальник здешний был, как сказано, «мужик хороший»; главный геолог — «чудный мужик»; шеф столовой — «сами увидите»...

Юра вернулся к своему разговору с начальником:

— Он сказал, если трактор не наладят,— олешков пошлет.

Но олешки еще только должны были со своими каюрами вернуться в поселок с ягелного пастбища. Их ждут не раньше темноты. А что до трактора, то уже становилось ясно, что его не удастся наладить еще очень долго. Впрочем, раз мы сами успели добраться до поселка, это уже не имело значения. Ящики оставлены под крышей, и до утра они нам не понадобятся. Там, правда, остался и Толя. Но чем дольше его не разбудят, тем он будет счастливее.

Мы осмотрелись.

Неширокий ручей прыгал по каменистому ложу тут же, за сараем. В полукилометре отсюда на слегка поднимающемся кверху плато был разбросан десяток некрашенных деревянных домиков, таких же светлых, как и сарай. Наверно, все тут строилось одновременно.

Мы идем к домам, и не проходит и получаса, как мы уже знакомы со всем населением поселка.

Василий Тимофеевич Гусаров встретился нам по дороге, и Юра представил его шумно и весело, точно многолетнего закадычного друга. Гусаров даже смутился. Похмыкивая и краснея, он как бы отмахнулся несколько раз загрубевшей ладонью. Не то чтобы оглушительная Юрина развязность шокировала его,— нет. Просто он не привык к такому стилю общения, это стало ясно потом, когда мы узнали о нем столько, сколько можно узнать о человеке за одни сутки только в таких местах, где собеседники встречаются очень редко. И того, что не привык, не умеет поддержать тон, заданный шумным гостем, Гусаров стеснялся тоже. Фрейдист назвал бы это «комплексом неполноценности». Но справедливее, наверно, будет сказать, что причиной тут была как раз та наивысшая ценность человеческого характера, та ненарушенная цельность, которая сохраняется только у людей, совершенно поглощенных своим делом. И стеснительность, почти болезненная, проявляющаяся у таких людей всякий раз, когда их увлекают в незнакомый и суетный мир, далекий от их дела,— да, пожалуй, и от дела вообще — вовсе не изобличает отсутствия у них спасительного чувства юмора. Напротив, свое дело такие люди обычно делают весело, охотно и много шутят. Но только, вырванным из привычной сферы, им сразу не хватает дыхания, и они становятся похожи на рыбу, выхваченную из воды на прибрежную траву.

В ковбойке под лыжной курткой, невысокий и сухопарый, на вид лет тридцати пяти, Гусаров и оказался здешним главным геологом. Он шел не один. С ним были еще парень и девушка, тоже в ковбойках и лыжных костюмах. Это были геофизики — ленинградцы, молодая чета.

Сергей и Марина — так они представлялись. Но Гусаров называл их по отчеству: Сергеей Николаич, Марина Петровна. Тут же подошли Николай и Саня — взрывники. И по возникшему общему разговору еще одно стало понятно: к Гусарову влечется здешняя молодежь, льнет привычно, по укоренившейся душевной потребности.

Но Юра потребовал, чтобы мы шли представляться начальнику. Пришлось прощаться. Тут-то Марина и предложила идти перед закатом на ручей и печь на костре картошку.

В домике начальника было чисто, и две комнатки, которые успели мы разглядеть, напоминали летнюю дачу, обставленную ненужными в городской квартире вещами, чтобы создать временное, бивачное подобие привычного для хозяйки уюта. Тут, в домике, стояли только те предметы обстановки, какие можно переправить по воздуху на «антоне» — из Нюрбы или из Якутска. Крохотный письменный столик у окна, кушетка, небольшой круглый обеденный стол; на стенке — зеркало для прихожей. Во второй комнате — тумбочка, у дверной притолоки — завешенная простыней одежда, кровать, сверкающая никелированными шарами, с горой тюфяков и подушек. И всюду — на тумбочке и на кровати, на обеденном столе и даже на письменном — бесчисленное количество вышивок, аппликаций, кружавчиков, лоскутков. Рукоделья висели и поверх прибитого чуть не во всю стену ковра, и на других стенках вперемежку с веерами фотографий, сочинскими видами и вырезанными из «Огонька» цветными репродукциями. Юра и сюда вошел, как домой. Толкнул дверь без стука и зашумел из сеней:

— Тихон Кузьмич, Евдокия Семеновна! Разрешите побеспокоить!

Тихон Кузьмич вышел навстречу — кругленький, похоже — разморенный послеобеденным сном, в пижамной куртке поверх голубой майки.

— Приехали, — не спросил, а отметил он столь окончательно, что уже ни к чему было и объяснять, как мы на самом деле сюда добирались. И добавил: — Вот и хорошо (хоть и ясно было, что решительно ничего хорошего Тихон Кузьмич, по правде, в этом не видит).

— Дуся! — кликнул он.

— Слышу, — отозвался из кухни грудной, приятный голос.

Мы сидели в столовой, пытаюсь расспросить Тихона Кузьмича о том, чем занята и что сделала здесь изыскательская партия, когда вплыла в комнату высокая, статная женщина с толстыми светлыми косами, уложенными вокруг головы, с полными руками, от которых розовыми казались прозрачные рукава белой капроновой блузки. Не пряхась, она к а з а л а себя — вот, приготовила и вынесла для гостей. Кто знает, кого еще минуту назад надеялась она увидеть в своей столовой; наверно, само слово «кино» вызывало в ее представлении свет далеких звезд, блестящие имена, курортные толки. И какое же неприкрытое разочарование открылось в ее глазах теперь, когда она посмотрела на наши рыжие сапоги и запятнанные, выгоревшие, так буднично примелькавшиеся в здешних местах штормовки. Вся ее молодцеватая подтянутость сразу исчезла, и она стала выглядеть на все свои сорок лет.

— На кино снимать будете? — без обиняков осведомилась Евдокия Семеновна. — А что же у нас снимать-то?

— Вас с Тихоном Кузьмичом снимем, — галантно отозвался Юра.

— Ну, вот еще, — не поверила хозяйка. Но тут же согласилась: — А то снимите. Интересно, наверно.

Она сама властно завладела разговором, и Тихон Кузьмич совсем притих, хоть и прежде от него мало что удавалось услышать. На расспросы он отвечал так, будто своих слов у него совсем не было, а надо было мучительно припоминать фразы и цифры из подписанных им докладных,

отправленных по начальству. Казенные же слова, выскочив из своей графы, сталкивались растерянно друг с дружкой и никак не могли сложиться в какую-либо законченную картину. Теперь Тихон Кузьмич умолк, испытывая от этого видимое облегчение, а Евдокия Семеновна принялась вспоминать Москву, где останавливались они с Тихоном Кузьмичом в прошлом году, возвращаясь из отпуска. Побывали они тогда у родственников мужа в Старобельске, потом жили в Адлере («Такая красота, и Любовь Орлову там видели, и персиков полный базар, и академик один через комнату от нас жил»), потом гостили у ее родных, в деревне под Мценском: отпуск-то ведь трехмесячный; а последнюю неделю провели на семнадцатом этаже Ленинградской гостиницы в Москве, и этот семнадцатый этаж, и вечер на спектакле Большого театра, и ГУМ («За один день разве обойдешь его, каждое утро к открытию, как на службу, ходила») — Евдокия Семеновна не столько даже вспоминала, как видела снова в будущем — причитающейся наградой, заслуженной ею за все то, от чего она отрекается через силу в нынешней, здешней своей жизни.

— Там ходишь — глаза разбегаются, — продолжала она рассказывать про ГУМ. — А подумаешь, ничего тебе и не нужно. Одеваться здесь некуда, посуда в дороге перебьется, мебель не привезешь. Три ковра вот только купила, один — молдавский — тут висит, а немецких два так в Нюрбе и лежат неразвернутые...

Тихон Кузьмич помалкивал — не то слушал, не то и не слушал.

Кто-то стукнул в дверь, окликнул его.

Мы узнали в прихожей тракториста, приехавшего к самолету за женой своей, Надеждой Сергеевной. Слышно было в комнате, как повторял он странное слово: «эрдэ», «эрдэ»... Надо было подписать «эрдэ», чтобы прислали сюда горячее, оно кончалось. Значит, «эрдэ» означало радиogramму. Когда Тихон Кузьмич вернулся в комнату с переданной ему на подпись бумагой, Евдокия Семеновна напустилась на пришедшего:

— Постыдился бы, Павел. Рабочее время давно кончилось. Надо же отдохнуть человеку.

— Так тогда непроходимость волн была, — хмуро объяснил Павел. — Радио не работало. А сейчас передать можно.

— Ладно-ладно, — примирительно забормотал Тихон Кузьмич, вынося подписанную «эрдэ» в прихожую.

Мы воспользовались паузой и тоже поднялись прощаться.

— Осмотреться еще надо, пока светло, — сказал Юра. — А утречком план набросаем и согласуем с вами, если позволите.

— Да, план, — обрадовался знакомому слову Тихон Кузьмич. — Планчик — это хорошо, планчик непременно нужен, заглядывайте.

А Евдокия Семеновна заключила с откровенным разочарованием:

— Я-то думала, настоящее кино снимать будут. Про любовь. Да оно и верно: какая тут, в тундре, любовь?

Мы вышли.

Оказалось, пока мы сидели в начальническом домике, все небо затянула низкая туча, холодный дождь стал срываться после первых наших шагов, а потом вместе с крупными каплями стали падать и таять такие же крупные снежные хлопья. Я обернулся. В окнах домика, за густыми тюлевыми занавесками, просвечивал неяркий свет. От работающего в сарае движка лампочки красновато мерцали. И вдруг в домике громко заиграл оркестр. Тихон Кузьмич включил радио. Наверно, оно заменяло там все: обобщенное тепло, беседу, книгу, гостей; избавляло от потребности думать. Мерцал слабый свет в окошке, гремел за спиной приемник, и сейчас, под холодным дождем, представилось, как

странно течет в этом домике время: не сухим шуршаньем торопливо пересыпающегося песка, а ленивым падением жирных масляных капель; не от дела к делу, а — в натужной, тягостной пустоте. Шлепнулась капля — приблизился отпуск... Снова шлеп! — ближе к пенсии... Мужчина терпеливо отбывает позинность, день ото дня; женщина возле него уныло несет бремя вынужденного томительного ожидания — пока отбытая мужнина повинность даст ей возможность пользоваться тем, что ей только и кажется жизнью. А ведь, притом, и такое существование не лишено треволнений и страхов: страшно оступиться в рутинном кружении, страшно не угадать, чем будет довольно начальство, и заслужить разнос. Страшно падение, вторжение чего-либо непривычного, конец рутины... Не знаешь, где и споткнешься, подпишешь чего не надо — плохо; запретишь чего не следует — опять плохо. С таким страхом и до инфаркта недолго. Только бы так и шло: шлеп! шлеп! — слава богу, пока спокойно... Шлеп! — еще ближе исполнение желаний. Домик в Мценске, а то и квартира в Москве — такая, чтоб родичи и соседи признали уважительно: «Живут же люди». Ковры, мебель, большой холодильник, этакий какой-нибудь телевизор, какой другому и во сне не приснится, — желаний у обоих много, даст бог спокойную жизнь, пройдет так еще лет пять или шесть — все будет. А пока — стоит избушка в тундре, сидят в ней двое, гремит оркестром радиоящик, плетется под Шуберта кружевец на письменный стол, к которому никто не садится, прибирается дом, куда никто не приходит. Разве только бухгалтерша забежит: «Надька-то, завмаг, сегодня из Нюрбы вернулась, аборт, говорят, сделала». — «А взрывник Николай уже к Шурке-маленькой стал подсыпаться: куда она, туда и он»... Любовь? Да какая тут, в тундре, любовь...

Уже далеко позади остались тусклые окошки. Холодный дождь разошелся вовсю, штормовки совсем почернели. Но вот замерцал в другом окне, совсем близко, красноватый неверный свет. А что там, за этим окном?

Дело, конечно, вовсе не в тундре — в человеке дело. Разве не услышишь и в том же Мценске: «Какая у нас, в городишке, любовь?» И окон, за которыми маслянисто и жирно шлепают капли бесполезно текущего времени, немало в самых больших городах.

— Где же вас носит, ждем не обедавши, сколько же можно! — Это геофизик Сергей обгоняет нас, прикрывая от дождя буханку хлеба. — Отчетик-то небось гостей покормить не подумал?

Оказывается, Отчетиком называют тут Тихона Кузьмича. А Евдокия Семеновна именуется Городничихой.

В комнате, куда мы пришли с Сергеем, было полно. Кроме тех, кого мы уже встречали на улице, была тут еще худенькая девчонка с глазами во все лицо, и еще одна — покрупнее, стриженная под мальчишку, и грузноватый пожилой дядя, который толковал о чем-то с Гусаровым, забившись в угол.

Почти всю эту комнату занимал самодельный стол, приспособленный для чертежных работ. Видно, многолюдные сборища у этого стола были привычными. Со всех четырех сторон на табуретки: были положены доски: садись, сколько влезет. Сейчас рулоны ватмана, геологические образцы, дневники были сдвинуты на дальний конец стола, а на середину Марина поставила огромную артельную кастрюлю с супом из горохового концентрата.

— Вот вам и костер у ручья, — встретила нас Марина.

Нарезая буханку, Сергей отозвался миролюбиво:

— Мало тебе было костров?

— Мало, — сказала Марина.

В это время глуховатый негромкий звон послышался за окном.

Гусаров прислушался.

— Олешки пришли.

Он вышел с Юрой, чтобы сговориться о поездке за Толей и за вещами. Мы уже условились, что завтра в восемь выходим вместе с изыскателями — к реке Алакит, в трапповое ущелье.

4

Поселок, в котором мы очутились, еще не имел имени и не обозначался на картах. Его называли номером изыскательской партии или — на военный манер — хозяйством такого-то. К слову «хозяйство» прибавляли фамилию Отчетчика. Судьба этого поселка еще не была известна. Найдут изыскатели то, что ищут, — он останется, разрастется, превратится из временного человеческого стойбища в населенный пункт, получит имя. Не найдут — исчезнет, как не было. По вчерашнему застольному разговору выходило так, будто все это уже дело решенное. Поселку — стоять. Недаром новые строители летели сюда вместе с нами. И даже осторожный Отчетчик позволял себе на этот предмет кое-какие намеки. Завтра мы побываем в другом поселке этой же партии. Там уже построена и работает опытная обогатительная фабричка.

— Кое-что есть, — сказал Гусаров.

Шум движения, слышный на весь поселок, вдруг прекратился. Свет выключился.

Гусаров спал, а мне никак не спалось на новом месте — после новой дороги и новых встреч.

Документальный фильм, ради которого отправлялись в дальнюю экспедицию мои спутники-кинематографисты, снимался по всему Крайнему Северу в разных точках, весьма одна от другой отдаленных. Чтобы выиграть время, приходилось то и дело возвращаться на юг, к магистральным воздушным путям. Ритм дороги был сбивчивым. Короткие переходы по топкой и кочковатой тундре, по каменным осыпям невысоких северных гор. Рейсы почтового катера в рыбацьи селенья Ямала. Вертолетные прыжки по горным ущельям — к месту работы геологических партий. Кочевка с оленьим стадом и выход на ненецком рыбацьем вельботе у побережий Байдарацкой губы. И вдруг — почти две с половиной тысячи километров за один день. Под самолетом — с утра — грязные пятна талого снега по ржавчине тундры, потом зеленая с пролысинами тайга. Потом одни лишь сугробы облаков под самолетом, а в редких разрывах — необозримо разлившаяся речная вода. А под вечер, уже из автобуса, идущего в город с аэродрома, — пыльные новосибирские цветники, знойное солнце, купальщики на реке, через которую мы переезжаем по очень длинному мосту. Большой город. Встречные троллейбусы и трамваи. И вид, от которого мы успели отвыкнуть: улицы, переполненные людьми. Из низовьев Оби мы очутились в ее верховьях, но просто невероятно, что это та же Обь, над которой мы утром взлетали из неоттаявшей тундры.

Просторный и лишенный деталей мир, открывающийся глазу в полете, после спуска на землю ошеломляет обилием вновь возвращенных пестрых подробностей.

Это мы испытали даже сегодня в маленьком поселке, еще не получившем названия. А тогда, в Новосибирске, после Байдарацкой губы, мы видели прежде всего многолюдье и обилие зелени. В новом городе первое впечатление зависит от того, с чем сам в него приходишь. Новосибирские ребята у киосков с мороженым и у тележек с газированной водой приводили нас в счастливое умиление. Город начинался скоплением строительных кранов. Краны поднимали и опускали стальные пане-

ли новых домов. Это была не индивидуальная примета города; скорее — общий знак образа жизни страны в шестидесятые годы нашего века. Из строящихся кварталов автобус въехал в старые улицы. Потянулись по обе стороны нового асфальтового шоссе белые мазанки, ухоженные, огороженные плетнями сады, белые стволы яблонь. Будто из Сибири мы попали вдруг на Полтавщину (в чем, впрочем, тоже не ощутилось бы чуда после всех смен пейзажа, что прошли за день под окошками нашего самолета).

Дивиться не приходилось: это и впрямь были хаты, ставленные здесь полтавскими, мелитопольскими или елисаветградскими мужиками; они переселялись в эти края в конце прошлого века, строились на новом месте, как дома. Потом железная дорога, проходя по Сибири, скрестилась тут с Обским водным путем, и на новом перекрестке, обещавшем торговые выгоды, вырос город Ново-Николаевск, ставший после революции Новосибирском.

Сельская улица оборвалась, как положено, у овражка. Асфальт спустился в овраг, взбежал наверх. Опять мелькнули неторопливо поворачивающиеся краны, качающиеся в воздухе стенные панели с переплетами окон — кварталы, строящиеся, вероятно, на тех местах, где прежде были поля, засеянные обитателями только что виденных мазаных хат, когда переселенцы не стали еще горожанами.

Потом начался центр — и все пошло вперемену: новониколаевские одноэтажные домики из кирпича, и восходящие к первым годам обновляющегося Новосибирска бетонные угластые строения в пять и шесть этажей с обилием стекла на темных, прихотливо изломанных плоскостях стен, и гигантский театр, сооруженный перед самой войной, и нескладный купеческий модерн начала века, и вывески, обведенные стеклянными трубками для светящегося неона, и преувеличенно пышные колоннады послевоенного административного ампира.

Скверы с запыленной листвой и скромными цветами казались нам истинным чудом. Молодежь парами исчезала в их скупой перегретой тени. Но какой бы сомнительной ни была эта тень, все равно все это было чудо как хорошо! Еще утром мы находились в краю болотной травы и редких кустиков, едва достигавших человеческого колена.

В безмянном поселке, в спальном мешке, я вспоминал Новосибирск — шаг за шагом.

Дождя не было слышно.

Если бы все еще шел дождь, может быть, удалось бы заснуть.

Гусаров во сне дышал ровно; он спал, как спят только привычно, хорошо уставшие люди, готовя себя к новому рабочему дню.

Сибирская столица и отсюда продолжала вспоминаться преувеличенно южной, пестрой и оживленной. Но почему так неотвязно, упрямо думалось именно о Новосибирске? Приметы обыкновенного большого города средних широт обрели тогда — после стремительного полета — внезапную свежесть и новизну. Вспоминая эти приметы, сравнивая, легче было понять неощутимую прежде самобытность новых арктических городов — тех, которые я уже видел раньше и которые только еще собирался увидеть.

В первых впечатлениях от таких городов больше всего поражало как раз не то, что в них было особенным и непривычным. К непривычному успеваешь приготовиться за дорогу. Напротив, наиболее удивительным казался в этих городах обыденно знакомый, сложившийся и мерно текущий человеческий быт. Конечно, этот быт отмечен и своими особыми чертами — такого больше нигде не увидишь. Помню, как в Салехарде, проходя по главной улице, я глазел на остановившиеся у окружного исполкома рядом с «москвичом» и «газиками» — оленью

упряжку и заложенную в узкие нарты шестерку собак. Где, кроме заполярного города, увидишь такое? За несколько часов до прилета в Новосибирск, ожидая в Ханты-Мансийске летную погоду, мы бродили по городу. У дверей кино рядом с афишей, рекламирующей старые чаплинские комедии, я прочитал объявление. Оно было написано от руки, но заключено в застекленную рамку:

*Касса кинотеатра
продает билеты вне очереди
дояркам, телятницам, свиноводкам,
пастухам, зав. МТФ*

Только на Севере, у таежной реки, в городке рыбаков и охотников, где лишь недавно впервые завелись молочные фермы, можно было столкнуться с подобным свидетельством общественного почитания профессий, благодаря которым круто переменялась здесь жизнь, — «Макар телят пригнал», и детей впервые стали поить молоком и варить им манную кашу.

Но подобных особых, частных примет не так уж много было в этих отдаленных городках с их недавно сложившейся жизнью. Большинство же главных, общих примет делали города в тайге и тундре похожими на любой привычный районный центр: те же вывески у дверей, те же заботы за дверями...

Однако прошли мы мимо кино, вышли на перекресток, и тут на угловом столбе невысокой изгороди забелело еще одно объявление. Было оно написано на квадратике рыжей оберточной бумаги. Крупные буквы расплывались, размытые недавним дождем:

«ВВИДУ ОТЪЕЗДА ПРОДАМ ДОМ С КАРТОШКОЙ...»

А подальше другое — на вырванном из школьной тетрадки листочке в косую линейку:

«КУПЛЮ ПОЛДОМИКА...»

Висят почти рядышком и в два голоса между собой спорят.

И если со стороны прислушаться к этому спору на перекрестке, то выйдет, что жизнь здесь хоть и вошла в свой ритм, но протекает быстрее и прихотливее, чем в давно обжитых и привычных человеку местах. Не все новички оседают тут прочно, и среди многих разных забот виднее всего здесь старая человеческая погоня за ускользающим счастьем. Иной, может, и схватил бы за крыло свою птицу, да вдруг покажется она ему совсем серенькой, чересчур уж непохожей на ту, что представлялась издаലെка. Вот ведь и картошку кто-то посадил на участке, а урожая не стал собирать. Потянуло в дорогу, померещилось где-то в ином далеке расцветенное райское перышко.

А другой только что добежал сюда, огляделся. Увидел, как просторно — аж дух захватывает — сливаются под крутым обрывом Обь с Иртышом. Приземистые разлапые ели набегают к обрыву. Стоят за длинными палисадами дворов березки, краснеет рябина. Доярок, вот, пускают в кино без очереди... И сам он, как в песню вошел: «На диком берегу Иртыша сидел Ермак, объятый думой...» Ведь в самом деле сидел — там же, где и Ермак мог сидеть. Сидел и вникал. Тысячи километров проскакал заезжий, нынешнего времени «казак», — от Костромы, что ли, до здешних мест. Не привык он долго засиживаться на одном месте, хоть и трудился всю свою сорокалетнюю жизнь; делал, что под руку подвернется — копал землю, таскал кирпичи, валил лес, бывал в подручных у кузнеца и у плотника, но ни к какому ремеслу накрепко не

приставал. И хотя любое дело делал он честно, но тянуло его всякий раз на другое. А на что тянуло — и сам он не смог бы ответить. Просто вступала в сердце знакомая тоскливая грызть; думалось, что опять не так все сложилось, а удача еще дожидается, стоит только потянуться за нею, рискнуть снова в последний раз, — другим же людям не больше надо, а ведь находят свое. И вот — в который уже раз! — сорвался с места, доскакал до Иртыша с покорной женой и девятилетней дочкой; побродил по сосновому городку, прикинул насчет работы, посидел на берегу, над иртышским привольем, и надумал-таки: живут тут люди чисто и тихо, дай-ка и я попробую. Вырвал листок из дочкиной тетрадки и воззвал со столба к прохожим: может, и уступит кто полдомика за небольшие его деньги? Может, откроется ему из здешнего нового угла желанная гавань надежды? Бывает, и так приезжают люди на новое место для новой жизни. И, бывает, на самом деле находят они то, к чему долго стремились. Ведь дух обжитого места, домовитый дым очага (а их будто ноздрями чувствуешь в этих северных городках во множестве теплых подробностей здешнего быта) рождались как раз из удавшихся судеб. А те, что не удались, — пробегают над устоявшимся бытом поверху, как неугомонная зыбь под ветром, и оттого они приметнее глазу.

Не олешки в нартах, не затяжные морозы, не внешняя необычность многих примет создают главную особенность жизни в городах и поселках, умножившихся за последние годы на необъятном сибирском Севере, а именно это сочетание устойчивости и зыбкости, соседство удивившейся и протекающей жизни.

Оно было замечено уже в самом начале пройденной длинной дороги. Старая Тюмень — уж на что сложившийся и большой город. Но стоит Тюмень у ворот Севера. Ее продувают те же порывистые ветры. И такая же зыбь непрестанно рябит на поверхности. Это отразилось даже на внешности города. В нем все собралось. Пройдешь по улице, где-нибудь в центре, мимо безликих «присутственных мест», и покажется, что вернулся в российскую среднюю полосу, в старинный губернский город; о Сибири напоминает разве только обилие рубленых домов — по-таежному щедрой на дерево, по-чалдонски добротной и прочной постройки. Но вдруг забредешь в сторону — и будто опять очутился в каком-нибудь Салехарде: бревенчатая лежневка брошена на болотный пустырь, и открывается глазу блеклый простор над невысоким забором. Прошел в другую улицу — и уже ты словно в Березове: те же зеленые палисадники перед небольшими аккуратными избами, те же красные гроздья рябины. В Тюмени, как на мосту: на одной стороне древний «материк», а на другом берегу — молодая северная сторонка, которую все здешние обитатели в сознании своем упрямо от «материка» отделяют.

Это укоренилось везде. Стоило нашей дороге вновь круто повернуть на север, и уже сегодня в самолете опять мы услышали, как один из строителей рассказывал, что он-де «с материка» письмо получил. И Евдокия Семеновна говорила, что в отпуск «на материк» ездила. Хотя тут-то и простирается самый что ни на есть глубинный материк и до берега океана отсюда еще многие сотни километров.

Но в таком вот безымянном поселке люди в самом деле живут, как на острове посреди океана. Недлинные тропы обрываются у болот, теряются в дремучей тайге, упираются в каменные горы. К городам и судходным рекам путь отсюда только по воздуху: так и выходит — там материк, тут остров. И чем меньше остров, тем видней на нем люди...

Темнота за окном держалась недолго.

Сперва не то чтобы свет забрезжил, а просто сама темнота в комнате стала пожиже, и можно стало опять различить все, что успел увидеть здесь с вечера: бумаги, камни и книги на самодельном столе, почти таком же большом, как у Сергея с Мариной, и ящики вместо стульев, и сколоченные из досок книжные полки на стенах, и темную голову Гусарова на белой подушке.

А когда совсем рассвело, снова послышался глуховатый звон деревянного ботала, подвешенного на шее у оленьего вожака. Олешки вернулись с посадочной площадки.

5

В половине восьмого пришел Сергей.

— Чай вскипел,— объявил он.— Пойдем завтракать.

Гусаров только что прибежал от ручья. Капли дождя блестели на голых плечах, безволосый мускулистый торс покраснел от холодной воды. Гусаров принялся растираться полотенцем изо всей силы. Мне он указал рукомойник в сенах.

— К ручью без привычки не советую. Простудиться недолго.

За столом у Сергея были уже оба Юры и Толя. Большеглазая девочка увязывала вьюк, набитый хлебом и пачками с концентратом. Два взрывника явились следом за нами. С ними пришел и тот пожилой дядя, что был здесь вчера. Он возвестил с порога:

— А у Марьи Степановны лук поспел.

И пообещал угостить нас луком, когда мы возвратимся с поля.

— Что ж его без толку переводить, лук ваш? — намекнул веселый взрывник с плоским широкоскулым лицом. Он представился накануне как Саня Манжуев и оказался бурятом из Иркутска. Чтобы намек его стал понятнее, Саня добавил:— Лук поливать надо.

— Это верно,— согласился дядя.— Так и условимся: лук мой — орошение ваше.

Потом он признался:

— Я б вам сегодня к завтраку луку принес, только Марье Степановне жалко рвать было. Красиво растет.

Дядя был здешним бухгалтером, а Марьей Степановной звали его жену. Они жили в домике напротив, и после чаю все мы пошли любоваться их луком. Можно было понять, какими красивыми кажутся хозяйке эти слабые зеленые стрелки, проросшие из грядки, представлявшей собою торфянистую подушку, уложенную перед домом руками хозяев.

Сама Марья Степановна стояла перед своей грядкой: лицо горделивое, руки скрещены на груди — Наполеон под Аустерлицем. Рядом — умиленная Надежда-завмаг и еще одна маленькая полная женщина, похожая на склеенный в детском саду нескладный кубик. Она оказалась здешней фельдшерницей. И мужчины тоже пришли: старый каюл из эвенков, пекарь Игнат и радист-почтарь со своей Мулькой. Всем интересно: скажи ты, надо же, лук поспел!..

Правда, Надежда только что побывала в большом и шумном мире. Нюрба хоть и не «материк», а все же не чета здешнему поселку; там разные вещи можно увидеть. И она сказала не без колкости:

— В Нюрбе чуть не у всех свои помидоры были. А Емельяновна огурцы сняла. Не хуже, чем у нас на Кубани.

— Скажешь тоже, в Нюрбе,— сразу укорила Надежду фельдшерница.— Нюрба — юг. Разве там такое лето, как наше?

А Марья Степановна откликнулась снисходительно:

— Будто ты моих огурцов прошлый год не пробовала. А сейчас —

что за лето?! То снег, то дождь ледяной. Солнышко считанные дни гре-
ло. Видала твоя Емельяновна такое лето?

И пекарь Игнат добавил:

— Чем нюрбинским помидором дразниться, ты б оттуда главного
витамина привезла, под свежий лучок...

— А там тоже вином не торгуют.

— Чтоб ты да не достала? — усомнился Игнат.

Ради сохранения репутации Надежде пришлось признаться:

— Может, и привезла малость.

— Другой разговор.

Марья Степановна все не разжимала скрещенных рук и смотрела на торфяную грядку, как смотрел ветхозаветный бог в день третий на созданную им траву, сеющую семя по роду и подобию ея, и на дерево плодovitое, приносящее плод, и убеждался, что это хорошо.

А над тем, что создала она себе и другим на радость, снова сыпал дождь со снегом, шли низкие тучи. У дома напротив Сергей с коллекторами грузил на оленей вьючные ящики. Пора было выходить.

Вместе с Гусаровым появился Ромка. То, что на дипломатическом языке называется «вручением верительных грамот», состоялось еще вчера. В той же большой комнате геофизиков, у кастрюли с супом из горохового концентрата, Ромка передал Гусарову положенные бумаги. Они поговорили. Их неясный непосвященному разговор было занятнее наблюдать, чем слушать. Как пароль, звучали в нем имена геологов, с которыми Ромка успел работать раньше. Гусаров внимательно вслушивался, как бы поверяя Ромкину речь внутренним своим камертоном: не сфальшивит ли? Окаймленная рыжей бородкой и наклоненная вперед, Ромкина голова на цыплячьей шейке была похожа на подсолнух. Слушая Гусарова, Ромка испытующе приглядывался ко всем окружающим; похоже, что и у него уже завелась для людей своя мерка. Скоро стало понятно, что они с Гусаровым остались друг другом довольны.

Тогда стриженная девчонка поставила точку. Она спросила:

— Ты на гитаре играешь?

Ее решительное «ты» причисляло Ромку к своим; ее вопрос выяснял, чего может ожидать от новоприсоединенного здешнее дружное братство.

Но нет, Ромка не играл на гитаре. Он не признался в первый вечер ни в каком особом таланте. Говорил немного, острить не пытался; только на стриженую девчонку стал смотреть повнимательнее.

Спать он отправился к взрывникам. Там и обосновался.

Сейчас взрывники уходили в поле, для Ромки еще не было дела в этом походе, он принял от Гусарова первые задания и остался в поселке.

Олени уже тронулись. Сперва они пошли тропкой, по тракторной колее, потом свернули в лес, держась тесной кучкой. Каюр, сморщенный лесовичок, по-бабьи повязанный поверх накомарника серым бумажным платком с черной каемкой, покрикивал на оленей. Ему вторил сын таким же высоким и резким голосом. В их говоре гласные растягивались, а каждая из согласных как бы удваивалась; напевность гласных спотыкалась и потухала на этих удвоениях, речь звучала гортанно и жестко. Отец с сыном пришли из колхоза, который стоит в двух сотнях километров отсюда. Работа с геологами для этих колхозов — самое прибыльное дело.

Олени были видны нам недолго. Потом только слышались голоса каюров и позвякивание ботала на шее у жоака. Потом и слышно ничего не стало. У оленей и оленных людей оставались в лесу свои, только им знакомые тропы, а мы норовили идти тракторным следом. Дождь то

усиливался, то утихал. Снега сегодня не было. Мы согрелись ходьбой, и день стал казаться теплым.

Колея вела вдоль ручья, а там, где ручей начинал сильно петлять, она обрывалась у воды и снова показывалась на другом берегу.

Лес был здесь таким же редким, как по дороге в поселок, с тем же обилием сухостоя, с такими же гигантскими кочками, покрытыми гниющим мхом. Сушь чернела, будто обугленная. Целые участки казались выгоревшим палом. Однако пожара здесь никакого не было: деревья погибали оттого, что заросшая мхами почва перестала пропускать воду к корням. Приход человека мог оказаться для гибнущего леса спасением: там, где пройдут люди, снимется погубительный, удушьющий слой и леса начнут возрождаться.

По-сибирски этот северный лес на болоте называется «рям».

Так разговор с Гусаровым — по-дорожному вспыхивавший и умолкавший — учил меня смотреть на здешний лес, видеть его не только таким, каким он являлся взгляду, но понимать его и в прошлом и в будущем сразу.

Сегодня нам изредка попадались цветы. Они росли там, где мшистый покров сменялся каменной осыпью. На лысых местах торчали лютики и багульник, цвела блеклая полярная незабудка и несмело раскрывался на высоком стебле полярный мак.

Мне случалось читать про то, какие здесь водятся птицы. Наверно, они должны были быть здесь. Не может быть, чтобы их совсем не было. Но только ни разу за всю дорогу мы не услышали птичьего голоса, не увидели ни одной птицы — ни на земле, ни в небе.

Гусаров пожал плечами, отвечая на мой вопрос.

— Бывают. По-моему, бывают...

Птиц он просто не замечал.

Это бывает с такими людьми, как Гусаров. Они живут в своем мире, и то, что находится за его пределами, — для них как бы не существует.

Мир Гусарова был сложен из камня.

6

Там, где не было мха, был здесь камень. И на берегах ручья тоже был камень, покрупней и помельче, и совсем мелкий, закругленный водой, шуршащий под ногами, как морская галька. Каменным было русло ручья, и в быстром течении промытые крупные камни тускло блестя, мелочь многоцветно переливалась, а если нагнуться совсем близко к воде, то какой-нибудь совсем крохотный камешек стрелял вдруг навстречу зеленым или красным лучом.

Но для Гусарова эти берега, и ложе ручья, и дальние голые скалы вовсе не укладывались, как для меня, в однородное понятие, в одно собирательное слово «камень». Все это было для него разнообразно населенным, даже одушевленным миром, который разговаривал с ним многими голосами. Гусаров вытаскивал из воды крохотный камешек — затвердевшую каплю густой темной крови — и называл его:

— Пироп.

Оказывалось, что это отпрыск семьи гранатов; пресловутый купринский гранатовый браслет был сделан из того же пиропа; именно они, пиропа, с древности кроваво светились в гранатовых серьгах и на кольцах. Гусаров говорил сдержанно, точно, как бы оберегая достоинство науки от суесловной патетики. Но в этом-то и был истинный пафос. А пиропов оказалось тут множество. Нагибаясь к воде вслед за Гусаровым, я научился различать их: вот и вот, еще и еще... Но Гусаров сказал с пиропам пренебрежительно:

— Сами по себе они нас не интересуют.

Один из спутников алмаза — вот в каком качестве, оказывается, интересовал пироп здешних геологов. И Гусаров снова нагнулся к воде и вытащил из ручья еще несколько камешков: зеленоватый и светлый, дымчато-желтый и антрацитово-черный.

— Оливин, диопсид, — называл он их один за другим, — хлорит...

Все они тоже оказались спутниками алмаза. Его неразлучная каменная свита. Если эти маленькие камешки попадают все вместе и к тому же их много, то скорее всего неподалеку должны быть алмазы.

— Но ведь гранатов тут полным-полно, — восторженно и опасливо шепнул Толя, ощутив свое внезапное сопричастие к тайне близкого радостного открытия. — И оливинов тоже.

— Соображаешь, — одобрила Марина.

Толя с Юрой брели теперь прямо по руслу ручья, не обращая внимания на то, что ледяная вода захлестывала порою за голенища сапог. Оба они поняли Гусарова чересчур буквально. Научившись различать оливины и пиропы, они то и дело доставали их из воды. Блестящие камешки быстро обсыхали и становились невзрачно тусклыми, а Юра и Толя снова нагибались к воде и приглядывались к каждому прозрачному кристаллику на дне ручья: а не алмаз ли это?

Гусаров и Марина развеселились. Сначала они ободряли искателей.

— Только не потеряй очки, — говорила Толе Марина. — Смотри в оба. Мы отсюда никогда не возвращаемся без алмазов.

Она подмигивала Гусарову, а тот — не привыкший к розыгрышам — пытался подстрекать Юру, преодолевая при этом крайнее смущение и густо краснея:

— Марина Петровна шутит, конечно. Но может случиться, может случиться...

Однако и такого скромного соучастия в маленьком обмане Гусаров не сумел выдержать долго. Он признался, что геологу в поле почти никогда не приходится видеть алмазы своими глазами.

— Бросьте, Юрий Алексеевич, не мучайтесь. Это происходит совершенно иначе...

И когда мы подошли к плато, полого поднимающемуся от ручья, Гусаров показал, как именно «это происходит». Он привел нас к яме, окруженной осколками выброшенного из земли камня. В яме легко было распознать воронку недавнего взрыва. Вывороченный камень был обрызган яркой голубой глиной.

— Вот это и есть самое главное, — сказал Гусаров о голубых глиноподобных брызгах.

Это не была глина. Называя породу, вывороченную здесь взрывом, Гусаров произнес слово, известное каждому, кто читал хоть что-нибудь об алмазных месторождениях: «Кимберлит».

Кимберлит — молодое слово. Ему еще не исполнилось ста лет — оно родилось вскоре после того, как были найдены богатые алмазные россыпи в Южной Африке. В 1870 году искатели алмазов заложили там город Кимберли. Близ города Кимберли геологи через некоторое время установили, что существует источник алмазов, куда более щедрый, чем россыпи. Они открыли алмазоносные породы в недрах земли: в трубках, пробитых некогда в земной коре, — в трещинах и разломах кристаллических плит, — газами, которые во время вулканических потрясений рвались из недр вместе с расплавленной магмой. Впоследствии трубки заполнялись содержащей магматические минералообразования массой — иногда исчерна-синего; иногда голубого, иногда зеленовато-желтого цвета. В этой массе чаще всего и находились алмазы вместе со всей свитой

своих спутников. Первые такие грубки были найдены возле Кимберли; заполняющая их порода получила название кимберлита.

Не так давно ученые установили родство геологических процессов, в которых сформировались юг Африки и север Сибири. Обнаруженные в Якутии кимберлитовые трубки подтвердили правоту ученых.

Гусаров уже сказал о том, как редко геологи находят «в поле» алмазы. Да ведь и сама такая находка рассказывает разведчикам немногим больше, чем встреченные ими пиропы или оливины. Это всего лишь наводящие знаки, подобные сигналам старой детской игры со спрятанной вещью: «Тепло!», «Еще теплее!» Искать нужно не случайные алмазы, а кимберлитовые трубки. Алмазы же в кимберлите отсыкивает не глаз геолога, а специальные аппараты, исследующие оставленные в лабораторию пробы. Сложный и протекающий скрыто процесс отделяет тяжелые частицы породы от более легких. От целой тонны кимберлита остаются граммы и миллиграммы малых кристаллов. И лишь в самом конце этого процесса, когда остатки от полной вагонетки породы уместились в небольшом ящичке-копилке, содержащем оставшийся концентрат, — рентгеновские лучи отыскивают в этом концентрате алмазы. Под рентгеновским лучом алмаз люминесцирует; на его излучение реагирует фотозлемент. Щелкает соленоид; алмаз пролетает в другую копилку, поменьше. Счетчик отмечает теперь его падение: шесть... восемь... четырнадцать...

Вместе с алмазами падают в копилку еще и последние, случайные «хвосты»: пиропы, оливины. Но их счетчик не отмечает, девушка-лаборантка (ей-то и предстоит первая встреча с алмазом) уже предупреждена цифрой, на которой остановился счетчик:

— В копилке семнадцать драгоценных камней.

И она должна будет отыскать их среди «хвостов» и извлечь пинцетом. Это происходит в темной тесной комнатке. Кристаллы лучатся, преломляя свет. Тут же каждый из них будет взвешен на аптекарских весах. Затем его — тоже, как в аптеке, — уложат в свой бумажный пакетик. На пакетике будет обозначен вес камня (в каратах; а каждый карат равен двум десятым грамма); откуда он прибыл и когда извлечен... И, боже, как же это все кропотливо и какими чревато волнениями! Ведь крохотному камешку ничего не стоит упасть со стола и закатиться невесть куда! Тут обыщешься до одурения. Последняя цифра осталась на счетчике (ошибок не бывает!) — и число пакетиков непременно должно сойтись с итогом аппарата. Но, правда, и чистота в комнате должна быть такая, чтоб пылинку было видно, как камень.

Мы уже видели эту процедуру, похожую на священнодействие, несколько дней тому назад — в алмазной «столице», в Мирном.

Грязь там после дождя — голубая.

А на недостроенном доме — кумачовый плакат: «Алмазы — родине!»

Мы привыкли к этому слову, как к иносказанию: чеховское «небо в алмазах», «алмазы звезд», «алмазы глаз»... тут оно читается совершенно буквально и прозаически, так же как в Донбассе читаются плакаты о добыче угля, в Баку — о нефти, на Урале — о тоннах проката. Скважины здесь пробурены к кимберлитовым трубкам. И голубая грязь под ногами так же буднична, как донецкие терриконы.

Не всякая кимберлитовая трубка одинаково богата алмазами. Об этом говорят сами названия. Та, что в Мирном, названа Удачной. Та, к которой привел нас Гусаров, осталась безымянной; она брошена, потому что содержание ее оказалось бедным. Но есть в здешних местах и другие трубки.

— Они и с Удачной смогут потягаться, — говорит Гусаров не без гордости. — Тут земля с сюрпризом.

Он рассказывает об Огненном. Еще месяц назад место было безымянным. Название придумала Марина, когда там была обнаружена трубка, о которой пока говорится осторожно и аккуратно:

— Кажется, перспективная.

7

Марине отдана здесь эта чистая радость — нарекать землю первыми именами. Про Огненный она объясняет так:

— Взяли мы оттуда пробу. Дождались лабораторных результатов. Очень хорошие оказались результаты. Камней много, и хорошие камни попадались — по три, по четыре карата. Пошли мы к этой трубке снова. Добрались к вечеру. А там так красиво, не расскажешь. Ну, вы еще сами увидите, мы там будем. А тогда день был очень хороший. Каньон. Черные траппы. Тайга по гребню. А над самыми деревьями — солнце перед закатом, огромное, как костер. Вот я и сказала: «Огненный!» И Василий Тимофеевич согласился: ладно, пусть Огненный.

— Мы еще эту трубку не оконтурили, — сказал Василий Тимофеевич. — А она там все окрестности алмазами заразила.

Он так и сказал: з а р а з и л а.

Оказалось, что таков термин.

Алмазы из трубки Огненной вынесло в русло реки Алаakit; трубка, видимо, очень большая и — Гусаров повторил тот же осторожный эпитет — «перспективная».

Ее нужно «оконтурить», то есть установить протяженность и направление, нанести на карту. Тут дело за геофизиками — за Сергеем и Мариной. Они отправятся на Огненный в начале сентября, когда ляжет снег и установится зимняя дорога.

С геофизиками пойдут двое или трое рабочих, и на несколько месяцев им предстоит палаточная жизнь в снегу, как на маленькой полярной зимовке.

— Небось теперь только того и хочется, чтобы снег подольше не ложился, — вслух предположил Толя.

Марина посмотрела на него с сожалением.

— Пижон несчастный, — сказала она. — А ты здешнюю зиму видел?

Она не стала ничего объяснять, но по тому, как переглянулись они с Сергеем, стало ясно, что это известно только им одним, а никому другому этого все равно не понять.

Мы уже ушли от воронки и снова шагали по тракторному следу, проложенному между двумя поселками геологической партии. Дождь перестал, тучи понесло к северу, показалось солнце. Юра стал просить Гусарова, чтобы тот изобразил перед киноаппаратом эпизод геологического поиска.

— Очень красиво получится на солнце, — убеждал Юра. — Ручей. Кусты вот эти. Человек идет в воде, ищет. Весь сосредоточенный. Это будет средний план. А потом крупно: лоток в руках. И опять крупно: радостное такое лицо. «Нашел!..»

— Это, значит, у меня — лицо? — Гусаров хмуро удивился. — А что же я тут такое нашел?

— Как что? Алмазы, конечно! И лоток крупно покажем. Во весь экран. Ведь съемка в цвете. Пиропы будут ясно видны. И среди них — алмаз.

— Извините меня, Юрий Алексеевич, но не могу. — Гусаров стал очень серьезен. — Знакомые увидят, засмеют: Гусаров в фантастическом фильме роль сыграл..

— Ну, кто там увидит, — не слишком удачно нашелся Юра.

Марина засмеялась.

— В самом деле, изобразите, Василий Тимофеевич. Жалко вам, что ли? Этого фильма даже мы с вами никогда не увидим.

Но Гусаров решительно заматал головой и снова покраснел так же густо, как в тот раз, когда — компании ради — попытался поддержать розыгрыш. Юре осталось снимать переход геологов через ручей, обходясь без инсценировок. Средний план: выходят из кустов люди. Крупный план: вода и ноги. Крупно: лицо Гусарова. Крупно: лицо Марины...

И, конечно, к концу съемки выяснилось, что Толя и на этот раз перепутал объективы. Ручей пришлось переходить еще раз. И опять потянулись из кустов цепочкой: веселый лохматый Север, за ним Гусаров, Марина, Сергей, коллектор Женя (та самая вчерашняя стриженная девчонка) и два взрывника — Коля Спиридонов с витками серого бикфордова шнура, намотанного на плечо наподобие адъютантских аксельбантов, и Саня Манжуев в черной куртке, изрезанной молниями, с мешком взрывчатки за спиной и с охотничьим ножом, притороченным к поясу...

Мы отошли от поселка километров на пятнадцать, и Марина сказала, что это треть всего нашего сегодняшнего пути.

Толя по-стариковски закричал и выдал одну из своих любимых фразочек — в том смысле, что он, мол, опять втяпался в дело, которое «тянет его назад, к пещерному человеку». И Марина снова отозвалась тем же эпитетом:

— Пижон несчастный.

Толя мирно сказал:

— А ты пижонка таежная. Водится тут у вас такая разновидность.

Марина спросила с опасной вкрадчивой ласковостью:

— Что ты хочешь этим сказать?

Толя не хотел ссоры. Он был настроен мирно, потому что Гусаров уже объявил привал; это обещало еду и отдых, а еда и отдых всегда приводили Толю в доброе, покладистое состояние духа. Он ответил:

— Ничего, Мариночка. Просто я думаю, что это кокетство. «Люблю тайгу», «Жить не могу без тайги», «Подай мне мороз в пятьдесят градусов», «Поскорей бы в палатку»... Ведь мы-то с тобой знаем, что «в жизни этого не бывает»...

Он с удовольствием опустился на камень, положил штатив рядом с собою, снял мешок и запустил в него руку.

— Имеется компот ананасовый и куриное рагу марки «Великая стена». Прикажете распечатать?

Марина начала:

— Да ты пойми, одноклеточное...

— Маришка! — ужаснулся Сергей. — А где же восточносибирское гостеприимство?! Наш гость — и вдруг одноклеточное!.. И потом, что ты хочешь ему объяснить? Ведь он все равно ничего понять не сумеет.

Тут засмеялись все, даже Толя. Одна Марина оставалась серьезной.

— Как ты не понимаешь, Сережка, — сказала она. — Я ведь не ему, я еще и себе самой объясняю.

— Что объясняешь-то?

— А может, прав он? Может, про «таежную пижонку» и верно? Разве мало я тебе жизнь здесь портила? Да, правда, было. Да, хотелось, чтоб город, чтоб ванна, чтоб, как говорится, удобства не во дворе...

— Так это ж когда было! — сказал Сергей с таким удовольствием, что у меня появилось чувство, будто все мы тут лишние, потому что между двумя молодыми людьми начался слишком личный, только им обоим понятный любовный разговор.

— Это до нее было, — продолжила этот разговор Марина.

И оказалось, что, говоря о «ней», Марина имеет в виду не какую-нибудь разлучницу, а машину, новый геофизический аппарат, который не терпится им обоим испытать, когда они примутся оконтуривать новую трубку на Огненном.

Можно про это плохо писать в плохих романах, можно от всей души смеяться над веселыми пародиями, в которых ударники, объясняясь в любви ударницам, говорят о перевыполнении производственных планов и об освоении новых машин. Но от этого никуда не денешься в самой реальной жизни: дело человека проникло в сферу самых личных, даже интимных его чувств, и вот опять же пример: чтобы Марина и Сергей полюбили друг друга без ссор и надсады, пришлось и Марине проникнуться любовью к какому-то совершенно для меня таинственному геофизическому аппарату; ждать испытания этого аппарата, как подарка, соглашаться с Сергеем, когда он мечтает, чтобы скорее лег снег и ударили морозы, — тогда пройдут на Огненный нарты, а для вьюков их аппарат чересчур тяжел, трактору туда нет дороги, а вертолета они никак не могут выпросить.

* И Марина словно на самое себя переносит, превращает в радость своей семьи любовные слова Сергея об этом аппарате — что он уникальный, и самый современный, и самый точный. Сергей и Марина о науке своей способны говорить в захлеб («перспективнейшая наука нашего времени»), и о приборе, который им прислан — опытном, одном из первой пятерки, — рассказывают с нежностью, как о близком человеке (он и «красивый», он и «умница»). Примерно так говорит Марина разве лишь о своей дочке. Но только дочка-умница далеко отсюда; она в Ленинграде, с родителями Сергея, и лишь из долго идущих писем они узнают здесь, какие она сказала новые слова и какая она растет особенная. А умница-аппарат — рядом, в поселке, в нераспакованных ящиках. И им не терпится собрать его и самим убедиться, как он «сквозь землю видит», и какой он «чуткий», и какая у него «небывалая» точность — одним словом, какой он тоже особенный, этот пока еще им одним для самых первых испытаний доверенный аппарат.

Я вспомнил, что такие же разговоры о своем деле уже приходилось мне слышать и у ямальских звероводов, и у коломенских тепловозных конструкторов, и у строителей-энергетиков на Волге. И вот снова открылась в короткой чужой дорожной беседе давно уже понятая «примета Севера»: то же, что есть везде, становится здесь видным не в многолюдье, и оттого гораздо приметнее и резче.

8

Мы свернули от тракторного следа и поднялись в гору.

Тропы тут еще не пробиты, лес на склонах густой; свежие ветки яростно дерутся, сухие — громко ломаются; даже гусаровский пес продирается сквозь чащу шумно и трудно.

Но с половины склона и доверху лес исчезает вовсе, чтобы появиться снова лишь на самой вершине. Мы долго идем по черно-белым известняковым лысынам. Напротив, через узкое ущелье, видна другая такая же гора. Верхняя часть ее сложена из черно-рыжих траппов — изверженных кристаллических пород; они текли некогда горячей магмой, потом, миллионы лет назад, застыли, сделались камнем; потом их избородили глубокие продольные трещины, и оттого они стали похожими на титанические плиты, положенные одна на другую. И по гребню — именно так, как говорила Марина, — мохнатятся сосны. Против солнца сосны не зеленые, а того же черного цвета, что и вся трапповая гора: деревья слиты с нею, как каменные.

— Трапповый каньон, — называет это место Гусаров.

Название принадлежит, конечно, Марине. На этот раз за именем, нанесенным на карту, нет никакой поэтической истории, никакого внезапного открытия закатных красок. Обыкновенный географическо-геологический термин. Действительно каньон. И действительно, трапповый, то есть сложенный из древних изверженных пород. Марина предложила записать по-деловому то, что они увидели здесь взглядом специалистов. Так и сделали. Но я чувствую, как вкусно ложится на слух это название. И Гусаров тоже произносит его с особенным вкусом. Ученые слова перекликнулись с книжками детства. «Трапповый каньон» — может ли быть более подходящее место для необыкновенных приключений? Вероятно, существо романтики как раз и состоит в стремлении наиболее полно осуществить свои детские мечты. Пессимист и скептик скажут, что это стремление никогда не сбывается. Неправда. Сбывается. И даже очень часто. Но только чаще всего выглядит это не так, как мы ожидали. И с мечтою можно разойтись, так и не узнав ее.

В Трапповом каньоне не приключилось ничего необыкновенного.

Опять мы увидели на пологой площадке, недалеко от вершины, следы давних воронок. Кимберлит вокруг них был густого синего цвета.

Мы встречали уже немало обнаруженных геологами трубок, прежде чем добрались сюда.

— Пустой номер, — говорил Гусаров возле некоторых.

— Нормальная трубка, — замечал он возле других.

— Здесь дела могут быть неплохие, — сказал он, когда мы поднялись к свежим еще воронкам Траппового каньона.

Он велел взрывникам подготовиться к новому взрыву и показал им место, а Марина тем временем весело рассказала историю еще одного здешнего названия.

Последний ручей, который мы перешли, прежде чем начать подниматься в гору, носил странное имя: Сыттыкан.

— Это по-якутски, — объяснила теперь Марина. — Я его хотела назвать не то Быстрый, не то Светлый, не бог весть какая выдумка однако. На все здешние ручьи хороших слов не напасешься. А с нами тогда был каюр-якут. Я на всякий случай спросила: «Вы этот ручей как называете?» Обыкновенно он говорит: «Никак». В этих местах они ведь раньше и сами редко ходили. Совсем были дикие места. А тут вдруг сказал: «Сыттыкан». Вот, думаю, какое звучное слово. А я-то, пошлячка, хотела «Светлый»... Так якутское название и записали. Василия Тимофеевича тогда с нами не было, он только потом название на карте рассмотрел и вдруг спрашивает: «А вы, Марина Петровна, знаете, что это красивое слово по-якутски означает?» Ну, вижу — подвох. «Нет, говорю, не знаю. А что?» Стесняется. Он ведь у нас очень стеснительный, Василий Тимофеевич. Прямо как девушка...

Я уже не в первый раз и не от одной Марины слышу, как ласково говорят здесь о Василии Тимофеевиче. А она продолжает:

— Василий Тимофеевич меня привел к ручью и показывает. Вижу, плавают по воде жирные такие, радужные пятна. «Понюхайте», говорит. Понюхала. Вроде керосином пахнет. Одним словом, похоже на нефть. «Якуты, говорит, пораньше нас с вами это заметили, а слово «сыттыкан» по-ихнему означает, извините, «вонючий». Такое название якуты дали, якуты в свое время сами и переменяют. Но для нас с вами оно, как видите, сигнальный звоночек. Тут ведь тоже внимание нужно». Вот оно как иногда бывает с названиями в нехоженых наших местах...

Гусаров не слышал рассказа Марины. Он был там, где Манжуев и Спиридонов готовили шпур для взрыва, — далеко в стороне от старых воронок. Потом он пошел на нас и замахал руками, показывая, чтобы

мы уходили. Юра побежал к нему навстречу. Он во что бы то ни стало хотел снять взрыв поближе и стал показывать Гусарову на тонкий ствол дерева, за которым собирался укрыться с киноаппаратом. В эту минуту он мыслил только воображаемым будущим кадром, и дальний взмет огня, земли и дыма на этом кадре — такой взмет, какой он видывал уже не однажды у многих других операторов, — никак не устраивал Юру. Он представлял себе кадр, снятый понизу с короткого расстояния — такого, казалось ему, еще ни у кого не бывало. Профессионал всегда разглядит: приближен ли снятый план объективом или сам оператор сумел найти близкую точку и «хитрый» ракурс. И товарищи, думал он, когда увидят его кадр на экране, должны будут сообразить, что это снято с профессиональной лихостью, с риском для жизни. Вместе с азартом пришло к Юре полное и решительное безрассудство. Ни в какую действительную опасность он просто не верил. Опасность могла быть лишь видимой. Заботы Гусарова казались ему никчемной перестраховкой. Он снимет отличный кадр, и ничто угрожать ему не может. Наверно, с такой вот утерей реальности и рождается то, что зовут в обиходе смелостью. Но Василий Тимофеевич очень рассердился, увидев бегущего на него Юру. Он не захотел ничего слушать. Сейчас Василий Тимофеевич слишком занят был собственным делом; времени на баллистические расчеты у него не оставалось, и, разъяренно повернув Юру за плечи, Гусаров погнал его перед собою за большие камни, куда и всех нас еще раньше отвел опытный Сергей, привыкший понимать Гусарова с полуслова и полужеста.

Потом мы увидели, как Саня и Николай бегут через каменную террасу. Они старались, — право же, можно поручиться, что именно старались, — оставаться в этой пробежке не слишком торопливыми и как бы небрежными; они считали, наверно, что им не пристало выказывать страх перед взрывчаткой. Как-никак они были ее хозяевами, в походе носили ее за плечами, во время сна держали под своей койкой. Все же Саня поглядывал на секундомер, и, когда до больших камней оставалась еще добрая сотня метров, он рванул Спиридонова за рукав, они отбежали к отвесному склону, легли за сосны, и сразу под нами двинулась земля, огонь поднял над собой камень, глыба повисла в воздухе, заволоклась дымом, потом грохнул взрыв и стало слышно, как застучали вокруг каменные осколки.

Саня Манжуев вернулся на открытое место первым. Его круглое и плоское желтое лицо было еще невозмутимее, чем обычно. Он считил со своей черной, исчерченной молниями куртки невидимые пылинки, и она показалась еще более шегольской. У Коли Спиридонова размотался остаток бикфордова шнура, и Коля принялся приводить его в порядок.

Толя подошел к взрывникам.

— Шумная у вас работенка, — сказал он.

— Какой мог быть кадр! — огорченно сказал Юра.

Я стал догонять Гусарова, Сергея, Марину и Женю. Все они спешили к новой воронке. Женя смешно выбрасывала в стороны маленькие ноги в блестящих резиновых сапогах. Она обошла остальных и уже навстречу нам закричала, запрыгав мячом на одном месте:

— Есть кимберлит!

Кимберлит был здесь такой же густо-голубой, как возле прежних воронок. Сергей нагнулся к щедрому выбросу, и рядом опустился на корточки Гусаров.

— Кимберлит-то, кимберлит, — заворчал он. Потом стал напевать то же самое слово, погружая руки в синее глиноподобное крошево: — Кимберлит-то, кимберлит... Кимберлит-то, кимберлит...

Север носился вокруг. Он лаял и вилял хвостом, деятельно принимая участие в происходящем.

— Конечно, трубка должна была сюда дотянуться, — солидно заметил Сергей. — Не могла же она так вдруг и оборваться.

— Могла, очень просто могла, — продолжал мурлыкать Гусаров, разминая и кроша синюю массу.

— Продолжение Магистральной? — деловито спросила у Василия Тимофеевича Женя.

— Похоже, — сказал тот.

— А может, новая? — предположила Марина.

Гусаров согласился и с нею.

— Для новых трубок уже и названия трудно придумывать, — пожаловалась Марина. — Не хватает хороших слов. Пошли какие-то скучные: «Начальная»... «Магистральная»...

Муж усмехнулся.

— Были бы алмазы. Тогда и «Магистральная» — веселое слово.

Женя сказала:

— Включений много.

— Много, — подтвердил Гусаров.

Теперь уже и я без объяснений узнавал в его руках пиропы и другие камни из свиты алмазов. В массе выброшенного взрывом кимберлита было действительно много таких, как сказала Женя, включений. Но я не понимал, почему, например, оливины видны здесь так ясно, а такие же по размерам алмазные кристаллики, которые, несомненно, тоже присутствуют в вывороченном на поверхность синем тесте, ни разу не попались геологам.

— Случай, — сказал Гусаров. — Ведь все-таки алмазов в десятки раз меньше.

— Случай — это бы можно сказать, если бы мы их находили, — беззаботно возразил Сергей. — А тут просто — закон мирового свинства.

Он припомнил общеизвестный пассаж из старого переводного романа. Автор вывел там формулу, по которой бутерброд, выскользнувший из рук, непременно упадет на пол той стороной, что намазана маслом, а когда человек придет к автобусной остановке, то перед ним долго будут останавливаться автобусы совершенно ненужных ему линий, прежде чем появится наконец долгожданный номер. Там было, помнится, еще много подобных примеров, и все они должны были неопровержимо подтвердить существование «закона мирового свинства». То, что Сергей заговорил об этом законе, почему-то очень рассердило Марину.

— Но ты же согласился наконец, что все это глупости!

Она даже вскочила с земли, показавшись стройнее и выше в своем тренировочном, синем с белыми каемками, спортивном костюме и в «геологических» сапогах, перехваченных у ступней ремешками. Как всякое искреннее и открытое проявление темперамента, внезапная рассерженность часто красит человека. Даже Женя удивленно уставилась в переменившееся лицо подруги.

— Ты чего? — недоуменно спросила Женя. — Пошутил твой Сережка. Ну, что такого, есть от чего в бутылочку забираться!..

— А я и шуток таких не хочу. Выдумка неудачников! Придуманно, чтобы ни в чем не обвинять самих себя и не доискиваться причин очередной неудачи. Противно слушать!

Сергей счел нужным взять ее под защиту. Он сказал с той же легкомысленной беззаботностью:

— Вы не подумайте, что она лишена чувства юмора.

— Брось! — снова крикнула Марина. — Юмор тут ни при чем. Я не хочу, чтоб ты был таким. Это не шутка.

Она откинула накомарник и не обращала внимания на звенящую у самого ее раскрасневшегося лица стайку мошканы.

— Опять у нас комсомольская дискуссия, — отметил подошедший Саня Манжуев. В этой поисковой партии он был комсоргом. — Тема: «Облик молодого человека нашего времени». Заседание сто двадцать шестое. Слово для своего сорок третьего выступления на вышеозначенную тему имеет представитель геофизиков...

— А что, — мирно сказала Женя. — Можешь галочку в дневнике поставить. «Мероприятие в поле...»

— Геофизики и геолитики, — не удержался Сергей.

Марина повторила, успокаиваясь:

— Брось! Было уже...

Геологи наполнили свои мешки кимберлитом, взятым для лабораторных проб.

Час был уже не ранний.

Мы спустились к ручью, чтобы пообедать и трогаться на «участок». Так назывался в обиходе второй поселок здешних поисковиков.

Николаю удалось привлечь Толю в помощники, и они развели костер. Уже вскипала в котелке вода. Была Женина очередь кухарничать; ее звали сегодня «мамкой» — так назывались хозяйки в золотодобытчицких, старательских артелях. Женя откликнулась и продолжала отважно смешивать содержимое консервных банок и пакетики с концентратами.

— Ты, мамка, не забывай: доктора с нами нету, — изображая испуг, вскрикивал Саня Манжуев, когда в пшеничную кашу отправлялись стручки молодой фасоли и частички в томате.

Конечно, пели.

Конечно, исполнена была песня про то, что геологи — «народ бродячий», которому «нельзя иначе».

Исполнена была еще здешняя песня, сочиненная кем-то на мелодичный мотив «Индонезии». Удалыми, нестройными голосами пропеты были печальные слова:

Нас кормят наши ноги верные,
Мы все ревматики, наверное,
А голова для накомарника
Всего лишь нам дана.

Исполнен был нехитрый студенческий вальсок и потом трогательная песенка о кузнечике:

Он рад, что светит солнышко,
Что зелен, зелен сад,
Что он такой зелененький —
Коленками назад...

Потом стали просить Гусарова. Долго просить не пришлось — настроение у него после сегодняшнего взрыва было хорошее, и оказалось, что поет он в самом деле славно.

Он пел грустные старые украинские песни. Когда Василий Тимофеевич запел первую из них, ту, где казак говорит девушке на рассвете: «Ой, дівчино, шумить гай, кого любиш, серденько, забувай, забувай» — я побоялся, что он станет коверкать слова, а я люблю эту песню и еще больше люблю весь тот строй духа, речи и глубокого душевного чувства, спрятанного под внешним озорством, из которого родилась и эта, и многие другие украинские песни. Когда коверкается язык, песня начинает звучать бессмысленно, деревянно и перестает быть песней. Но Василий Тимофеевич запел правильно. Слышно было, что это и есть его родной язык и родная ему с детских лет песня. Николай подыгрывал Гусарову:

гитара была взята в поле — такой же обязательный инвентарь, как бикфордов шнур.

Негромко, стеснительно пел Гусаров потом про то, как брала девушка воду под вербою, подъехал к ней казак и попросил напоить коня. «Не великий ты пан,— ответила девушка.— Та й напій коня сам».

И Гусаров дважды негромко повторил:

Ранняя роса, а дівчина боса,
Ніжкам холодно.

Снимал казак епанчу, чтобы завернуть застывшие девичьи ножки, а потом звал девушку сесть с ним на коня и ехать в чистое поле, к его двору. Но босая девушка знала, что и казак не богаче ее; она откликнулась горькой издевкой:

Ой, у тебе ж двора
Та і зроду нема,
Гей тільки в лузі три корчі калини,
Та й та не твоя..

В самом деле, очень хорошо пел Гусаров.

Я хотел потом спросить геофизиков, давно ли они работают с Гусаровым и что о нем знают. Сергей сам шепнул:

— Золотой человек.

Марина поддержала его:

— Наше золотце.

А Гусаров будто уловил, что начинается некий излишний — «сверхотдыха» — разговор. Он оборвал песню и подал команду: растаскивать костер и собираться в дорогу.

Толя кончил колдовать над черным мешком, в котором перезаряжал касеты, и взялся за штатив. Но Николай отобрал у него штатив и снова положил на землю. Николай сказал, что сперва надо вымыть котелки и кружки, и Толя покорно поплелся за ним вниз, к ручью,— помогать «мамке».

Мытье не отняло много времени; скоро мы отправились в путь, на участок, и каждый тащил теперь на себе по мешку с кимберлитом, потому что чем больше удастся доставить его в лабораторию, тем убедительнее будут результаты проб.

9

Снова пошел дождь.

Холодный и сильный, он захватил нас на полпути к участку.

Вдобавок стало темно.

Впрочем, можно было утешаться: комары исчезли. Пожалуй, дождь — это все-таки лучше, чем комары.

Мы шли по осклизлым камням, хватаясь за редкие стволы осин и сосен. Тропы не было и в помине. В темноте все казалось безликим: деревья, ручьи, подъемы и спуски, мокрые камни и мокрый мох. Но геологи свободно ориентировались в окрестностях каньона, они отличали дерево, которое нужно миновать, от дерева, за которым следует сворачивать вправо; ручей, который надо перейти вброд, от ручья, где путь лежит вдоль берега.

Дождь все усиливался. С деревьев — стоило только руками развести ветки или удержаться за ствол — срывались потоки ледяной воды. Юра и Толя кутали киноаппаратуру, Николай старался спрятать от дождя гитару. Промокший Север понуро брел у ноги Гусарова.

Темнота, едва различимые фигуры, шорох тяжелых шагов, шуршанье мокрого камня, плеск воды, сорвавшейся с веток.

И после долгого общего молчанья — Тодин лениво-ернический вопросик:

— Значит, ты про это самое и пела, Марина?

— Про что — про это? — наверно, это Марина отозвалась, ведь Толя к ней обращался. Только голос ее узнать было трудно. Он прозвучал хрипловато и тоненько — застуженный, жалобный девчоночий голос.

— Да про то, что тебе можно только т а к и нельзя иначе, — с той же ленивой издевочкой объяснил Толя.

Стало уже совсем темно, никого не было видно. Только дождь шумел, и по шагам было слышно, что впереди — люди.

Быть может, мысли и в самом деле передаются на расстоянии: ведь и я только что как раз подумал о том же самом, о чем Толя спросил. Я подумал: в самом ли деле они сами, по собственной душевной склонности, это для себя выбирают? Или все дело в том, что им нравится петь — больше для других, для «непосвященных», чем для себя, — эту свою песню, немножко манерную, не без рисовки: «Потому что нам нельзя иначе»...

Марина молчала, не откликаясь.

Потом сказала упрямо:

— А все-таки после тайги в городе долго не проживешь... Ведь это все завтра иначе вспомнится. И заскучаешь без этого, если ты не чурбак.

По голосу можно было представить, как девчонка продрогла.

И когда она замолчала, стало слышно, как громко постукивают у нее зубы.

Сергей отозвался сразу взволнованно и сердито:

— Маришка! Ты же совсем замерзла! Возьми мою куртку.

Он ступал за женой следом, но до сих пор думал, наверно, о чем-то своем. Скорее всего, о том, что лучше бы вместо этого дожда пошел снег, и тогда можно было бы начать оконтуривать трубку Огненную.

— Сумасшедший! — счастливо прохрипела Марина. — Переодеваться под дождем. Надо же, скажешь! Все равно ведь совсем мокрая. Дойдем уже скоро.

Нет, песня была по-настоящему их песней. Толя был не прав. Напрасно я торопился с ним соглашаться. Выходит, тоже стал «одноклеточным».

Гусаров пропустил спутников вперед. Север остановился рядом. Когда я поравнялся с ними, Гусаров шепнул мне в самое ухо:

— Золотые ребята.

Сам того не подозревая, он вернул им их же эпитет.

Мы пошли рядом, и Гусаров сказал:

— Много писать про нас стали. Откроешь журнал — и непременно что-нибудь про геологов. В литературе мы теперь, наверно, за угрозыском на втором месте. Или за розыскной овчаркой.

Теперь уже и по певучему его голосу было слышно, что он, точно, украинец. Хоть фамилия и кажется русской. И про овчарку он сказал точь-в-точь так, как сказал бы украинский крестьянин: обронит словцо, и сразу не разберешь — серьезно это он или в шутку. Недаром прижилась там поговорочка: «Вы это серьезно или по-украински?» Я попробовал ответить тем же.

— Выходит, благополучно на вашем участке. Другие жалуются: «Недоотразили» Пожарники, например. Или бухгалтеры.

— Это как отражать, — сказал Гусаров. — А то откроешь что-нибудь про геологов, и кажется, что все это уже раньше было. Читал уже такое. И как он что-то там такое нашел, и как один шел, и как, бедняжка, голодал и мерз. Или, наоборот, в жарких песках без воды мучился.

И опять, глядишь, в единственную девицу все мужики влюблены, и от этого в геологической партии роковое расстройство. И городской паренек-недотепа вдруг неожиданные поступки совершает... Все уже было, и все снова читаешь...

— А что? На самом деле разве так не бывает?

Гусаров ответил не сразу.

Дождь теперь лил с унылым постоянством, не усиливаясь и не утихая; казалось, он приноровился, соразмерил свои силы и так будет идти очень долго, быть может, даже всегда. И люди тоже приноровились к дождю, на них давно уже промокло все, что могло промокнуть, вода теперь скатывалась с них так же, как с намокших деревьев, и лучше было не обращать на нее никакого внимания. Идущие впереди разговаривали, слышался голос Марины, голос Николая. Потом, кажется, заговорил Манжуев. Но о чем — не разобрать.

— Бывает, наверно, — ответил мне наконец Гусаров. — Не знаю. Чего не бывает. Но только я двенадцатое лето в поле выхожу, а про такое только в книжках читал.

— Досадили вам эти книжки.

— Да нет! Не в том дело, просто к слову пришлось. И вас предостеречь захотелось. А вы слышали, как Марина Петровна сказала про тайгу и про город?

Он даже за глаза продолжал называть своих ребят по имени-отчеству. И я уже понял, что отношения главного геолога со здешней молодежью прежде всего и определяются искренним обоюдным уважением. Но ведь такое уважение не может быть задано заранее. Для него нужны реальные основания. Мне не терпится узнать их. И подтвердив, что да, что слова Марины Петровны я слышал, я тут же нарочно поддразниваю Гусарова:

— А может, и прав Анатолий? Разновидность «таежного пижонства»? Или то самое, что вы про книжки говорили: в городе — обыкновенная стилижка, а в тайге — неожиданные поступки?

— Ну, какая же она стилижка, Марина Петровна?! — Гусаров искренне возмущился. — Да и не городской она вовсе человек...

Он рассказал, что Марина собиралась стать «потомственным» геологом, пойти по следам отца: того в Сибири знают, а сама Марина и выросла в Бодайбо, где отец работал, и поступать в геологический поехала именно в Ленинград, потому что и отец ее там учился. Экзамены сдала, но комиссия уговорила идти не на геологоразведочный, а на геофизический: перспективно, мол, и люди очень нужны. Согласилась. Вот и вся ее городская жизнь — студенческое общежитие да первый год замужества. А Николай Петрович был на курс ее старше. Впрочем, он-то — коренной ленинградец...

— Конечно, — возразил сам себе Гусаров. — За шесть лет к городу, наверно, можно привыкнуть. А вот ведь один только год, как в тайгу вернулась, и слышите, как рассуждает.

— А почему же все-таки вас это удивило?

— Да потому, что я и сам так же думаю.

— А вы — городской человек?

— Я — степной. С самой Запорожской Сечи. А село мое — Скельки

— Степняку тут привыкать нелегко, — предположил я.

Гусаров даже руками замахал.

— Что вы, что вы. Там простор, а здесь простор еще шире. Самое подходящее для степняка место.

Даже в кромешной тьме, полной дождя, можно было угадать его смущение. Я уже раньше отметил это до последней крайности доведенное

в нем свойство. Гусарова стесняло решительно все, что о нем говорилось. «Что вы, что вы». — торопливо возражал Василий Тимофеевич на любое предположение, будто он отчего-либо может испытать неудобство. Именно так отнесся он и к догадке, что ему, степняку-южанину, может быть неуютно на якутской вечной мерзлоте. И он добавил для убедительности, тоже как бы извиняясь:

— А вот к городу так и не смог привыкнуть. Шесть лет в Днепропетровске прожил, а не привык... Бывает, конечно, другой так успеет привыкнуть, что в поле его из города и сахаром не выманишь. А приглядишься — только и радости, что в сортир недалеко бегать.

Гусаров тут же спохватился:

— Простите на слове.

Лило по-прежнему.

— Вот он и участок, — сказал из черной воды голос Сани Манжуева.

— Где ты его только увидел? — сварливо спросил Анатолий.

В самом деле, впереди решительно ничего видно не было. Но и Север отчего-то вдруг оживился, покинул Гусарова и исчез под дождем.

— Сейчас придем, — подтвердил Гусаров. — Уже обогатительная показалась.

То ли он умел видеть, как сова, то ли просто угадывал то, что ему хорошо было знакомо. А я все еще не различал в темноте ничего.

Мы спустились, снова перешли какой-то ручей и опять начали подниматься по скользкому мокрому камню.

— А им непременно подавай приключения, — сказал Гусаров без видимой связи с предшествующим разговором. Связь, однако, была. Он возвратился к началу — к тому, как рассказывают про геологов в книгах. Загадочные «они» и означали авторов таких рассказов. — Даже если из газеты придет кто, из Якутска, так сразу: «А что у вас было необыкновенного?» Скажешь, что ничего такого необыкновенного не было, не верят: «Не может быть». А ведь спросите их, — Гусаров показал вперед, туда, где звучно хлюпали сапоги двух геофизиков, двух взрывников и коллектора Жени. — Спросите у них. Никто из них не тонул, никто, слава богу, не блуждал, ни один не погибал от жажды. Мерзли? Да. Мокли? Сами видите. Мошкарку грешным своим телом кормили? Сколько угодно! И ведь не что-нибудь, а как раз такое, самое обыкновенное и докучное, их и полонило. Так про то и сумей рассказать...

Он оживился так же, как и при виде кимберлита у воронки в Трапповом каньоне. Разговаривая, он по-южному энергично жестикулировал руками. Похоже было, что он даже перестал обращать внимание на дождь.

Разговор оказался слышанный, старый. Все о том же: следует ли писателю искать необычное или говорить о будничном — о том, что каждого касается и с каждым бывало?

Об этом, наверно, каждому пишущему случалось думать, и давно уже дан на это ответ: про обычное лучше рассказывать удивленно, словно об увиденном впервые и поразившем воображение. А о необычайном хороший автор всегда расскажет спокойно, как о рядовом и неувидительном. Тогда все на месте, и книга ведет читателя, куда хочет.

Тема старая, а разговор всегда непростой. Но, правду сказать, не диковато ли было затевать его сызнова здесь, в ночном лесу, двум промокшим до нитки людям, когда одного только и хотелось — добраться до огонька, обсушиться и глотнуть горячего чая.

Пока разговор этот еще не затевался и все молчали, понуро бредя под дождем, я вспомнил один давний московский вечер. Так вышло, что днем, дочитав прелестьную — и очень смешную, как все по-настоящему

грустные книги,— повесть финского писателя Майю Лассила о человеке, у которого кончились спички, и он отправился к соседу за огоньком, и эта простая причина втянула его в такое множество приключений, что их любому хватило бы на целую жизнь,— я в тот же вечер посмотрел в кино итальянский фильм «На два гроша надежды». Различие национального темперамента — вот что больше всего поразило меня тогда. Этот молчаливый финн, который в самых невероятных обстоятельствах через силу роняет два-три косноязычных слова... И вдруг эти пулеметные очереди темпераментных итальянских фраз, и эта щедрая экспрессия несконнанного неаполитанского жеста!.. Вспомнив об этом через много лет в якутском лесу, я вдруг подумал, что тот молчаливый финн, наверно, отправлялся за спичками в таком же климате и под таким же точно холодным дождем. Не очень-то тут разговоришься и руками размахнешься. Другое дело — под неаполитанским солнцем...

Оказалось, однако, что это — свойство врожденное: запорожский степной темперамент Гусарова не может погасить и заполярная осень. К тому же в теме, которую он, несмотря на свою стеснительность, принялся обсуждать так оживленно, мы с ним были, что называется, не на равных. Сегодняшняя наша дорога — это для него и были обыкновенные будни. А для меня, что ни говори, Приключение.

И я знал, что запомню этот дождь и эти полосатые трапповые скалы, и взрыв в каньоне, и потом мне будет нравиться, что я ходил в якутской тайге под таким дождем — так же, как понравился мне и запомнился тот песчаный смерч, который застиг нас по дороге из Тегерана в Багдад, недалеко от Кереджа. Вдруг показалось, будто воздуха вовсе не стало, а есть только поднятый жарким самумом больно колющий раскаленный песок; ничего не было видно, с воем ветра сливался надсадный вой всех автомобильных сирен, и верблюды легли, уткнув головы в землю и выставив тощие, сбитые набок плешивые горбы.

И так же, как этот тропический смерч, запомнился потом зимний шторм в Баренцевом море, когда мотобот «Голубка» шел из Сайда-губы в Пумманки, на полуостров Рыбачий. Немецкие батареи били по суденку кинжальным огнем, мотобот кренило на борт и ставило на попá, фонтанчики всплескивались рядом, совсем безобидные на вид, а рулевой Бызов, Лешка Бызов, во всю глотку орал одну и ту же непристойную вологодскую частушку, которая начиналась словами: «Шел я лесом, видел беса, бес говядину варит...»

А то уже совсем недавно, на Алтае, когда мы ехали ночью в кузове грузовика из Артыбаша в Турочак, началась вдруг гроза, молнии устремились к земле, как трассирующие снаряды, горы отражали многократное эхо канонадного грома, синий свет то пригасал, то распался до нестерпимой яркости, и все время видны были крутые витки горной дороги, лесистые алтайские склоны, стремительная Бия внизу, вспененная на камнях под хлынувшим ливнем. Грузовик мчался всюю, что было мочи, через синюю Кебезень и синий Санькин-аил. Водитель проскакивал молнии, ударявшие позади нас, и спешил к молниям, сверкающим впереди. В кузове было полно ребят и девушек. Они добирались до Бийска, чтобы ехать оттуда на работу, в целинный совхоз; у них были с собою две палатки, но, прежде чем их натянули над кузовом, все успели промокнуть насквозь, все плыло, вода не успевала вытекать через щели; и всем было очень весело, все очень громко кричали и даже пытались петь, как тот рулевой под обстрелом; только пели они песню вполне добродетельную — на соответствующий моменту лихой и бесшабашный мотив: «До свиданья, мама, не горюй, не грусти, пожелай мне доброго пути...»

Правда, тот ливень был теплый, и все мы скоро просохли, и ничего такого особенного не случилось, но все это запомнилось тоже — потому что человеку всегда нравится помнить про себя, что он побывал в буре, в шторме, в опасности, в горной ночной грозе или мок под дождем после долгого перехода по северной тундре, как вымокли мы сегодня. И хотя на гусаровскую жизнь таких дождей, вероятно, приходилось слишком уж много, чтобы все их запомнить, но они тоже нравились ему — все вместе. И долгие месяцы морозов и снега. И скольжение нарт, мелькание оленьих копыт, гортанные крики каюра в лесу, занавешенном дымчатой, меняющейся бахромою сполохов. И переходы по болотам и по крутым каменным склонам. И нетерпеливое ожидание лабораторных результатов после того, как туда доставлена проба, принесенная в тяжелом мешке на своем горбу.

Гусаров досадовал, что об этой повседневности не упоминают, когда пишут про геологов, а между тем это и есть его жизнь.

В старом споре о повседневном и необычном нет простого ответа. В литературе не бывает спасительных сюжетов, которые хороши сами по себе. Читателя на мякине не проведешь, и если его увлекают только описанные события, и ничто больше, то такого увлечения хватает ровно до тех пор, пока читается книга. Потом ничего не остается. А то, что способно оставаться надолго, — а от иных книг навсегда, заставляя к ним возвращаться и перечитывать снова, — заключено не в ошеломительной необычности случая, не в головоломных поворотах сюжета, а в том, как увиден и изображен человек. Необычайное тут вовсе не обязательно. Гусаров прав. Все же я возразил ему:

— Вы говорите: «Пишут про геологов». Ну, а если автор вовсе не собирался говорить о геологах обобщенно? Может быть, он хотел рассказать только об одном-единственном необыкновенном случае, который произошел с одним человеком, и ему совершенно безразлично — геолог ли этот человек или у него другая профессия. И знакомить своего читателя с той или иной профессией у этого автора и в мыслях не было. Ведь так можно сказать, что «Преступление и наказание» Достоевский написал про студента, а разве у всех студентов в обычае убивать несимпатичных старух?!

Гусаров рассмеялся.

— Во всяком случае из «Преступления и наказания» я узнал, над чем мог задумываться тогдашний студент. А по тем рассказам, о которых я говорю, выходит, что нынешний геолог вовсе ни о чем не думает. Разве не обидно?

Но тут вдруг прямо перед нами оказались освещенные окна; можно было различить длинный барак.

Север залаял навстречу. Будто он и не ходил с нами, а давно уже нас тут дождался и теперь был очень рассержен: почему мы так долго не шли?

10

Сени были тесные, а комната оказалась очень просторной — шесть окон с одной стороны, шесть с другой, во весь барак. Бревенчатые стены еще не потемнели. Пакля торчала промеж бревен. В печке, сделанной на военный манер — из железной бензиновой бочки, — горел жаркий огонь. У печки уже толпились наши: чета геофизиков, Женя, оба взрывника, Юра и Толя.

У дверей вдоль стены громоздились наши ящики. Значит, олени прошли через участок; теперь они пасутся на ягельниках, а каюры, наверно, поставили чум и спят. Жаль, я так и не успел поговорить с каю-

рами. Я очень ясно вспомнил умные сонные глаза старика, его редкую клочковатую бороденку на желтых щеках и повязанный под подбородком платочек в мелкий черный горох. Интересно, что может сниться старику в чуме, когда идет такой дождь?

— Раз-два, отвернись! — скомандовал Манжуев, чтобы девушки смогли снять промокшую насквозь одежду и переодеться в то, что мгновенно успели собрать для них и для нас хозяева.

Мы отвернулись.

Проходить дальше пока не следовало: огромные лужи сразу натекли вокруг каждого, а в комнате очень чисто. Пол идеально подметен, и десяток по-солдатски застеленных топчанов приставлен изголовьями к стенкам. Кроме топчанов, такой же длинный дощатый стол, как у Гусарова и у Сергея с Мариной, такие же самодельные табуретки. Радиола в углу. Книжная полка с «огоньковским» Флобером, Маминим-Сибиряком и учебниками. На стенках, в изголовьях, охотничьи ружья, мелкокалиберки, устрашающие ножи и фотоаппараты. На одной из коек — аккордеон.

Однако топчанов я видел перед собой целый десяток, а новых, еще неизвестных мне лиц, которые могли принадлежать здешним хозяевам, было сейчас в бараке всего четыре. Пятой оказалась та глазастая девица в свитере с оленями, которая накануне вместе с Мариной в поселке угощала нас гороховым концентратом. Ее звали Шурой, а чаще — в отличие от какой-то другой, неизвестной мне Шуры — Шуркой-маленькой.

Шурка-маленькая сообщила, что пришла сюда еще днем. Она объясняла это за нашей спиной, где, раздеваясь и растираясь, перешептывались, шуршали, хихикали и повизгивали Марина и Женя.

— А вы что стоите? — поторопил нас высокий парень в стеганой телогрейке. — Хоть бы разулись!

Облик у парня спортивный: хорошо развернутая грудь, уверенная легкая стойка. Над чистым высоким лбом очень светлые, почти белые волосы. И живой, слегка насмешливый взгляд. Парень, конечно, прав. Надо немедленно разуваться.

Из сапог вытекает вода. Застывшие ноги точно одеревенели. Но Гусаров уже протягивает толстые шерстяные носки, ноги в них согреваются сразу, блаженное тепло поднимается кверху, и снова приходит чудесное ощущение гостеприимного, давно обжитого — своего — дома. Для моих спутников это и в самом деле их дом, такой же, как в главном поселке. Здешние шесть топчанов из десяти принадлежат им. У каждого тут своя постель, своя смена одежды. «Участок» — их вторая база, и им часто случается оставаться здесь на ночевку.

От печки проходят к столу притихшие девушки в сухих теплых ковбойках, в лыжных штанах не по росту, в больших теплых носках, переданных им ребятами. Мокрые волосы гладко причесаны. Выражение лиц — благостное и умиротворенное.

— В угол — и не смотреть! — на этот раз к ним обращена команда Манжуева. Пришел и наш черед переходить из чистилища в райскую жизнь.

— Надо же! — фыркает Шурка-маленькая. — Мокрые петухи, очень интересно смотреть...

Мы теснимся у печки.

От сброшенной мокрой одежды, от разогревшихся у огня мокрых сапог густо идет прелый дух. Железная бочка раскалена докрасна, жесткое мохнатое полотенце жжет кожу. Господи, что за несравненное наслаждение! Мы влезает в сухие майки, сухие трусы. Штаны Сергея едва сходятся на мне в поясе и кончаются чуть ниже колен; рубаха Николая тоже тесна; все смеются и состязаются на мой счет в остроумии. Один

Толя не принимает участия в общем веселье. Но это не потому, что он мне сочувствует. Он поглощен самим собой без остатка. Кряхтит, ворчит, уверяет, что непременно простудится, и в подтверждение сообщает соответствующие истории из своего прошлого. Меня всегда удивляет, с какой необычайной охотой этот девятнадцатилетний здоровяк из московского Лихова переулка заговаривает о своих болезнях. Если он только не спит, он готов говорить об этом в любое время. Едва познакомившись с девушкой, он может приняться рассказывать ей, как у него однажды нога болела, как зуб болел, как — после выпитого кумыса — был расстроен желудок, какой однажды чудовищный был у него насморк, как кололо в ушах и болел лоб в самолете, когда летчик чересчур быстро сбрасывал высоту...

Еще он любит унылые истории, которые обычно начинаются так: «А он тогда подходит к Витальке и говорит: «Это ведь мировая труба». А Виталька ему и врезал...» Никому не известно, кто они таковы — «он» и «Виталька», — и почему все рассказанное может быть существенно для Толиных собеседников. Но Толя продолжает рассказ, и при этом выясняется, что явившаяся предметом столь темпераментного спора труба на самом деле была человеком — музыкантом из слышанного им во Дворце спорта джаза Бенни Гудмана, а на гастроли всех джазов Толя ходит непременно, он любит эту музыку и часто изображает слышанные мотивы тем именно способом, что и все «стиляги» из фельетонов последних лет: «Лаб-дыб-даб. Лаб-дыб-даб-дыб-дыб...»

Кроме того, Толя считает, что он, несомненно, мог бы писать стихи и киносценарии, а также быть режиссером и ставить художественные фильмы. Композитором он мог бы стать тоже. Но во все это он неукоснительно верил вовсе не потому, что умел и собирался трудиться в искусстве; нет, он умел только воображать самого себя — писателем, композитором, кинорежиссером; конечно, с деньгами в бумажнике; конечно, в своей машине, и из вечера в вечер «лаб-дыб-даб» на дружеской вечерушке; конечно, перед всеми головокружительными и доступными его представлению соблазнами славы. Но все это — без каких-либо трат души, без всякого представления о том, что же именно ради достижения всего этого способен он дать миру. Ведь он хорошо знает, что труд и талант, которые ведут к славе физика или конструктора, ему недоступны; от одного представления о труде и риске, предшествующих славе астронавта, у него нехорошо дрожат поджилки. Но слава в искусстве кажется ему плодом общедоступных развлечений и легкого везения.

Истинное призвание художника слышат в себе немногие. Но как же часто подрастающий мещанин принимает за такое призвание неотступно звучащий в нем голос: «А чем я хуже?»

И беда, если имя кого-либо из сверстников, знакомых ему по школьному классу или по дворовой игре в расшибалочку, замелькает вдруг в молве, в печати или на афишах. Тот же вопрос — «чем я хуже?» — превратится тогда в раскаленный уголь и обожжет дремучее сердце мещанина жестокой ревностью. Какое великое множество свирепо целеустремленных пустозвонов гонит эта ревность на пороги искусства, и как укореняет она в дремучих сердцах представление, будто бы искусство — просто-напросто заговор немногих и недобрых людей, плотно загородивших своими мускулистыми спинами некий соблазнительный (а вообще-то, как твердо убеждены они, любому приходящийся по зубам) легкий и сладкий пирог. И, гонимый неотвязной ревностью, рвется завистник к этому пирогу. И вдвойне беда, если при этом он не ленив, если честолюбие его деятельно. Потому что как раз такие деятельные ревнители и пытаются создавать вокруг искусства глухую стенку, превращая его из от д а ч и, какую оно является по самому своему естеству, в д о б ы ч у.

К счастью, Толя ленив. Никуда проталкиваться он не станет. Будет потом утешаться своей «неудачливостью» или «законом мирового свинства».

Притом он груб и жадно эгоистичен.

Он может, не задумываясь, переложить к себе на постель подушку соседа: «Мне так удобнее. Не люблю, когда низко...» Так было в гостинице при нюрбинском аэропорте, и сосед, закипев, чуть не стукнул Толю, но тот только изумился: «Что здесь такого?» Он может болтать про свои болезни и про злоключения и подвиги неведомого Витальки, валяясь на любой чужой койке и не замечая при этом, что мешает работающему рядом человеку. Это мы видели утром в поселке, когда пришли за Толей к ребятам, у которых он ночевал. Сев за стол, он может сам съесть все, что поставлено хозяевами, даже и не подумав о других. Так бывало уже не раз.

Вот и сейчас: он придвигает к себе разогретую на печурке банку с тушенкой, явно не собираясь ею ни с кем делиться. И решительно облюбовывает самую большую кружку. И, захватив пригоршню сахара, опускает все, что смог захватить, в налитый чай.

Впрочем, даже эта беспардонная бесцеремонность — еще не самое худшее в нем.

Леньность ума, готовность без труда собственной мысли подчиниться чужим представлениям, привычка слышанными со стороны словами хвалить фильмы и книжки (которых сам не читал или едва заглянул, так ничегошеньки и не поняв), — только потому, что их хвалят все приятели из «его круга»; стремление порицать то, что «все» порицают, принимать однажды узнанное за то, что дано раз и навсегда, быть настороженно враждебным ко всему, что заставляет задумываться, искать, приходиться к новым выводам, — вот они, опасные для общества черты мешанина. И я с тревогой наблюдаю у Толи эти черты — если не в законченной форме, то во всяком случае в очевидном и слишком ясно проявляющемся задатке.

От него то и дело можно услышать общедоступный, затасканный афоризм. Из набора таких афоризмов складывается его мораль. «Работа — для пещерного человека», «Думать лошадь будет — у нее голова большая», «Любовь мне нужна, как рыбке хрозовые сапожки»... И так же, как «мода» заменяет ему мысли и знания, так кино (а в городе еще и телевизор) рождает суррогаты его чувств. Ведь он только говорит о Ремарке и Хемингуэе, а всю дорогу читает книжки о диверсантах и контрразведчиках — такие же затрепанные и засаленные, как его афоризмы. И в конце концов становится понятным, что немудрящие погони, выстрелы и смерти, простые, как чихание, возмещают ему отсутствие собственных страстей. Из него вырастает косный себялюбец, предпочитающий стсылую, болотную ряску текучей глубокой воде.

И это становится еще очевиднее и огорчительнее, когда и здесь, на участке, обнаруживается несомненный Толин двойник.

11

Обогретые, обсохшие, мы сидим за большим столом.

Железная кружка обжигает губы. Но и это тоже приносит наслаждение. Оказывается, что в этих широтах — при здешнем образе жизни и характере человеческого труда — чувство истинного и чистого наслаждения жизнью становится куда доступнее и испытывается куда чаще, чем во многих других местах. Впрочем, ровно настолько же доступнее и чаще, как и те испытания и тяготы, после которых это наслаждение приходит. Наверно, об этом как раз и говорила Марина, и достаточно было

прийти в теплый барак после холодного ливня, чтобы убедиться в ее правоте.

Хозяева комнаты чаевничают вместе с нами.

Высокий спортсмен назвался Володей. Он работает на небольшой обогатительной фабричке, построенной на этом участке, чтобы промывать кимберлитовую породу, обнаруженную геологами в окрестностях. На обогатительной работают и двое его соседей по койкам. Четвертый — электрик, москвич — окончил недавно Энергетический. Представляется по-школьному: «Пулькин Олег...» Подумав, добавляет: «Леонтьевич...» Еще подумав, разрешительно уточняет: «В общем, Алик». Росточком он невелик; в черных глазах — нахалинка; облик — цыганистый. Сегодня Пулькин Олег, он же Алик, дневалил по общежитию и потому с такой нескрываемой неприязнью глядит на оставленные нами по всему полу следы, на беспорядок у печки, на лужи, растекающиеся из-под мешков с кимберлитом, который успел превратиться от дождя в сплошную сиюю грязь.

— Стоило медяшку драить, — сокрушается Пулькин. — Стараешься, как для порядочных, а разве тут приличного гостя дождешься?!

Но с Толей они мгновенно находят общий язык.

Непосвященным этот их особый язык недоступен. Алик и Толя изъясняются друг с другом странно звучащими словами, среди которых можно порою уловить названия московских улиц, чьи-то клички, упоминания о неких условных, им обоим хорошо известных местах, где, вероятно, сходятся посвященные, принадлежащие к их «кругу», к их «ордену». Поначалу это и не беседа даже, а как бы взаимная проверка. Пароль и отзыв... Ну что же. Все сходится. Отзыв отвечен точно. И чем дальше, тем очевиднее наслаждаются оба. Из тундры они перенеслись в иной, покинутый мир, который считают наилучшим. Должно быть, именно так мог наслаждаться Робинзон Крузо, когда после многомесячного общения с Пятницей — никак не умевшим постигнуть, что же такое «дьявол», — он покинул свой остров и смог завести на плывущем корабле первый неторопливый и когда-то привычный разговор с испанскими купцами.

И вот после испытательного диалога Робинзон-Пулькин объясняет Толе, как ужасно не повезло ему после окончания института, при распределении выпускников. Конечно, он не любитель «толкать речуги», он не какой-нибудь активист из ловкачей. Те-то сумели отправиться в края потеплее, а то и в Москве остаться. А простому человеку Пулькину — куда деваться? «Давай, хилый в Якутию. И — концы! Железно, не отобьешься...»

— Какое дело?! Пулькин — простой человек, хоть и чувак-экстра. Он приехал. Он свой срок отбудет. А там...

«Там» Пулькину видится заслуженный рай. Рай похож на магометанский. Только гурии в нем зовутся «чувихами» или еще позабористей. И вино, конечно, разрешено.

Пулькин говорит о себе, то и дело приbedнясь, называя себя в третьем лице, напоминая, что он — «простой человек». Но попытки отнестись к его особе неуважительно он обрывает:

— Но! Без лажи! Железно!

Видно, что и соседи по бараку, и Гусаров со своими спутниками успели привыкнуть к этой манере общения.

Только Марина ворчит неодобрительно:

— Опять завел бедный Пулькин...

«Бедный Пулькин» — именно так он сам себя называет и так называют его другие. Один Гусаров обращается к нему, не изменяя постоянной своей системе.

— Олег Леонтьевич,— говорит он, отставляя пустую кружку,— а ведь пожарный инспектор опять на вас жалуется.

— Это насчет изоляторов? Что ж бедному Пулькину остается? Завтра кошки наденет и — по столбам...— Покорной, самоуничжительной интонации снова противоречит нахальный взгляд. Но с прежней жалостливой просительностью в голосе «бедный Пулькин» продолжает: — А только, между прочим, все эти жалобы — чепуха. «Огнеопасно...» Делать пожарному инспектору нечего, вот он для других работенку ищет...

— Нет, прошу вас, Олег Леонтьевич,— со всей доступной ему категоричностью говорит Гусаров. При этом он густо краснеет.— Изоляция у нас никуда не годится. Это каждому видно. И столбы совершенно тут ни при чем. Речь идет о фабрике. Нужно выполнить внутренние работы.

Покосившись на Пулькина и оценив ситуацию, Володя приходит Гусарову на помощь. Он снова придвигает к нему кружку, которую Шурка-маленькая снова наполнила крепким — дочерна — чаем, и провозносит с угрожающей всесокостью:

— Бедный Пулькин все сделает. Уж я сам прослежу, не сомневайтесь.

Чай пьют сосредоточенно. Разговор идет деловой. Поначалу вялый, он становится все оживленнее, по мере того как согреваются и приходят в себя иззябшие собеседники.

Шурка-маленькая обращается к Гусарову:

— Василий Тимофеевич, мне как? Сегодня возвращаться или можно тут переночевать?

Она говорит это с такой будничной готовностью отправляться, если надо, немедля, что даже не вспомнишь сразу, какой дождь идет там, за дверью, и какая глухая стоит темнота.

Гусаров спрашивает:

— А возвращаться есть с чем?

Она отвечает цифрами и непонятными мне техническими словами.

Он задает уточняющие вопросы на том же языке и, видимо, остается удовлетворенным. Потом говорит общепонятно:

— Что ж, с утра попробуем сегодняшний кипберлит. Может, что и прибавится... Сразу со всем и пойдете. А сейф опечатали?

Шурка-маленькая подтверждает, что да, сейф она опечатала.

И тут выясняется неизвестная мне до сих пор сторона деятельности экспедиционного минералога (именно в этом качестве работает в геологической партии Шурка-маленькая).

Точно так же, как и Марина, она окончила недавно институт. Училась в Свердловске. Вышла замуж за выпускника-топографа. Защитив дипломные труды, оба уехали в Якутию. Место выбирали сами. Но в отличие от Марины и Сергея работа у них разная, расставаться приходится часто и порою надолго. Вот и сейчас ее топограф уже третий месяц составляет триангуляционные вышки в бассейне реки Оленек, а жена работает в лаборатории, и, кроме того, на ней лежит обязанность доставлять алмазы с участка в поселок. Оттуда их забирают самолеты.

Расстояние от участка до поселка не так велико. По прямой километров пятнадцать. Груз тоже небольшой: десяток-другой крохотных камешков, завернутых в вату и зашитых в полотняный мешочек. Ходить приходится раза два в неделю. Но ходит она одна, и идти надо лесом. Длинные светлые дни стоят тут недолго. Чаше ее походы совершаются в мокром, дождливом сумраке или в морозные ночи, освещенные неверными вспышками сполохов. Трещат в стороне ветки. Может, просто так трещат, от мороза. А может, идег кто стороной — то ли зверь, то ли человек. И не поймешь, кто может оказаться страшнее.

Впрочем, Шурка-маленькая уверяет, что страха не испытала ни разу.

То есть не то чтобы ни разу в жизни не испытала. Нет, ей всяких вещей случалось бояться. И когда учили на лыжах с трамплина прыгать, и когда отец пьяный домой приходил, и когда на экзамен шла, и когда в первый раз на самолете летела (почему-то казалось, что непременно он упадет). А в лесу что ж такого? Медведь? Ну и что, что медведь? Она его трогать не станет, и ему до нее дела нет. Не медовая. Охотника он, если раненый, может задрать, верно, а остальное все сказки. Ни с того ни с сего он человека не тронет. А люди? Их ей бояться нечего. Если кого и встретит — только обрадуется: ведь, конечно, знакомый. Ну, а если и чужой вдруг окажется, откуда ему знать, что у нее с собой камни?

Алмазы она только так и называет: «Камни».

И звучит это слово в ее устах совершенно обыденно. Видно, что оно не вызывает у Шурки-маленькой решительно никаких эмоций, кроме привычно минералогических и сугубо служебных.

Это я замечаю в здешних местах уже не впервые.

Так говорили об алмазах и в Нюрбе и в Мирном.

Слышался, правда, оттенок того, что можно бы назвать «социальной гордостью»: торчим, мол, у черта на рогах, зато у всех на виду, даем стране драгоценности. «Алмазы — родине!» А для себя эти драгоценности — просто «камни».

Один только раз, в тот день, когда мы только что прилетели в Мирный и нас повели на одну из буровых, расставленных вдоль трубки Удачной, я подметил нетерпеливый охотничий огонек в глазах одной из попутчиц и слишком уж явственный, специфический интерес к «камням», которые здесь добывают.

Она была москвичка, сотрудница какого-то из центральных управлений. Приехала сюда в командировку.

Своей охотничьей страсти она, впрочем, даже и не скрывала.

— Я найду алмазик, — говорила она. — Вот увидите. Мне всегда везет. Мне должно повезти...

И она нагibasась к кимберлитовым отвалам, копалась в синих комках у одной буровой, а потом у другой и у третьей. Она перетирала эти комки своими ухоженными длинными пальцами, ломая ногти и не обращая на это внимания. Все посмеивались над ней, подшучивали, но москвичку ничто не брало. Она продолжала искать. И что же вы думаете? Нашла! У самой проезжей дороги, где с загруженных доверху самосвалов кимберлит сыпался на дорогу как самый обыкновенный грунт, москвичка подобрала небольшой камешек весом с полкарата. В нем оказалась дымчатая желтинка, виднелись трещинки — это был, как здесь говорят, не ювелирный, а технический камень. Но все же алмаз, самый настоящий алмаз. Как она счастливо вскрикнула, подбирая с земли этот невзрачный кристаллик, как показывала всем, доставая из сумки! Даже обломанные ногти не огорчали ее, а радовали, свидетельствуя о том, как нелегко досталась победа. А когда к вечеру мы возвратились к домикам управления, геолог, который водил нас по Мирному, сказал москвичке смущенно, но непреклонно:

— А камешек-то придется сдать.

Это ошеломило москвичку.

— Ведь я нашла это, сама нашла.

— Такой порядок, — сказал геолог. — Кто нашел, тот и сдает.

— Но я хотела на память.

— А тут запишут ваше имя, кто сдал, когда нашел, — всем будет память.

Спорить было бесполезно. В самом деле такой порядок, иначе и быть не могло; москвичка сдала алмазик, ее имя записали в книгу, отметили вес; мы все ходили с нею сдавать алмаз, и я успел увидеть, что имен в книге было уже много.

Когда мы вышли из лаборатории, где без особой торжественности происходила вся эта процедура, москвичка грустно вздохнула, успев утешиться:

— А мне все равно везет.

Правда, на испорченные в кимберлитовом отвале ногти она глядела теперь с видимым сожалением.

Это приключение повело тогда за собой разговор: а бывают ли случаи утайки алмазов? Тему собеседники подхватили с готовностью. Наверно, привыкли. Приезжие об этом заговаривают часто, ответы готовы. Девушки-лаборантки, выходявшие вместе с нами, сказали, что такие случаи здесь были, и рассказали две или три истории, которые обладали сюжетной отточенностью, как добротный, многократно рассказываемый анекдот. Там был рассказ про одну девушку. Она приехала сюда, говорили мне, года четыре назад, стала работать вот в этой же лаборатории, работает и теперь. Ее можно увидеть. Так вот, она получила тогда комнату. До нее в этой комнате другая лаборантка жила, у той кончился договорный срок и она возвратилась н а м а т е р и к... Наступила для новенькой первая зима, в комнате оказалось прохладно. Между прочим, сильно дуло из-под окна. Новая лаборантка принялась утепляться. Пришлось для этого сорвать подоконник. И там, под доской, оказалась дюжина алмазов. Завернуты в газетный клочок и положены в папиросную коробку. А сами алмазики — ничего. Хорошие были алмазики...

— Ну и что же?

— А что? Сдала, конечно.

— Так кто же их там прятал? Та, что уехала?

— Наверно, она.

Ответили безразлично, пожимая плечами.

— Почему же она их с собой не забрала, эти алмазы?

Какой-то шерлок из приезжих построил сложную догадку:

— Простое дело. Думала через несколько лет приехать и тогда уж потихоньку забрать.

Его опровергли ироническим вопросом:

— Из чужой квартиры?

Но девушки высказались определеннее:

— А чего их брать-то? Что с ними делать?

Приезжие снова спросили:

— Ну, а потом как же? Нашли ее?

Отвечали так же равнодушно, без интереса:

— Кто ее знает. Может, нашли.

Рассказано было еще про какого-то парня, который перед отъездом на материк несколько алмазов в пиджак зашил. Но про того, наверно, заранее было известно. Может, кому-нибудь сам сболтнул, может, очень уж нахально сработал. Но только долетел до Читы — его на аэродроме пригласили в милицейскую комнату и сразу вынули из-за подкладки алмазы.

— Дурак, — с тем же непритворным пренебрежением прокомментировали лаборантки этот рассказ. — Что он мог со своими камнями сделать?..

Но и в истории с москвичкой, которая, в общем-то, расставалась с найденным алмазом очень легко, и в том, как рассказаны были оба случая с украденными камнями, была одна общая и главная черта. Ведь командированная москвичка искала свой алмаз не из алчности, не из

страсти к драгоценностям, но ради того лишь, чтобы утвердиться в сознании собственной удачливости. Я представляю, что и боровик в лесу она могла бы искать с таким же упрямством, вороша прелые листья и ломая ногти, — чтобы потом с легким сердцем отдать свою находку встречному мальчишке с лукошком, но зная при этом, что все же он был — «ее боровик», ее удача. Девушки же говорили о камнях, зашитых в пиджак и упрятанных под доску подоконника, с тем недоуменным любопытством, с каким относятся нормальные люди к исковерканной психологии любого преступника, — у них же самих интерес к камням, точно так же, как и у Шурки-маленькой, был только служебный.

И это, пожалуй, самое примечательное в недавно открытых алмазодобывающих районах Якутии и (как потом оказалось) в новых золотоносных районах Чукотки. Эти камни и этот металл (именно так на Чукотке привыкли называть золото) вошли в жизнь страны, не создавая никакой лихорадки, не уродуя ничьей психологии. Вошли просто, как новое поле работы в общем деле. Девушки-лаборантки приехали «на алмазы» точно так, как другие их сверстницы отправлялись «на целину». И здесь и там палаточные городки лишь по внешности могли напоминать о Клондайке или о старом Алдане времен «золотой лихорадки». Однако «на алмазах», как и на целине, не было никакой погони за личным обогащением.

От времен «лихорадки» — да и то от поздней поры ее угасания — попался мне на всем длинном сибирском пути лишь один осколочек.

Было это в Якутске.

Сидел там у ресторана чистильщик сапог — в черном кожаном фартуке, с тощим клином длинной черно-седой бородки (церковные псаломщики в старину любили такие бородки). Он рассказал между делом, что приехал в эти края лет сорок назад из Вятки — «стараться на золотишке».

— Три раза по семьдесят пять тыщ брал.

А потом «дела не стало».

Выходит, и дело прежде понимали совсем по-другому.

Оно было только с вое, мерилось добытыми «тыщами». А до других дела не было, не то что у Шурки-маленькой.

А вот Шурка-маленькая теперь довольна. Ей сегодня не надо брести снова в поселок. Камни в сейфе. Можно поболтать с подружками. Может, и потанцевать нынче вечером еще удастся.

У девушек, у всех троих, тоже есть на участке свои койки — в женском бараке, недалеко отсюда.

В том бараке живут и две лаборантки, которые только что заглянули к нам на огонек. Одну зовут Аустра, другую Кира. Они прибежали в прозрачных городских дождевичках, потому что ливень все еще не прекратился; перецеловались с подружками и чинно познакомились с приезжими. Рука Аустры была огромна, и ее пожатие оказалось крепким — до боли. Аустра знала, что у нее непривычное имя, и, чтобы не переспрашивали, произносила его громко, отчетливо, низким грудным голосом, закругляя первые гласные: «Ау-у-стра!» И сама она была высокая, могучая, с широкой костью. И ноги в заболоченных сапогах были у нее мужские. А все же, когда шла она через просторную комнату к столу — такая большая, сильная и коротко остриженная, — никакого представления о мужеподобии не возникало; напротив, являлось милое ощущение женственности и почему-то казалось, что в тайге девушки именно так и должны выглядеть. Напротив, мужеподобной скорее можно было считать Киру с ее сухощавостью, востроносостью, большим тонкогубым ртом.

Кира сразу же поддержала Шурку-маленькую:

— Чего сидеть? Танцевать надо.

Танцевали. Володя поймал по радио какой-то душераздирающий джаз. И как же сразу устремились друг к другу Шурка-маленькая и взрывник Николай. Похоже было, что музыка, внезапно обрушась, лишила их собственной воли и вдруг завладела ими чужая неодолимая сила. И когда пошли они вместе, положив левые руки друг другу на плечи, а правые — крепко и нервно сплетя, ясно стало, что все вокруг них исчезло, что сейчас они двое — один на один — в крошечной пустоте, и только нельзя было сразу в точности догадаться: счастье ли это или черная беда? И я заметил, как смотрят на них, будто стараясь не видеть, все остальные. Ах, да, ведь вспоминали же сегодня Шуркиного мужа, который ставит по реке Оленек триангуляционные вышки. Ведь шипела же вчера с ужимкой бухгалтерша: «А взрывник-то Николай к Шурке-маленькой...» Им все стало нипочем: «Была не была, пусть видят, пропади все пропадом!»

Ничего они не решили — Шурка и Николай. В том-то и дело, что ничего не решили. А геодезисты должны уже возвращаться через пять дней.

Шурка и Николай танцевали. Хороши танцы!..

А как же здесь к ним двоим относились?

Все можно было прочитать без труда:

Марина — с жалостью.

Сергей — с осуждением.

Женя — растерянно и изумленно.

Саня Манжуев — с неприязненным беспокойством: того и гляди, «персоналку» придется расхлебывать на бюро. А он был не из тех, что любят копаться в подобных делах. Чего хорошего? И геодезиста он мало знал: черт его знает, что за характер у парня, разве угадаешь, как выйдет? Может, случится драка, может, запьет парень. А то, чего доброго, еще и с ножом на Кольку полезет. В здешних местах всякое приходилось слышать. А комсоргу расхлебывать: все трое — комсомольцы.

Кажется, один Гусаров смотрел на Шурку и Николая с грустным пониманием. Такие стеснительные и совестливые, как он, всегда все умеют понять и объяснить. Но только на самом деле ничего они не понимают. Ведь с самим-то Василием Тимофеевичем никогда ничего похожего не было. Конечно, не было. Откуда?!

Но вчера Марина и Женя перешептывались о каком-то письме, которое получил Гусаров. И о том, что ему «опять будет трудно». Кто знает, что там было, а чего не было.

Танцевали еще три пары. Марина с Сергеем — легко и весело. Женя с Саней — как-то деловито, обстоятельно; тут все было ясно, у них все решено, и все это знают: выдастся время посвободнее — слетают в Нью-Йорк, распишутся и вернутся. Здесь-то пока расписаться ведь негде. А Кира танцевала с Володей.

Алик и Толя сидели у приемника и отпускали замечаньица:

— Детский сад.

— Карена знаешь? Его бы сюда.

— Да, он бы им показал самбу-мамбу.

— Железно!

Так все было, пока джаз не оборвался и не пошла какая-то японская болтовня. Толя завертел вариометр, торопясь отыскать подходящую музыку на другой волне. Что-то гремело, скрежетало, пищало, прорывались обрывки разноязычных фраз, кто-то проповедовал на скверном русском языке — оказалось, православный поп из Сан-Франциско, ну надо же, — потом скрипач играл Листа, наконец рядом с Листом снова обнаружился джаз, и четыре пары опять стали вышагивать у печки-

бочки. Толя зашептался с Аликом в углу, на койке. Аустра сидела за столом рядом со мной, тяжело положив подбородок на огромную руку.

— Отчего не танцуете? — спросил я.

— Ладно, пойдемте, — сказала она равнодушно, не поднимая головы.

Пришлось признаться:

— Я не умею.

— Очень прекрасно, — сказала она не то иронически, не то с искренним облегчением.

В ее речи слышался латышский акцент.

Я сказал об этом, и Аустра подтвердила: да, приехала из Риги в прошлом году. Сперва в Ньюбру, потом сюда.

Она сама угадала тот естественный и ни к чему не обязывающий вопрос, который я собирался задать ей, и ответила на него, не дожидаясь:

— Такой у нас народ. Латыши любят путешествовать. Знаете, сколько у нас морских капитанов? Это даже нельзя представить.

Аустра выговаривала слова старательно и неторопливо. Согласные жестко шуршали. Она подняла голову от стола, и я увидел ее серые большие глаза. В них была та же металлическая жесткость, что и в манере разговора.

— Очень много морских капитанов, — повторила Аустра. — А женихов мало. Когда рассказали, что сюда можно поехать, я так подумала: может быть, в этой Якутии капитанов меньше, а женихов больше?

Аустра говорила с таким прилежанием, что тщательной казалась и сама ее откровенность. Не то чтобы девушка отворила свою душу вдруг по лирическому наитию — нет, она просто исчерпывала предложенную тему начистоту, до конца, чтобы не оставалось больше никаких лишних вопросов. Она сказала:

— Я хорошая для баскетбольной команды. А для обыкновенного дома я, наверно, очень большая, да?

Вероятно, это была привычная шутка, потому что и засмеялась Аустра привычно — скучным движением лицевых мышц.

12

Дождь.

Северушка по-человечьи, громко храпит в холодных сенях.

Ребята пошли провожать девушек.

Только двое обогатителей и Толя остались, легли спать и уже заснули на своих койках.

Василий Тимофеевич рассказывал о происхождении алмазов. Про дождь он сказал, что если выдует ветром тучи из котловины, то дождь перестанет. А если «зацепятся», то так и будет идти.

— Долго?

— Бывает, долго.

И он тоже заснул.

В центре комнаты горела под потолком яркая лампа без абажура.

Над отведенной мне койкой висела книжная полка. Я протянул руку и достал последний том Мамина-Сибиряка. Я взял именно эту книгу не потому, что люблю этого писателя, а как раз потому, что мало его знаю и книга оказалась поближе. Именно в последних томах своих сборников, в заметках и письмах, писатели всего полнее и неожиданнее раскрываются перед читателем. К тому же никто не собирался выключать лампу и многие жильцы еще не вернулись в комнату — можно было почитать перед сном, и, взяв книгу, я раскрыл ее наугад. Я подумал,

что здешние ребята, наверно, решили, что правильно будет читать здесь, на сибирском Севере, книги писателя, назвавшегося Сибиряком,— оттого и подписались на собрание его сочинений. Но он писал об Урале и о самом ближнем Зауралье, а в здешних местах и не бывал никогда. На той странице, что открылась, даже и об Урале речи не было. Там оказалось письмо к брату, помеченное 3 марта 1884 года.

«...весь твой крестовый поход против «новых беллетристов»,— писал Мамин-Сибиряк брату Владимиру,— одна из тех несправедливостей, которые делаются только в юности. Мы, русские, можем справедливо гордиться такими именами, как Глеб Успенский, Златовратский, Салов и т. д. Они отрунули все лохмотья и декорации старинной выдохшейся эстетики и служат боевую службу, которая им в свое время зачтется. Важно то, что ни в одной европейской литературе ты не найдешь ничего подобного, например, «Власти земли» Успенского. Что вся эта школа слишком серьезно взялась за изучение народа и не хочет преклониться перед порнографически-эстетическими требованиями публики — в этом я полагаю особенную их заслугу».

Тут ничего не говорилось о Сибири. Но слова эти как-то связывались с оборвавшимся разговором, затеянным Василием Тимофеевичем неподалеку от «участка». Я читал дальше. Мамин-Сибиряк говорил в своем письме о тех, кто «ввел мужика в салон». Он говорил, что «время салонной эстетики миновало, да и салонные беллетристы тоже».

Признаюсь, для меня неожиданным был темперамент старого литературного спора, притом и отстаиваемая позиция оказалась далеко не архаической.

«Итак, сиволапый беспортошный мужик торжествует в литературе к ужасу эстетической надушенной критики... Но это не так ужасно, как кажется на первый раз, потому что этот мужик является подавляющей девяти-десятимиллионной массой сравнительно с тоненькой и ничтожной салонной пенкой. Обрати на сие особенное внимание, ибо здесь уже говорит арифметика.

Но вышеуказанным я еще не думаю отрицать «художество», конечно, за вычетом тех волчьих ям, которые вырыты нашей несчастной критикой. Только я расхожусь с тобой вот в чем: есть такие вопросы, лица и события, которые, по-моему, должны быть написаны в старохудожественной форме, а есть другой ряд явлений и вопросов, которым должна быть придана беллетристико-публицистическая форма. Именно так я и пишу: кесарево кесареви, а богово богови. Прогресс в том и заключается, что мы видим длинный ряд процессов дифференцирования, и литература переживает то же самое — чистое художество и художество прикладное, ибо довлеет дневи злоба его».

Потом он вспоминает о своей «Золотухе», называет ее «любимым детищем» и заключает:

«Мы — рядовые солдаты, и только».

Закрыв книгу и поставив ее на место, я еще думал о том, что трудно себе представить, как бы русская литература стала тем, чем явилась она для всего читающего мира — без своего пристального внимания к «мужику», свойственного даже такому горожанину, как Достоевский, или рано покинувшему родную почву «европейцу», как Герцен. И солдатское отношение к литературному делу — это тоже очень русское свойство.

Не следует только путать боевое оружие и парадный кортик. А это порой случается.

С тем я и заснул, не услышав уже, как возвратились Сергей и остальные.

А когда проснулся, все были на обогатительной. Юра и Толя отправились туда тоже, чтобы попытаться снять, как происходит промывка алмазов. Но они скоро пришли, рассказали, что алмазы во вчерашнем кимберлите есть и Гусаров очень доволен, но снимать там нечего, потому что все это выглядит очень убого и скучно. Течет вода по лоткам, уносит с собою грязь, а больше ничего не увидишь.

Днем все мы возвратились с участка домой.

— Теперь-то ясно,— сказала Марина, разогревши свинину с горохом.— Поселок здесь будет. И пусть он называется Веселый.

— Веселый так Веселый,— согласился Сани Манжуев.

— Безыдейное смехачество,— сказал Сергей.

— Да сколько их уже, этих Веселых,— усомнился и Гусаров.— У нас вот, в запорожской степи, тоже есть Веселый. Ничего хутор. Красивый.

Но, видно, это воспоминание было приятно ему, он подумал и тоже согласился:

— Ну что ж, ладно, пусть будет и здесь Веселый.

А Шурка-маленькая ушла сдавать принесенные с участка алмазы — для отправки в Нюрбу.



МУСБЕК КИБИЕВ

★

БЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ

С чеченского

Снова по стеклам оконным стекают
Белыми звездами капли дождя.
Падают, гаснут и снова сверкают,
Тяжко и звонко в стекло колятся.
С каплей смыкается капля другая,
И на стеклянное небо окна
Тихо восходит звезда водяная;
Вспыхнет, моргнет и погаснет она.
И все быстрее,
И все быстрее
Копятся белые звезды дождя,
С новой звездой становясь тяжелее,
След за собой змеевидный чертя
И оставляя мне в том убеждаться,
Что в маленьком мире —
(Большому под стать) —
До бесконечности можно рождаться
И без конца, без конца умирать.

Перевела Новелла Матвеева.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ДНЕВНИК АНАСТАСИИ ВАСИЛЬЕВНЫ ЯКУШКИНОЙ

В истории русского освободительного движения хорошо известно имя Ивана Дмитриевича Якушкина — видного деятеля 14 декабря, осужденного правительством Николая I на двадцать лет каторги.

Все мн памятны строки из десятой главы «Евгения Онегина»:

Читал свои Ноэли Пушкин,
Меланхолический Якушкин,
Казалось, молча обнажал
Цареубийственный кинжал.

Мы предлагаем вниманию читателей дневник Анастасии Васильевны Якушкиной (урожденной Шереметевой) — жены И. Д. Якушкина, который она вела с 19 октября по 8 декабря 1827 года. Перед читателем встает обаятельный образ одной из тех русских женщин, память о которых бережно хранит наша история и литература.

Подлинник дневника А. В. Якушкиной хранится в семейном фонде Якушкиных в Центральном государственном архиве Октябрьской революции. Дневник переведен с французского Е. В. Бонч-Осмоловской и Т. И. Якушкиной. Послесловие к публикации — очерк «Несостоявшаяся поездка А. В. Якушкиной в Сибирь» принадлежит перу правнука декабриста — Николая Вячеславовича Якушкина (1882—1945) и печатается с некоторыми сокращениями. Публикация подготовлена Т. И. Якушкиной.

19 октября, Москва, в 5 часов вечера.

Этот маленький дневник ты получишь с верным человеком, и я его начинаю с момента нашего горестного расставания. Я хотела бы тебе раскрыть самые тайные уголки моего печального сердца. Говорить, что я тебя люблю больше всего на свете, было бы только фразой. Ты должен быть в этом уверен.

Момент, когда ты скрылся с моих глаз, был ужасен; ты это легко поймешь. Но бог как будто внушил мне, и я взяла обоих детей и крепко прижала их к сердцу, и мне показалось не то, чтобы я была утешена, но все же я почувствовала некоторое облегчение от ужасной тяжести, которая меня подавляла. И в самом деле, при мысли о том, что это были твои дети, которых я обнимала, я верила, что ты будешь признателен за это твоей бедной подруге. Уезжая, я взяла Евгения на руки, Вячеслава поместил рядом со мной, и мы отправились в Ярославль. По приезде туда у меня были минуты ужасного отчаяния, тем более ужасного, что я их переживала внутри себя, но вечером я рисовала Вячеславу, как обещала тебе, и делала это только потому, что знала, что ты будешь вечером думать о нас и скажешь себе: «Я вижу, как она рисует моим детям». И все это меня немного поддерживало, но когда дети улеглись, я дала волю своему горю и должна тебе признаться, что находила в этом утешение; я смотрела на твой шлафрок и целовала его, когда меня никто не видел, и испытывала при этом такое чувство блаженства, что не смогу тебе этого описать. Может быть, ты подумаешь, что это сантименталь-

ность. О, как это далеко от всякой романтической чувствительности и как мне было бы досадно, если бы ты так думал.

Мое перо в этот момент не сможет ничего писать, кроме слова люблю. У меня к тебе все чувства любви, дружбы, уважения, энтузиазма, и я отдала бы все на свете, чтобы быть совершенной для того, чтобы у тебя могло быть ко мне такое же исключительное чувство, какое я питаю к тебе. Ты можешь быть счастлив без меня, зная, что я нахожусь с нашими детьми, а я, даже находясь с ними, не могу быть счастливой.

20-го.

В понедельник мы отправились в Москву, я торопила маменьку, чтобы приехать в среду утром, когда почта отправляется в Иркутск. Я думаю, что ты получишь письмо от нас. Я грущу, но это не мешает мне заниматься детьми.

21-го.

Начало дня было очень неприятно, но вечером оба брата Чеда¹ были у нас. Мы много плакали; они тебя любят так, как немногие умеют любить, особенно Мишель, этим он завоевал мою горячую дружбу; я люблю его всем сердцем и люблю именно за то, что он любит тебя. Ты — та точка соединения, в которой сливаются наши самые дорогие привязанности. Ты единственный человек на свете, которого можно любить так, как тебя любят, и ты так достоин этого.

Дети здоровы, В[ячеслав] бегаёт целый день, говорит о тебе, чрезвычайно послушен, хотя я его и балую, как говорят. Это, может быть, оттого, что он еще не знает, что такое наказание, и так как в глазах других это кажется необычным, то все и считают, что я его балую, а я это делаю, во-первых, потому, что ты мне так сказал, и, во-вторых, потому, что мое собственное сердце противится строгости. Они так милы, что было бы грешно применять строгость к нашим дорогим детям. Как я люблю называть их «наши дети»; мне кажется, что это слово нас соединяет.

Очень большим огорчением было для меня сокрытие тобой той молитвы, к которой ты ежедневно прибегаешь утром и вечером. Ты, значит, считал меня недостойной твоего доверия. Но как же я тебе благодарна теперь; мне кажется, что в эти минуты мы вместе и соединяемся в всеблагое божество. Однако есть одно, чему я не могу следовать буквально, а именно тому, что ты мне сказал: ни о чем не молить бога, кроме того, чтобы он меня просветил и очистил; я постоянно включаю в свою молитву, чтобы он нас соединил, и после такой молитвы я твердо верю, что мы будем вместе. Бог слишком милосерд, чтобы разъединить навсегда два сердца, созданные одно для другого. Почему мы разлучены? Мы можем также сказать: «Вам розно быть, вы им сказали, всему конец». У меня есть предчувствие, что наши дети будут воспитаны тобою, мой дорогой, нежно любимый Яничка². Быть с тобой — самое большое счастье, которое может им выпасть на долю.

Пьер Чаадаев сказал, что ты должен быть счастлив, имея меня женой, и что я должна считать себя совершенно счастливой. принадлежа тебе. В последнем предположении он, без сомнения, не ошибся, и как бы я гордилась, если бы и первое оказалось столь же справедливо.

¹ Чаадаевы.

² В подлиннике слова в кавычках и слово «Яничка» написаны по-русски. Ниже все слова, написанные в подлиннике по-русски, выделены разрядкой.

22 октября, 11 часов вечера.

Вячеслав здоров, у Евгения небольшое расстройство желудка, но это только потому, что у него режутся зубы. Старший был мил, но он поздно лег и вечером немного плакал; впрочем, это просто небольшой каприз, который быстро проходит. Все говорят, что это ангел, и не потому, что я его мать, а потому, что это правда. Все придерживаются этого золотого правила — говорить правду. Нет ничего прекраснее правды, одна только правда радует. Евгений тоже отличается примерным послушанием. Я думаю, что эти дети будут очень хорошими, потому что они были несчастны, хотя я надеюсь, что они не всегда будут несчастны. Все заставляет меня верить, что когда-нибудь мы будем вместе. Это цель моей жизни, на ней построено мое счастье, которое, может быть, не так скоро, но все же когда-нибудь обязательно должно осуществиться.

Я буду сейчас молиться и после этого скажу тебе несколько слов, которые, несомненно, кончатся словом люблю.

Да, дорогой, после нашего вечернего соединения, то есть после молитвы, я более спокойна. Я уверена, что мы молились сегодня в одно и то же время. Мне хотелось бы знать, было ли у тебя такое же чувство. Прощай, милый друг, пора ложиться спать. Все спят, и я тоже лягу между обими детьми и буду, стараясь заснуть, думать о тебе. Прощай, мне бы хотелось видеть тебя во сне, если уж я лишена счастья видеть тебя наяву.

23-го.

Вот уже неделя, как мы расстались, и пройдет, может быть, еще много недель, пока мы будем снова вместе, а может быть, это будет и скоро. Бог милостив, и я слишком верю в его правосудие, чтобы не надеяться быть еще счастливой на земле.

Все ушли к обедне, а я с детьми осталась дома. Евгений завтракает около меня, он ест котлету; Вячеслав играет. Я пишу тебе этот дневник, когда никого нет, я не хочу, чтобы это видели посторонние.

После нашего последнего свиданья мое существование настолько слилось с твоим, что мне кажется, ты всегда около меня, ты меня видишь, ты смотришь на меня, мне кажется, что я вижу в твоём взгляде одобрение, когда делаю что-либо хорошее для детей. Пусть это назовут как угодно, но это меня поддерживает, оживляет меня, наконец дает мне силы, которых без этого у меня, конечно, не хватило бы.

Я люблю говорить о тебе только с Мишелем Ч[аадаевым]: это единственный человек, который знает тебя так, как тебя нужно знать. Я слышала тебя люблю, чтобы говорить о тебе с первым встречным. Говорить о тебе с человеком, который тебя не знает и недостаточно любит, было бы своего рода профанацией. Маменька ¹ знает тебя, быть может, лучше, чем я; что касается любви к тебе — я могу с ней поспорить, но она знает тебя совсем по-другому, и мне не по душе то, как она тебя понимает. Что касается Мишеля, то он видит тебя таким же, как я вижу тебя, и мне так хорошо от этого, что я не могу сказать тебе.

Маменька плачет оттого, что она не с тобой, а я уверена, что сейчас бывают минуты, когда я больше с тобой, чем тогда, когда мы жили под одной кровлей в Жукове². Целый день мои мысли полны тобой: занимаясь с детьми, я думаю, что это для тебя; когда я молюсь, я опять-таки

¹ Мать А. В. Якушкиной — Надежда Николаевна Шереметева, женщина, заметно выделявшаяся среди тогдашнего дворянского общества, была очень дружна с И. Д. Якушкиным. Долгие годы они переписывались, при этом разница мировоззрений не мешала тому глубокому уважению, которое питал к ней всю жизнь Иван Дмитриевич.

² Имение Якушкина в Смоленской губернии Вяземского уезда.

думаю, что мы с тобой вместе. И, конечно, в Жукове были моменты, когда мы были очень далеки друг от друга, но я не хочу об этом вспоминать; мне это слишком тяжело. и я боюсь, что ты рассердишься на меня за то, что я говорю о времени, столь для меня тягостном. Прошу у тебя миллион раз прощения и целую твои руки. Я слишком уверена в твоей привязанности ко мне, чтобы предположить в тебе недобрую память по отношению к той, которая тебя любит больше всего на свете. Теперь я уверена, что ты меня любишь, я не сомневаюсь в этом, и это составляет мое счастье.

Все пришли от обедни, я кончаю, но, когда все лягут, я снова возьмусь за перо, чтобы беседовать с моим любимым другом, это тоже такое занятие, когда я постоянно с тобой.

24-го.

У меня не было времени написать тебе вчера вечером, так как у нас все время кто-нибудь был. Пьер Ч[аадаев] провел у нас целый вечер. Мне кажется, что он хочет меня обратить. Я нахожу его весьма странным, и подобно всем тем, кто только недавно ударился в набожность, он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости. Меня прервал завтрак детей. Я всегда кормлю Евгения, сегодня он хорошо кушал суп. Он здоров, Вячеслав тоже, они необычайно милы, и я их люблю, мне думается, не потому, что это мои дети, но потому, что они твои.

Вчерашний день прошел, как все другие. По-прежнему грущу, но стараюсь переносить с самым героическим мужеством печальную разлуку, так как только в этом заключается причина моих страданий. Быть с тобой и детьми — это высшее благо на этой земле, как бы предвестие небесного блаженства. Для меня нет счастья без тебя ни в этой жизни, ни в будущей. Пьер Ч[аадаев] сказал мне, что я говорю только глупости, что слово счастье должно быть вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Я тоже сказала ему, что он говорит глупости, не так прямо, как он мне изволил сказать, но вполне вежливо. Под конец он согласился, что это могло бы быть правдой. Он обещал мне принести главу из Монтеня, единственного, кого можно, по его словам, читать с интересом. Но если бы ты его видел, ты нашел бы его весьма странным. Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет вслед за Мольером: «О, великий человек»¹, а я говорю потихоньку: «Бедный человек».

У Вячеслава такой склад ума, что я боялась бы за его жизнь, если бы хоть немного была суеверна, потому что говорят, что умные дети недолговешны. Он постоянно занят тем, что запрягает и распрягает лошадей, играет со своим братом и при этом не пропускает ни одного слова из того, что говорят кругом, и все это с таким видом, как будто он занят исключительно своими игрушками. С тех пор, как ты уехал, он не сказал ни одного стихотворения, и что странно, так это то, что он говорит: «Папа не велел». Ты можешь быть уверен, что это не я ему так сказала — это его собственное побуждение. Не скрою от тебя, что мне доставило большое удовольствие, когда он сказал это в первый раз. Ни за что на свете он не скажет ни одного стиха.

Евгений давно пристает ко мне, чтобы я его взяла на руки, и я кончаю беседу с тобой, чтобы взять его: я знаю, что это будет тебе приятно. Прощай. Как бы я хотела быть с тобой. Хотя ты и говоришь, что нет необходимости быть вместе для того, чтобы быть вместе, но я предпочла

¹ Цитата из Мольера («Тартюф»).

бы быть с тобой вместе в действительности, чем быть вместе так далеко друг от друга. Прощай еще раз. Вячеслав зовет меня, чтобы запрячь ему лошадь и пришить — хвост оторван.

11 часов вечера.

Маменька спит. Евгений спит, и Вячеслав засыпает, а я бодрствую и буду еще долго бодрствовать, чтобы быть с тобою. Сегодняшний день прошел лучше, чем другие. Не знаю почему — у меня появилась надежда быть скоро с тобой. Я так довольна, когда надежда меня не покидает. Вчера я слышала об Облеухове. Он здоров, помнит тебя, живет теперь в Москве, продолжает много заниматься. А мое главное и самое любимое занятие — это, во-первых, думать о тебе, заниматься детьми, думая опять-таки о тебе, затем писать тебе, и это опять-таки для тебя. Одним словом, ты — то магическое слово, которое заставляет меня действовать.

25 октября.

Вчера мне кто-то помешал, и у меня не было времени взяться опять за перо. Завтра я буду писать тебе по почте. Я напишу тебе о детях, о себе, но я никогда не смогу выразить все, что я чувствую к тебе. С тех пор, как мы расстались, у меня столько чувств к тебе, что я не могу назвать их словами.

Вячеслав сегодня попросил у меня бумаги, я его спросила — зачем, он мне сказал: чтобы написать тебе. «Что же ты напишешь папе?» — «Я ему напишу, что мы все здоровы». Он доставил мне этим большое удовольствие.

Сегодня у меня немного болит голова, и я не буду тебе много писать; я вознагражу себя завтра. Прощай, мой дорогой друг. Думай иногда о той, которая так нежно любит тебя. Что касается детей, я уверена, что ты всегда о них думаешь.

26 октября.

Вчера мало писала тебе, мой дорогой друг, и начинаю сегодня словами «Добрый день». О, милый друг, как тяжело здороваться так издали, но бог милостив, и я не буду отчаиваться. Сегодня все пошли ужинать, а я сказала, что останусь с Евгением, который только что заснул; это было сделано для того, чтобы побеседовать немного с тобой, дорогой друг моего сердца, моей души, всех моих чувств и помыслов. Иногда я обманываю маменьку и говорю ей, что я что-то переписываю, чтобы она не знала, что я пишу тебе. Как бы мне хотелось излить свое сердце на этой бумаге, чтоб ты мог видеть всю нежность, которой оно переполнено к тебе, лучшей части меня самой, это...¹ выражение, но в самом деле, мое сердце так полно тобой, что я не знаю достаточно сильных выражений, чтобы передать все, что я чувствую к тебе. Буквально все спит вокруг меня, одна я бодрствую наедине с тобой и моими воспоминаниями. Я не могу себе представить, чтобы ты, когда я с тобой, мог думать о чем-нибудь другом, кроме своей милой женушки, которая действительно очень мила, думаю, что ты с этим согласишься.

Евгений внезапно прснулся, няня сейчас же встала и начала суесться передо мной и убеждать меня, что мне пора ложиться, так как ночью мне надо вставать к Евгению, который вот уже две ночи плохо спит. Но я сказала ей: «Что вам за дело?» — чем вывела ее окончательно из себя. Я говорю ей иногда резкости, особенно ночью, когда Евгений просыпается, а я хочу, чтобы он заснул опять и не беру его; она начинает охать, а он воображает себя угнетенной невинностью и начинает

¹ Слово не разобрано.

кричать во весь голос. Тогда я говорю ей: «Подите вон. Мне все равно, ночь сейчас или день». Но я говорю ей все это с видом чрезвычайной вежливости. Она на минуту обижается, а через минуту забывает об этом, и все идет своим чередом.

Вячеслав сегодня был необыкновенно мил и послушен, но я замечаю, что у меня отвратительное перо и что тебе будет очень трудно разобрать эту галиматью. Я кончаю, так как чувствую некоторую тяжесть в голове, быть может, оттого, что мне хочется спать. Говорю тебе очень нежно «Спокойной ночи» и прошу, чтобы ты вспоминал обо мне с самым добрым, самым лучшим чувством. Вся твоя.

27-го.

Я одна дома, то есть наша троица дома: маменька у обедни, няня ушла в гости, брат не знаю куда, а я с нашими двумя детьми дома. Когда я встала сегодня утром, моя печаль была так непреодолима, что она сказывалась против моего желания, а я, признаюсь тебе, не люблю, когда это видно. Маменька возвращается, я бросаю перо.

28-го.

Вчера я тебе мало писала, так как маменька и все были дома, дети здоровы, я тоже. Я грустна, но не беспокоюсь — я спокойна, насколько могу. Дети меня поддерживают, и потом мысль, что ты меня любишь, дает мне столько силы, и мужества, и даже счастья, что мне не хватает слов, чтобы это выразить. Быть любимой тобой — это высшее счастье.

Вчера Пьер был у нас. Он мне принес том Монтеня и сказал, что раскаивается в том, что принес эту книгу, так как уверен, что я ничего не пойму, он мне говорит только дерзости и этим забавляет меня. Все это вытекает, как говорит маменька, из необыкновенно чистого источника набожности, простоты и всего, что с этим связано. Пора бы уже уложить эти листки, я их отдам сегодня известной особе, но, может быть, я их задержу еще несколько дней.

29-го.

Я тебе пишу в 6 часов утра. Это ваш сын Monsieur Eugène меня разбудил. И так как я встаю вместе с ним, то и мне пришлось встать. Я дала ему черного хлеба, посадила около себя и пишу тебе. Маменька пошла к обедне и не скоро еще вернется.

Опишу тебе, как мы проводим ночь. Ты знаешь диван, который находится во второй комнате; я сплю на нем с Вячеславом, он с одной стороны, а я с другой; около меня два кресла — это кровать Евгения. Он съел свой хлеб и просит у меня еще, но я ему говорю, что больше нет, и он не плачет. Я принесла ему игрушку, и он играет около меня на своей постельке, вполне счастливый и довольный, не сознавая ничего из того, что переживает его мать в эту минуту, и ни того, что он так далеко от своего отца.

Что временами просто убийственно — это как раз то, что никто не входит в мое положение, нет никого, кому можно было бы открыть сердце, полное скорби. Потеряв тебя, я потеряла все — счастье, веселость, надежду, ибо что за существование будет моя жизнь без тебя? Но прости, дорогой друг, я не хочу писать ничего такого, что могло бы тебя огорчить, — во всем этом виновато мое проклятое перо. Как я на него сердита, и все-таки я не хочу с ним расстаться, писать тебе для меня не печальное, а приятное занятие. Вячеслав спит еще передо мною, он восхитителен. Не могу писать тебе дальше, так как мне помешали...¹ Прощай, мой сердечный друг, милый друг, д у ш к а,

¹ Слово не разобрать

м и л у ш к а, любовь моя, особенно в те минуты, когда я тебе пишу. Ты в таких уже летах, что не можешь этого понять, и потом, не в укор будь тебе сказано, ты меня недостаточно любишь для этого. Вот еще глупость, которая вырвалась из-под моего пера; брани его, что касается меня, то люби меня всегда очень и очень.

Добрый день, проведи хорошо этот день, а я проведу его, думая о тебе и занимаясь с детьми. Я забыла тебе сказать, что Пьер принес мне список лучших произведений, которые ты меня просишь прислать. Как только у меня будет возможность, я их тебе пришлю. Вчера я гуляла с детьми, но я вижу, что не могу расстаться с тобой. Я готова думать, что ты меня околдовал, но как я благодарна тебе за это. Это удваивает мое существование. Ты — мой бог, мое благо, ты — все для меня. Все, что я делаю, связано с тобой, но прощай, кто-то идет. Думай обо мне, как я думаю о тебе. Может быть, скоро мы будем вместе.

30-го, воскресенье.

Вот уже две недели, как мы расстались. Этот день так ужасен для меня; я плакала, как сумасшедшая, и это мне принесло невыразимое облегчение. Сегодня я пойду отдать эти листки известной особе; ты узнаешь, кто это, если они когда-нибудь дойдут до тебя. Я надеюсь, что ты когда-нибудь их прочтешь, и еще больше надеюсь, что ты сделаешь это с удовольствием. Когда я много плачу, я бываю всегда нездорова, у меня тогда болят глаза, голова, грудь и сердце, не в смысле тошноты, но сердце у меня как бы обливается кровью. Не в обиду будь вам сказано, мой любезный друг, я самая несчастная из женщин, то есть жен, которые все имеют возможность отправиться туда, где они найдут счастье, а ты мне отказал в единственном благе, которое могло бы меня сколько-нибудь привязать к жизни. Я скажу вместе с Юнгом¹, что бывают такие моменты, когда самая большая жертва, которую можно принести богу,— это переносить тяжесть существования. И правда — я это испытала несколько раз, но не беспокойся — бывают моменты, когда я себя чувствую хорошо, а иногда, когда надежда возвращается ко мне, мне бывает даже очень хорошо. Я вижу тебя перед собой, разговариваю с тобой. Я говорю глупости, сегодня плохой день для меня. Если бы у меня были деньги, я уехала бы этой зимой, ты знаешь куда, но не хочу больше писать тебе об этом.

Ты знаешь мою всегдашнюю лень, я не люблю суетиться, а теперь я не могу оставаться на месте — я должна все время вставать, ходить и никогда не лежу, а в более счастливые времена это было мое самое большое пристрастие.

Прощай, милый друг, сейчас все вернутся от обедни, а я еще ничего не сказала тебе о детях. Слава богу, они здоровы.

31-го.

Я одна и пользуюсь этими минутами, чтобы написать тебе немного. Сегодня мне было так грустно, так грустно, что я не могу тебе описать. На мгновение я поддалась этому, сказав Вячеславу «п о д и в о н», но вот он уже возвращается со словами «не буду, не буду», я говорю ему: «Ну хорошо, хорошо, когда не будешь», и мы опять добрые друзья. Мне кажется, что ты видишь все это, и это меня утешает.

Сегодня я видела во сне, что ты прощен и должен жить близ Тамбова. Я была так счастлива, просто как бы задычалась от счастья. Зато, когда я проснулась, я была так подавлена, так печальна, так несчастна оттого, что это был только сон; мне самой было стыдно, что у меня так

¹ Вероятно, Иоганн-Генрих Юнг — писатель-мистик, сочинения которого были весьма распространены среди русского общества в начале XIX века.

мало мужества. В самом деле, надо иметь гораздо больше философии, чем я к тому способна, чтобы выносить всегда со смирением ужасное несчастье, тяготеющее над нами. Наши дети играют около меня и, однако, не могут меня развлечь; все их любят, все восхищаются ими, а я (прошу у тебя прощения) иногда не могу их видеть без ужасного содрогания. Это они являются препятствием к нашему соединению. Прости, милый друг, я чувствую, что я не права. Ведь это не их вина, что они существуют на свете, а скорее наша, и несмотря на это, хотя это и редко бывает, они причиняют мне ужасное страдание. Я на коленях прошу у тебя прощения. Уверяю тебя, что я делаю все возможное, чтобы быть благоразумной, но мне это стоит очень многого, тем более что я не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что я так страдаю. Есть люди, которые любят выставлять напоказ свое горе, а я, признаюсь тебе, не люблю этого. Вчера я была у Ф[он]-В[изиной]; она скоро едет. Как я завидую ее судьбе. Она соединится с человеком, которого, может быть, и не любит, а я лишена возможности видеть тебя, кто один только составляет мое счастье. И ты сам захотел этого. Подумай немного, не правда ли, это черта некоторого деспотизма; ты должен был мне предоставить выбор и немного подумать о своей бедной жене, которая любит тебя в миллион раз больше, чем когда-либо раньше. После нашей разлуки я тебя так люблю, так люблю, что не могу тебе этого выразить. Когда я тебе пишу, ко мне возвращается хорошее настроение. С того времени, как мы расстались, мой характер улучшился, я сама себя не узнаю. Конечно, у меня еще бывают моменты нетерпения, которые я стараюсь подавлять. С детьми, надо признаться, у меня терпение ангельское, прости за это выражение. Прощай, иду кормить Евгения.

1 ноября.

Вчера у меня не было больше времени написать тебе еще, мой милый друг, а сегодня что сказать тебе? Мне лучше. Вчера и позавчера моя печаль была невыносима; сегодня мне гораздо лучше. Я думаю, это потому, что М-те Герар была у нас. Она не видела маменьки за обедней и сказала мне, что если я хочу ехать вслед за тобой, то надо иметь больше мужества и что я должна заботиться о своем здоровье, которое, по ее мнению, не в блестящем состоянии, но уверяю тебя, что я чувствую себя довольно хорошо, так же как и наши дети.

Вчера я, кажется, наговорила тебе много глупостей. Прошу у тебя миллион раз прощения. Временами я теряю рассудок и правильное изображение и делаюсь такой глупой, что это переходит всякие границы. Алексей вошел в комнату, и я кончаю в надежде написать тебе еще вечером. Прощай, мой ангел, мой архангел, надеюсь, это не будет кошунством.

2 ноября.

Я только что встала с моим милым дружкой Евгением. Он кушает около меня и прерывает меня каждую минуту. Вячеслав спит, маменьки нет. Добрый день, меня прервали.

3 ноября.

Как я виновата, дорогой друг, что так мало тебе вчера написала, но ты можешь быть уверен, это не от недостатка доброй воли. Уверяю тебя, что нет, но у меня не было времени, правда, все мое время принадлежит мне, но я не могла уделить ни минуты, чтобы побеседовать с тем, кто мне дороже всего на свете.

Дети здоровы. Ф[он]-В[изины] провели вчера с нами весь вечер. П. Ч[аадаев] тоже пришел, но, как только увидел посторонних, тотчас

же удалился, то есть остался с четверть часа — не больше. Я только что уложила Евгения, сейчас, значит, 7 часов. Вячеслав около меня и убедительно просит меня сделать ему коляску; в колясках я мастерица — прошу этому верить и не сомневаться. Итак, я покидаю тебя, чтобы заняться твоим милым сыном.

4 ноября.

Маменька была сегодня у М. Ч[аадаева], и то, что она сказала мне о нем, заставило меня полюбить его еще больше, чем я любила его до сих пор. Он говорит, что ты не прав, запрещая мне следовать за тобой, во-первых, ты не имеешь на это никакого права, а во-вторых, и ты и он с братом росли без отца, а они к тому же и без матери; и все же ты, оставив скромность в стороне, можешь желать, чтобы твои сыновья походили на тебя. Что касается меня, то даже, если бы они могли быть совершенны, я не желаю этого, — я хочу одного, чтобы они были такими, как ты, и ничем больше. (Ты видишь, мое честолюбие безгранично.) Надеюсь, ты не подумаешь, что я хочу говорить тебе комплименты — это не в моем характере. Часто я молчу целыми часами, и первое слово, которое я произношу, это «милый друг, милый друг», а потом — ведь ты знаешь, мысли идут быстрее, чем слова, — я думаю, о ж е с т о к и й, в а р в а р, ч у д о в и щ е, приказавший мне остаться так далеко от него. Не в укор тебе будет сказано, я иногда думаю, что ты поступил крайне деспотично с твоей бедной подругой. Я хотела добавить «твоей бедной милой подругой», но я предоставляю твоему сердцу и твоей чуткости добавить то слово, которое я так люблю слышать из твоих уст. Прощай, у меня нет больше бумаги, все проснулись, встали. Прощай, нежно целую тебя от всего сердца 40 миллионов раз. Евгений сидит за столом около меня и ест кашу.

5 ноября.

Я встала сегодня около 5 часов утра, так как Monsieur Eugène изволил проснуться с 5 часов, он лег в 6 часов, но мне, которая легла только в 11, это раннее пробуждение пришлось не по вкусу. Но так как я ставлю себе веселье в заслугу, то я поднялась довольно охотно. Два дня я была необычайно грустна, подавлена и бессильна, но сегодня я чувствую в себе больше мужества. Евгений сегодня немного нездоров, что касается Вячеслава, то он чувствует себя великолепно. Он взял перо и что-то царапает около меня. Он очень мил, но он вспыльчив и в то же время холоден, совсем, как я, — у меня не очень нежное сердце, то есть я могу любить, любить сильно, сильно, как я люблю тебя, но только тебя одного я так люблю. Никто на свете не владеет так всеми чувствами другого, как ты владеешь моими. Не могу тебе выразить, до какой степени я тебя люблю, обожаю тебя. Если бы я знала более выразительное слово, я бы, конечно, его привела, но мне не приходит в голову ничего такого, что было бы достойно того чувства, которое ты мне внушаешь. Я забыла тебе сказать, что у меня к тебе такое нежное, нежное благоговение, для которого не находится слов. Прощай, идут.

6 ноября.

Какой ужасный, жестокий сон я видела. Я проснулась с головной болью и тяжестью в груди. Представь себе, я видела, что ты снова зажег факел Гименя. Тоска, которую я при этом испытала, была невыразима, — это была мучительная пытка. Я каждый вечер молю бога, чтобы во сне увидеть тебя, и очень часто вижу, но в эту ночь я охотно бы отказалась от этого. Я так рыдала, что проснулась как бы в агонии.

Сегодня великий день, это годовщина нашей свадьбы; может быть, поэтому я и видела, что ты вновь зажигаешь этот пресловутый факел. Я хотела бы знать, вспомнил ли ты об этом дне.

Рамих¹ только что уехал. Он приезжал, чтобы осмотреть Евгения, у которого довольно сильное расстройство желудка. Я вижу отсюда, как ты вытираешь глаза, но не беспокойся: вероятно, завтра все пройдет. Он очень весел.

Вчера мы с Вячеславом много гуляли, а именно, мы сделали круг через Кузнецкий мост, прошли перед Кремлевским садом и через город прибыли домой. Надеюсь, что это похвально и что ты будешь доволен. Сегодня я тоже думаю непременно пойти погулять. Так как Рамих сказал, что Евгению нельзя выходить, то мы его оставим дома и с вашим старшим сыном пойдем бродить по великолепной и скучной Москве. Может быть, я поселюсь в Ж[укове], так как здесь я сильно скучаю.

7-го.

Евгению лучше. Был Рамих, ничего нового не прописал; он сказал, что у него режутся зубы и что это пустяки. Но признаюсь тебе, раз это уже миновало, что я очень беспокоилась. Слава богу, ему сегодня лучше. Я надеюсь, что мы с тобой будем вместе, впрочем, сама не знаю почему — я не узнала пока ничего нового. Маменька все еще здесь. Она все это время была нездоровая. Я чувствую себя хорошо; всю эту неделю не видела ни одной живой души, кроме Алексея и Анеты², ее я вижу иногда случайно. Но это бывает редко. Сказать тебе по правде, я не очень этим огорчена. Женщина, которая в течение двадцати лет не знала ничего, кроме счастья, не очень подходящая для меня компания. Она говорит только о празднествах, увеселениях, балах и спектаклях, и все ее разговоры кажутся мне такими скучными, что только усиливают мою печаль. Счастливые люди не могут себе представить, что можно быть печальным; они еще могут понять скуку, но никогда не поймут печаль. Но господь с ними, — они мало меня интересуют.

Прощай, мой дорогой, любимый, добрый друг, как бы мне хотелось быть с тобой — это самое заветное желание моего сердца. Прощай и здравствуй. Как я тебя люблю.

8-го.

Сегодня Евгению гораздо лучше. Сегодня в Витебске большое торжество — день именин нашего милого зятя³. Там, вероятно, будут увеселения и публичные празднества. Ах, милый друг, как он счастлив, но я не хотела бы его счастья — я хотела бы быть в хижине, далеко от всех, с тобой и детьми. Заметь хорошенько, что ты на первом месте. Если бы ты был моим возлюбленным, это могло бы показаться романтическим, но после пяти лет замужества это не внушает подозрения.

Monsieur Eugène у меня на руках. Он хочет писать тебе по-настоящему. Как бы я была счастлива с тобой на краю света. Я не знаю такой местности, где я могла бы пожалеть о чем-либо, если бы я была с тобой, душа моей жизни. О, как я тебя люблю. Это сильнее меня, я не могу этого не говорить, я бы задохнулась, если бы не говорила этого — ведь ты единственный человек, которому я это говорю. Мне кажется, что никто меня не поймет, но все же иногда, целуя Вячеслава, я ему говорю: «Comme j'aime para», а для того, чтобы это было более выразительно, я

¹ К. Хр. Рамих (1780—1831), врач, друг дома Шереметевых.

² Анна Захаровна Островская, урожденная Тютчева, двоюродная сестра Н. Н. Шереметевой.

³ М. Н. Муравьев.

ему перевозжу: как я па пу лю бл ю. О, милый друг, как мне было бы хорошо с тобой, если бы ты на это согласился, как мы могли бы еще быть счастливы. Но не надо отчаиваться: бог так милостив, что, может быть, мы и будем счастливы, насколько возможно быть счастливым в этой земной юдоли.

Дети играют и зовут меня. Прощай.

9 ноября.

О, милый друг, какие радостные новости. Я слышала сегодня о том, что каторжные работы отменены. Дай бог, чтобы это была правда. Сколько благословений посыпалось бы на великого князя Константина. Все те, которых его рождение сделало счастливыми, молились о его счастье и благоденствии, а также за всю его семью. Ах, как бы я была счастлива. Боже мой, боже мой, сделай, чтобы это была правда! Но я не смею этому верить, это было бы слишком хорошо. И так как я не слишком избалована счастьем, я не смею довериться этим счастливым обнадеживающим мыслям. Но, милый друг, быть может, я тебя удивлю, но всегда тебе скажу, что я хотела бы лучше быть с тобою там, чем здесь. Я не знаю, почему мои мысли о счастье больше связаны с местами отдаленными, чем с Россией. Мне кажется, что мое счастье не было бы таким полным, если бы мы были здесь, на глазах у всех этих людей, таких холодных и равнодушных. Мне было бы неприятно видеть их, но бог с ними. Дети здоровы. Я писала тебе сегодня с почтой; я пишу тебе каждую неделю, не знаю, получаешь ли ты все мои письма. Попроси кого-нибудь из дам, чтобы они писали время от времени твоей бедной подруге о твоём здоровье. Как бы я хотела быть с тобой! Прощай. Евгений ест свой суп, то есть ему его принесли и я должна его кормить — эта обязанность лежит на мне.

Прощай, милый друг. Люби меня очень, очень, то есть хотя бы наполовину так, как я люблю тебя, и этого будет довольно для Настеньки, которая любит тебя превыше всего.

10-го.

Мы здоровы, милый друг, но мне так невыразимо грустно, что я не знаю, что делать, что говорить, буквально не знаю, куда приклонить голову: все меня раздражает, все меня стесняет, тяготит — словом, я не знаю, как выразить то чувство, которое меня гложет. Что-то внутри меня не дает мне покою ни днем, ни ночью. Даже детям не удается меня развлечь. Я в ужасном состоянии, нет ни одного человека, который понимал бы меня, который мог бы хоть немного утешить меня. Мне не нужно утешения, но кому бы я могла хоть сколько-нибудь доверить все, что я переживаю? Мое состояние ужасно, не знаю, смогу ли еще долго выносить эту жестокую борьбу. Я не знаю никого более несчастного, чем я, ты и наши дети, особенно они, не знаю более несчастливой участи, чем та, что их ожидает. Прости, мой дорогой друг, я сама не знаю, что говорю, — все, может быть, будет хорошо. Все, может быть, будет м у к а¹. Прощай, дорогой, я тщетно пытаюсь казаться лучше, чем я есть. Больше не могу, пойду поплачу вволю.

11-го.

Прости, миллион раз прости, мой милый друг, за мое маранье от 10-го. Я была так грустна, что больше не могла вынести. Сегодня жизнь мне тоже кажется не в розовом свете и полной огорчений, не знаю, что с собой поделывать.

¹ В подлиннике по-русски, по-видимому, А. В. Якушкина перефразирует русскую пословицу: «Перемелется — мука будет».

12-го.

Не знаю, почему я не смогла вчера докончить писать тебе то, что начала. Пожалуй, это хорошо, а то я опять могла бы наговорить глупостей. В самом деле — я была в такой ужасной тоске, что не знала, куда деваться, даже шум детей был для меня невыносим. Если бы ты видел меня эти три дня, то, конечно, твое мраморное сердце смягчилось бы и твои уста дали бы разрешение следовать за тобой. Слаще меда было бы для меня это разрешение. Вот я могу сказать, что ты сделал меня несчастной тем, что привязал меня так сильно к себе. Ты должен был подумать о том, что, разлученная с тобой, я должна буду претерпеть не одну, а тысячу смертей, будучи такой одинокой на земле, какой я осталась без тебя и как я живу сейчас. Это переходит все границы. Но, мой любимый друг, моя лучезарная звезда, прости, что я говорю тебе все это. Мне нужно было бы таить это в себе, но ведь ты единственное существо, кому я могу сказать то, что чувствую. Кроме тебя, меня никто не знает, и это-то и делает меня несчастной. Ну вот, я опять впадаю в свои вечные жалобы. Прости меня, я знаю, что ты этого не любишь. Прощай, а то я боюсь наговорить лишнее. Не знаю, дойдет ли до тебя это писание, оно слишком глупо, но мы увидим. Прощай.

13-го.

Я встала в половине 6-го утра по милости Monsieur Eugène; маменька возвращается. Ты бы не узнал своей ленивой супруги, которая встала в 5 часов утра и играет с твоим сыном, в то время как все кругом погружено в глубокое молчание. Вот, сударь, как выполняются ваши верховные непреложные приказания. Это меня немного развлекает. Но если поддамся печали, то все кончено — на весь день я не годна ни на что, кроме как думать о тебе и оплакивать нашу судьбу, а она далеко не утешительна. Иногда будущее мне улыбается, а в другое время мне кажется, что несчастливая звезда, под которой мы находимся, останется неизменной для нас. Нужно заметить, что начиная с несчастного дня моего рождения я была почти всегда так же далека от счастья, как от солнца, хотя иногда и бывала согрета солнечными лучами. Но я не была избалована счастьем, если не считать тех лет, которые предоставляю угадать твоему сердцу; правда, они также были усеяны не столько розами, сколько шипами, раздирающими сердце. Мне хотелось бы показать тебе, что только ты один дал мне проблески счастья. Как же мне не любить тебя — ты был для меня все: мой бог, мой наставник, мой ангел-хранитель. Я привыкла любить тебя уже так издавна; уже с тех пор, как мы жили в доме Болховского, ты стал для меня избранным существом. Расскажу тебе историю довольно правдоподобную, которая могла случиться на самом деле. Жил некогда старый отец, у которого были две дочери на выданье. Они были уже взрослые, но оставались не замужем, потому что их милый папаша не мог решиться расстаться не с дочерьми, а с их приданым. Наконец согласно природе вещей отец умирает и оставляет своих дочерей без отца и матери сиротами. Они огорчились, что также в природе вещей. Но вечером, когда они остались вдвоем, они стали беседовать друг с другом, и одна из них сказала: «Я хочу, чтобы мой муж был богатый», другая сестра ей ответила: «Не говори так, сестра, наши браки записаны на небесах». — «Тем хуже, сестра, — сказала младшая, — я боюсь, что наш отец разорвет эту запись». Этот разговор происходил в день смерти их отца.

Но я вижу, что я делаюсь писательницей, я ввожу в свое писание разные анекдоты.

14-го.

Вчера я присутствовала на праздновании свадьбы. Одна немка венчалась в церкви при больнице Шереметевых¹. Я очень плакала, сама не знаю почему. Мое несчастье представлялось сильнее моему воображению. Прости, но я чувствую некоторую горечь при мысли, что я больше не с тобой, тогда как только от тебя зависит быть со мной. Не думай, что я надолго оставляю наших детей одних; если ты так думаешь, то ошибаешься. Я уложила спать Евгения, так как не могу его оставить, няня больна, и потому я постоянно с ним. Могу сказать, что он питает ко мне необузданную страсть. Вячеслав был со мной, так как Серг[ей] Вас[ильевич] Шер[еметев] — главный смотритель больницы.

15-го.

Я здорова, но тоска моя так ужасна, что я не нахожу себе места. Я даже не хочу писать из опасения, что напишу нелепости. Прощай, целую тебя столько, сколько не могу даже сказать.

16-го.

Сегодня я чувствую себя лучше; я писала тебе с почтой. Мы регулярно пишем тебе каждую неделю, не знаю, получаешь ли ты. Надо надеяться, что ты имеешь это удовольствие если не каждую неделю, то по крайней мере два раза в месяц.

Евгений прелестен. Я не знаю, как мне пришла в Петербурге мысль о возможности расстаться с ним. Это невероятная глупость, в которой я прошу прощения у тебя и у бога. О, милый друг, почему мы не вместе? Я думаю, что нам было бы теперь хорошо: я была бы кроткой, никогда бы не сердилась, так как в самом деле могу сказать, не хвастаясь, что стала очень терпеливой за эти ужасные два года, то есть научилась лучше владеть собой.

Можешь гордиться своей женой. О, как я тебя люблю. Знаю, что ты не любишь, когда я это говорю. Но, не во гнев тебе будь сказано, — это сильнее меня. Люблю тебя, люблю, люблю, сердись сколько хочешь, а я всегда буду говорить, что я тебя люблю. Вижу отсюда, как ты улыбаешься с некоторым чувством удовлетворенного самолюбия, что ты мог в твоём почтенном возрасте внушить такое нежное чувство молодой и красивой женщине, и к этому чувству удовлетворения прибавляется немного снисходительного презренья к слабости женщины, которая не может удержать нежного слова ни на кончике языка, ни на кончике своего пера. Простите, сударь, я-то знаю, как это ужасно — таить в себе чувство привязанности к человеку, которого любишь и которому не смеешь этого высказать. Мне это знакомо — я могла бы рассказать кое-что об этом. Евгений кричит изо всех сил, чтобы я его взяла, иду исполнять ваши приказания. Прощай, как я тебя люблю, сердись и досадуй, сколько хочешь; что у меня на уме, то и на языке, а сегодня я поставила себе задачей взбесить тебя.

17-го.

Сегодня и даже сейчас я отправляю свое писание и так как вчера много написала, то скажу тебе сегодня только, что наши малютки здоровы, что я тоскую и хочу быть с тобой наперекор тебе и всему свету. Я их оставлю М. Ч[аадаеву], а сама хотела бы разделить вашу суровую участь, не правда ли, как романтично. Прощай, я не скажу тебе, что я

¹ Странноприимный дом и больница, ныне институт имени Склифосовского. В 1827 году С. В. Шереметев, двоюродный дядя Якушкиной, был назначен туда главным смотрителем.

тебя люблю, так как достаточно повторяла это вчера и опасаясь быть навязчивой, во всяком случае кончаю об этом. Если ты позволишь мне приехать без детей, дай мне знать. Я прошу об этом на коленях, как о самой великой милости, которую ты можешь мне даровать. Во имя неба разреши! Прощай, отсылаю эти листки, часть их уже отослана раньше.

21 ноября.

Прости, милый друг, за этот перерыв в моем писании: но я была так больна — не пугайся — не телом, а душой. Моя душа была так подавлена тяжестью этого горя. Ни одной души, которая бы меня понимала, ни одного человека, который бы хотел облегчить мое бедное сердце. Все, что меня окружает, так суетно и тускло. Хотя я молода, но несчастье дало мне больший опыт, чем я хотела бы иметь в мои годы. Грустно быть во всем разочарованной в двадцать лет, не верить больше в отрадные иллюзии юности, быть бесчувственной ко всем удовольствиям, одним словом — любить жизнь не ради себя самой, а только ради немногих существ, которые не могут больше дать мне счастья. Надо признаться, что я родилась под несчастливой звездой, но я говорила бы совсем другое, если была бы с тобой. Попроси М-ше Фон-Визину написать мне, что я могу приехать, и я буду благословлять providение за то, что живу на свете. Но не будем больше говорить об этом. Все эти дни я не могла решиться тебе написать, сегодня пишу, чтобы сказать одни глупости. Мне кажется, это оттого, что я пишу не то, что хотела бы. Евгений мешает мне мараť бумагу.

22-го.

Мой милый друг, мое состояние ужасно, я не выдержу. Разреши мне приехать к тебе. Я не могу писать, мне так грустно. Прощай, жестокий, но любимый, слишком любимый друг. Больше не могу.

23-го.

Могу тебе сказать только то, что у меня болят зубы, и это совсем лишает меня способности действовать.

24-го.

Мне лучше, но я все-таки страдаю и даже совсем больна сердцем, душой и телом, однако не хочу лишиться себя удовольствия немного поговорить со своим любимым другом. Мы знаем, что Ф[он]-В[изин] уже вернулся и что, получив портрет нашего милого Вячеслава, ты очень плакал. Прощай.

28-го.

Опять большой перерыв, но я так страдала от зубной боли, что не могу тебе сказать. Сегодня мне лучше.

29-го.

Дети здоровы. Евгений у меня на руках, лепечет слово «папа». О папа, папа, разреши мне приехать к тебе! Ты этим сделал бы меня счастливой на всю жизнь. Заклинаю тебя нашими детьми. Разреши мне это сделать. Сейчас я кое-как занимаюсь ими, но в дальнейшем вряд ли буду в состоянии это делать, и это так угнетает. Нет, я не могу здесь остаться, все только отягощает мое несчастье. Не могу больше писать, слезы душат меня, прощай.

30-го.

Мы, вероятно, переедем в деревню, потому что жить в Москве так, как мы живем, ужасно, а жить с Анной Захаровной я не имею средств. Из меня делают куклу, делают со мной все, что хотят, потому что у меня нет возможности жить так, как я бы хотела. Теперь только я узнала, как свет ужасен. Нет, я не могу тебе писать. Раз ты не хочешь позволить мне приехать к тебе, то я непременно поеду в Иркутск, и нет силы на земле, которая могла бы меня удержать. Прощай, Евгений меня не покидает и раздирает мне сердце. Вячеслав еще спит; прощай, моя печаль невыносима. Быть в разлуке с тобой — это ужасно. Почему я не умерла при рождении — я была бы более счастлива. Не могу больше, прости, дорогой мой, но бывают минуты, когда я не знаю, что с собой поделаться. Я так тебя люблю.

7 декабря.

Такой большой перерыв был потому, что я была больна и лежала в постели, но сейчас я совсем здорова. Мы уезжаем в деревню¹, потому что у меня нет средств, чтобы оставаться здесь. Прощай, я люблю тебя так, что не могу достаточно это выразить. Я надеюсь скоро видеть тебя в действительности, эта надежда меня поддерживает. Прощай. Я так тебя люблю.

Н. В. ЯКУШКИН

★

Несостоявшаяся поездка А. В. Якушкиной в Сибирь

1

Жена одного из выдающихся деятелей движения декабристов Ивана Дмитриевича Якушкина — Анастасия Васильевна Якушкина, урожденная Шереметева, родилась в 1806 году.

Большая часть ее детства и юности протекла в одном из самых красивых уголков Рузского уезда, в привольной усадьбе села Покровского, в типичной обстановке дворянского гнезда.

Подобно большинству женщин своего времени, Анастасия Васильевна получила домашнее образование, в основе которого лежал французский язык, французская литература и музыка. Ее французские письма, особенно в моменты душевного подъема, отличаются большой живостью и выразительностью и резко контрастируют с ее русскими записками, с их связанной речью и несколько тяжелыми оборотами.

По общему свидетельству современников, Анастасия Васильевна была очень хороша собою. С сохранившейся миниатюры, относящейся к двадцатилетнему возрасту, на нас смотрит в старинном уборе и прическе почти еще девочка, с тонкими, изящными чертами лица и полукапризным, полумечтательным выражением больших голубых глаз.

Натура порывистая, глубоко эмоциональная, которой, с одной стороны, не было чуждо увлечение светскими успехами, с другой — ничего не стоило навсегда отказаться от них, она чувствовала себя неудовлетворенной даже в самые юные годы. Характерно, что эта нежная и хрупкая женщина сохранила свое детское имя до конца своей жизни: Настенькой ее называли не только старшие, но и младшие родственники и близкие знакомые.

¹ Село Покровское, Рузского уезда, Московской губернии, имение Н. Н. Шереметевой.

В своем дневнике Анастасия Васильевна вспоминает, что полюбила Ивана Дмитриевича еще тогда, когда они жили в Москве в доме Болховского, когда она еще совсем девочкой встречалась с другом своей матери, который был старше ее на четырнадцать лет, участником наполеоновских войн и членом каких-то тайных обществ. Зная характер Ивана Дмитриевича, нельзя допустить, чтобы он мог решиться на такой важный шаг, как женитьба, не убедившись в наличии собственного серьезного чувства.

Свадьба состоялась в Москве в ноябре 1822 года, после чего молодые уезжают почти на два года в Покровское. В июле 1824 года И. Д. Якушкин вместе с женой и недавно родившимся сыном Вячеславом переезжает к себе в Смоленскую губернию, в Жуково. Иван Дмитриевич пробует заниматься хозяйством, много времени посвящает выработке общего плана освобождения крестьян¹. Впоследствии, после ссылки мужа, Анастасия Васильевна назовет эти годы самыми счастливыми. Жизнь Якушкиных в деревне течет в это время спокойно, «уединенно и безвестно», как пишет Якушкин 4 марта 1825 года П. Я. Чаадаеву². Приближался конец 1825 года и с ним та политическая буря, которая до дна всколыхнула казавшийся незыблемым весь уклад и течение жизни целого ряда русских дворянских семейств.

2

Декабрьские события 1825 года застают Якушкиных в Москве³. Попытка Ивана Дмитриевича поднять на помощь петербургским товарищам военное восстание терпит неудачу, и он с полным самообладанием ожидает ареста.

Надежда Николаевна Шереметева также отдает себе ясный отчет в надвигающихся событиях. Она спешно вызывает из Покровского своего управляющего Якова Игнатьевича Соловьева и поручает ему в определенном месте покровского дома выломать половицы и сжечь хранящиеся там бумаги. Верный слуга и преданный друг Надежды Николаевны с точностью выполняет поручение и затем долгие годы, до самой смерти, хранит эту тайну.

Десятого января 1826 года Якушкина арестуют и отвозят в Петербург, сначала в Зимний дворец, затем в Петропавловскую крепость. Наступает время тягостной тревоги и неизвестности. Несмотря на придворные связи Шереметевых, хлопотать о смягчении участи арестованного не представляется возможным.

Первые письма не доходят до заключенного. Зато одно из последующих писем, известившее Ивана Дмитриевича о благополучном рождении сына, вдруг неожиданно попадает адресату. Это как раз то письмо, получение которого после стольких дней мучительной тревоги о здоровье жены так сильно взволновало заключенного декабриста. В своей камере Алексеевского рavelина он сразу чувствует себя самым счастливым человеком в Петербурге; еще недавно опасавшийся, как бы царь при допросе не победил его своим великодушием, и потому довольный резкой и грубой формой допроса, он теперь готов выразить искреннюю благодарность царю за разрешенную передачу письма⁴. Зато потом, когда ему приходит в голову мысль, что это только уловка следователей, он напрягает все свои душевные силы, чтобы при ближайшем допросе не дать никаких лишних показаний.

В июне 1826 года Анастасия Васильевна с двумя маленькими детьми на руках, измученная тревогой за мужа, приезжает в Петербург. Она пытается добиться свидания с мужем, но это удается лишь по окончании следствия, когда ей разрешается взять с собой в крепость и малолетних детей. После свидания тревога на некоторое время утихает, но ненадолго: приближается момент приговора. Какой глубокой тайной ни было окутано следствие, все же в среду высокопоставленного петербургского общества проникают известные слухи, которые жадно ловятся заинтересованными семьями. Приговор по отношению к Якушкину гласил: смертная казнь с заменой два-

¹ ЦГАОР, Архив Якушкиных, папка 6.

² «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева» под редакцией М. Гершензона, т. I, 1913, стр. 363.

³ Якушкины поселились в 1825 году в Москве, в доме на Малой Бронной (ныне Тверской бульвар, д. 7). В этом доме и был арестован И. Д. Якушкин.

⁴ См. «Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина». Издательство Академии наук. М. 1951, стр. 71.

дцатилетней каторгой. После приговора Якушкин возвращается в Петропавловскую крепость, ворота которой на этот раз запираются за ним так плотно, что никаких известий на волю уже не проникает. Тщетно Анастасия Васильевна и Надежда Николаевна добиваются свидания с заключенным декабристом.

Ждать приходится еще два месяца, пока Якушкина не отправляют в Роченсальмскую крепость в Финляндии, и тогда на первой станции от Петербурга, в Парголове, ему дается свидание с женой и тещей. После долгой беседы, затянувшейся на всю ночь, принимается наконец определенное решение: Анастасия Васильевна с детьми поедет за мужем в Сибирь, а Надежда Николаевна будет сопровождать их. «После всех тревог, нами пережитых, такая будущность нам улыбалась»¹, — вспоминал впоследствии Иван Дмитриевич.

Тем временем вопрос о поездке жен декабристов в Сибирь из области настроений и намерений переходит понемногу на реальную почву. Император Николай, делавший все, чтобы помешать этим поездкам, рассматривал всякое сочувствие к государственным преступникам, даже со стороны их жен, чуть ли не как личное оскорбление. Все же в конце 1826 года Трубецкая, а за ней и Волконская добиваются разрешения ехать за мужьями в Сибирь. Выбатываются негласные правила, определяющие положение жен декабристов в Сибири и ограничивающие некоторые их имущественные и личные права. Что же касается детей, то они должны были оставаться в России, чтобы получить «правильное их роду образование», которое не могли дать им отцы. Копия этих правил, переписанная писарским почерком, находится в якушкинском архиве².

Между тем декабристов начинают понемногу отправлять в Сибирь. Путь их следования из Петербурга и Финляндии проходил через Ярославль. Генерал-адъютант Потапов любезно извещал Н. Н. Шереметеву всякий раз, как снаряжалась партия для отправки, но он сам при этом не знал, кого именно повезут. И вот Надежда Николаевна и Анастасия Васильевна с детьми по получении такого извещения каждый раз отправляются в Ярославль и ожидают там проезда ссылаемых декабристов. Первый раз обе женщины четыре месяца остаются в Ярославле; Ивана Дмитриевича не привозят, и они в мае возвращаются в Москву. Второй раз Анастасию Васильевну с детьми сопровождают в Ярославль знакомая дама и один из университетских товарищей и ближайших друзей Ивана Дмитриевича — Михаил Чадаев. И на этот раз ожидание бесплодное. В конце сентября или начале октября получается новое извещение; и наконец 15 октября привозят партию декабристов, среди которых находится и Иван Дмитриевич. Только здесь, в момент свидания, он узнает, что детям не разрешено ехать в Сибирь и что Надежда Николаевна не может проводить Анастасию Васильевну. Пораженный этим, он несколько минут не может выговорить ни слова. Но время шло, надо было решать. Однако на этот раз решение дается не так просто, как полтора года назад в Парголове. К счастью, ввиду проходящего по Волге льда и невозможности переправы через реку свидание затягивается³. Якушкин, убежденный, что воспитать детей может только мать, просит Анастасию Васильевну остаться при них в России. После долгих настояний мужа она наконец соглашается. Вместе с Надеждой Николаевной и детьми провожает Анастасия Васильевна до ближайшей станции бричку с ссылаемыми декабристами и затем навсегда прощается с мужем. Суровый и сдержанный Иван Дмитриевич вспоминает в своих записках, что он, простившись с женой и детьми, «плакал, как дитя, у которого отняли последнюю и любимую игрушку».

О том, что переживала Анастасия Васильевна, мы узнаем из ее дневника.

3

Свои письма к далекому мужу Анастасия Васильевна писала, зная, что их будет прочитывать сначала мать, которая дописывала вторую половину листка, а затем и со-

¹ См. «Записки», стр. 87.

² «Правила для жен государственных преступников, сосланных в каторжные работы, отправляющихся к мужьям своим». ЦГАОР, Архив Якушкиных, папка 39.

³ См. статью В. Гонцовой-Берниковой «Из жизни декабристов на каторге и ссылке в 1827 г.». Сборник «Декабристы на каторге и в ссылке». М. 1925, стр. 60.

вершенно посторонние лица. Дневник же писался только для Ивана Дмитриевича, об этом не должен был знать никто¹.

В московском доме на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка², который сохранился и поныне, Анастасия Васильевна живет, как в монастырской келье, почти никого не видя, кроме самых близких людей. А если выходит, то только на прогулку с детьми. Поздно ночью, когда в доме все засыпало, писала она свой дневник или садилась за него рано утром, когда ей неожиданно приходилось вставать к проснувшемуся младшему сыну, или наконец в такое время, когда все домашние уходили в церковь.

Читая ее дневник, невольно спрашиваешь себя: как могла эта молодая женщина, почти девочка, в такой степени владеть даром передачи своих мыслей и переживаний. Без труда и почти безошибочно она выбирает самые правдивые и подлинные выражения, несмотря на то, что ее чувства переливаются через край, чуждые всякой ложной аффектации. Дневник в целом оставляет глубоко законченное и сильное впечатление.

Через полтора года, когда для Анастасии Васильевны уже окончательно отпала почти осуществившаяся была надежда уехать в Сибирь вместе с детьми, она еще раз пытается убедить Ивана Дмитриевича, чтобы он дал ей разрешение приехать одной. На этот раз письмо писалось не под влиянием порыва, оно не лишено известной логической убедительности. Она пишет, что через два-три года дети подрастут и не будут нуждаться в исключительных заботах матери. Она убедительно просит Ивана Дмитриевича, прежде чем решать, обдумать хорошенько ее положение, ибо от его решения будет зависеть счастье или несчастье всей их жизни.

Как же отвечал Иван Дмитриевич на этот обращенный к нему и все повторяющийся страстный призыв Анастасии Васильевны освободить ее от данного ему обещания и разрешить ей, оставив детей, приехать к нему в Сибирь, или, точнее, борьбой каких мотивов и чувств решался для него этот сложный и мучительный вопрос? К сожалению, по характеру и состоянию наших материалов ответить определенно на это почти невозможно.

Близкий друг Ивана Дмитриевича, декабрист Е. П. Оболенский, с которым он провел на поселении в Ялуторовске вместе долгие годы, должен признаться, что ему никогда не удавалось понять, почему этот глубоко привязчивый и самоотверженный человек, иногда целые ночи просиживавший у постели больной жены друга или больного ребенка, «почему он не позволил Анастасии Васильевне приехать к нему и разделить с ним и горе и радость»³. «Ты можешь быть счастливым, зная, что я с детьми,— писала с оттенком горечи Анастасия Васильевна в одном из писем,— а я, находясь с ними, не могу быть счастливой». Эти слова нельзя признать вполне справедливыми.

Иван Дмитриевич, конечно, не мог быть и не был счастлив в Сибири, один, без семьи. Уже в 1832 году он признается в письме к Надежде Николаевне, что в иные минуты, когда он думает о Настеньке и судьбе детей, он совершенно теряет всякое спокойствие, и только при мысли, что над ними есть провидение, ему удается «уговорить себя»⁴. В этих словах скрывается больше, чем может показаться на первый взгляд. Этот стойчески настроенный человек постоянно боролся со своими личными чувствами, а о том, что он переживал, даже в минуты полной открытости души говорил только вполголоса.

И все же любовь Ивана Дмитриевича к жене не только выражалась в иных, более сдержанных тонах, чем чувства Анастасии Васильевны, но она носила, несомненно, и более спокойный характер. Для Анастасии Васильевны вся жизнь была в ее чувстве к мужу и почти все ее духовные возможности были связаны с совместной жизнью с ним. Для Ивана Дмитриевича это было, конечно, иначе. Как ни был он уверен, что «нам

¹ Дневник был переправлен И. Д. Якушкину, по-видимому, с Н. Д. Фонвизиной — женой декабриста, поехавшей в январе 1828 года к мужу в Сибирь. Фонвизина приехала в Читу 18 февраля, и Якушкин указывает в «Записках», что она привезла ему письмо от жены, в котором та просила разрешить ей, оставив детей, приехать к нему.

² Теперь угол улицы Калинина и улицы Грановского.

³ См. «Воспоминания Е. П. Оболенского об И. Д. Якушкине» в сборнике «Декабристы и их время», вып. 1, 1927, стр. 194.

⁴ Письмо И. Д. Якушкина к Н. Н. Шереметевой от 13 марта 1832 года. См. «Записки», стр. 249.

вместе, жене моей и мне, всегда было бы прекрасно», и как ни остро порой переживал разлуку с женой, особенно когда одно время появилась надежда на ее приезд, для него не все замыкалось в этом чувстве: оставались еще широкие умственные и научные интересы, близкие отношения с друзьями и единомышленниками и наконец деятельное участие в жизни окружающих. Всего этого не имела Анастасия Васильевна.

В общем, нам приходится снова возвратиться к той мотивировке, какую в своих «Записках» И. Д. Якушкин дал сам. «Для малолетних наших детей попечение матери было необходимо. К тому же я был убежден, что, несмотря на молодость жены моей, только она могла дать истинное направление воспитанию наших сыновей, как я его понимал»¹.

Конечно, его главной мечтой было — чтобы его сыновья выросли при нем. В одном из писем к теще из Сибири он говорит о том, что сомневается, найдется ли такое существо, которое бы «могло полюбить их счастье» (то есть, очевидно, их будущую судьбу. — Н. Я.) так, как он его любит. Но если уже он сам не может быть с детьми, то с ними должна оставаться мать. Еще в Петропавловской крепости он сказал духовнику декабристов П. Н. Мысловскому, что если бы его сослали в Сибирь, то с его стороны было бы большой жестокостью отнять у детей, уже потерявших отца, также и мать.

Во всяком случае Иван Дмитриевич остается верен своему ярославскому решению в течение четырех лет.

Не следует думать, что эта верность раз принятому решению давалась ему легко. Пожертвовать своим личным чувством осознанному долгу было для него, конечно, обязательным. Недаром все знавшие его говорят, что в подобных случаях он научился крепко сдерживать свое сердце. «Отличительная черта его характера, — писал о нем Басаргин, — была твердая, непреклонная воля во всем, что он считал своей обязанностью и что входило в его убеждения»². Сам И. Д. Якушкин писал Пушкину: «Во всяком положении есть для человека особенное назначение, и в нашем, кажется, оно состоит в том, чтобы сколько возможно менее хлопотать о самих себе»³.

Однако в вопросе о приезде Анастасии Васильевны нужно было не только победить свое личное чувство — надо было выбирать между долгом к детям и долгом к жене. Этот последний И. Д. Якушкин ставил очень высоко. И кто знает, не представлялась ли ему самому та мысль, которую в одном из писем высказывала Надежда Николаевна, так доверявшая его нравственному решению. «Отказом не сделай, — говорит она, — свое и ее несчастье». Как бы то ни было, в конце 1831 года этот тяжелый нравственный конфликт решается в другую сторону: Иван Дмитриевич дает согласие на приезд жены без детей. Что повлияло на него в данном случае? Мысль ли о том, что теперь для воспитания детей присутствие матери стало не так необходимо? То ли что проект помещения его сыновей у И. А. Фонвизина⁴, выдвинутый в то время его семьей, относительно больше его удовлетворяет? Сознание ли, что силы Анастасии Васильевны начинают слабеть? На все эти вопросы имеющиеся источники не дают ответа⁵. Во всяком случае трудно допустить, чтобы это было только уступкой личному чувству.

Оценивая мотивы решений И. Д. Якушкина, следует еще отметить, что в семейных воспоминаниях Шереметевых и Якушкиных сохранилось представление о том, что Иван Дмитриевич прежде всего не хотел, чтобы дети его выросли среди людей,

¹ См. «Записки», стр. 95.

² См. воспоминания Н. В. Басаргина об И. Д. Якушкине, в журнале «Каторга и ссылка», № 5, 1925, стр. 165.

³ Письмо И. Д. Якушкина к И. И. Пушкину от 17 марта 1842 года в сборнике «Декабристы на поселении. Из Архива Якушкиных». М. 1926, стр. 105.

⁴ Речь идет об Иване Александровиче Фонвизине, члене Союза благоденствия и Северного общества с 1818 по 1821 год, брате декабриста М. А. Фонвизина (1788—1854). С последним И. Д. Якушкина связывали не только единство взглядов и убеждений, но и большая взаимная привязанность.

⁵ Может быть, на решении Ивана Дмитриевича сказались и другой мотив: изменение к лучшему условий жизни на Петровском заводе. Раньше он говорил, что никогда не согласится «запереть» жену в темную, сырую тюрьму», теперь же пишет теще: «Ей здесь, по-моему, будет недурно. Ей нельзя будет так покойно и беспечно жить здесь, как жила она в Покровском, но для нее это будет не без пользы».

отрицательно настроенных к тому движению, в котором он принимал такое горячее участие, и чтобы они видели в отце «государственного преступника». Вполне вероятно, что такая смутная или даже определенная мысль была у декабриста, хотя в своих «Записках» он прямо не говорит об этом. Сами по себе такого рода опасения, безусловно, могли иметь основание.

Вся общественная атмосфера после 1825 года окрашена резко выраженной реакцией против тех политических и общественных идей, которые оставались дороги Ивану Дмитриевичу до конца его жизни. Еще более непримиримым было отношение в дворянских кругах к самому выступлению 14 декабря. Большинство членов семей Шереметевых и их ближайших родственников Муравьевых, среди которых предстояло вырастать молодым Якушкиным, резко отрицательно относилось к осужденным декабристам, и в лучшем случае некоторые из них только жалели Якушкина¹. Иван Дмитриевич, конечно, ясно представлял себе это положение. Его чувствовала, несомненно, и Анастасия Васильевна; недаром она пишет в дневнике, что и в случае его возвращения она не хотела бы оставаться в России на глазах у всех этих холодных и равнодушных людей. Правда, она не была всецело проникнута взглядами мужа, но ее исключительная любовь к нему и горячее желание выполнять его указания могли давать И. Д. Якушкину уверенность, что дети будут воспитаны ею так, как он считал это нужным².

4

Как известно, большинству жен декабристов, уезжавших к мужьям, приходилось, помимо длительных официальных хлопот, выдерживать упорную борьбу с семьями, которые по личным и политическим мотивам обычно были настроены враждебно к отъезду в Сибирь своих дочерей и сестер. Достаточно вспомнить известную историю М. Н. Волконской. Даже так горячо любивший ее отец Н. Н. Раевский, никак не соглашавшись поверить тому, чтобы его дочь по собственному побуждению решилась ехать в Сибирь, вначале приписывал ее решение влиянию «Волконских баб». А. В. Якушкина находилась в этом отношении в ином положении. Если ее поездка и не встречала сочувствия со стороны брата и сестры, то мать ее сумела в этом вопросе стать выше всяких личных побуждений. В Покровском Анастасию Васильевну без особых затруднений отпускали в далекий путь, и если ей все же не удалось преодолеть стоявшие перед ней препятствия, то они надвинулись на нее совсем с другой стороны.

Дело в том, что граф Бенкендорф, знавший, по-видимому, о том, что родственники Шереметевой были настроены против отъезда Анастасии Васильевны в Сибирь к мужу, желая парализовать настойчивые хлопоты Н. Н. Шереметевой, предложил своему бывшему боевому товарищу генерал-майору Н. Н. Муравьеву, отцу Михаила Муравьева, женатого на старшей дочери Надежды Николаевны и соседу Шереметевых по имению, «вывесть частным образом» у А. В. Якушкиной, насколько ее решение

¹ Алексей Васильевич Шереметев, по-видимому очень любивший свою сестру и, по ее словам, относившийся к ее детям с нежностью отца, не мог простить Якушкину, что он женился на Анастасии Васильевне, будучи так серьезно замешан в противоположительственном заговоре. То же самое с большой резкостью высказывает Варвара Петровна Шереметева в своем письме от 13 января 1826 года из Петербурга к родным. Что касается семьи Муравьевых, то их отношение к декабристу достаточно характеризуется приводимой ниже выдержкой из донесения Н. Н. Муравьева Бенкендорфу.

² Можно сказать, что это желание исполнилось. Дети были воспитаны Анастасией Васильевной в духе уважения и любви к отцу, верности его идеям. Вместе с тем они на всю жизнь сохранили преклонение перед матерью. Евгений Иванович писал о ней в своих воспоминаниях «Она мне всегда казалась совершенством, и я без глубокого умиления и горячей любви не могу и теперь вспоминать об ней. Может быть, моя любовь, мое благоговение перед ней преувеличивает ее достоинства, но я не встречал женщины лучше ее. Она была совершенная красавица, замечательно умна и превосходно образованна... Я не встречал женщины, которая была бы добрее ее. Она готова была отдать все, что у нее было, чтобы помочь нуждающемуся... Все люди были для нее равны, все были ближние. И действительно, она одинаково обращалась со всеми, был ли это богат, знатный человек или нищий, ко всем она относилась одинаково... Ее глубоко возмущало всякое насилие, она высказывалась горячо и прямо, с кем бы ей ни приходилось говорить... Прислуга и простой народ любили ее чуть не до обожания» (См. «Записки», письмо Якушкина к жене, стр. 482—483).

является самостоятельным и добровольным. Н. Н. Муравьев в частном «донесении» отвечает Бенкендорфу следующим образом:

«Об отъезде Настасьи Васильевны я старался изведать от нее, действительно ли она хочет или нет, и более ничего от нее узнать не мог, как то, что она дала слово матери ехать и потому не переменит своего намерения, хоть ничего утешительного в сей поездке не предвидит, но твердо намерена исполнить данное слово. Пелагея же Васильевна и Алексей Васильевич (сестра и брат Якушкиной.— Н. Я.) сокрушаются по сем путешествии, ибо, любя сестру и зная всю неосновательность ее характера, убеждены, что она будет несчастна, и потому уговаривают ее остаться, но тщетно, и не могут делать сего настоячиво, опасаясь прогневать мать, которая и сама собирается провезти дочь, куда можно будет. Сверх того, сколько мне известно, Надежда Николаевна (мать Якушкиной.— Н. Я.) заставила Алексея занять 20 тысяч рублей на сие путешествие, ибо она все расходы делает на его счет, а на нем и так много долгу, да потом она на его же счет будет посылать дочери по несколько тысяч каждый год, так что Алексея совсем разорит, и потому буде можно воспрепятствовать сему глупому путешествию, то окажут милость всему семейству»¹.

Этот характерный документ, так неожиданно запутавший все дело поездки А. В. Якушкиной, вызывает ряд вопросов. Возможно, конечно,— и это как будто подтверждается последними строками донесения,— что на старика Муравьева в данном случае оказал влияние его сын М. Н. Муравьев², который и по своим взглядам, и по разным другим причинам, в том числе и из-за денежных соображений, мог не желать осуществления поездки Анастасии Васильевны в Сибирь. Все же трудно допустить, чтобы старик Муравьев, решившись так неудачно и бестактно вмешаться в это чужое семейное дело, совершенно выдумал свой разговор с А. В. Якушкиной. Недоказанным, хотя и возможным представляется и другое предположение, что Анастасия Васильевна, зная недоброжелательное отношение Муравьева к Ивану Дмитриевичу и не желая говорить с ним о муже, покривила душой и всю ответственность за поездку переложила на мать. Как бы то ни было, несомненно, это донесение Муравьева оказало влияние на весь дальнейший ход дела.

Бенкендорф в своем докладе царю подробно излагает все сообщенное ему Муравьевым, добавляя к этому, что, по его сведениям, Анастасия Васильевна вышла замуж за Якушкина по принуждению матери и не любит своего мужа. Николай карандашом пишет на докладе резолюцию: «Отклонить под благовидным предлогом»³. Бенкендорф избирает тактику умолчания, не отвечает на письма и прошение.

Между тем в Покровском все готовится к отъезду. Деньги на поездку в Сибирь дает, по настоянию матери, брат Анастасии Васильевны, А. В. Шереметев. Старшего из сыновей Якушкиных Вячеслава помещают для воспитания к И. А. Фонвизину.

Но проходят недели и месяцы, а ответ не получается. Напрасно Анастасия Васильевна продолжает хлопотать, напрасно она пишет Бенкендорфу и Адлербергу. Зная закулисную сторону дела и о предрешенном уже свыше его неблагоприятном исходе, трудно читать без волнения ее письма к мужу, где радостная уверенность в близком свидании по мере оттяжки ответа сменяется все растущей тревогой и смутным сознанием нависшей угрозы. Особенно больно ей то, что Иван Дмитриевич считает ее, как видно из его писем, уже выехавшей к нему, тогда как разрешения все еще нет. Мучительная тревога становится под конец невыносимой, и она пишет прошение государю, в котором указывает, что замедление с бумагами задерживает ее уже восемь месяцев и что как ни привыкла она к страданию, но у нее нет уже силы переносить далее ниспосылаемые испытания. При этом она высказывает уверенность, что разрешение, данное десяти женам, является для нее твердой порукой в положительном ответе⁴. В новом

¹ ЦГАОР. Из материалов III отделения, подобранных С. Н. Черновым.

² Это тот самый М. Н. Муравьев, который тоже был участником движения декабристов, но после ареста покаялся и был прощен. Вскоре он стал одним из столпов правительственной реакции и позднее — после жестокого подавления польского восстания 1863 года — получил прозвище «Вешателя».

³ Доклад Бенкендорфа по делу Якушкиных в апреле 1832 года (Из материалов III отделения. ЦГАОР. Сообщено С. Н. Черновым).

⁴ ЦГАОР. Архив Якушкиных, папка 39.

высочайшем докладе в ноябре 1832 года по делу Якушкиной Бенкендорф ввиду этого предлагает разрешить Якушкиной, по примеру прочих жен декабристов, отправиться к мужу в Сибирь. Однако Николай решает иначе. По затаенному ли недоброжелательству к декабристу Якушкину за его поведение на допросе и отсутствие раскаяния в вызове на царевбийство или по каким-либо другим причинам, на которые глухо намекает в своих письмах к Н. Н. Шереметевой П. Н. Мысловский¹, он на ходатайство А. В. Якушкиной отвечает безусловным отказом.

Следует отметить, что с этого времени вообще уже никакие ходатайства жен декабристов о поездках в Сибирь, которые подавались Николаю даже при более драматических условиях, как ходатайство жены декабриста Шаховского, сошедшего в ссылку с ума, или невесты декабриста Муханова, более не удовлетворяются. Придя к своему новому решению, Николай проводит его в жизнь с жестокой последовательностью, ни в какой мере не считаясь ни с положением людей, ни с человеческими страданиями.

В бумаге, полученной наконец А. В. Якушкиной от Бенкендорфа, ей было указано, что поскольку она своевременно не воспользовалась данным ей позволением, разрешение ей не может быть дано и она должна для детей пожертвовать своим желанием видиться с мужем. Этот последний аргумент, который первоначально лег в основу решения самого Ивана Дмитриевича, по жестокой иронии судьбы выдвигается теперь против него и Анастасии Васильевны, когда решается навсегда их участь. Последнее звено цепи, не пускавшей Анастасию Васильевну соединиться с мужем, замкнулось и на этот раз уже окончательно.

Этим, собственно, заканчивается история несостоявшейся поездки А. В. Якушкиной к мужу в Сибирь. По словам одной официальной бумаги того времени, она вскоре «удалилась от света», чтобы исключительно посвятить себя воспитанию детей, но нравственные силы ее были, по-видимому, глубоко подорваны этой долгой тщетной борьбой и томительным бесплодным ожиданием.

После 1832 года Анастасия Васильевна прожила еще четырнадцать лет и умерла, так и не дождавшись возвращения мужа из Сибири. Иван Дмитриевич, узнав о смерти жены, в память ее открывает в Ялуторовске первую в Сибири школу для девочек.

Теперь, больше чем через сто двадцать пять лет, по дошедшим до нас документам, мы далеко не всегда можем отчетливо представить себе мотивы и чувства людей, участвовавших в этой жизненной драме. За сцеплением человеческих воль и, как иногда казалось, случайных событий, определивших исход этой драмы, нелегко понять ее более глубокие причины. Несходство двух ярко индивидуальных натур вначале как будто затемняет картину и переносит вопрос в плоскость чисто личного трагического конфликта. Однако ясно, что в первую очередь эта драма была порождена той социально-политической бурей, в водоворот которой в числе других оказались втянуты и Якушкины. В конечном счете этих двух людей разъединила непреерекаемая и бездушная воля верховной власти в лице Николая I. В своем жестоком преследовании декабристов он не останавливался перед тем, чтобы отнять всякую тень радости и надежды, которую давало изгнанникам соединение с семьей.

Для И. Д. Якушкина, принадлежавшего к числу тех декабристов, характер которых не дробился, а ковался тяжким молотом сибирской ссылки, эта драма была далеко не тем, чем она была для Анастасии Васильевны. Лишенная непосредственной помощи и близости мужа, она была обречена на страдания, найти выход из которых не могла и не умела. Как бы то ни было, перечитывая ее дневник, трудно подавить в себе чувство острой горечи за ее участь и сожаления о том, что ей не суждено было осуществить свое заветное желание — соединиться с мужем и разделить его судьбу.

¹ См. письмо П. Н. Мысловского к Н. Н. Шереметевой от 29 июня 1832 года: «Государь решительно не хочет, чтобы ваша Настя и все подобные ей жены ехали отныне к мужьям. Не теряйтесь в придумывании причин на сие: во сто лет не нападете на них» ЦГАОР, Архив Якушкиных.



Академик И. М. МАЙСКИЙ

★

ДНИ ИСПЫТАНИЙ

Из воспоминаний посла

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Суббота 21 июня была жарким и солнечным днем. В Лондоне такие бывают нечасто. Поэтому сразу же после окончания работы в посольстве в час дня мы с женой уехали в Бовингдон, где в доме Негрина вот уже почти год проводили «уикенд»¹.

— Какие новости? — спросил меня Негрин, пожимая руку.

Я пожал плечами.

— Пока ничего особенного, однако в любой момент можно ждать...

Я имел в виду сведения, пророчества, слухи о предстоящем «прыжке» Гитлера на восток, против СССР. В течение предшествующего месяца все на Западе только о том и шумели.

Затем я пошел бродить по саду, окружавшему дом Негрина. Я старался не думать о грозных опасностях. Но это не удавалось.

Разум говорил мне, что нападение гитлеровской Германии близко, уже не раз мне приходилось сообщать о соответственных фактах и симптомах в Москву. Но сердце как-то не хотело в это верить.

Вдруг меня позвали к телефону. Звонил секретарь посольства из Лондона: Стаффорд Криппс хочет меня немедленно видеть. Криппс, бывший в то время британским послом в СССР, в начале июня приехал в Англию для консультации с своим правительством. Раза два он был у меня, говорил, что его работа в Москве никак не может наладиться и что он собирается оставить свой пост. Зачем, однако, именно сейчас я так экстренно понадобился ему?

Час спустя я был уже в посольстве. Криппс вошел ко мне взволнованный.

— Вы помните, — начал он, — что я уже неоднократно предупреждал Советское правительство о близости германского нападения? Так вот, у нас есть заслуживающие доверия сведения, что это нападение состоится завтра, двадцать второго июня, или в крайнем случае двадцать девятого июня. Вы ведь знаете, что Гитлер всегда нападает по воскресеньям. Я хотел информировать вас об этом.

Он прибавил:

— Разумеется, если начнется война, я немедленно возвращаюсь в Москву.

Когда Криппс ушел, я сразу же отправил в Народный комиссариат иностранных дел шифровку-молнию о его сообщении. Потом вернулся в Бовингдон.

Ночь я спал беспокойно, а в 8 часов утра 22 июня меня вновь вызвали к телефону из посольства. Страшно взволнованный советник К. В. Новиков быстро проговорил:

¹ Хуан Негрин, бывший премьером Испанской республики в 1937—1939 годах, жил в Англии в эмиграции, и мы с женой обычно отдыхали с субботы после часа до утра понедельника («уикенд») в его доме, расположенном в Бовингдоне, примерно в шестидесяти километрах от Лондона.

— Вы слышали английское радио? Гитлер сегодня рано утром напал на Советский Союз! Немцы перешли границу, бомбят города, есть жертвы...

Негрин и все обитатели его дома были уже на ногах. Мы с женой спешно оделись и сели в машину. По дороге от Бовингдона до Лондона я обдумывал свои ближайшие практические шаги, а когда мы прибыли в посольство, секретарь рассказал, что только что звонили от Идена: министр иностранных дел желал меня видеть у себя в 12 часов дня. Около 11 часов по советскому радио было сообщено, что в полдень выступит с заявлением Молотов. Я позвонил Идену и, сославшись на это обстоятельство, просил его принять меня после речи Молотова. Тот охотно согласился.

Когда я узнал о предстоящем выступлении по радио, первое, что пронеслось у меня в голове, было: «Почему Молотов? Почему не Сталин?» Однако я не придал этому обстоятельству особого значения. Речь Молотова была коротка — четверть часа, не больше, — в ней подчеркивалось вероломство Гитлера, на него возлагалась ответственность за развязывание войны, делалось различие между бандой фашистских главарей и германским народом и выражалась уверенность, что советские вооруженные силы сумеют выбросить немецких захватчиков из пределов нашей страны, как это сделали наши предки с наполеоновской армией.

Речь произвела на меня хорошее впечатление. Она вполне соответствовала моему настроению и моей твердой уверенности, что мы разобьем Германию. В тот момент, однако, сознаюсь, я не представлял себе, какую страшную цену нам придется заплатить за победу. Летом 1941 года я, подобно многим, очень многим, не сознавал, насколько преувеличивается дар предвидения и безошибочность поступков Сталина.

Иден принял меня с большой дружественностью и прежде всего стал расспрашивать о содержании только что произнесенной речи наркома иностранных дел. Когда я удовлетворил его интерес, он, сославшись на свой утренний разговор с Черчиллем, заявил, что новое событие ни в чем не меняет политику Англии и что ее «военные усилия» теперь еще более активизируются. Британское правительство готово оказать СССР всю возможную помощь. Обо всем этом премьер-министр открыто скажет сегодня вечером по радио.

Слова Идена звучали очень обнадеживающе. Однако, зная хорошо методы английской внешней политики, я в упор поставил вопрос: каково будет отношение Англии к «мирной оффензиве» Гитлера на западе, чего, очевидно, надо будет ожидать сейчас, когда все свои основные силы он бросил на восток, против нашей страны? Кстати, в США Гитлер уже начал такую «мирную оффензиву».

Иден твердо ответил, что ни о каком мире с Германией не может быть и речи и что отношение британского правительства к СССР будет дружественным и отзывчивым. Он еще раз подтвердил, что сегодня вечером я услышу это из собственных уст Черчилля.

Я выразил удовлетворение по этому поводу и обещал немедленно же информировать Советское правительство. Затем я прибавил:

— Могу я обратиться к вам с просьбой? — и, когда Иден ответил полной готовностью ее исполнить, я продолжал: — Передайте премьеру, что исключительно важно было бы, если бы в своей сегодняшней речи он был максимально определен по двум вопросам: о том, что Англия будет твердо поддерживать СССР в этой войне, и о том, что Англия ни в коем случае не пойдет на мир с Германией. Англии и СССР предстоит сейчас пройти немалый кусок исторического пути вместе. Во избежание излишних трений и разногласий надо предупредить возможность каких-либо недоразумений между обеими сторонами.

Иден выслушал меня и сказал:

— Охотно исполню вашу просьбу. Не сомневаюсь, что премьер и сам так думает: между вами и нами должна быть полная ясность отношений.

Дальнейшее — увы! — показало, что как раз этой «полной ясности отношений» между Лондоном и Москвой не было на протяжении всей войны. Но тогда я ушел от Идена сильно ободренный.

В 9 часов вечера Черчилль выступил по радио. Сидя у аппарата, я внимательно слушал его. Премьер не скрывал, что он был и остается принципиальным противником коммунизма и что он «не возьмет назад ни одного своего слова», сказанного против коммунизма за минувшие четверть века. Но, продолжал Черчилль, «все это сейчас бледнеет перед открывающейся перед нами картиной... Я вижу русских солдат, которые стоят на пороге своей родины и охраняют поля, с незапамятных времен обрабатываемые их отцами. Я вижу их на страже своих домов, где матери и жены молятся — да, да, бывают моменты, когда все молятся, — о безопасности своих любимых, своих кормильцев, своих защитников и покровителей. Я вижу десятки тысяч русских деревень, где у земли с таким трудом отвоевываются средства к существованию, но где все-таки у людей имеются простые человеческие радости, где девушки смеются и дети играют. Я вижу, как на все это наступает ужасная военная машина нацизма...»

Далее, касаясь политики Англии, Черчилль говорил: «Мы полны решимости уничтожить Гитлера и всякое напоминание о нацистском режиме... Мы никогда не будем вести переговоров ни с Гитлером, ни с кем-либо из его банды... Каждый человек, каждое государство, которые ведут борьбу против нацизма, получают нашу поддержку... Отсюда следует, что мы окажем России и русскому народу всю ту помощь, на которую способны».

Черчилль обосновывал свое отношение к СССР и его борьбе подлинными интересами Англии. Гитлер, говорил он, «хочет сломить русскую мощь, ибо надеется, что, если это ему удастся, он сможет бросить главные силы своей армии и авиации на этот остров... Его вторжение в Россию есть не больше, как прелюдия к вторжению на Британские острова... Вот почему опасность для русских — это опасность для нас и опасность для США, точно так же дело каждого русского, борющегося за свое сердце и свой дом, это дело каждого свободного человека и каждого свободного народа во всех концах земли»¹.

Прослушав Черчилля, я подумал: «На сегодня я могу быть доволен»; премьер совершенно ясно заявил, что Англия не пойдет сейчас на сделку с Гитлером и что она будет оказывать поддержку Советскому Союзу... Но вот какую поддержку? В каких формах? До какого предела? Ведь формула — «всю ту помощь, на которую мы способны», — допускает различные толкования. А из истории известно, какие жестокие споры и разногласия часто возникали внутри военных коалиций даже в тех случаях, когда ее участниками бывали государства одной и той же социальной системы. Между тем в данном случае создается военная коалиция двух социально разнотипных держав — капиталистической и социалистической. Каковы будут их взаимоотношения? Смогут ли они ужиться в рамках одной военной группировки?»

Я долго размышлял на эту тему, но потом решил: «Порадуемся успеху сегодняшнего дня, а дальше — видно будет».

Потом предо мной как-то сам собой встал образ Беатрисы Вебб, с которой год назад я беседовал о путях Англии в этой войне. Она оказалась права: Англия получила свою «вторую коалицию» (первая коалиция — с Францией — пришла к концу летом 1940 года).

ВОПРОС О ВТОРОМ ФРОНТЕ

Наступил второй день войны — из Москвы не было ни звука. Наступили третий, четвертый день войны — Москва продолжала молчать. Я с нетерпением ждал каких-либо указаний от Советского правительства и прежде всего о том, готовить ли мне в Лондоне почву для заключения формального англо-советского военного союза. Но ни Молотов, ни Сталин не подавали никаких признаков жизни.

¹ W. Churchill. The second world war 1955. 5th edition. London, v. III, pp. 331—333.

Тогда я не знал, что с момента нападения Германии Сталин заперся у себя в кабинете, никого не видел и не принимал никакого участия в решении государственных дел. Именно в силу этого 22 июня по радио выступал Молотов, а не Сталин, и советские послы за границей в столь критический момент не получали никаких директив из центра. Тогда я объяснял себе молчание Москвы тем, что у правительства, заваленного сверхсрочными военными вопросами, просто не доходят руки до дел дипломатических.

Однако я не считал себя вправе сидеть сложа руки только потому, что я не получал никаких «заданий» из Москвы. Я решил проявить активность, исходя из моего понимания ситуации и наиболее неотложных нужд Советского Союза.

Без санкции Москвы я не мог, конечно, вести переговоры о заключении англо-советского военного союза. Ну, а о создании второго фронта во Франции? Это было совсем другое дело. Второго фронта всегда боялись немцы. Второй фронт при всяких условиях был полезен для СССР — почему бы мне не поднять этого вопроса пред англичанами? Я не видел препятствий к тому и решил сделать соответственный демарш.

Но с кем говорить об этом? Логичнее всего было бы говорить с премьером, однако по целому ряду симптомов я склонен был думать, что Черчилль отнесется к такой идее отрицательно (так оно в дальнейшем и вышло). С Иденом? Это было бы правильнее всего с этикетно-дипломатической точки зрения: ведь Иден занимал тогда пост министра иностранных дел. Однако Иден — если даже он встретит предложение о втором фронте сочувственно — находится под слишком сильным влиянием премьера и едва ли решится стать в оппозицию к нему. Значит, не стоило обращаться по данному поводу к Черчиллю и Идену.

Тогда к кому же? По зрелом размышлении я пришел к выводу, что, пожалуй, целесообразнее всего первый демарш сделать пред лордом Бивербруком. Это был человек смелый и самостоятельный. Бивербрук был в то время членом военного кабинета Черчилля и как таковой имел отношение к общим вопросам стратегии и ведения войны. Вдобавок за предшествующие шесть лет у меня сложились с ним хорошие личные отношения. Он бывал у меня в посольстве, я бывал у него на его городской квартире в Лондоне и в его пригородном имении Черкли. В последние предвоенные годы Бивербрук немало сделал для пропаганды англо-советского сближения, отстаивая идею англо-франко-советского пакта взаимопомощи против гитлеровской агрессии. Все это давало мне основание предполагать, что Бивербрук может встретить идею второго фронта более сочувственно, чем Черчилль или Иден. Правда, такой обход премьера и министра иностранных дел представлял известное отступление от нормальных дипломатических правил, но можно ли было считаться с этим в момент столь грозной опасности? И на пятый день после начала германо-советской войны я отправился в Черкли и просил Бивербрука поднять в военном кабинете вопрос об открытии второго фронта во Франции.

В тот момент сведения о ситуации на германо-советском фронте были очень путаные и противоречивые. Немцы, конечно, изображали дело так, будто Красная Армия разваливается у них на глазах. Английские источники были осторожнее, но и они констатировали победы вермахта и поражения советских войск. В английском министерстве обороны пессимисты утверждали, что Гитлер станет «хозяином России» через шесть недель, а оптимисты полагали, что для этого ему потребуется три месяца. Советские военные сводки изображали положение вещей в более благоприятном для нас смысле, но все-таки и из них было ясно, что вермахт продвигается вперед, а Красная Армия повсюду отступает.

Ставя перед Бивербруком вопрос о втором фронте, я ссылался главным образом на реальные интересы самой Англии. Я говорил, что Британния в одиночку (даже со своей империей) никогда не сможет одержать победу над третьим рейхом и сохранить свои мировые позиции. Для этого ей нужен сильный союзник на суше. Такой союзник у нее сейчас появился. Правда, пока он терпит известные неудачи, но это временное явление. Рано или поздно наступит перелом,

и тогда неудачи начнут терпеть немцы. Англии выгодно, чтобы такой перелом наступил возможно скорее и разгром гитлеровской Германии произошел в самом ближайшем будущем. А для этого необходим второй фронт, и чем быстрее, тем лучше.

Бивербрук внимательно слушал меня и затем сказал:

— Все, что вы говорите, очень хорошо, но... — Он замолчал на мгновение и затем, испытующе глядя на меня, добавил: — Позвольте быть с вами вполне откровенным... Вы действительно будете драться? У вас не произойдет того, что случилось во Франции?

Я был так ошеломлен вопросом моего собеседника, что сначала почти лишился речи. Опомившись, я вдруг вскипел и резко воскликнул:

— We will fight like the devils! (Мы будем драться, как дьяволы!)

Бивербрук внимательно посмотрел на меня, потом коснулся рукой моего плеча и каким-то более теплым, чем обычно, голосом сказал:

— Я вам верю... Хорошо, я попробую поднять вопрос о втором фронте в правительстве. Я считаю, что второй фронт сейчас необходим.

Позднее, в ходе войны, когда Советская страна вела героическую борьбу против гитлеровских орд, Бивербрук мне не раз говорил:

— Я рад, что поверил вам тогда. Ваши люди действительно дерутся против наци, как дьяволы.

Бивербрук в дальнейшем стал горячим сторонником второго фронта и немало сделал для его осуществления. Об этом красноречиво свидетельствует ряд опубликованных после войны документов. Он также оказал нам немало услуг по части военного снабжения — но об этом речь будет ниже.

О своем разговоре с Бивербруком я немедленно телеграфировал в Москву. Никаких возражений против моей инициативы не последовало. Напротив, Молотов вызвал к себе Криппса (который сразу же после 22 июня вернулся в Москву) и, ссылаясь на сочувственное отношение Бивербрука к идее второго фронта, просил британского посла поставить этот вопрос перед своим правительством. О демарше Молотова Криппс сообщил в Лондон, и тут произошел любопытный дипломатический инцидент. Иден пригласил меня к себе и, указывая на лежавшую перед ним шифровку Криппса, стал спрашивать, с кем именно я имел разговор о втором фронте: шифровальщик что-то напутал и имя моего собеседника в телеграмме искажено, понять ничего невозможно.

— Моим собеседником был лорд Бивербрук, — ответил я.

По лицу Идена прошла тень раздражения и неудовольствия.

— Ах, лорд Бивербрук... — протянул он.

И затем скороговоркой он стал упрекать меня за то, что я не обратился с вопросом о втором фронте прямо к нему: ведь такая проблема непосредственно относится к его компетенции как члена кабинета и министра иностранных дел.

Попытка Бивербрука заинтересовать кабинет вопросом о втором фронте потерпела неудачу. Черчилль, как я и предполагал, отнесся к этой идее отрицательно. Его поддержало большинство членов кабинета. Потребовалось три года упорной борьбы со стороны Советского Союза, прежде чем второй фронт во Франции был наконец открыт, да и то потому, что западные державы боялись, как бы Красная Армия не пришла в Берлин раньше их. Возможно, это последнее утверждение захотят оспаривать англо-американские историки, политики и военные. И все-таки оно справедливо. Когда сейчас, много лет спустя, суммируешь весь материал, относящийся к вопросу о втором фронте, становится совершенно ясно, что мотивы помощи СССР играли второ- и третьестепенную роль в организации вторжения во Францию летом 1944 года. А на протяжении трех лет, которые ушли на борьбу за второй фронт, главным противником последнего неизменно оказывался премьер Великобритании Уинстон Черчилль. Вот как на практике расшифровывалась его формула о том, что англичане окажут СССР в этой войне «всю ту помощь, на которую они способны».

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ГЕРМАНО-СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ

Третьего июля, на двенадцатый день после нападения Германии на СССР, Сталин впервые выступил по радио. Я слушал его с затаенным дыханием и старался вычитать из его слов надежду на решительный перелом в военных событиях — и притом в самом ближайшем будущем. Но это плохо удавалось. Сталин говорил каким-то глухим и бесцветным голосом, часто останавливался и тяжело дышал, раз или два на протяжении речи звякал стакан, из которого он пил воду. Казалось, что Сталин болен и выступает через силу. Это не могло вызвать подъем и энтузиазм у его слушателей.

Еще больше настораживало содержание речи. «Гитлеровским войскам, — говорил Сталин, — удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев. Одессу, Севастополь».

Таким образом, теперь не подлежало сомнению, что немцы оккупировали обширные районы советской территории и что Красная Армия отступила от границ далеко в глубь страны. А призыв Сталина «в занятых врагом районах создавать партизанские отряды» и в оставляемых Красной Армией местах уничтожать «все ценное имущество» невольно наводил на мысль, что скорого перелома к лучшему, видимо, ждать нельзя, тем более что в другом абзаце своей речи Сталин прямо заявлял: «Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и смерти народов СССР».

В голове невольно вставал роковой вопрос: как это могло случиться? Неужели опыт финской войны нас ничему не научил? Неужели Красная Армия оказалась не подготовленной к германскому нападению? Неужели вовремя не были приняты меры для мощного контрудара, если фашистские орды обрушатся на нас? Тут я вспоминал мою телеграмму о концентрации германских войск на советской границе, посланную в Москву 10 июня, и публикацию 14 июня заявления ТАСС, заверяющего в лояльном соблюдении Германией пакта о ненападении. И в голову назойливо лезла мысль: почему Сталин, хотя бы на всякий случай, не придвинул поближе к границе крупные силы Красной Армии, способные остановить фашистское наступление по крайней мере до того момента, когда закончится мобилизация и гигантский удар многомиллионной армии Советского Союза обрушится на гитлеровцев? Мне казалось, что так будет, не может не быть, и я находил как будто бы подтверждение своей мысли в следующей фразе его речи: «В бой вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов»¹.

Но прошла неделя после выступления Сталина, прошла другая неделя, а перелома по-прежнему не было. Правда, бои шли на всем протяжении от Балтийского до Черного морей, правда, немцы несли большие потери, правда, в отдельных пунктах и районах наши воины надолго задерживали германских захватчиков, но все-таки в целом Красная Армия продолжала отступать, и все новые сотни тысяч квадратных километров попадали под иго гитлеровских бандитов.

Я был в полном недоумении. Но грозный реальный факт лежал пред моими глазами: гитлеровские орды стремительно продвигались к Москве и Ленинграду. И все острее и настойчивее вставал вопрос: кто виноват в той страшной трагедии, которая обрушилась на Советскую страну?

У меня не было тогда сколько-нибудь ясного ответа на этот вопрос, но хорошо помню, что именно в первые недели германо-советской войны мое сомнение в государственной мудрости Сталина, впервые робко поднявшее голову в дни советско-финской войны, начало крепнуть. В глубине души я все больше приходил к выводу, что с руководством Сталина не все обстоит благополучно...

¹ «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны». М. 1944, т. I, стр. 25—30.

С начала июля стала возобновляться дипломатическая деятельность между СССР и Англией. В Москве был поставлен вопрос об оформлении новых отношений между обеими странами. О том же, по указанию из НКВД, я беседовал с Иденом в Лондоне. Черчилль был несколько обижен тем, что Сталин никак не откликнулся на его радиоречь 22 июня, но решил все-таки сделать первый шаг для установления более дружественных отношений с главой Советского государства. 7 июля он направил Сталину письмо, в котором давал понять, что помощь Англии Советскому Союзу выразится главным образом в воздушных бомбардировках Германии. Криппс, передавший лично Сталину это письмо, имел с ним разговор, продолжавшийся около часу. Во время беседы с Криппсом Сталин высказался в том смысле, что Англии и СССР следовало бы заключить соглашение, содержащее два пункта: взаимную помощь во время войны и обязательство не заключать сепаратного мира с Германией. Черчилль не возражал, и 12 июля 1941 года Молотов и Криппс подписали в Москве пакт о военной взаимопомощи, который гласил следующее:

«1. Оба Правительства взаимно обязуются оказывать друг другу помощь и поддержку всякого рода в настоящей войне против гитлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, что в продолжение этой войны они не будут ни вести переговоров, ни заключать перемирия или мирного договора, кроме как с обоюдного согласия»¹.

Это был краугольный камень в системе англо-советских отношений, как они сложились в эпоху второй мировой войны.

Около того же времени (точнее, 8 июля 1941 года) в Лондон прибыла советская военно-морская миссия. Главой ее был генерал Ф. И. Голиков, заместителем — адмирал Н. М. Харламов. Я представил ее членам британского правительства, а наша советская колония сразу же окружила членов миссии атмосферой дружбы и товарищества. Военные тоже как-то быстро и легко влились в состав колонии; за два года общения с этой миссией (вплоть до моего окончательного отъезда в Москву) я не могу припомнить ни одного случая какого-либо серьезного конфликта. И сейчас мне хочется сказать слово благодарности членам военно-морской миссии за их поведение в те тяжелые дни.

Генерал Ф. И. Голиков пробыл в Англии недолго и улетел по делам в США. В Лондон он больше не вернулся. Фактическим начальником (а с середины 1943 года и формальным начальником) миссии стал адмирал Н. М. Харламов, оставшийся здесь до конца 1944 года, когда он был переведен на работу в СССР. Н. М. Харламов руководил работой миссии разумно и тактично, умея защищать интересы СССР и в то же время не обострять излишне отношений с англичанами, что было бы для нас крайне невыгодно. Разумеется, не всегда можно было избежать отдельных стычек с британскими властями; однако, окидывая общим взглядом работу миссии за те два года, в течение которых я близко к ней стоял, должен констатировать, что ей удавалось успешно справляться с своими задачами. А они были нелегки, ибо, помимо обычной в таких случаях службы связи между вооруженными силами двух союзных государств, ведущих большую и тяжелую войну, наша миссия еще занималась приемкой от Англии оружия и военного снабжения, предназначенного для СССР, а также заботилась о срочной и по возможности безопасной транспортировке его в нашу страну. Такая транспортировка представляла в тогдашних условиях весьма сложную операцию, и фактическое осуществление ее не раз давало повод для взаимных трений и неудовольствий. Однако эти шероховатости в конце концов удавалось сглаживать, и наша миссия вносила свой полезный вклад в дело перемалывания возникавших затруднений.

В противоположность раздутым штатам военных миссий других держав наша миссия отличалась почти спартаковской «худощавостью»: в ней насчитывалось

¹ «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны», т. I, стр. 116.

лишь около полусотни человек (моряков и армейцев), но зато большинство из них были людьми высоких деловых и личных качеств.

В данной связи мне хочется упомянуть некоторых членов миссии и тесно связанных с ней работников военных атташатов, которые играли в то время особенно важную роль: А. Е. Брыкина, Н. Г. Морозовского, К. С. Стукалова, А. И. Склярова, С. Д. Кремера, М. Н. Шарапова, Н. Н. Пугачева. С именем последнего у меня в голове встают тяжелые воспоминания: он погиб в Англии во время авиационной катастрофы, и вся наша советская колония в Лондоне глубоко переживала эту трагическую смерть.

В первые недели войны разыгрался один любопытный эпизод, о котором мне хочется здесь рассказать. Архипелаг Шпицберген принадлежит Норвегии, которая разрабатывает там залежи угля. СССР в порядке концессии занимается здесь тем же самым. Так как было несомненно, что после нападения немцев на СССР они попытаются превратить Шпицберген в свою северную базу, а защищать его союзникам будет очень трудно, то правительства СССР, Англии и Норвегии согласились между собой об эвакуации советских и норвежских горняков с архипелага. Британское правительство взяло на себя осуществление этой операции, для чего были выделены большой пассажирский лайнер «Эмпресс оф Канада» и несколько военных судов для его охраны. Я получил из Москвы директиву отправить с экспедицией одного из дипломатических сотрудников посольства в качестве представителя СССР, поскольку с Шпицбергена надо было вывезти около двух тысяч советских граждан — горняков с их семьями. Телеграмма пришла накануне отплытия судов. Дело было крайне спешное и важное. Я раскинул умом, кому из работников посольства можно поручить столь ответственную задачу, и выбор мой пал на молодого, незадолго перед тем прибывшего в Лондон атташе П. Д. Ерзина. Я вызвал его и сказал:

— Павел Дмитриевич, завтра вы должны отправиться в Арктику для выполнения трудной, но почетной задачи.

Легко понять изумление и недоумение Ерзина. В немногих словах я объяснил ему суть дела. Павел Дмитриевич ответил:

— Постараюсь возможно лучше выполнить поручение.

На следующее утро Ерзин, снабженный необходимыми документами от посольства, отплыл из Англии.

Дней через десять британская флотилия пристала к берегам Шпицбергена. Советские горняки, предупрежденные заранее из Москвы о предстоящей эвакуации, были готовы к отъезду и в течение двух дней погрузились вместе с своим багажом на «Эмпресс оф Канада». Дело не обошлось, однако, без «чрезвычайных происшествий», впрочем, не имевших каких-либо печальных последствий: как раз в течение двух дней посадки на свет появились два новых советских гражданина, которых принимали английские военно-морские врачи. Некоторое волнение доставила также одна собака — чрезвычайно умное и благородное животное, — которую капитан лайнера почему-то не хотел брать. Она все время беспокойно бегала по берегу, пока шла погрузка горняков на лайнер, стоявший на рейде, а когда последние моторки с людьми отплыли от берега, бросилась за ними вплавь и добралась до судна. Здесь собака стала так жалобно выть, что ее подняли на борт.

Британская флотилия доставила советских горняков в Мурманск, где все они были высажены. Затем флотилия вернулась на Шпицберген, забрала всех находившихся здесь норвежцев в количестве около семисот — восьмисот человек и отправилась с ними в Англию, поскольку Норвегия в это время была оккупирована гитлеровцами.

На обратном пути Ерзина ждала чисто фантастическая неожиданность, возможная только в обстановке войны. Когда флотилия пришла из Мурманска в Шпицберген, перед Ерзиным предстали два советских гражданина, которые не смогли эвакуироваться со всей массой своих соотечественников, так как в те два дня, когда шла их погрузка на лайнер, они находились далеко от берега, в

горах, и ничего не знали о предстоящем отъезде. Что было делать? Ерзин, однако, не растерялся и нашел удачный выход из положения: он забрал обоих горняков с собой и привез их в Лондон. Нетрудно представить себе состояние духа этих суровых обитателей Арктики, когда они, точно по мановению волшебной палочки, внезапно очутились в самом центре британской столицы. Мы постарались облегчить им приспособление к новой обстановке и пытались пристроить их к какой-либо полезной работе. Один из наших гостей в конце концов сумел влиться в советскую колонию Лондона как ее органический член, другому это оказалось не под силу, и спустя некоторое время он был отправлен в Советский Союз.

В середине июля я получил из Москвы инструкцию немедленно заключить пакты о военной взаимопомощи, по образцу англо-советского, с эмигрантскими правительствами Чехословакии и Польши, которые имели тогда свою резиденцию в Лондоне. Я сразу же принялся за дело.

Заключение пакта с Чехословакией прошло быстро и легко, так как люди, стоявшие во главе чехословацкого правительства, сознавали его необходимость и охотно шли нам навстречу. В результате уже 18 июля 1941 года советско-чехословацкий пакт военной взаимопомощи был подписан в стенах советского посольства в Лондоне.

Напротив, заключение пакта с Польшей проходило с большим трудом и различными осложнениями, так как люди, стоявшие во главе польского правительства, относились к СССР враждебно и рассматривали пакт, как горькую пилюлю, которой, к сожалению, невозможно избежать. Поэтому мои переговоры с представителями польского правительства несколько раз висели на волоске. В конце концов все-таки удалось привести их к благополучному концу, и 30 июля 1941 года советско-польский пакт военной взаимопомощи был подписан в кабинете Идена.

Существо обоих названных пактов мало отличалось от существа англо-советского пакта 12 июля, о котором речь была выше. Однако в пактах с Чехословакией и Польшей имелись и некоторые особенности, естественно вытекавшие из специфического положения обеих стран и их граждан. Самым важным из отличий от англо-советского образца было соглашение о формировании на территории СССР чехословацких и польских вооруженных сил из граждан обоих государств, по разным причинам оказавшихся в тот момент в пределах Советской страны. Это соглашение в дальнейшем было осуществлено на практике.

ГАРРИ ГОПКИНС ЛЕТИТ В МОСКВУ

Девятнадцатого июля 1941 года из Москвы пришло первое послание Сталина Черчиллю. Вторая мировая война внесла важное нововведение в традиционный дипломатический обиход. До того главы правительств сносились друг с другом, как принято было выражаться, «через нормальные дипломатические каналы», то есть через министров иностранных дел и послов. Непосредственные обращения глав правительств друг к другу были чрезвычайно редки и носили по большей части торжественно-этикетный характер — по случаю каких-либо поздравлений, соборознований и т. п. Теперь положение изменилось. Главы правительств стали, минуя обычные дипломатические инстанции, обмениваться прямыми посланиями по самым важным и неотложным вопросам. Черчилль как-то сказал мне:

— В наше лихорадочное время «нормальные дипломатические каналы» слишком медлительны и многоступенчаты... Легко потерять нужный темп... Вот я и предпочитаю вести непосредственную переписку с Рузвельтом.

Черчилль пытался установить такой же метод общения со Сталиным еще до нападения Германии на СССР, но без большого успеха. После 22 июня 1941 года британский премьер считал себя уже совсем вправе обращаться непосредственно к главе Советского правительства и 8 и 10 июля направил Сталину два послания с заверениями о британской готовности помогать Советскому Союзу и предложением опубликовать совместную англо-советскую декларацию (отсюда родился

упоминавшийся выше пункт о военной взаимопомощи между обеими странами). Полученное 19 июля послание Сталина являлось ответом на два упомянутых выше обращения британского премьера.

В этом послании Сталин писал:

«Мне кажется... что военное положение Советского Союза, равно как и Великобритании, было бы значительно улучшено, если бы был создан фронт против Гитлера на Западе (Северная Франция) и на севере (Арктика). Фронт на севере Франции не только мог бы оттянуть силы Гитлера с Востока, но сделал бы невозможным вторжение Гитлера в Англию...

Еще легче создать фронт на Севере. Здесь потребуются только действия английских морских и воздушных сил без высадки войскового десанта, без высадки артиллерии. В этой операции примут участие советские сухопутные, морские и авиационные силы»¹.

Это был первый официальный демарш Советского правительства с требованием второго фронта на севере Франции. Сколько их понадобилось затем, прежде чем столь естественное и разумное требование было осуществлено наконец в 1944 году!

Послание было расшифровано. Ради большей секретности я сам перевел его на английский язык и написал на машинке. Потом встал вопрос, как его доставить Черчиллю. Можно было отправить в запечатанном конверте с секретарем нашего посольства. Можно было передать премьеру лично. Я избрал второй путь, ибо хотел видеть непосредственную реакцию Черчилля на послание, а также иметь возможность сразу же дать ответы, если оно вызовет какие-либо вопросы. Такой метод я практиковал все время и в дальнейшем.

Девятнадцатого июля была суббота. В связи с этим Черчилль в тот день находился в Чекерсе — загородной резиденции британских премьер-министров, где они по заведенному обычаю проводят «уикенд», принимая гостей и решая в более непринужденной обстановке различные государственные дела. Я решил поехать в Чекерс и там передать премьеру из рук в руки послание Сталина.

Чекерс был полон джентльменов и дам, часть которых я знал. Черчилль принял меня в своем кабинете и тут же быстро прочитал привезенное мной послание. Потом он пожал плечами и сказал:

— Вполне понимаю мистера Сталина и глубоко ему сочувствую, но, к сожалению, то, что он просит, сейчас неосуществимо.

И дальше Черчилль стал подробно обосновывать свое заявление. Немцы, по его словам, имеют во Франции сорок дивизий и хорошо укрепленный берег у Ламанша, в Бельгии и Голландии. Силы Англии, которая в течение более года вела борьбу одна, крайне напряжены и разбросаны: они находятся в метрополии, в Африке, на Среднем Востоке; огромное количество энергии отвлекает морская битва за Атлантику, от успеха которой зависит самая жизнь страны — без импорта продовольствия и сырья Англия не может существовать. При таких условиях британское правительство не в состоянии выделить достаточного количества войск, авиации и судов для серьезного вторжения во Францию, тем более что ночная темнота сейчас длится не больше пяти-шести часов. Пытаться же вторгнуться во Францию с недостаточными средствами — это значит идти на верное поражение, которое нанесет вред и СССР и Англии. Все, что может в настоящее время британское правительство сделать для облегчения положения Советского Союза, это усиление воздушных бомбардировок Германии и организация некоторых морских операций в районе северной Норвегии и Шпицбергена. Ему, Черчиллю, очень жаль, что в нынешних условиях на большее Англия не способна, но приходится считаться с реальной ситуацией.

Я стал возражать и довольно долго доказывал премьеру, что исполинская концентрация германских сил на востоке исключает возможность держать сорок

¹ «Переписка Председателя Совета Министров СССР с Президентами США и Премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.». М. 1957, т. I, стр. 11. (В дальнейшем «Переписка».)

немецких дивизий во Франции и что в истории бывают моменты, когда народы и правительства должны во имя собственного спасения идти на свершение сверхчеловеческих дел. Сейчас именно такой момент не только для СССР, но и для Англии.

Черчилль остался, однако, непоколебим. Затем мы вышли из его кабинета в салон, где было много гостей обоего пола. Премьер подвел меня к высокому, очень худощавому, болезненного вида человеку, с продолговатым лицом и живыми глазами, который стоял спиной к камину, и представил меня ему:

— Познакомьтесь — это мистер Гопкинс.

Имя Гопкинса мне было хорошо знакомо. Я знал, что он ближайший советник Рузвельта и играет большую роль в определении внешнеполитической линии США. Я знал, что Гопкинс — человек, сохранивший верность демократическим традициям президента Линкольна. Я знал также, что он послан президентом для переговоров с британским правительством и что Черчилль относится к нему с большим почтением. Я смотрел на Гопкинса, стараясь в выражении его лица, в его жестах и манерах лучше понять, что же он из себя представляет.

— Вот Сталин просит создать второй фронт во Франции, — скороговоркой бросил Черчилль, обращаясь к Гопкинсу, и затем, пожал плечами, продолжал: — Не можем мы этого сделать сейчас... Не в состоянии...

Затем премьер отошел к другим гостям, а мы с Гопкинсом остались у каминна. Я вкратце рассказал Гопкинсу содержание только что происшедшего у меня с Черчиллем разговора. Гопкинс задал мне несколько вопросов, но тут к нам подошла миссис Черчилль и пригласила выпить по чашке чая. Обстановка для более серьезной беседы с Гопкинсом была явно неподходящей, и я скоро уехал домой, унося с собой впечатление, что Гопкинс относится к вопросу о помощи СССР с гораздо большей симпатией, чем Черчилль. Это родило во мне желание еще раз встретиться с посланцем Рузвельта и обстоятельно поговорить с ним на интересные меня темы. Я думал: «А может быть, именно здесь лежит ключ к реальному разрешению вопроса?»

В понедельник 21 июля я позвонил по телефону американскому послу в Англии Джону Вайнанту и спросил его, где остановился Гопкинс и могу ли я повидеться с ним и откровенно поговорить о событиях на советско-германском фронте. Вайнант, много лет являвшийся главой «International Labour Office» («Международного отдела труда») при Лиге Наций, был назначен американским послом в Лондоне недавно и еще до нападения Германии на СССР обнаружил большое желание поддерживать со мной близкий контакт.

В ответ на мой телефонный звонок Вайнант сказал:

— Ничего не может быть проще: приезжайте завтра ко мне на завтрак, я приглашу также Гарри, и мы троим побеседуем.

Действительно, 22 июля за столом у Вайнанта произошла моя встреча с Гопкинсом. Я подробно описал ситуацию, создавшуюся на восточном фронте, объяснил причины наших неудач и подчеркнул чрезвычайную важность второго фронта. Гопкинс слушал меня очень внимательно. Вайнант открыто высказывался за второй фронт.

— Мы, США, — наконец заговорил Гопкинс, — сейчас невоюющая страна и в отношении второго фронта ничем не можем вам помочь. Но вот в вопросах снабжения — иное дело... Мы даем Англии много оружия, сырья, судов и т. д. Мы могли бы немало дать и вам... Но что вам нужно? Не можете ли вы мне сказать?

Я оказался в весьма нелепом положении, ибо хотя в общих чертах я имел представление о наших трудностях, но, конечно, не мог точно перечислить, что и в каком количестве нам необходимо. В голове у меня вдруг блеснула счастливая мысль.

— Мистер Гопкинс, — сказал я, — а не могли ли бы вы сами посетить Москву и там, на месте, получить от Советского правительства все необходимые сведения?

Вайнант энергично меня поддержал. Однако Гопкинс воздержался от какого-либо определенного ответа на мой вопрос. Зато он стал настойчиво доказывать, как важно было бы познакомить Рузвельта и Сталина. Это имело бы большое значение.

— Вы понимаете,— говорил Гопкинс,— для Рузвельта Сталин сейчас просто имя. Главы вашего правительства он никогда не видал, никогда с ним не беседовал. Вероятно, и Рузвельт для Сталина тоже весьма туманный образ. Надо изменить такое положение. но как?

Я ответил, что для сближения между главами обоих правительств — советского и американского — могут быть три пути: а) личное свидание, б) посылка друг к другу доверенных людей, в) обмен личными посланиями. Первый путь в настоящих условиях явно отпадает — остаются, стало быть, два других. В данной связи я вновь вернулся к мысли о поездке Гопкинса в Москву.

Гопкинс осторожно ответил:

— Да, все это надо как следует обдумать.

Затем мы распрощались.

Прошло пять дней. В воскресенье 27 июля. когда я, как обычно, находился в Бовингдоне у Негрина, мне вдруг позвонили из посольства и сообщили, что сегодня, не позже 10 часов вечера, Вайнант хочет приехать ко мне. Я, разумеется, немедленно вернулся в Лондон. Около десяти Вайнант действительно появился в моем кабинете и положил на стол два американских паспорта.

— Будьте добры, визируйте сейчас эти паспорта,— ничего не объясняя, сказал он мне.

То были паспорта Гопкинса и его секретаря. Я с недоумением посмотрел на Вайнанта. Он объяснил:

— После нашей встречи во вторник Гопкинс стал размышлять, как ему поступить. В конце концов он пришел к выводу, что ваше предложение лично ему поехать в Москву вполне разумно. Правда, физически Гопкинс чувствует себя не совсем хорошо, но он ведь такой человек: если считает что-либо важным, то непременно сделает, несмотря ни на что. Визит в Москву он признал исключительно важным... Ну, конечно, запросил мнение президента — президент ответил согласием... И вот сегодня — вернее сейчас — Гопкинс уезжает в Москву. Когда я поехал к вам, Гопкинс отправился на вокзал. Поезд в Шотландию уходит через полчаса, а из Шотландии завтра утром он вылетит в Россию.

— Каким путем? — быстро спросил я.

— Гопкинс отправится на летающей лодке «Каталина» вокруг Норвегии прямо в Архангельск. Около тридцати часов лету, если все будет благополучно... В общем, опасное и трудное путешествие, особенно для такого больного человека, как Гопкинс.

И затем, кивнув на паспорта, Вайнант прибавил:

— Прошу вас поторопиться с этим. От вас я поеду прямо на вокзал и там передам паспорта Гопкинсу и его секретарю.

Я оказался в большом затруднении. Все визные печати были в консульстве. Консульство находилось не в здании посольства, а совсем в другом месте, ехать до него на машине надо было минут десять. День был воскресный. и можно было думать, что ни консула, ни его заместителя, живших при консульстве, сейчас нет на квартире, а у них ключи от сейфов, где хранятся печати. В моем же распоряжении было не больше пяти минут, иначе Вайнант не мог успеть на вокзал к отходу поезда... Что было делать?

Я взял паспорт Гопкинса и написал на нем от руки: «Пропустить Гарри Гопкинса через любой пограничный пункт СССР без досмотра багажа. как лицо дипломатическое. Посол СССР в Англии И. Майский». Сбоку я поставил дату и приложил посольскую печать. Так же я оформил и второй паспорт.

Вайнант поблагодарил и поспешил на вокзал. Потом он мне рассказывал, что успел в последний момент: поезд уже двигался и паспорта он сунул Гопкинсу в открытое окно вагона.

А я сразу после ухода Вайнанта отправил в Москву шифровку-молнию, в которой сообщал об отъезде Гопкинса и просил принять все необходимые меры для дружественной встречи его в Архангельске или Мурманске.

Все обошлось благополучно. 30 июля прибывшего в Москву Гопкинса принял Сталин и имел с ним большую беседу. На следующий день, 31 июля, состоялась вторая такая же беседа. Гопкинс получил авторитетные ответы на все интересовавшие его вопросы. Тем же путем, на летающей лодке «Каталина», Гопкинс вернулся в Англию, а оттуда сразу же полетел домой, в США. Доклад, сделанный Гопкинсом Рузвельту о результатах поездки в СССР, произвел на президента сильное впечатление и имел большие последствия.

Пятнадцатого августа 1941 года состоялась так называемая «Атлантическая конференция» Рузвельта и Черчилля. Оба лидера отправили с нее Сталину послание, начинавшееся так:

«Мы воспользовались случаем, который представился при обсуждении отчета г-на Гарри Гопкинса по его возвращении из Москвы, для того чтобы вместе обсудить вопрос о том, как наши две страны могут наилучшим образом помочь Вашей стране»¹.

Так, на практическом опыте, я впервые в ходе войны понял значение «цепной реакции» в области политики (хотя этот термин в то время еще не был во всеобщем употреблении). В дальнейшем я приведу еще несколько примеров того, как нам не раз помогала все та же «цепная реакция».

Здесь мне хочется сказать несколько слов о моей последней встрече с Гопкинсом, происшедшей в Москве четыре года спустя. Война только что была закончена, закончена победоносно, но многие проблемы, связанные с войной, еще требовали разрешения. Среди этих проблем одной из самых болезненных была будущая судьба Польши. Здесь между СССР, с одной стороны, США и Англией, с другой, имелись крупные разногласия по вопросу о составе и характере польского правительства. Летом 1945 года Трумэн прислал Гопкинса в Москву для переговоров со Сталиным. Урегулировать острую проблему тогда так и не удалось, но во время переговоров Сталин, как обычно, устроил в честь Гопкинса большой обед в Кремле. В числе других на этот обед был приглашен и я, а так как Гопкинс приехал в Москву с женой, то на обеде присутствовала и моя жена. Как всегда, за обедом было много тостов. В их числе моя жена подняла тост на английском языке в честь жены Гопкинса. После обеда были танцы, в которых, к моему крайнему изумлению, принял участие и Гопкинс: он выглядел таким усталым, таким изможденным, таким больным... Один тур он протанцевал с моей женой. Посадив ее на место, Гопкинс долго не мог отдышаться. На лбу у него блестели капли пота. Он коснулся меня рукой — рука была вялая, холодная. Мне стало как-то не по себе. А Гопкинс, точно почувствовав мое настроение, с усмешкой, которой он старался придать несколько ухарский характер, вполголоса бросил:

— Я ведь в отпуску у смерти.

На следующий день Гопкинс уехал. А год спустя я прочитал в газетах сообщение о том, что он умер.

В моей памяти Гарри Гопкинс остался как один из наиболее дружественных нам людей среди руководящих деятелей буржуазного мира эпохи второй мировой войны.

КОНФЛИКТ МЕЖДУ СТАЛИНЫМ И ЧЕРЧИЛЛЕМ

Между тем положение на советско-германском фронте принимало все более грозный характер.

Второго октября Гитлер объявил начало «решающего наступления на Москву», и две германские армии под командой генерала Бока, подкрепляемые на

¹ «Переписка», т. I, стр. 16.

флангах крупными танковыми соединениями. обрушили сильный удар на центральном фронте. 3 октября немцы заняли Орел. К середине того же месяца положение на Западном направлении настолько ухудшилось, что было объявлено об эвакуации Москвы и резиденция правительства была временно перенесена в Куйбышев. В номере от 16 октября «Правда» писала, что «взбесившийся фашистский зверь угрожает Москве», и призывала «во что бы то ни стало преградить дорогу лютым немецким захватчикам». 20 октября бои происходили в районе Можайска и Малоярославца, а в Москве было введено осадное положение. 25 октября «Правда» писала, что «гитлеровская свора продолжает лезть на Москву», а 29 октября бои разыгрывались уже на Волоколамском направлении.

Одновременно германские армии быстро продвигались вперед на Южном фронте. 21 сентября они заняли Киев, 17 октября — Одессу, 22 октября — Таганрог. 24 октября — Харьков. в ноябре бои развернулись в районе Ростова-на-Дону.

В течение ноября немцы, неся огромные потери, продолжали медленно приближаться к столице. Однако настроение оставшихся после эвакуации москвичей, настроение всего народа было единодушно: Москву защищать до конца. Город был превращен в военный лагерь, улицы перегораживались баррикадами и противотанковыми заграждениями, лучшие дивизии Советской Армии (среди них немало сибирских) были сосредоточены на подступах к столице.

Перелом на центральном фронте произошел в начале декабря. 6 декабря было открыто советское контрнаступление. Оно пошло быстрым темпом. Немцы оказались не способны противостоять мощному удару Советской Армии. Они старались цепляться за каждую удобную для обороны позицию. Но Советская Армия 9 декабря освободила Тихвин и Елец, 15 декабря — Клин и Ясную Поляну, 16 декабря — Калинин, 20 декабря — Волоколамск, 30 декабря — Калугу. Немецкое отступление продолжалось до Ржева, где линия фронта вновь на известное время стабилизировалась. Разбита была и группировка, пытавшаяся охватить Москву с юга, от Тулы. Германия понесла несомненное поражение не в отдельных боях, а в великом сражении — первое поражение во второй мировой войне! Миф о непобедимости германской армии начал блекнуть... Но только начал. «Правда» писала в номере от 13 декабря: «Враг ранен, но не убит». Однако уже и это имело огромное военное, политическое и психологическое значение для нашей страны и всего мира.

В противоположность тому, что происходило на советско-германском фронте, военные события на других фронтах во второй половине 1941 года были скромны по масштабам и несерьезны по своему влиянию на общую ситуацию. Англичане с 18 ноября начали наступление в Северной Африке из Египта, 9 декабря овладели Тобруком, 19 декабря — Дерной и 24 декабря — Бенгази. Это не внесло сколько-нибудь существенных изменений даже в положение, создавшееся в Африке. Война на море продолжалась в прежних формах и масштабах: враги Англии с помощью подводных лодок и самолетов все еще топили ежемесячно около двухсот тысяч тонн обслуживающего ее нужды флота. Зато сильно улучшилось положение Англии в воздушной войне: после 22 июня 1941 года крупные налеты германской авиации на британские города прекратились более чем на два года. Они возобновились — в форме самолетов-снарядов ФАУ — лишь в 1944 году.

Очень важное событие военного характера произошло 7 декабря 1941 года, когда Япония напала на Пирл-Харбор в Тихом океане. Это сразу вовлекло в водоворот войны две новые великие державы — Японию и США, что имело неисчислимы военные, политические и экономические последствия. Они, однако, начали сказываться только в 1942 году, а полностью обнаружиться еще позднее.

Такова была та обстановка, в условиях которой разыгрывались политические и дипломатические события, к описанию которых я сейчас перейду.

Казалось, отношения между тремя странами — СССР, США и Англией — вступили на путь постепенно крепнущего улучшения. В тяжелой обстановке тех дней это имело для нас исключительно важное значение. И вдруг...

Седьмого ноября 1941 года Черчилль направил Сталину послание, которое началось словами:

«Чтобы внести в дела ясность и составить планы на будущее, я готов командировать генерала Уэйвелла, главнокомандующего в Индии, Персии и Ираке, для встречи с Вами в Москве, Куйбышеве, Тифлисе или в любом другом месте, где Вы будете находиться. Кроме этого, генерал Пэйджет, наш новый главнокомандующий, назначенный на Дальний Восток, прибудет вместе с генералом Уэйвеллом... Они могут прибыть к Вам приблизительно через две недели. Хотите ли Вы встретиться с ними?»

Далее в послании сообщалось, что в дополнение к поставкам договоренного снабжения через Архангельск начинается его транспортировка также через Иран и что англичане и американцы напрягают и будут напрягать свои усилия, помогая СССР. Затем в несколько завуалированной форме следовали жалобы. «Прошу Вас обеспечить,— писал Черчилль,— чтобы наши техники, следующие с танками и самолетами, имели бы полную возможность передать это вооружение Вашим людям при наилучших условиях. В настоящее время наша миссия в Куйбышеве оторвана от этих дел. Она хочет лишь помочь. Мы отправляем это вооружение с риском для себя, и мы весьма желали бы, чтобы оно использовалось самым лучшим образом... Я не в состоянии сообщить Вам о наших ближайших военных планах более того, что Вы в состоянии сообщить мне о Ваших, но прошу Вас быть уверенным, что мы не будем бездействовать».

В послании Черчилля был затронут еще один пункт, которому в дальнейшем было суждено играть немалую роль в отношениях СССР с Англией и США. Финляндия, Румыния и Венгрия, как союзницы Германии, вели войну против СССР, а Англия и США продолжали сохранять с ними нормальные дипломатические связи. Если поведение США еще можно было понять, поскольку они формально не принимали участие в войне против Германии, то от Англии мы вправе были ожидать, чтобы она, как наш союзник, объявила названным странам войну. И мы требовали этого. Но Англия под разными предложениями уклонялась от такого шага. В послании 7 ноября Черчилль излагал Сталину мотивы, по которым британское правительство медлит с выполнением своего союзнического долга¹.

Обращение Черчилля пришло в Москву, когда в нескольких десятках километров от нее еще шли тяжелые бои с немцами. Германские войска уже не могли прорвать оборону столицы на широком фронте, но частные прорывы им удавались, и Советская Армия еще не могла отбросить их назад. Настроение в Москве было крайне напряженным и тревожным. Отсутствие второго фронта на Западе чувствовалось с особой горечью и остротой. Перед ноябрьским праздником в ЦК и правительстве всерьез ставился вопрос: устраивать или не устраивать в создавшейся обстановке парад войск на Красной площади в день 7 ноября? В конце концов было решено: устраивать. И парад состоялся под угрозой, что в любой момент на него может обрушиться смертоносный град с немецких бомбардировщиков. Хорошо помню, какой вдохновляющий эффект этот парад произвел на всех советских людей в Лондоне.

Незадолго до ноябрьской годовщины произошла одна неприятная история, вызвавшая сильное раздражение в Москве. Переговоры об объявлении Англией войны Финляндии, Венгрии и Румынии велись в секретно-дипломатическом порядке. Черчилль по этому поводу советовался, конечно, с Рузвельтом. И вот вдруг с американского конца сведения о переговорах просочились в печать!

Все указанные обстоятельства надо иметь в виду при чтении ответа главы Советского правительства на вышецитированное послание британского премьера. Ответ Сталина помечен 8 ноября. Это значит, что отправлено оно было сразу же после получения послания Черчилля, под непосредственным впечатлением только что прочитанных строк.

«Я согласен с Вами,— писал Сталин,— что нужно внести ясность, которой

¹ См «Переписка», т. I, стр. 29—30.

сейчас не существует во взаимоотношениях между СССР и Великобританией. Эта неясность есть следствие двух обстоятельств: первое — не существует определенной договоренности между нашими странами о целях войны и о планах организации дела мира после войны; и второе — не существует договора между СССР и Великобританией о военной взаимопомощи в Европе против Гитлера. Пока не будет договоренности по этим двум главным вопросам, не только не будет ясности в англо-советских взаимоотношениях, но, если говорить совершенно откровенно, не обеспечено и взаимное доверие... Если генерал Уэйвелл и генерал Пэйджет, о которых говорится в Вашем послании, приедут в Москву для заключения соглашений по указанным основным вопросам, то, разумеется, я готов с ними встретиться и рассмотреть эти вопросы. Если же миссия названных генералов ограничивается делом информации и рассмотрения второстепенных вопросов, то я не вижу необходимости отрывать генералов от их дел и сам не смогу выделить время для таких бесед».

Во второй части послания Сталин дал волю своему негодованию по поводу разглашения в печати сведений о переговорах касательно объявления Англией войны Финляндии, Венгрии и Румынии¹.

Получив это послание, я долго сидел и думал над его содержанием. Существово высказанных в послании мыслей не вызывало у меня никаких сомнений. Конечно, во взаимоотношениях между СССР и Англией не было полной ясности. Конечно, не было договоренности о целях войны и послевоенного устройства мира. Конечно, пакт военной взаимопомощи между обеими странами, подписанный 12 июля, носил слишком узкий и временный характер, и его хорошо было бы заменить более общим договором и на более продолжительный срок, определяющим взаимоотношения сторон по всем европейским вопросам. Все это было так. Однако своевременно ли было ставить в лоб такие большие и сложные проблемы именно сейчас, когда германские полчища еще угрожают Москве и для нас особенно важно всячески крепить сотрудничество (пусть не вполне удовлетворяющее нас, но все-таки нужное сотрудничество) с Англией? Ведь нельзя же было сомневаться, что и цели войны, и планы послевоенного устройства мира у Советского Союза и Англии различны и что в лучшем случае нахождение какого-либо приемлемого для обеих сторон компромисса невозможно без большой потери времени и, что еще важнее, без серьезных споров, обострений и конфликтов. Зачем нужно было в столь опасный момент вызывать духа раздоров между нами? Не лучше ли было бы с этим подождать до более благоприятного момента? Мне казалось, что пока выгоднее всего выдвигать на первый план то, что нас с Англией объединяет, и отодвигать на второй план все, что нас с ней разъединяет.

И наконец, если даже оставить в стороне все эти соображения, нужно ли было так резко и грубо реагировать на предложение Черчилля прислать двух генералов, занимающих ответственное положение? Ведь он может воспринять это как личное оскорбление. Какой смысл Сталину ссориться с премьером Великобритании?

Таковы были мои размышления, когда я сидел в своем кабинете над текстом сталинского послания. И все-таки даже в этот критический момент в моей голове то и дело всплывала мысль: «А может быть, он лучше меня понимает ситуацию? А может быть, несмотря ни на что, он прав?» Так велика была в то время у большинства из нас (в том числе и у меня) вера в безошибочность решений Сталина.

На другой день я отправился к Черчиллю с посланием главы Советского правительства. Предвидя возможность острой реакции со стороны премьера, я просил Идена присутствовать при нашем разговоре. Черчилль принял меня в своем кабинете в здании парламента. Передавая ему послание Сталина, я сказал:

— Очень прошу вас, мистер Черчилль, отнестись к этому, — я кивнул на послание. — с возможно большим хладнокровием.

¹ См. «Переписка», т. I, стр. 31—32.

Черчилль подозрительно посмотрел на меня и, вынув послание из конверта, стал его читать. Лицо премьера сразу покраснело, потом его левая рука начала взволнованно сжиматься и разжиматься. Когда Черчилль дошел до места, где Сталин говорил о том, при каких условиях он готов принять Уэйвелла и Пэйджета, премьер точно взорвался. Он вскочил с кресла и в состоянии крайнего возбуждения стал бегать по кабинету из угла в угол.

— Как? — возмущенно кричал Черчилль. — Я посылаю Сталину моих лучших людей, а он не хочет их принимать! Я всемерно иду ему навстречу, а он отвечает мне вот такими письмами!..

Премьер раздраженно махнул в сторону лежавшего на столе послания и затем в ажитации продолжал:

— Не могу понять, чего Сталин хочет? Плохих отношений? Разрыва? Кому это выгодно? Ведь немцы стоят под Москвой, а Ленинград в кольце блокады!..

Тут я прервал Черчилля и, ухватившись за его последнюю фразу, сделал попытку хоть немножко его успокоить.

— Вы правы, — заметил я, — немцы под Москвой, а Ленинград в кольце блокады... Но именно эти факты должны вам подсказывать, в каком трудном положении находится моя страна и какая тяжелая атмосфера должна сейчас господствовать в Москве... Надо уметь подняться над мелкими повседневными недоразумениями, трениями, обидами и руководиться только большими, основными интересами наших стран. Эти большие, основные интересы сейчас совпадают: и вам и нам надо разбить Гитлера... Стало быть, мы должны идти вместе.

Мои слова, а еще больше мой спокойный тон, видимо, несколько охладил Черчилля. К этому прибавилось влияние Идена: тот советовал премьеру ничего сейчас не решать, а хорошенько обдумать вместе с другими членами кабинета, как в данном случае следует поступить. Черчилль, однако, все еще не мог успокоиться и продолжал ходить, хотя уже более медленными шагами, по своему кабинету. Наконец он сел за стол и, давая понять, что аудиенция кончена, обычным голосом сказал:

— Мы все это обдумаем.

На другой день Бивербрук просил меня срочно заехать к нему. Он усадил меня в кресло в своем кабинете, сам сел напротив в другое кресло и в дружески доверительном тоне начал:

— Произошла неприятность. Между Уинстоном и дядей Джо вышла размолвка... Это никуда не годится. Надо их помирить...

Затем Бивербрук стал говорить, что сейчас самое важное — оттянуть, насколько возможно, посылку Черчиллем ответа на послание Сталина. Сейчас Черчилль разгневан. В таком состоянии он может легко наговорить Сталину таких вещей, которые только ухудшат положение. Пусть Черчилль лучше помолчит, отойдет, успокоится. Он, Бивербрук, вместе с Иденом берутся этого добиться. Но важно, чтобы в ближайшее время и с советской стороны не было никаких действий, которые могли бы вновь распалить премьера; Бивербрук просил меня помочь в этом отношении.

Я был согласен с планом Бивербрука и обещал ему свое содействие, хотя, откровенно говоря, в тот момент плохо представлял, в чем оно может выразиться.

Однако с английской стороны намеченный план находил свое осуществление: день проходил за днем, а никакого нового послания Черчилля главе Советского правительства не было. Черчилль молчал и выжидал. Возможно, он делал это демонстративно, ибо до того любил отвечать на послания Сталина без промедления.

Не знаю, сам ли Сталин почувствовал, что зашел слишком далеко, или на него подействовали сообщения о впечатлении, произведенном в Лондоне его последним эпистолярным произведением, но только 19 ноября, то есть через десять дней после отправки им послания 8 ноября, из Москвы вдруг пришла шифровка, в которой мне предписывалось немедленно довести до сведения Идена, что, направляя свое последнее послание, Сталин был далек от намерения обидеть

кого-либо из членов правительства и меньше всего премьер-министра. Он бесконечно перегружен вопросами, связанными с ведением войны, и больше ни о чем не может думать. Поднятые Сталиным в послании проблемы — о военной взаимопомощи против Гитлера и о послевоенной организации мира — слишком важны, чтобы их осложнять личными чувствами или недоразумениями. Сталин был сильно обижен разглашением секретных переговоров касательно Финляндии, однако он преодолел свое естественное раздражение и стремится только к тому, чтобы достигнуть с Англией соглашения по вопросам, поднятым в его послании.

Иден был очень доволен моим сообщением и считал его хорошим мостом для восстановления «мира» между Черчиллем и Сталиным. Действительно, 22 ноября британский премьер направил в Москву первое после конфликта послание, в котором он заверял Сталина, что хочет работать с ним столь же дружелюбно, как работает с Рузвельтом. Далее Черчилль сообщил, что для обсуждения как военных, так и послевоенных вопросов он намеревается направить в Москву Идена «в сопровождении высокопоставленных военных и других экспертов». В данной связи Черчилль делал очень ценное признание.

«Тот факт, — писал он, — что Россия является коммунистическим государством и что Британия и США не являются такими государствами и не намерены ими быть, не является каким-либо препятствием для составления нами хорошего плана обеспечения нашей взаимной безопасности и наших законных интересов»¹.

Наконец, Черчилль обещал, что, если Финляндия в течение ближайших пятнадцати дней не прекратит военных действий против СССР, Англия официально объявит ей войну.

Двадцать третьего ноября Сталин направил Черчиллю ответное послание. Он писал, что искренне приветствует «желание сотрудничать со мной путем личной переписки на основе содружества и доверия», и выражал удовлетворение по поводу решения английского правительства по вопросу о Финляндии. Далее Сталин заявил, что «всемерно поддерживает» визит Идена в ближайшее время в СССР, и при этом прибавлял:

«Я согласен с Вами также в том, что различие в характере государственного строя СССР, с одной стороны, и Великобритании и США, с другой стороны, не должно и не может помешать нам в благоприятном решении коренных вопросов об обеспечении нашей взаимной безопасности и законных интересов»².

Конфликт между Сталиным и Черчиллем был урегулирован. Теперь на очереди стояла поездка Идена в Москву.

МЫ ПОБЕДИМ!

В конце июля 1941 года я виделся с Дэвидом Лоу³. Он часто беседовал со мной вполне откровенно. Лоу был страшно взволнован и огорчен тем, что происходит на советско-германском фронте. Я старался разогнать его мрачные мысли, аргументируя от истории и от настоящего. Он слушал меня очень внимательно и затем сказал:

— Я хочу верить, что вы правы, но вы знаете, какие разговоры сейчас идут на Флит-стрит⁴, да и в парламенте? Там говорят, что к осени с Россией все будет кончено... В нашем военном министерстве настроены особенно скверно. Один знакомый полковник сегодня убеждал меня, что от русских ждать нечего, поэтому он против отправки в Россию оружия из Англии и США: все равно оно попадет в руки немцев. Лучше уж побережь его для себя.

¹ «Переписка», т. I, стр. 33—34.

² Там же.

³ Знаменитый английский карикатурист.

⁴ Улица газет в Лондоне.

— Ваш полковник. — заметил я, — вероятно, из породы Блимпов!¹

— Да, конечно, он Блимп, — ответил Лоу, — но к нему с доверием относятся многие в газетных и политических кругах, а это опасно.

То, что рассказывал мне Лоу, хорошо передавало настроение, широко распространенное в Англии в первые недели после 22 июня. И предо мной все острее вставал вопрос: как бороться с этим неверием в наши силы? Как содействовать укреплению в англичанах веры в нашу способность вести борьбу? Как создать убеждение, что в конечном счете мы победим?

Мы горячо обсуждали этот вопрос среди советских работников в Лондоне, советовались с Москвой, и мало-помалу из всех наших споров, наметок, предложений выкристаллизовались определенные мероприятия, которые оправдали себя в дальнейшем.

Первым из таких мероприятий явилось создание ежедневного бюллетеня «Soviet War News» («Советские военные новости»), который начало издавать посольство. Первоначально он содержал почти исключительно военный материал (сводки с советского фронта, приказы командующих армиями, сообщения военных корреспондентов и т. п.) и имел задачей противопоставлять советскую информацию о событиях на востоке Европы информацией английской, американской и особенно немецкой по тому же предмету. Постепенно, однако, рамки бюллетеня стали расширяться и в нем все чаще начали появляться также сведения о тыловой жизни СССР, о героических усилиях советского народа в области народного хозяйства, науки, культуры, музыки, литературы, искусства. В конце концов мы пришли к выводу, что страницы бюллетеня слишком тесны для наших потребностей, и основали еженедельник «Soviet War Weekly» («Еженедельник советской войны»), который мог шире и полнее освещать всю советскую жизнь во всех ее аспектах. «Советские военные новости» рассылались бесплатно видным политическим, общественным, военным, профсоюзным и партийным деятелям и на первых порах имели тираж около двух тысяч экземпляров (к концу войны он дошел до одиннадцати тысяч), а «Еженедельник советской войны» продавался через обычную книжно-торговую сеть в количестве около пятидесяти тысяч экземпляров. Мы легко могли бы увеличить тираж еженедельника, но тут препятствием служил принцип «взаимности»: англичане издавали в СССР во время войны свой орган на русском языке «Британский союзник» и отпускали нам ровно столько бумаги, сколько сами получали от нас в Москве.

Оба наших органа имели несомненный успех, чему в немалой степени способствовал удачный выбор редактора в лице С. Н. Ростовского. Ростовский был человек политически очень знающий и образованный, превосходный знаток международных отношений, способный журналист, владеющий несколькими языками. В предвоенные годы он опубликовал за рубежом под псевдонимом Ernst Henry две книги: «Гитлер над Европой» («Hitler over Europe») и «Гитлер над Россией» («Hitler over Russia»), которые в то время пользовались большой популярностью. Вдобавок Ростовский был настоящим газетчиком и отличался большой работоспособностью, а это было очень важно, ибо с самого же начала мы убедились, что материалы, присылавшиеся нам для бюллетеня и еженедельника из Москвы, не могут публиковаться в Англии без самой серьезной переработки.

Различные нации имеют различные навыки и традиции в умственной сфере, в частности в области восприятия газетных и журнальных сведений. Здесь привычки русских и англичан далеко не одинаковы. Так, например, русские сравнительно легко справляются с длинными статьями, а англичане читают только короткие: длинные они просто отбрасывают в сторону (я имею в виду, конечно, среднего читателя). Русские не возражают, если в статье, скажем, экономического характера имеется много цифр, а англичане этого не любят, и если уж

¹ Полковник Блимп — образ, созданный Дэвидом Лоу в своих карикатурах. Это тупой, узколобый, насковзь набитый традициями и предрассудками военный, вышедший в отставку после многолетней службы в колониальных войсках Англии. В тридцатых—сороковых годах имя Блимп стало на британских островах нарицательным.

цифры неизбежны, то требуют, чтобы они подавались в образном виде. Скажите англичанину, что завод Х выпускает ежегодно четыреста тысяч автомобилей — это скользнет мимо его сознания, не задерживаясь. Но скажите, что на заводе Х каждую минуту с конвейера сходит готовый автомобиль — это произведет на него впечатление и запомнится.

Наше московские товарищи имели, конечно, самые лучшие намерения и часто присылали «Советским военным новостям» чрезвычайно ценные материалы — но почти все, за редкими исключениями, писали «по-русски» в смысле стиля и манеры. Все это в Лондоне приходилось переделывать. Практически получалось так, что редакция «Советских военных новостей» (то есть прежде всего сам Ростовский) обычно брала из присланного материала факты и события и заново писала пригодные для английского восприятия статьи. Это была очень сложная, тонкая и спешная работа, с которой Ростовский справлялся превосходно.

Оба советских органа изо дня в день, из недели в неделю бомбардировали правдой о «России» английские умы, особенно умы руководящих элементов страны. И таким путем вели упорную борьбу с пессимистическими настроениями в отношении СССР, в то время широко распространенными на Британских островах. Эта борьба давала свои результаты даже в самый трудный первый период войны; еще большие успехи она имела позднее, когда ноты оптимизма, несшиеся со страниц советских органов, начали подкрепляться конкретными фактами фронтовых успехов.

После того, как это важнейшее мероприятие было реализовано, я стал раздумывать, нельзя ли сделать что-либо еще для воспитания и укрепления веры англичан в нашу несокрушимую волю быть и остаться великим народом с великим будущим?

После известных раздумий я пришел к выводу, что было бы важно именно теперь дать в руки английского читателя «Войну и мир» Л. Н. Толстого и «Нашествие Наполеона на Россию» Е. В. Тарле.

Великий роман Толстого, конечно, не раз издавался в Англии и раньше, но сейчас он получил специфический интерес. У меня были неплохие связи с издательским миром, и через короткое время одно из крупнейших лондонских издательств — издательство Макмиллана¹ — взялось за это дело, которое вдобавок ко всему прочему еще обещало ему хорошую прибыль. В 1942 году в окнах книжных магазинов появился солидный том в красном переплете. Он содержал 1352 страницы, но, так как был напечатан на рисовой бумаге, то не выглядел тяжелым кирпичом. Это был весь роман Толстого целиком, с картами и приложениями. Он сразу стал тем, что англичане называют «best seller» (по-русски это можно передать: «покупается нарасхват»). Читали его везде. Роман Толстого, точно буря, пронесся по стране и произвел глубокое и сильное политическое воздействие. Конечно, не все после чтения его уверились в непобедимости СССР, но многие, очень многие поняли и почувствовали, что русские — это великий народ, который не может погибнуть.

Вскоре после выхода нового издания «Войны и мира» моя жена подарила экземпляр романа миссис Черчилль с такой надписью: «1812—1942. Мы уничтожили нашего врага тогда, мы уничтожим нашего врага и теперь».

Значительно позднее, в феврале 1943 года, миссис Черчилль отдала мою жену той же книгой. На ней было написано: «Вот книга для тех, кто хочет понять безграничность и таинственность России. Клементина Черчилль».

Видимо, роман Толстого произвел и на миссис Черчилль большое впечатление.

Почти одновременно с «Войной и миром» была опубликована и книга Е. В. Тарле о нашествии Наполеона на Россию. Конечно, она не имела такой ши-

¹ Гарольд Макмиллан, будущий британский премьер-министр, был в то время главой названной книжной фирмы и одновременно депутатом парламента. Он тяготел к группе Черчилля, защищал идею англо-советского сотрудничества и нередко бывал гостем нашего посольства. Макмиллан знал и любил русскую классическую литературу.

рокой аудитории, как роман Толстого. Ее читали главным образом в кругах интеллигенции — особенно политики, журналисты, историки, военные. Читали внимательно и невольно делали сравнения с событиями второй мировой войны. И так как этот слой читателей играл большую роль в парламенте, в прессе, в армии и флоте, в различных государственных учреждениях, то психологический эффект произведения Тарле был также очень силен.

Названные книги являлись тяжелой артиллерией в борьбе с неверием англичан в непобедимость Советского Союза. Но были и меньшего калибра снаряды, попадавшие в ту же цель. Помню, заметное впечатление произвела брошюра Полякова «Записки партизана», вышедшая у нас вскоре после начала войны; мы перевели ее на английский язык и опубликовали большим тиражом. Помню еще такой характерный случай. Как-то один из наших английских доброжелателей принес в посольство замечательную коллекцию карикатур 1812 года, принадлежавших карандашу английского художника Крукшенка и русского художника Тербенева. Они изображали главным образом катастрофу Наполеона в России. Бивербрук издал альбом этих карикатур, а я написал к нему небольшое предисловие. Несколько позднее, уже в начале 1943 года, нам удалось устроить постановку в одном из лондонских театров пьесы К. М. Симонова «Русские люди» — в тот момент она имела большое политическое значение. Очень полезно, хотя уже в несколько ином плане, было появление на английском книжном рынке известного романа И. Г. Эренбурга «Падение Парижа», который столь ярко показывал, как и почему Франция пала в 1940 году.

Пессимистические настроения англичан в отношении военных перспектив на Восточном фронте, столь широко распространенные в первые месяцы войны, постепенно стали слабеть и уступать место надежде — сначала робкой, а потом все более укреплявшейся. Когда прошли полтора, потом три месяца кровопролитной борьбы на востоке, а Советская страна продолжала драться и наносить врагу все более тяжелые удары, в сознании англичан начала загораться звезда надежды на победу, пока еще далекая и неясная.

Надо было пользоваться — и я действительно широко пользовался — еще одной формой влияния на настроения англичан в отношении Советского Союза.

В странах буржуазной демократии посол должен часто выступать. Говорить не только с глазу на глаз в кабинете министра иностранных дел, не только с группой посетителей, пришедших к нему для выяснения какого-либо вопроса, но и публично — на многолюдном обеде, устроенном какой-либо крупной общественной организацией, на заседании ученой корпорации, интересующейся взглядами посла на какой-либо занимающий ее предмет, в университете перед студентами, которые желают что-либо узнать о стране, которую представляет посол, или на митинге рабочих, организованном по тому или иному случаю профсоюзами или лейбористской партией. Так принято. И посол, который стал бы уклоняться от подобных выступлений, сразу же потерял бы немалую долю своего престижа и стал бы рассматриваться лишь как почтальон для передачи нот от одного правительства к другому. А репутация «почтальона» сильно сокращает возможности посла влиять в желательном для него направлении на общественное мнение.

Я очень скоро по прибытии в Лондон понял всю эту механику и старался использовать до максимума все возможности публичных выступлений для распространения правды о Советском Союзе. В Москве тогда далеко не все руководящие товарищи сознавали выгоду таких выступлений и несколько косо смотрели на мою активность в данной области. Пока М. М. Литвинов оставался наркомом иностранных дел, никаких препятствий мне не ставилось: Максим Максимович сам прекрасно знал нравы буржуазных демократий и всячески поощрял мои усилия пробивать и таким способом стену враждебности, окружавшую нас в Англии в начале тридцатых годов. После отставки Литвинова в мае 1939 года положение изменилось, однако в силу причин общеполитического характера в течение после-

дующих двух лет резко сократились возможности для моего воздействия словом на английское общественное мнение. Так продолжалось до 22 июня 1941 года. Зато с момента нападения Гитлера на СССР, особенно с момента, когда СССР и Англия стали военными союзниками, меня стали приглашать на расхват для публичных выступлений на ленчах, обедах, собраниях, заседаниях, митингах и других общественных демонстрациях. Я охотно принимал эти приглашения, ибо каждое такое выступление давало случай рассказать правду об СССР. Затруднение теперь часто состояло в том, что приглашений было слишком много и между ними приходилось делать выбор.

К концу 1941 года, а еще больше в 1942 году мы стали чувствовать, что наши усилия в борьбе с английским пессимизмом в отношении СССР начинают давать реальные плоды. Хотя положение на советско-германском фронте оставалось еще очень тяжелым, англичане постепенно начинали отходить от своих первоначальных страхов и мало-помалу стали допускать (некоторые даже верить), что эти «странные» русские в конечном счете одержат победу.

С ИДЕНОМ В МОСКВУ

Отъезд Идена в Москву был назначен на 7 декабря 1941 года.

На советско-германском фронте по-прежнему шли тяжелые бои. В некоторых пунктах гитлеровцы находились всего лишь на расстоянии немногих десятков километров от Москвы, и никто не мог предсказать, чем все это кончится. Англия напрягала усилия для преодоления больших потерь, которые она несла от германских подводных лодок и самолетов. Зловещий призрак войны все отчетливее вырисовывался на Тихом океане. Япония увеличивала свой военный бюджет, концентрировала военно-морской флот в стратегически важных пунктах, вела бешеную кампанию в печати и по радио против США и Англии. В то же время японское правительство лицемерно вело в Вашингтоне дипломатические переговоры об урегулировании всех спорных между ним и США вопросов. Официальные уполномоченные японского правительства в этих переговорах не скупались на самые примирительные жесты и самые дружественные слова. До какой степени доходило японское двуличие свидетельствует такой факт: 6 декабря (то есть накануне нападения японцев на Пирл-Харбор) представитель правительственного информационного бюро в Токио выступил с официальным заявлением, что вопреки всяким слухам и домыслам японо-американские переговоры будут продолжаться, что японская пресса не права, обвиняя США в «недостатке искренности и сознательном затягивании переговоров», и что «обе стороны будут с полной искренностью стремиться к нахождению приемлемой для обеих сторон формулы». Несмотря на такие заверения, все чувствовали, что на Дальнем Востоке собирается гроза и что не сегодня-завтра ударит гром.

В сложившихся условиях тем важнее было возможно более тесное сотрудничество между СССР и Англией. В первых числах декабря я имел с Иденом разговор, в котором подчеркивал, что было бы весьма своевременно немедленно удовлетворить желание Советского правительства об объявлении Великобританией войны Финляндии, Венгрии и Румынии. Я указывал при этом, что пятнадцатидневный срок, данный Черчиллем Финляндии для выхода из войны (о чем он писал Сталину в своем послании от 22 ноября), истек, а Финляндия и не думает о прекращении военных действий. Иден вполне согласился с моими соображениями, и действительно, 6 декабря 1941 года Англия объявила войну Финляндии, Венгрии и Румынии. Таким образом путь для московских переговоров в плоскости военно-дипломатической был расчищен.

Мне казалось необходимым, как то обычно и принято в дипломатической практике, сопровождать Идена в поездке. Своевременно я запросил об этом разрешения из Москвы. Каково же было мое огорчение и разочарование, когда из НКВД пришел отрицательный ответ. Я не мог понять, в чем дело, но стал возра-

жать. Тогда выяснилось, что НКВД вовсе не отказывал мне в моем желании, а что шифровальщики просто сделали ошибку в первой телеграмме и до меня дошло указание, противоположное тому, которое в действительности было дано. Вот такие шутки иногда может играть неаккуратность в работе шифровальщиков!

В обстановке войны путешествие Идена в Москву было, конечно, обставлено большой секретностью. План был такой: Иден отправляется морем до Мурманска — и за этот отрезок пути ответственность берет на себя британское правительство; далее Иден из Мурманска отправляется в Москву — и за этот отрезок пути ответственность берет на себя Советское правительство. Отъезд из Лондона был назначен на час дня 7 декабря, которое приходилось на воскресенье. Специальный поезд должен был доставить Идена и сопровождающих его лиц в известную морскую базу Инвергордон в Шотландии, а оттуда эсминцев должен был перевезти их в еще более известную морскую базу Скапа-Флоу на Оркнейских островах, где вся делегация должна была погрузиться на большой крейсер «Кент» «вашингтонского» типа, то есть десяти тысяч тонн водоизмещения (фактически у «Кента» было пятнадцать тысяч). Это было очень мощное быстроходное судно с четырьмя винтами. В адмиралтействе долго спорили, давать ли «Кенту» сопровождение из трех-четырёх эсминцев, и в конце концов решили этого не делать. Эсминцам трудно было угнаться за таким крейсером, особенно в бурную погоду, к тому же группу судов немцы могли легче открыть и выследить. Гораздо безопаснее считалось отправить «Кент» в одиночку, ибо быстроходность и маневренность крейсера делала его малоуязвимым для подводных лодок, а тьма, господствующая в это время года в северных широтах, предохраняла от атак германских бомбардировщиков.

В нашем посольстве почти никто не знал о предстоящей поездке. 7 декабря около полудня мы с женой вышли вдвоем как бы на обычную прогулку в соседних садах Кенсингтона, оттуда прошли к станции ближайшего «тюба» и затем на подземке добрались до вокзала, где на запасном пути стоял специальный поезд делегации. Там уже были англичане, а также провожавший меня советник К. В. Новиков. Мой несложный багаж состоял главным образом из теплых вещей на дорогу.

С этими вещами вышла длинная канитель. Ни шубы, ни валенок у меня в Лондоне не было: здесь они были не нужны. Жена с большим трудом разыскала и купила для меня в английских магазинах имитацию шубы из трикотажа. Она была легка и тепла, но выкрашена в желтый цвет. В первый момент я даже усумнился, можно ли ее надеть. Позднее, уже в Мурманске, мороз заставил меня преодолеть эти сомнения. По улицам Москвы я ходил в своей желтой шубе почти как привидение: встречные останавливались и в изумлении смотрели на меня. Когда в 1943 году я окончательно вернулся в СССР, то перекрасил мою имитацию в черный цвет и с тех пор ношу ее с большим удовлетворением: она меня греет, не тяготит и вдобавок еще напоминает о том историческом событии, в котором мне пришлось участвовать. Валенки в Лондоне, конечно, нельзя было достать, и мне достали авиационные унты. Для головы в моем распоряжении оказалась меховая шапка-ушанка, случайно оставшаяся от тех времен, когда я был полпредом в Финляндии. С таким снаряжением я чувствовал себя вполне оборудованным для путешествия через полярные области и не ошибся: красоты в моей одежде не было, зато тепло было.

Распровавшись с женой и Новиковым, я поднялся в вагон. Иден с своими коллегами был уже там. Глядя в окошко, я машинально наблюдал за стремительно проносившимися станциями, городами, деревнями, рощами, зелеными лужайками и думал. Думал о том, что ждет нас в пути и какова будет встреча в Москве. Думал о том, к чему приведут предстоящие переговоры и какое влияние они окажут на дальнейший ход войны. Вспомнил свой вчерашний разговор с Черчиллем. Я зашел к нему проститься перед отъездом. Премьер, как всегда с сигарой в зубах, был очень любезен и пожелал полного успеха от встречи Идена с советскими руководителями. Я поблагодарил его и, между прочим, заметил, что буду рад

вновь повидать Москву. Черчилль пыхнул сигарой и, взглянув искоса сквозь синеватое облако дыма, спросил:

— Вы уверены, что встреча состоится в Москве?

Премьер явно намекал на господствовавшее тогда в Англии мнение, что в конечном счете нам не удастся сохранить столицу: ведь Москва была эвакуирована и новой официальной резиденцией правительства стал Куйбышев.

Я рассердился:

— Что за вопрос? Конечно, переговоры будут происходить в Москве!

Черчилль несколько иронически посмотрел на меня и затем примирительно сказал:

— Все равно, где бы ни происходили переговоры, в Москве или... — он на мгновение запнулся и с трудом выговорил: — или в этом вашем Ку... Куйбышеве, все равно желаю им полного успеха.

Сейчас, сидя в вагоне, я невольно задавался вопросом: где же все-таки будут переговоры — в Москве или в Куйбышеве? И как-то инстинктивно отвечал себе: «Конечно, в Москве!»

В 5 часов дня мы все собрались к Идену на традиционный английский «чай». С министром иностранных дел ехали постоянный заместитель министра А. Кадоган, заместитель начальника генштаба генерал Ней и двое работников Форейноффиса — Харвей и Фрэнк Робертс. Разговор был общий, светский, малоинтересный, и я уже собирался уйти в свое купе, как вдруг случилось что-то странное и непонятное. Поезд шел быстро, нигде не останавливаясь. Часов около шести мы пронеслись мимо какой-то небольшой станции и заметили на ее платформе сильное волнение: было необычно много людей, они бегали, жестикулировали, о чем-то, видно, горячо спорили. На следующей небольшой станции, мимо которой мы тоже пробежали, не останавливаясь, мы увидели такую же картину. Это нас заинтересовало, но мы не могли понять, в чем дело. Ясно было только, что случилось что-то важное. Тогда по распоряжению Идена на ближайшей станции была сделана небольшая остановка. Один из его сотрудников выскочил на перрон и спустя несколько минут принес потрясающую новость: Япония напала на США. Начальник маленькой станции, слышавший это сообщение по радио, не мог рассказать подробностей, он не знал, где и как произошло нападение, но в самом факте нападения не было никакого сомнения.

Иден был сильно взволнован и сразу же задал мне вопрос:

— Что вы думаете об этом?

Я ответил, что выступления Японии можно было ждать с минуты на минуту и что теперь война по существу охватила весь земной шар, а соотношение сил между двумя лагерями явно изменилось в нашу пользу.

— Как вы думаете? — продолжал Иден. — Следует ли мне сейчас продолжать поездку в Москву? Может быть, лучше вернуться в Лондон?

— Ни в коем случае! — возразил я. — Наоборот, сейчас ваша поездка в Москву стала еще более необходимой.

Поздно ночью на одной большой станции мы узнали уже все подробности нападения японцев на Пирл-Харбор, а рано утром прибыли в Инвергордон. Иден в моем присутствии сразу же связался по телефону с Черчиллем и поставил ему тот же вопрос, который накануне ставил мне: стоит ли ему продолжать путешествие в Москву. Потом он оторвался от телефонной трубки и сказал:

— Премьер-министр думает, как вы, что моя поездка в Москву еще более необходима, чем раньше.

Потом Иден снова прильнул к телефонной трубке, и я услышал:

— Вы спрашиваете, что думает мой спутник? Он того же мнения, что и вы.

Иден положил трубку и с видимым облегчением прибавил:

— Все ясно. Итак, продолжаем наш путь!

Эсминец, на который мы сели, сильно качало, и Иден, который вдобавок еще несколько простудился, почувствовал себя плохо. Пришел врач. Часов около пяти мы прибыли наконец в Скапа-Флоу. Пройдя через длинную цепь всякого рода

заграждений, наш эсминец пришвартовался к борту «Кента». В темную, глухую ночь крейсер вышел в открытое море...

Весь путь от Скапа-Флоу до Мурманска занял 4½ суток. Мы шли на север вдоль западной границы Скандинавского полуострова, но на далеком расстоянии от берегов Норвегии. Так было короче и безопаснее: ведь немцы в то время сидели на норвежской земле. Потом обогнули Нордкап и с большими предосторожностями миновали опасную зону между Нордкапом и островом Медвежьим, где немцы особенно часто атаковали с воздуха или из-под воды идущие в СССР суда. Наконец свернули на юг, к Кольскому заливу. Больших бурь мы не встретили, но все время было то, что моряки называют «свежая погода». В общем, все обошлось благополучно, но были и некоторые неудобства.

Главным из них являлась сильная вибрация судна, или, точнее, той части судна, где я находился. На корме «Кента» имелись две так называемые «адмиральские каюты»: их отдали Идену и мне как двум «почетным пассажирам». Иден получил каюту слева, а я каюту справа по ходу корабля. Нас разделял лишь неширокий коридор. Каждая каюта состояла из салона, спальни и умывальной комнаты. Обставлены они были прекрасно — конечно, в морском стиле. Все было бы превосходно, если бы... под полом коридора между каютами не проходили четыре вала от четырех мощных винтов крейсера. Когда «Кент», как ему и полагалось, развивал большую скорость, когда все его винты бешено дробили холодную черную воду, вся кормовая часть начинала дрожать такой судорожной дрожью, что я чувствовал себя совсем разбитым. Из-за вибрации я плохо спал, плохо ел и даже плохо соображал. Одно время я хотел было просить командира крейсера переменить мое «место жительства» и перевести в какую-либо другую каюту — менее почетную, но более спокойную, однако потом раздумал, зная приверженность англичан к традиционно установленным формам и порядкам.

Для мелких услуг ко мне был прикомандирован вестовой, моряк из команды крейсера. Это был высокий, молодой, добродушный парень, очень общительный и веселый. Каждое утро он приносил мне в каюту завтрак и одновременно сообщал самые последние новости, переданные по радио или касающиеся происшествий на борту корабля. Я всегда был рад его приходу, и каждый раз мы беседовали с ним на разные текущие темы. 11 декабря утром мой вестовой явился ко мне встревоженный и огорченный. Подавая завтрак, он мрачно сказал:

— Произошло большое несчастье.

— В чем дело? — воскликнул я, опасаясь услышать что-либо неприятное с советско-германского фронта.

— Японцы в Малайе потопили два наших крупных судна — «Принц Уэльский» и «Рипалс». Это большая потеря.

И затем моряк сообщил некоторые подробности: оба судна атаковали японские транспорты с войсками и вооружением; японские самолеты волнами обрушились на английские суда и сбросили на них много воздушных торпед; суда были сильно повреждены, перевернулись и затонули; английские потери людьми очень велики; погиб также командующий эскадрой адмирал Филипс.

Адмирал Филипс?.. Я невольно вспомнил, как четыре года назад я вел с ним в Лондоне переговоры об ограничении морских вооружений. Он произвел на меня тогда впечатление умного, делового и политически мыслящего человека. Теперь он нашел свою могилу в дальневосточных водах.

Иногда, когда мне уж очень надоедало сидеть в каюте, я выходил на палубу. Картина была мрачная: черная вода, черное небо, бурные волны, столб льда, наросшего на носу корабля, и где-то внизу непрерывный, ровный гул машин, монотонно сотрясающих судно. Часто казалось, будто в глубокой тьме полярной ночи, между тьмою неба и тьмой воды, несется темный заколдованный корабль, летящий куда-то в неизвестность...

И тогда мне как-то приходило в голову, что четверть века назад, в 1916 году, на этом же самом пути бесследно погиб английский военный министр лорд Китченер, который в эпоху первой мировой войны плыл из Англии в Россию. Счи-

тается, что его судно наскочило на мину и затонуло вместе со всеми, кто находился на борту. Но, в сущности, быть уверенным в этом невозможно, ибо никто с судна Китченера не спасся...

Двенадцатого декабря мы прибыли наконец в Мурманск. Над морем висела густая пелена тумана, которой мы радовались: она прикрывала «Кент» от немецкой авиации, расположенной тут же, недалеко от Мурманска, по ту сторону фронта. Навстречу нам в море вышел буксир, с которого на борт крейсера поднялся советский лоцман. Потом буксир повернулся и тихим ходом пошел вперед, пролагая путь для вступления в Кольский залив. «Кент» осторожно следовал за буксиром. Часа через три крейсер бросил якорь на рейде напротив Мурманска. Идена дружески встретили местные власти — гражданские и военные. Были тут и представители Наркоминдела, специально прилетевшие из Москвы: начальник протокольного отдела Ф. Ф. Молочков и начальник второго европейского отдела (в компетенцию которого входила Англия) Ф. Т. Гусев.

Сразу же было решено, что вся группа Идена пока останется на крейсере, а я съеду на берег для участия в обсуждении всех деталей дальнейшего пути. Вслед затем состоялся «военный совет», на котором присутствовали секретарь Мурманского обкома партии Старостин, командующий фронтом Панин, командующий Северным флотом Головкин и некоторые другие руководящие лица. Вопрос стоял так: отправить ли Идена в Москву по воздуху или по железной дороге? К нашим услугам были обе возможности (я просил еще из Лондона, чтобы к моменту нашего прибытия в Мурманск здесь были заготовлены средства передвижения того и другого порядка). Каждая из этих возможностей имела свои плюсы и свои минусы.

Воздушный путь сильно сокращал время передвижения, но, во-первых, присланные из Москвы самолеты не отапливались (что в условиях лютой зимы 1941—1942 года имело большое значение), а во-вторых, — и это было еще важнее — несколько сот километров самолеты должны были идти без всякого прикрытия истребителями. Воздушная трасса из Мурманска лежала на Архангельск. Мурманск мог дать прикрытия на начальную часть пути. Архангельск мог выслать прикрытия на конечную часть пути (радиус действия тогдашних истребителей был ограничен), а между этими двумя зонами относительной безопасности лежала довольно широкая полоса, где самолеты должны были идти без всякой охраны. Взвесив все эти обстоятельства, наш «военный совет» отверг воздушный путь.

Итак, приходилось ориентироваться на железную дорогу. Это было дольше, но надежнее. Однако и тут имелось одно осложнение. Несколько южнее Кандалякши есть небольшая станция, носящая карельское наименование «Лоухи», что значит «Ведьма». Фронт в районе Лоухи отстоял от линии железной дороги всего лишь на двадцать—двадцать пять километров, и самая станция Лоухи довольно часто подвергалась налетам немецкой авиации. После оживленной дискуссии мы пришли к выводу, что район Лоухи надо пройти ночью и на эту единственную ночь сконцентрировать здесь на всякий случай максимум вооруженных сил. Отъезд из Мурманска назначался на следующий день, 13 декабря.

После «военного совета» я вернулся на крейсер и, не входя в подробности (в частности, ничего не говоря о Лоухи), сообщил Идену о принятых нами решениях. Иден ответил:

— Пусть будет по-вашему: вам лучше знать местные условия.

С 12 на 13 декабря я ночевал на берегу и поздно вечером беседовал с местными товарищами. Я расспрашивал их о фронте, о тыле, о настроении народа, а они — о положении в Англии, о цели визита Идена, о взглядах Черчилля, а больше всего о том, когда же будет наконец открыт второй фронт.

На следующее утро пришла военная сводка, которая вызвала у всех огромный подъем духа. Она сообщала о решительном поражении немцев в сражении под Москвой. Все ходили как именинники, пожимали друг другу руки. Я поехал на крейсер и рассказал Идену о приятных новостях. Он уже кое-что знал о них из английских радиопередач, но привезенные мной подробности сильно действовали и на него.

— Это замечательно! — воскликнул Иден. — Впервые германская армия терпит такую неудачу!

Потом мы сошли на берег и вместе с Иденом объехали весь город, засыпанный снегом, слегка закутанный в дымку тумана. Иден долго стоял на одной возвышенности, с которой открывался широкий вид на весь Мурманск, на Кольский залив, на гряду невысоких гор, покрытых снегом, а потом сказал:

— Какая суровая природа! Но она покоряет, создает своеобразное очарование.

Днем был устроен парад войск местного гарнизона. Красноармейцы, одетые в шапки-ушанки и добротные бараньи полушубки, выглядели очень браво. Иден с улыбкой бросил:

— Теперь я воочию вижу, каким важным видом оружия на советском фронте является баранья шкура. К счастью, ее очень мало у немцев.

И затем, указывая на советский и британский флаги, которые высоко держали два рослых красноармейца — они резко выделялись на фоне ослепительно белого снега, — Иден прибавил:

— Это символ. В нем надежда на окончательную победу над Гитлером,

Наш поезд, провожаемый всеми местными властями, отошел от перрона около 5 часов дня. Это была целая армада, и весьма грозная. В середине состава находился бронированный салон-вагон, в котором разместился Иден с сопровождающими его лицами. Рядом шел международный вагон, где заняли места я, Молочков, Гусев и некоторые другие советские товарищи. Сразу после паровоза в двух вагонах помещалась вооруженная охрана с ружьями и пулеметами. Поезд замыкали две большие платформы, на которых были установлены зенитные орудия. При них находилось несколько артиллеристов в огромных меховых шубах поверх бараньих полушубков. Впереди поезда, на некотором расстоянии от него, бежал паровоз, который проверял безопасность железнодорожного полотна.

Было уже почти темно, когда мы двинулись в путь. Вдобавок пошел снег — не очень сильный, но все-таки делавший погоду «нелетной». Это мы искренне приветствовали. Единственное наше желание состояло в том, чтобы снег падал всю ночь, особенно в те часы, когда мы будем проходить Лоухи. Конечно, Идену я не сказал ни слова о наших беспокойствах и тревогах, но сам я все время был как-то возбужден. Англичане были довольны комфортабельной обстановкой и вкусным ужином, почувствовали себя вольготно и рано ушли спать. Я решил дожидаться Лоухи. Поезд шел своим мерным ходом, снег все еще сыпался, глубокая тьма покрывала землю. Благополучно миновали станцию Оленью, миновали Канда-лакшу, миновали еще несколько каких-то небольших остановок — все шло хорошо и мирно, погода продолжала нам благоприятствовать. Около часу ночи пришли наконец в Лоухи. Я вышел на перрон — и увидел: снег прекратился, небо было ясно и от одного горизонта до другого сверкало и переливалось огнями великолепное северное сияние. Природа точно смеялась над нами. Начальник поезда сообщил мне, что по плану мы должны простоять здесь двадцать минут. Я потребовал, чтобы поезд немедленно двигался дальше. Через семь минут поезд тронулся. Я ушел в свое купе и стал напряженно ждать, пока минует опасная зона, пока поезд удалится на достаточное расстояние от фронта. Только в 3 часа ночи, когда уже ничто не угрожало нашему драгоценному «человеческому грузу», я наконец успокоился и заснул.

Дальнейший путь наш до Москвы прошел без всяких осложнений. Из Беломорска мы свернули на незадолго перед тем построенную ветку, соединявшую Мурманскую дорогу с линией Архангельск—Вологда—Москва. Потом двинулись на юг по этой линии и стали быстро приближаться к столице. Где-то около Вологды нас встретил специальный поезд, в котором ехал британский посол в СССР Стаффорд Криппс. Он пересел в вагон министра иностранных дел и поехал вместе с нами назад, в Москву. Морозы во все время нашего путешествия были страшные, небо голубое, солнце светило ярко, но на земле все было сковано жестокой стужей. Иден не раз выходил на остановках и на практике знакомился с

климатом «русской зимы». Гуляя вдоль поезда, он не раз мне говорил, указывая на артиллеристов, сопровождавших зенитные орудия на открытых платформах:

— Как ваши люди могут выносить такие испытания?

Пятнадцатого декабря поздно вечером наш поезд прибыл наконец в Москву. Он весь был запорошен снегом. с крыш вагонов свешивались большие ледяные сосульки. В столице в то время, из опасения германских налетов, строго проводилось затемнение. Над городом царила глубокая тьма. По случаю прибытия Идена вокзал в виде исключения был на четверть часа освещен. Встречал Идена Молотов, сразу же сообщивший гостю, что как раз сегодня Красная Армия выбила немцев из Клина.

Когда члены английской делегации в меховых шапках и шубах вышли из вагонов и, смешавшись с встречавшими их советскими людьми, пошли по перрону в свете внезапно вспыхнувших фонарей, когда клубы паровозного пара и дыма окутали и идущих людей, и маячившие над ними своды вокзала, мне на мгновение показалось, что все это не кусок суровой реальности из эпохи второй мировой войны, а какая-то призрачная картина из какой-то мрачно-фантастической сказки...

Спустя мгновение свет в вокзале внезапно потух. Мы вышли на площадь перед вокзалом и уже в полной темноте стали рассаживаться в ожидавшие нас машины. Англичане поехали в «Националь», где для них была приготовлена резиденция, а я отправился в гостиницу «Москва».

МОСКОВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ

Переговоры начались 16 декабря, на другой день после прибытия Идена в Москву. Происходили они в Кремле. Таким образом, были опровергнуты фактами сомнения Черчилля относительно места переговоров. СССР представляли Сталин и Молотов, присутствовал также и я; на меня же были возложены обязанности переводчика. Англию представляли Иден и Кадоган. Присутствовал также Криппс, который вел запись переговоров. Иногда появлялся генерал Ней.

Перед началом заседания Сталин вынул из кармана проект наших предложений и спросил меня:

— Как вы думаете, примут это англичане?

Я быстро пробежал несколько исписанных на машинке листков. Здесь были проекты двух договоров. Первый носил характер договора о взаимопомощи между обоими государствами как во время войны, так и после ее окончания; он должен был заменить пакт взаимопомощи от 12 июля 1941 года, действие которого распространялось лишь на период войны. Второй договор намечал послевоенное устройство мира. В основном он предусматривал восстановление Югославии, Австрии, Чехословакии и Греции в их довоенных границах, а также передачу Польше Восточной Пруссии и выделение Рейнской области из состава Пруссии. Договор далее признавал границу 1941 года для СССР (то есть со включением в СССР Эстонии, Латвии, Литвы, Западной Украины и Белоруссии) и право Англии иметь необходимые для ее безопасности базы во Франции, Бельгии, Голландии, Дании и Норвегии.

Ознакомившись с документами, я ответил Сталину:

— Полагаю, что эти проекты могут служить основой для переговоров с англичанами. Вероятно, с их стороны будут возражения и поправки по некоторым пунктам, но договориться о соглашении не представит особой трудности.

Мой прогноз подтвердился на первом же заседании сторон. Выслушав наши предложения, Иден сказал, что, в общем, они кажутся ему приемлемыми, но что он резервирует за собой право внести в них известные изменения и модификации.

Далее состоялся общий обмен мнениями по вопросу о репарациях, о возможности создания после войны чего-либо вроде пакта военной взаимопомощи между

всеми державами, стоящими на позиции мира, причем выяснилось, что и здесь вполне возможна договоренность между СССР и Англией.

Мысленно я с удовлетворением констатировал, что серьезных разногласий между сторонами как будто бы нет и что, стало быть, возможно подписание или по крайней мере парафирование обоих договоров. Однако где-то в глубине сознания копошился червячок сомнения: неужели все обойдется так гладко и благополучно?

Мое сомнение очень быстро оправдалось. После небольшого перерыва Сталин вдруг вынул из кармана небольшой листок бумаги и, обращаясь к Идену, сказал: — Полагаю, вы не будете возражать, если к нашему соглашению о послевоенном устройстве мы приложим небольшую протокол.

Для меня это было полной неожиданностью. Проекта протокола Сталин до заседания мне не показывал и даже не предупредил меня о возможности такового. Я быстро пробежал положенный на стол документ. Он был краток и предусматривал немедленное признание Англией советских границ 1941 года.

Существо протокола не вызывало у меня никаких возражений. Однако тактически предъявление его в тот момент являлось серьезной ошибкой. Не знаю, какие мотивы при этом руководили Сталиным, но только сделанный им шаг сразу испортил положение.

Мне было хорошо известно, что англичане вообще не склонны принимать какие-либо решения о будущих границах впредь до окончания войны, а вдобавок Рузвельт взял с них твердое обещание не делать этого без предварительного соглашения с США. Американцы же тогда не признавали советских границ 1941 года, в частности не признавали возвращения прибалтийских государств в СССР. При таких условиях вся затея с протоколом была совершенно безнадежна. Полгода спустя Сталин сам в этом убедился, и двадцатилетний договор между СССР и Англией о союзе, сотрудничестве и т. д., подписанный 26 мая 1942 года в Лондоне, не содержал признания советских границ 1941 года. Протокол, предъявленный Сталиным во время декабрьских переговоров, мог явиться только яблоком раздора между Англией и СССР. Между тем мы были крайне заинтересованы в возможно более тесном сотрудничестве с Великобританией: ведь в тот момент огромные советские территории находились под германской оккупацией. Ленинград был блокирован, немцы стояли в какой-либо сотне километров от Москвы; хотя советские войска только что отбросили их от столицы, но до победы над гитлеровской Германией было еще очень далеко. К чему же было создавать трения между обоими правительствами, да еще по вопросам, которые не имели непосредственного практического значения?

Если бы Сталин заранее ознакомил меня с протоколом, я приложил бы все усилия к тому, чтобы убедить его не делать такого шага. Не знаю, согласился ли бы он со мной, но все-таки он хотя бы услышал слово предостережения. Теперь же положение было явно испорчено. Проект протокола лежал на столе переговоров, и отступить советской стороне было невозможно. А отсюда с железной неизбежностью вытекали некоторые неприятные последствия.

Как только Иден ознакомился с текстом протокола, он сразу же ответил, что британское правительство сейчас не может его подписать, и подробно мотивировал это, особенно подчеркивая позицию США в вопросе о границах.

Сталин стал возражать и пытался переубедить английского министра иностранных дел, но тщетно. Обе стороны ушли со второго заседания в плохом настроении.

Восемнадцатого декабря состоялось новое заседание, на котором продолжалась дискуссия по вопросу о договорах и о протоколе. Англичане давали понять, что они готовы вести переговоры и надеются на возможность соглашения по проектам договоров, но по вопросу о протоколе никакого сдвига в их позиции не обнаружилось. В свою очередь Сталин заявил, что без протокола договоры не могут быть подписаны. Создался тупик, из которого не видно было непосредственного выхода. Единственно, чего Сталину удалось добиться, это обещания Идена

передать спорные вопросы на рассмотрение английского кабинета, а также правительства британских доминионов. Он не исключал и возможности консультации с правительством США.

После третьей встречи стало ясно, что соглашение сторон в Москве не может состояться. Однако ни Советскому Союзу, ни Англии не имело смысла обнаруживать разногласия пред лицом Гитлера и Муссолини. Было решено поэтому опубликовать о визите Идена такое коммюнике, которое не могло бы доставить никакого удовольствия врагу. Составление проекта коммюнике было поручено мне. Закончив свою работу, я показал проект Сталину. Он пробежал его и буркнул:

— Это можно.

Потом я показал свой проект Идену и получил его одобрение. Он даже прибавил:

— Коммюнике лучше, чем я надеялся.

Таким образом, в вопросе о тексте коммюнике обе стороны были согласны. Однако опубликование коммюнике, естественно, приходилось отложить до того момента, когда английская делегация вернется домой — в условиях военного времени иначе нельзя было поступить. В советской и английской печати коммюнике появилось 29 декабря 1941 года, как раз в тот день, когда «Кент» бросил якорь в Гриноке, у берегов Шотландии.

Вот наиболее существенные части коммюнике.

В самом начале, после перечисления лиц, принимавших участие в московских переговорах, заявлялось, что между сторонами «происходил исчерпывающий обмен мнений по вопросам, касающимся ведения войны и послевоенной организации мира и безопасности в Европе», а затем говорилось:

«Беседы, происходившие в дружественной атмосфере, констатировали единство взглядов обеих сторон на вопросы, касающиеся ведения войны, в особенности на необходимость полного разгрома гитлеровской Германии и принятия после того мер, которые сделали бы повторение Германией агрессии в будущем совершенно невозможным. Обмен мнений по вопросам послевоенной организации мира и безопасности дал много важного и полезного материала, который в дальнейшем облегчит возможность разработки конкретных предложений в этой области. Обе стороны уверены, что московские беседы знаменуют собой новый и важный шаг вперед в деле дальнейшего сближения СССР и Великобритании».

Как видим, коммюнике ни в какой мере не обнадеживало гитлеровцев и в то же время вполне соответствовало истине: ведь не подлежало ни малейшему сомнению, что обмен мнений между сторонами по вопросам послевоенной организации мира и безопасности, несмотря на вскрывшиеся разногласия, действительно давал много важного и полезного материала, который в дальнейшем должен был облегчить выработку приемлемых для обеих сторон предложений.

На одном из заседаний Иден обратился к Сталину с просьбой дать ему возможность побывать на фронте. Сталин согласился и рекомендовал Идену поехать в район Клина, где шли бои с отступавшими немецкими войсками. 19 декабря эта поездка состоялась. В ней приняли участие Иден и его коллеги, а с советской стороны были я и заведующий протокольной частью НКВД Ф. Ф. Молочков.

Когда наши машины в сопровождении необходимой охраны утром выехали из Москвы, яркое, но холодное зимнее солнце стояло высоко в небе. К концу короткого декабрьского дня погода ухудшилась, слегка потянуло поземной. Однако мы имели достаточно времени, чтобы при свете увидеть суровую картину фронта на расстоянии всего каких-нибудь девяноста километров от столицы.

Прежде всего о близости к нему дали знать сожженные отступавшими немцами деревни. Это было жуткое зрелище. Ни одного дома, ни одного сарая или забора! Покрытая снегом равнина, а на ней выстроившиеся, точно на параде смерти, длинные ряды уцелевших от огня деревенских печей с трубами. Невольно рождался вопрос: что случилось с теми, кто еще совсем недавно жил в этих пере-

ставших существовать домах? Погибли они или убежали? И, если убежали, что делают сейчас? Где нашли пристанище и пропитание?..

Потом мы увидели трупы, много трупов, валявшихся прямо на дороге, в кюветах, на запорошенных снегом полянах. Справа и слева вперемежку с красноармейцами в их длинных серых шинелях лежали немецкие солдаты в их зеленовато-серой форме. Трупы застыли подчас в самых странных и непонятных позах: то с широко раскинутыми руками, то на четвереньках, то стоя по пояс в снегу.

Тут же на дороге и по сторонам от дороги валялось огромное количество перевернутых грузовиков, искореженных танков, подбитых орудий, разбросанных винтовок, кругов телефонной проволоки и всяких иных остатков от самых разнообразных видов вооружения.

Наконец мы добрались до Клина. Город пострадал сравнительно мало, так как немцам пришлось слишком поспешно его очищать: не хватило времени на поджоги и разрушения. Однако дом, где жил великий композитор П. И. Чайковский, находился в ужасном состоянии. Он, правда, уцелел, но внутри все было перевернуто вверх дном, поломано, загажено. Одна из комнат второго этажа была превращена в уборную. В других комнатах на полу валялись груды полусгоревших книг, деревянных обломков, листов изодранной нотной бумаги. Мы медленно переходили из комнаты в комнату. Наконец Иден не выдержал и брезгливо сказал:

— Вот чего мы могли бы ожидать, если бы немцы высадились на наши острова... Это настоящие подонки человечества.

Потом мы объехали весь город и хотели было продвинуться дальше, в сторону переднего края, но тут вмешался сопровождавший нас генерал Захватаев и решительно запротестовал против нашего намерения. Он говорил, что остатки разбитых немецких частей скрываются в окрестных лесах и от времени до времени делают неожиданные налеты на подгородные местности. Генерал не считал возможным подвергать такому риску министра иностранных дел Великобритании. Волей-неволей пришлось покориться и повернуть назад. Тут внезапно появился Ф. Ф. Молочков и быстро доставил нас в какой-то довольно просторный, но сильно пострадавший деревенский дом, где гостеприимно предложил всем «походный ланч». Сквозь выбитые рамы продавал морозный воздух, но зато еда оказалась очень вкусной. Иден от имени всех своих английских коллег сердечно поблагодарил Ф. Ф. Молочкова и отдал должное «русскому хлебосольству».

Потом Иден выразил желание повидать немецких пленных. Из какой-то соседней полуразбитой хаты привели человек шесть, только что захваченных в боях. Вид у них был очень жалкий: в мятых зелено-серых шинелях на рыбьем меху, с бабьими платками на голове, с ногами, обвязанными каким-то тряпьем. Они дрожали от холода и страха. Иден через переводчика задал им несколько вопросов — откуда они, давно ли воюют, в каких сражениях участвовали и т. п., — но больше смотрел на них и наблюдал за их поведением. Пленные совсем не походили на героев. Теперь, в декабре, они потеряли свою спесь. Эта шестерка стояла, переминаясь с ноги на ногу, и усиленно доказывала, что они, собственно, ни в чем не виноваты, что всех их заставили воевать. Один даже крикнул:

— Гитлер капут!

Когда вечером мы возвращались в Москву, Иден сказал:

— Теперь я собственными глазами видел, как немецкая армия может терпеть поражения, отступать, бежать. Миф о германской непобедимости взорван... Это должно иметь огромное значение для психологии всех народов Европы и для всего будущего войны.

На следующий день Сталин устроил в честь Идена большой обед в Кремлевском дворце. За длинным столом, кроме английской делегации, сидели члены политбюро, наркомы, генералы. Председательское место занимал Сталин, напротив него через стол находился Молотов. Справа от Сталина сидел Иден, рядом с Иде-

ном сидел я и являлся для них обоих лингвистическим каналом. Сталин произнес главный тост в честь британского министра иностранных дел. Потом очень много тостов по разным поводам поднял Молотов. В конце обеда отвечал Иден тостом за хозяев.

В самом начале обеда произошел забавный инцидент. На столе перед Иденом, в числе других вин, стояла большая бутылка перцовки. Желтоватый цвет жидкости несколько напоминал шотландское виски. Иден сильно заинтересовался этой бутылкой и спросил Сталина:

— Что это такое? Я до сих пор не видал такого русского напитка.

Сталин усмехнулся и ответил:

— А это наша русская виски.

— Вот как?— живо откликнулся Иден.— Я хочу попробовать.

Сталин, взяв бутылку, налил Идену большой стакан.

Ничего не подозревая, Иден поднес стакан ко рту и сделал большой и глубокий глоток. Боже, что с ним стало! Перцовка сразу обожгла ему рот, он страшно покраснел, поперхнулся, глаза чуть не выскочили из орбит. Когда Иден несколько отдышался и пришел в себя, Сталин нравоучительно заметил:

— Такой напиток может пить только крепкий народ. Гитлер начинает это чувствовать.

После обеда, как обычно на сталинских банкетах, в соседнем помещении был устроен кинопросмотр с перерывами, который затянулся до глубокой ночи.

Несмотря на инцидент с перцовкой, Иден остался очень доволен вечером у Сталина. Он рассматривал его как симптом того, что выявившиеся во время переговоров разногласия не испортят дружественную атмосферу. А днем позже нам удалось еще больше поднять настроение британского министра иностранных дел.

Все тот же неутомимый Ф. Ф. Молочков пригласил английскую делегацию в балет, выступавший тогда в Филиале Большого театра. Здесь не было ни Семеновой, ни Улановой — они находились в эвакуации, — но все-таки это был хороший балет. Сидя рядом со мной, Иден даже сказал:

— Такой балет в Москве сейчас, когда фронт находится от нее в каких-нибудь шестидесяти милях! Это просто вдохновляет. Он дает надежду, — нет, больше! — уверенность, что все окончится благополучно.

С этими словами Идена хорошо перекликаются строки военных мемуаров Черчилля, относящиеся как раз к периоду московских переговоров:

«В течение шести месяцев кампании немцы достигли очень многого и нанесли врагу такие потери, каких не пережила бы ни одна другая нация. Однако три важнейших объекта немецкого наступления — Москва, Ленинград, нижний Дон — по-прежнему прочно оставались в руках русских. Кавказ, Волга, Архангельск были еще очень далеко. Русские армии не только не были разгромлены, но сражались все лучше и лучше и их сила, конечно, должна была возрасти в наступающем году (1942 году. — *И. М.*). Пришла зима. Становилось совершенно ясно, что война будет носить затяжной характер. Все антинацистски настроенные народы — великие и малые — радовались первой неудаче германской блицкриг»¹.

В те немногие часы, которые оставались у меня свободными от переговоров и выполнения различных дипломатических функций, я старался взглянуть в суrowое лицо военной Москвы и встретиться с товарищами и знакомыми.

Москва декабря 1941 года сильно отличалась от той пестрой, шумной, многолюдной Москвы, которую я знал в довоенные годы. На улицах было мало людей, а те, кто показывался, шагали торопливо, явно спеша по делу. Лица были серьезны и угрюмы. То и дело проходили воинские части или колонны мобилизованных с лопатами на плечах. На многих площадях и перекрестках мрачно темнели противотанковые заграждения и баррикады. Сугробы снега лежали на мостовых и тротуарах. Окна домов часто были выбиты и наскоро заделаны досками

¹ W. Churchill. The second world war. 1955, v. III, p. 476.

или фанерой. По ночам царил крошечная тьма: всеобщее затемнение проводилось очень строго. Все разговоры вращались около войны, около тяжелых боев, воздушных налетов, продовольственных трудностей, холода в квартирах, перебоев в городском транспорте. Но нигде не было паники или неверия в конечную победу. Декабрьская Москва была похожа на человека, потерявшего жир, исхудавшего, но зато сохранившего крепкие мускулы и несгибаемую волю.

Виделся я с несколькими старыми друзьями, работавшими в разнообразных сферах советской жизни — экономической, партийной, дипломатической, культурной, — везде чувствовалась решимость бороться до конца и какое-то глубокое внутреннее убеждение, что в конечном счете, как бы ни были велики потери и страдания, мы победим.

Были у меня интересные разговоры и с руководящими лицами Советского государства. Я долго беседовал с К. Е. Ворошиловым о ходе и перспективах войны, с А. И. Микояном о военно-экономических отношениях между СССР и Англией, а также о приспособлении советского торгпредства в Лондоне к новым условиям.

Очень любопытная встреча у меня вышла с наркомом Военно-Морского Флота Н. Г. Кузнецовым. Я уже упоминал, что в начале июля 1941 года в Англию прибыла военно-морская миссия СССР. В тот момент густой туман скрывал будущее и трудно было сказать, в каком направлении пойдет развитие событий. Неизвестно было, в частности, как долго миссии придется пробыть в Лондоне. В такой обстановка было естественно, что члены миссии прибыли в Англию без своих семей. Однако к декабрю 1941 года многое прояснилось. Не подлежало сомнению, что война будет носить очень затяжной характер, что наша военно-морская миссия будет длительно работать в Лондоне и что членам ее придется оставаться здесь весьма подолгу. Тогда вполне законно встал вопрос о приезде к ним семей. Попытки самих военных урегулировать этот вопрос в ведомственном порядке не удалось. Тогда я решил, отправляясь с Иденом в Москву, лично поговорить здесь с соответственными инстанциями, в особенности с наркомвоенмором Н. Г. Кузнецовым, от которого в первую очередь зависела доставка семей в Англию. В Наркоминделе меня отговаривали от подобного шага, предвещая его бесплодность. А насчет Н. Г. Кузнецова прямо говорили: «Человек он суровый, с чувствами подчиненных мало считается, на выезд семей и их транспортировку по морю согласия не даст — зачем вам нарываться на отказ?» Я, однако, не послушался, говорил по данному вопросу в ЦК, а потом отправился к Н. Г. Кузнецову. Я изложил ему суть вопроса и энергично поддержал просьбу работников миссии, приводя различные аргументы — и человеческие и деловые. Я был приятно разочарован, когда Н. Г. Кузнецов сразу же пошел мне навстречу: он обещал немедленно принять меры для отправки семей членов миссии в Лондон. Он исполнил свое обещание, и в 1942 году из СССР в Англию поехали жены и дети моряков и военных, преодолевая многочисленные трудности, опасные приключения и риск. А для меня лично эта первая встреча с Н. Г. Кузнецовым явилась исходной точкой дружеских отношений с ним, которые укрепились в последующие годы.

Как-то в связи с подготовкой к очередной встрече обеих делегаций я оказался в кабинете Молотова, где находился также и Сталин. Молотов сидел за письменным столом, а Сталин расхаживал из конца в конец по кабинету и на ходу высказывал суждения и давал указания. Когда вся подготовительная работа была закончена, я обратился к Сталину и спросил:

— Можно ли считать, что основная линия стратегии в нашей войне и в войне 1812 года примерно одинакова — по крайней мере если брать события нашей войны за первые полгода?

Сталин еще раз прошелся по кабинету и затем ответил:

— Не совсем. Отступление Кутузова было пассивным отступлением, до Бородина он нигде решительного сопротивления Наполеону не оказывал. Наше отступление — это активная оборона, мы стараемся задержать врага на каждом возможном рубеже, нанести ему удар и путем таких многочисленных ударов из-

мотать его. Общим между обоими отступлениями является то, что они являются не заранее запланированными, а вынужденными отступлениями.

Ободренный готовностью Сталина вести разговор на более общие темы, я продолжал:

— Если позволите, я хотел бы задать еще один вопрос. В своем выступлении в Октябрьские дни вы сказали, что не позже, как через год, гитлеровская Германия должна потерпеть крах, на чем основан этот прогноз?

Мой вопрос Сталину, видимо, не понравился, и он попробовал от него отмахнуться:

— Ну, сказал так, что из этого?

— Вы не такой человек, — возразил я, — чтобы бросать слова на ветер. Вероятно, у вас были достаточные основания — военные, политические, экономические — для подобного заявления.

Сталин недовольно пожал плечами и ответил:

— Надо же было как-то поднять дух наших людей, подбодрить их, — вот я и сказал, что не позже, как через двенадцать месяцев, враг будет разгромлен.

Он повернулся и вышел из кабинета...

Однако самая интересная встреча, которая ярким пятном осталась у меня в памяти, была с М. И. Калининым. Я очень любил Михаила Ивановича как человека и государственного деятеля. Отношения между нами как-то хорошо ладилась, и я воспользовался свободной минуткой для того, чтобы навестить его — благо, он жил тут же, в Кремле. Когда я зашел к Калинину на квартиру, был вечер, и Михаил Иванович сидел в одиночестве за чайным столом. Он обрадовался моему приходу, налил стакан чаю и стал подробно расспрашивать меня о ходе войны на Западе, о настроениях в Англии, о Черчилле, о перспективах второго фронта. Я охотно информировал Михаила Ивановича обо всем, но ничего обнадеживающего в отношении второго фронта я сказать не мог. Михаил Иванович внимательно слушал, иногда задавал дополнительные вопросы.

Потом наступила моя очередь расспрашивать Калинина о наших внутренних и военных делах. Он так же охотно отвечал на мои вопросы и в тот вечер очень горевал о только что полученном известии: в боях под Москвой погиб один из наших лучших кавалерийских командиров генерал Доватор.

Я слушал Михаила Ивановича, смотрел на него, и какое-то особенное чувство гордости и нежности проникало меня. Предо мной сидел уже немолодой человек, с сильной проседью в голове и клинообразной бородке, в косоворотке с расстегнутым воротом. Человек умный, благородный, с большим запасом житейской и государственной мудрости. В руках он держал только что свернутую папиросу-самокрутку и готовился зажечь ее спичкой. По всему своему облику он так походил на самого обыкновенного русского рабочего из крестьян... И вот этот человек — президент огромного государства, официальный глава одной из величайших держав мира!.. Где, в какой другой стране мира возможно что-либо подобное?.. И сам собой складывался вывод: нет, такую страну никто не может победить! Такая страна устоит во всех испытаниях.

Ушел я от М. И. Калинина с огромным зарядом вдохновения, подъема, энтузиазма, который мне так потом пригодился.

Английская делегация покинула Москву вечером 22 декабря, пробыв в нашей столице ровно неделю. Обратный путь от Москвы до Мурманска ничем не отличался от пути из Мурманска в Москву и прошел вполне благополучно. Даже Лоухи не подвела: на этот раз, когда мы прибыли на злополучную станцию, не было никакого северного сияния. 24 декабря наш поезд прибыл в Мурманск, и мы сразу же погрузились на ожидавший нас крейсер «Кент». Глубокой ночью 25 декабря английский корабль снялся с якоря и вышел в Северный Ледовитый океан. Весь путь от берегов СССР до берегов Шотландии снова занял немногим больше четырех суток. Но теперь мы спускались с севера на юг, и постепенно арктический мрак все больше уступал место свету, или, вернее, сумер-

кам, ибо в декабре здесь солнце не подымается высоко. Это было нам приятно. Зато было совсем неприятно, что на море свирепствовала буря и бросала наш тяжелый крейсер, как щепку. Я — моряк средней руки: «свежая погода» еще не выводит меня из равновесия, но бурю я переношу нелегко. Почти весь обратный путь я пролежал в своей «адмиральной каюте». Только когда «Кент» оказался уже в шотландских водах, буря стихла, и я стал выходить на палубу. 29 декабря ночью мы прибыли в Гринок (близ Глазго), пересели в ожидавший нас специальный поезд и 30 декабря были в Лондоне.

По дороге от Гринона до столицы мы с Иденом много разговаривали и подводили итоги московского визита. При этом оба приходили к выводу, что он имел положительное значение, несмотря на выявившиеся разногласия. Во-первых, каждая из сторон теперь лучше знала позицию другой в ряде важных вопросов, что могло облегчить в дальнейшем достижение согласованной стратегии и политики. Во-вторых, — это было не менее важно — Иден и его английские коллеги, побывав в СССР и коснувшись непосредственно советской действительности, лучше поняли корни нашей стойкости и крепче поверили в нашу готовность и способность вести войну против гитлеровской Германии до победы.

В новогоднюю ночь, по просьбе Би-Би-Си, я выступил по радио с небольшой речью, в которой сказал, между прочим, следующее:

«Будущее окутано туманом. Всякое пророчество гадательно. И все-таки события года, который сегодня кончается, дают некоторые указания на ход вещей в наступающем 1942 году. Война действительно стала мировой войной. В нее втянуты все континенты. Гораздо более четким сделался водораздел между двумя большими лагерями — лагерем свободы, объединяющим демократические и свободолюбивые страны, и лагерем угнетения и рабства, концентрирующим самые черные силы реакции, когда-либо существовавшие в истории человечества. Главным врагом народов является гитлеровская Германия. Главным участком мирового фронта борьбы является моя страна. Основным воплощением злых сил, которые терзают сейчас весь род людской, служит германская армия; ее важнейшим оружием наряду с танками и самолетами до сих пор являлся миф об ее непобедимости. Но теперь, в самом конце 1941 года, этот миф был разоблачен на полях битв под Москвой и Ленинградом, под Ростовом и в Крыму, а также в Ливии».

Кратко описав затем мои впечатления от того, что я видел на фронте под Клином, я закончил выступление такими словами:

«То, что случилось в последние месяцы на нашем фронте, — это перелом в ходе германо-советской войны и даже в ходе всей войны в целом. Не следует предаваться излишнему оптимизму. Правде надо смотреть прямо в глаза. Впереди перед нами еще много трудностей. Путь к победе еще длинен и тяжел... И все-таки на пороге нового года в сердцах всех свободолюбивых народов встает крепкая надежда, что близится час, когда гитлеровская Германия будет лежать в руинах».



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЕЩЕ О МЕМУАРАХ

Широкое развитие мемуарной литературы, особенно заметное в последнее десятилетие,— факт необыкновенно отрадный и характерный для наших дней. Мы должны донести до потомков свой опыт, достойно рассказать о людях и событиях, оставивших заметный след в полувекковой истории советского общества. Вот почему наш журнал с большим вниманием относится к воспоминаниям, дневникам, документам недавнего прошлого.

Однако некоторые произведения мемуарно-документального жанра страдают существенными недостатками. Самый главный из них — отсутствие исторической достоверности, уважения к фактам, поверхностное сочинительство. «Новый мир» неоднократно выступал против этих недостатков мемуарной литературы. Напомним хотя бы статью Н. П. Голиковой, исправляющую многочисленные неточности в воспоминаниях о Гайдаре («Новый мир», № 5, 1963), а также статью В. Катаняна о мемуарах, посвященных Маяковскому, Есенину и Блоку («Новый мир», № 5, 1964).

Ныне мы вновь возвращаемся к этой теме. Разумеется, всякого рода искажения и неточности тем более недопустимы, когда речь идет о жизни и деятельности В. И. Ленина. Об этом говорится в статье научного сотрудника Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Р. Савицкой. Статьи писателей В. Шкловского и Л. Малюгина посвящены проблеме достоверности в литературных мемуарах.

Р. САВИЦКАЯ

★

Листая страницы воспоминаний о В. И. Ленине

Добрый десяток тысяч людей, начиная от соратников В. И. Ленина и кончая рядовыми рабочими и крестьянами, слышали выступления великого вождя, встречались и беседовали с ним. Как о самом сокровенном в своей жизни вспоминают они об этих встречах. Мемуарная литература постоянно обогащается — прежде всего за счет новых или переиздающихся воспоминаний о В. И. Ленине.

Мемуары о В. И. Ленине представляют собою ценнейший источник для изучения биографии В. И. Ленина и истории Коммунистической партии Советского Союза. В ряде случаев воспоминания являются

единственным источником для установления отдельных событий и фактов из жизни и деятельности В. И. Ленина.

В других случаях они сообщают какие-то новые детали о ранее известных фактах, помогают полнее и ярче представить себе действительную обстановку, в которой происходило то или иное событие, почувствовать «аромат эпохи». Вместе с тем воспоминания о Владимире Ильиче имеют большое воспитательное значение. Пример беззаветного служения В. И. Ленина делу рабочего класса и его партии помогает воспитанию трудящихся нашей родины, особенно молодежи, в духе требований мо-

рального кодекса человека будущего коммунистического общества.

Среди многочисленных опубликованных воспоминаний о В. И. Ленине надо прежде всего назвать воспоминания Н. К. Крупской, Максима Горького, Клары Цеткин, А. И. Елизаровой-Ульяновой, М. И. Ульяновой, А. В. Луначарского и многих других выдающихся деятелей нашей партии и Советского государства, международного рабочего и коммунистического движения, соратников и современников В. И. Ленина.

Эти воспоминания прочно вошли в фонд советской мемуарной литературы и завоевали признательность самых различных кругов советских читателей: ученых-исследователей, писателей, работников искусства, пропагандистов, рабочих, колхозников, молодежи.

Авторы лучших воспоминаний о В. И. Ленине писали их с чувством огромной ответственности.

«Всегда бывает очень страшно припоминать что-нибудь из бесед с Владимиром Ильичем не для себя лично, а для опубликования,— писал А. В. Луначарский.— Все-таки не обладаешь такой живой памятью, чтобы каждое слово, которому, может быть, в то время не придавал максимального значения, запечатлелось в мозгу, как врезанная в камень надпись, на десятки лет, а между тем ссылаться на то, что оно сказано великим умом, допуская возможность какого-нибудь искажения, очень жутко»¹.

Авторы воспоминаний о В. И. Ленине пишут о событиях, которые происходили годы и десятилетия тому назад. Естественно, что из-за несовершенства человеческой памяти они не всегда помнят абсолютно точно даты и последовательность событий.

Сам Владимир Ильич в подобных случаях был очень осторожен, учитывая, что на память полагаться особенно не следует. В статье «Несколько слов о Н. Е. Федосееве», написанной в декабре 1922 года, он указывал: «Мои воспоминания о Николае Евграфовиче Федосееве относятся к периоду начала 90-х годов. На точность их я не полагаюсь»².

«В воспоминаниях много субъективного

всегда,— писала Н. К. Крупская в отзыве на биографию В. И. Ленина неизвестного автора в 1929 году.— Кроме того, когда прошли годы, нельзя надеяться на точность. Тем более, очень осторожно надо относиться к воспоминаниям лишь редко встречавших Ильича людей. Мы получаем много чисто фантастических писем, многие факты даже ближе знавших Ильича товарищей изложены неверно»¹.

Видный советский дипломат И. М. Майский, книга воспоминаний которого недавно издана, говоря в предисловии к ней об опасностях, подстерегающих авторов воспоминаний, пишет: «Первая—это излишнее доверие к своей памяти. Человеческая память—несовершенный инструмент: она произвольно удерживает одни и опускает другие—часто не менее важные—факты и моменты, что, конечно, не может не отражаться на характере закрепившейся в памяти картины»².

В воспоминаниях очень часто события смещаются во времени, одни факты подменяются другими, неточно воспроизводится ход событий.

Даже такой опытный публицист и пропагандист марксизма-ленинизма, как В. Д. Бонч-Бруевич, который проработал бок о бок с В. И. Лениным в качестве управляющего делами Совнаркома около трех лет, полагаясь чрезмерно на свою память, невольно допускал неточности в своих воспоминаниях.

Одна из них—в воспоминаниях «Герб СССР»—уже была отмечена доктором исторических наук И. С. Смирновым в его книге «Ленин и советская культура»³. Мы же остановим внимание читателей на неточностях воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича «Въезд Владимира Ильича в Кремль».

Рассказывая о первом посещении В. И. Лениным Кремля 12 марта 1918 года, на второй день после приезда Советского правительства из Петрограда в Москву, В. Д. Бонч-Бруевич пишет: «Немедленно подымите над Кремлем красное знамя революции»,—сказал я тов. Малькову.

¹ «Исторический архив», № 2, 1957, стр. 31.

² И. М. Майский. Воспоминания советского посла кн. 1-я. «Наука». М. 1964, стр. 10.

³ И. С. Смирнов. Ленин и советская культура. Издательство Академии наук СССР. М. 1960, стр. 370—371.

¹ «Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине» ч. 1 Госполитиздат. М. 1956, стр. 548.

² В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 324.

«Есть!» — ответил он мне по-матросски¹. «Не прошло и часа,— говорит В. Д. Бонч-Бруевич в другом месте,— как над Кремлем гордо взвилось красное знамя — флаг Советского государства»².

Здесь В. Д. Бонч-Бруевич допускает ряд неточностей. Во-первых, П. Д. Мальков приехал из Петрограда в Москву и был назначен комендантом Кремля несколько позже, с 21 марта 1918 года³. Сам П. Д. Мальков относит поднятие флага над Кремлем к концу марта 1918 года. Причем приказание поднять флаг он, по его словам, получил не от В. Д. Бонч-Бруевича, а непосредственно от самого В. И. Ленина.

«Вскоре после переезда правительства в Москву,— пишет П. Д. Мальков,— вызывает меня Владимир Ильич.

— Товарищ Мальков, надо бы на здании Судебных установлений водрузить красное знамя. Сами подумайте, Советское правительство — и без знамени. Нехорошо»⁴.

Мы видим, что два непосредственных свидетеля факта поднятия флага над Кремлем по-разному датируют и описывают обстоятельства, связанные с этим событием. В действительности же дело обстояло иначе, чем вспоминают и В. Д. Бонч-Бруевич и П. Д. Мальков.

Советский флаг над Кремлем был поднят позднее, примерно в середине апреля 1918 года. История этого вопроса такова. Впервые вопрос о государственном флаге Российской Советской Республики возник в связи с телеграммой начальника морских сил Балтийского флота. Вопрос обсуждался под председательством В. И. Ленина на заседании Совета Народных Комиссаров 8 апреля 1918 года. Было принято постановление: «Предложить тов. Свердлову внести в Центральный Исполнительный Комитет предложение дополнить надпись на флаге инициалами ПВСС (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)»⁵. В тот же день

вопрос о государственном флаге был рассмотрен сначала на заседании фракции большевистской ВЦИК¹, а затем на заседании ВЦИК под председательством Я. М. Свердлова.

ВЦИК единогласно утвердил декрет о флаге Российской Республики, гласящий, что «флагом Российской Республики устанавливается Красное Знамя с надписью: «Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика»². Декрет был опубликован в газетах «Правда» и «Известия» 14 апреля 1918 года и вступил в силу. После утверждения декрета о советском флаге Бюро Совета районных дум Москвы вынесло решение об установлении флага на здании бывшей городской думы, что и было сделано 15 апреля³.

Вероятнее всего, что и флаг над Кремлем был поднят в это же время. Вскоре советское Красное Знамя взвилось и над зданиями русских посольств в Берлине и Вене. Все военные и торговые суда Советской Республики также пошли бороздить моря и океаны под красным флагом.

Кроме неверной датировки событий в воспоминаниях, часто одни события смешиваются в памяти с другими. Так, например, М. Ф. Беляков, который был делегатом VIII Всероссийского съезда Советов, пишет в своих воспоминаниях о том, что В. И. Ленин после своего доклада на съезде о деятельности Совета Народных Комиссаров «пригласил делегатов в зал Дома Союзов послушать по радио приветствие рабочих Ростова»⁴.

Специалисты в области радио — Ф. А. Лобов, ныне персональный пенсионер, и В. И. Шамшур, заведующий редакцией радиолитературы издательства «Энергия», — сообщили нам, что вести прием радиотелефонной передачи из Ростова в то время было нельзя, так как радиовещательная станция в Ростове была построена только в 1926 году.

Автор рассматриваемых воспоминаний, по-видимому, имел в виду выставку связи

¹ «Вечерняя Москва». 21 января 1928 года; В. Д. Бонч-Бруевич. Избранные сочинения, т. 3. Воспоминания о В. И. Ленине 1917—1924 гг. Издательство Академии наук СССР. М. 1963. стр. 159.

² В. Д. Бонч-Бруевич. В. И. Ленин в Петрограде и в Москве (1917—1920 гг.). Госполитиздат. М. 1956, стр. 16.

³ П. Мальков. Записки коменданта московского Кремля. «Молодая гвардия». М. 1962, стр. 116.

⁴ Там же, стр. 151.

⁵ ЦПА ИМЛ, ф. 19, оп. 1, ед. хр. 91, л. 4.

¹ См. «Известия Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов гор. Москвы и Московской области», 12 апреля (30 марта) 1918 года, стр. 3.

² «Протоколы заседаний ВЦИК 4-го созыва (Стенографический отчет)». ГИЗ. М. 1920, стр. 4, 73, 74—75.

³ См. «Известия Петроградского Совета», 17(4) апреля 1918 года, стр. 2.

⁴ «О Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания». Госполитиздат. М. 1963, стр. 580.

в Доме Союзов, подготовленную к съезду Советов Народным комиссариатом почт и телеграфов. На этой выставке демонстрировался прием передач, проводившихся радиотелефонным передатчиком; установленным в декабре 1920 года на Ходынской радиостанции. Незадолго до VIII съезда Советов через этот радиопередатчик был проведен успешный опыт радиотелефонного разговора с Берлином. Вот эти-то обстоятельства, очевидно, и трансформировались в памяти мемуариста.

Анализ многочисленных воспоминаний о В. И. Ленине показывает, что авторы большинства из них, как правило, плохо помнят даты событий, но хорошо помнят обстановку, в условиях которой происходили эти события, в которой жил и работал наш вождь.

Правильно поступают авторы большинства воспоминаний, когда они пишут только о том, что они помнят. «Я писала только о том, что особенно живо осталось в памяти,— указывала Н. К. Крупская во введении к своим воспоминаниям.—...Я писала первую часть почти исключительно по памяти»¹. «...Я пишу только то, что почему-либо врезалось в память,— писала Н. К. Крупская Л. Е. Гальперину (Конягину) по поводу своих воспоминаний «После II съезда».— У меня плохая память на даты, я плохо помню фамилии, но зрительная память у меня довольно сильная; вспоминая какое-нибудь событие, я прежде всего вспоминаю, где кто стоял, у кого какое выражение лица было и т. д. Благодаря зрительной памяти мне удалось восстанавливать такие мелочи, которые выясняли и некоторые даты»².

Вместе с тем Н. К. Крупская не полагалась в своих воспоминаниях исключительно на память, она все время проверяла себя, свою память³. «Начерно еще написала,— сообщила она в письме А. М. Горькому в 1930 году,— надо будет еще с целым рядом товарищей поговорить, проверить себя, многое дополнить надо»⁴.

В ряде рецензий и писем в редакции различных печатных органов сестра

В. И. Ленина А. И. Елизарова-Ульянова решительно возражала против печатания непроверенных воспоминаний, подчеркивала необходимость их проверки. «Печатанье без такой проверки,— писала она по поводу воспоминаний «Юношеские годы Ленина», опубликованных в № 8 журнала «Смена» за 1924 год,— является недопустимым невниманием к памяти Владимира Ильича»¹.

В рецензии на сборник «Первая годовщина», выпущенный издательством «Московский рабочий» в 1925 году к годовщине смерти В. И. Ленина, А. И. Елизарова-Ульянова также подчеркнула необходимость критической проверки воспоминаний. «Не мешало бы,— писала она,— например, проверить некоторые перепечатаваемые воспоминания, снабдить их примечаниями»².

Так именно и поступают многие авторы мемуарной литературы. «...Везде, где можно,— пишет в предисловии к своей книге воспоминаний И. М. Майский,— я проверял показания памяти документами, протоколами, письмами, дневниками, газетными отчетами и другими источниками, относящимися к моменту совершения описываемых событий»³.

Однако проверка авторами воспоминаний своей памяти не означает, что воспоминания должны базироваться исключительно на документах. Проверять память, необходимо вместе с тем писать только о том, что помнишь, чему был непосредственным очевидцем, свидетелем. Проверка по документам необходима лишь для активизации памяти и восстановления событий и фактов.

Мемуары, написанные не по памяти, а исключительно по документам и литературе, фактически перестают быть мемуарами.

Недостаток многих воспоминаний о В. И. Ленине состоит в том, что их авторы мало пишут о Ленине, слишком много пишут о себе, о своей роли в тех или иных событиях. «О себе, я думаю, мне писать в «воспоминаниях» надо было как можно меньше,— писала Н. К. Крупская в письме Д. Шабанову 24 мая 1933 года.— Это обычный недостаток всех воспоминаний, что люди пишут в них больше всего

¹ Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. Госполитиздат. М. 1957. стр. 4, 5.

² «Исторический архив». № 2. 1957. стр. 26.

³ См. Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине. 1957. стр. 5.

⁴ «Октябрь», № 6, 1941, стр. 24.

¹ «Пролетарская революция», № 8—9 (31—32), 1924, стр. 404.

² «Пролетарская революция», № 4(39), 1925. стр. 250.

³ И. М. Майский. Воспоминания советского посла, кн. 1-я, 1964, стр. 10.

о себе, мне хотелось не о себе писать, а об Ильиче, хотелось показать ту обстановку, в которой ему приходилось жить и работать. И что же мне писать о себе? Я крепко любила Ильича; то, что его волновало, волновало и меня; я старалась в меру своих сил и умения помогать ему в работе, но я ведь рядовой работник. Чего тут писать?»¹.

Нужно обладать настоящей большевистской скромностью, такой скромностью, которая была свойственна самому Владимиру Ильичу, чтобы в воспоминаниях о нем не выпячивать своей личности, не писать о себе больше, чем о Ленине. И мы видим, что авторы лучших из дошедших до нас воспоминаний о В. И. Ленине обладали такой скромностью. «Когда пишешь воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем,— говорил первый секретарь, а позднее управляющий делами СНК Н. П. Горбунов,— невольно приходится упоминать о себе. Это самое трудное, и это останавливает, так как хочется ступеньку свою личность перед огромной фигурой Ленина, самое упоминание о себе кажется нескромностью и профанацией. Я это особенно сильно чувствую, так как поставлен был Владимиром Ильичем на работу не за какие-либо революционные заслуги, а просто потому, что был из тех, кто пришел в момент восстания в Смольный и хотел работать»².

К сожалению, в опубликованных многочисленных воспоминаниях о В. И. Ленине не всегда все правдиво и точно. Среди них встречаются и такие, в которых много вымысла. «Все это — не воспоминания, а сплошная выдумка»³,— писала Н. К. Крупская о воспоминаниях В. Н. Кудряшова, посвященных пребыванию В. И. Ленина в Красноярске в 1897 году. «...Теперь выныривает из небытия,— писала А. И. Елизарова-Ульянова в 1930 году,— такое невероятное количество нянюшек Ленина, столько его «друзей детства»⁴.

Встречаются и такие воспоминания, авторы которых допускают сознательное искажение истины, идут на сознательный подлог, обман читателя.

Особенно не повезло в этом отношении факту участия В. И. Ленина в субботнике

в Кремле 1 мая 1920 года. Если бы все те, кто написал и опубликовал свои воспоминания об участии вместе с Лениным в субботнике, действительно участвовали в нем, то их не вместила бы Ивановская площадь Кремля, где происходил субботник.

Многие из авторов воспоминаний описывают этот факт не по памяти, а по имеющейся единственной фотографии участия В. И. Ленина в субботнике и по известной картине художника М. Г. Соколова. Интересно такая деталь, что почти каждый, вспоминающий о субботнике, пишет, что именно он в паре с Лениным носил огромные бревна.

Некоторые пишут заведомую неправду. Так поступил, например, бывший кремлевский курсант К. И. Чернов, который в воспоминаниях «На субботнике в Кремле» писал: «Рано утром мы вышли на субботник. Вдруг неожиданно для нас появился В. И. Ленин»¹. В действительности же К. И. Чернов лишь почти полтора года спустя после Первомайского субботника 1920 года, только 1 августа 1921 года², был зачислен в школу имени ВЦИК, а через год с лишним был уже отчислен из школы постановлением Военно-политической комиссии. Как же он мог участвовать в субботнике вместе с В. И. Лениным, если в то время не был еще кремлевским курсантом?

Особенно осторожного отношения требуют те воспоминания, в которых приводятся в кавычках тексты ранее неизвестных документов В. И. Ленина, или в прямой речи сообщаются его высказывания по различным вопросам, характеризуются его мысли, переживания, чувства в связи с теми или иными событиями.

Часто авторы приводят ленинские документы и высказывания по памяти или по рассказам других лиц и поэтому приводят их неточно. Помнить дословно, что писал или говорил Ленин много лет тому назад, авторы воспоминаний, естественно, вряд ли могут. Еще сложнее и деликатнее вопрос о мыслях и чувствах Ленина. «О том, что переживал Владимир Ильич, писать не надо,— указывала Н. К. Крупская.— ...Это очень опасный путь. Надо, чтобы правильно были изложены факты, чтобы был показан Ильич, каким он был в действительности,

¹ «Исторический архив», № 2, 1957, стр. 34.

² «Воспоминания о Владимире Ильиче», ч. 3, Госполитиздат. М. 1960, стр. 160.

³ «Исторический архив», № 2, 1957, стр. 31.

⁴ «На литературном посту», № 12, 1930, стр. 82.

¹ «Смена», № 7, 1958, стр. 4.

² Этот факт был установлен полковником в отставке М. П. Годным, бывшим адъютантом школы имени ВЦИК.

а тогда читатель и без слов поймет, как Ильич переживал то или иное событие»¹.

Более того, встречаются и такие случаи, когда отдельные авторы воспоминаний или литераторы, обрабатывающие воспоминания, сами сочиняют «документы», приводя их в кавычках. Наиболее ярким примером такого «сочинительства» является рассказ «Письмо Ильичу» П. Замойского, широко издававшийся и распространявшийся в свое время. В этом рассказе приводится текст письма за подписью председателя СНК Чембарскому уездному исполкому Пензенской губернии с просьбой оказать помощь крестьянину-бедняку села Соболевки Дудкину Парфену и направить его сына в школу. Как впоследствии выяснилось, текст письма был сочинен самим автором рассказа, а штамп бланка СНК и подпись Ленина были довольно точно воспроизведены при публикации рассказа.

Автору настоящих строк пришлось столкнуться и с другим аналогичным случаем. В одном из воспоминаний приводится текст неизвестной записки В. И. Ленина, характеризующий его заботу об окружающих людях. Сбившись, как говорят, с ног в поисках этой записки, мы обратились к автору воспоминаний, и он, глядя в глаза собеседнику своими ясными глазами, сказал, что он... сам сочинил эту записку. Хотя записка была сочинена с пониманием ленинского литературного стиля, подобные «воспоминания» о В. И. Ленине заслуживают самого сурового осуждения.

Н. К. Крупская особенно отрицательно относилась к так называемой литературной обработке, шлифовке воспоминаний. «...Чрезвычайно портит дело «обработка» материала, — писала она. — Тот, кто обрабатывал материал, думает, что будет лучше, если он отшлифует язык под речь «простого люда», и непереносно читать без конца эти уменьшительные: старичок, форелька, музейчики, чучелки, птички, зверечки, машинушки, кроватки, ножки»².

Некоторые из авторов воспоминаний, не имея достаточных литературных навыков, обращаются при написании своих воспоми-

наний за помощью к профессиональным литераторам, журналистам. Литературные записи воспоминаний в последнее время получили широкое распространение. Лучшие из них бережно сохраняют все то, что рассказал или записал автор воспоминаний: последовательность событий и фактов, их точность, личные впечатления и характеристики обстоятельств, лиц и т. д. Недобросовестные же лица, берущиеся за обработку воспоминаний, нередко в угоду литературной занимательности искажают события и факты, допускают вымысел, дают свои собственные характеристики событиям и людям. В результате от «литературно обработанных» таким образом воспоминаний не остается ничего авторского, ничего достоверного, о чем написал бы или рассказал сам автор воспоминаний.

Такие воспоминания теряют свое значение как исторические источники.

Лучшие воспоминания о В. И. Ленине написаны с идейных, партийных позиций. Они правдиво, исторически достоверно рисуют образ В. И. Ленина как революционера, мыслителя, стратега, организатора, вождя масс, обаятельного человека. Жизнь и деятельность В. И. Ленина в этих воспоминаниях предстает перед читателем в тесной связи с событиями истории Коммунистической партии и истории нашей страны.

Н. К. Крупская, которая предъявляла высокую требовательность к себе и к другим авторам воспоминаний, в отзыве на сборник воспоминаний «Детство и юные годы Ленина», готовившийся к изданию Профиздатом в 1936 году, писала: «Без политического стержня воспоминания о Владимире Ильиче всегда носят поверхностный характер»¹.

Указаниями Н. К. Крупской, А. И. Елизаровой-Ульяновой и других лиц, воспоминания которых являются образцами, должен руководствоваться каждый, кто берет перо в руки, чтобы поделиться драгоценными крупицами воспоминаний о величайшем человеке нашей эпохи — Владимире Ильиче Ленине. Воспоминания о Ленине должны быть правдивыми, достоверными и точными.

¹ «Исторический архив», № 2, 1957, стр. 34.

² Там же, стр. 36—37.

¹ «Исторический архив», № 2, 1957, стр. 36.

В. ШКЛОВСКИЙ

★

Память и время

Старые корабли были долговечны. Через много десятилетий плавания их разоюрили и дерево распиливалось.

Корабли строились из самого лучшего леса: из дуба, тика, красного дерева испанского и гондурасского, ореха и сахарного клена (птичьего глаза). Из старого корабельного леса делали мебель и оконные рамы, двери. Двери эти и мебель не скрипели и не коробились.

В России на такие поделки брали и доски полатей, и старые крестьянские лавки.

Старые, много жившие, побывавшие в походах и осадах люди рассказывали про прошлое внукам, а некоторые из них писали мемуары. Мемуары и устные рассказы были второй жизнью стариков.

Русская мемуарная литература своеобразна и велика; библиография русских мемуаров, составленная далеко не полно С. Р. Минцловым, занимает пять выпусков (Новгород, 1911—1912).

У русских мемуаристов училась реализму русская проза. Недаром «Капитанская дочка» «выстроена» как записки Петра Андреевича Гринева.

Молодой человек был свидетелем великих событий, он не все понимал, но он все видел по-своему; он как бы перепроверял историю, он свидетель, вызванный писателем для проверки показаний официальной истории.

Про записки Н. Дуровой Пушкин писал: «Сей час прочел переписанные Записки: прелесть! живо, оригинально, слог прекрасный».

Девушка-кавалерист не боялась говорить в книге о том, что на войне бывало очень страшно. Ее описание поля боя, солдатских учений, боевых ошибок необыкновенно реалистичны. К сожалению, увлекательная и кокетливая «Гусарская баллада», недавно выпущенная в кино, неизмеримо условней и водевильней, чем печальная повесть женщины, которая называла сама себя Александром Андреевичем и говорила о себе в мужском роде.

У этой женщины — в старости некрасивой, длинноносой и суеверной — учились писать просто и правдиво великие русские писатели, в том числе, вероятно, и Толстой.

Ведь всего труднее научиться говорить правду и видеть не так, как уже написано, а так, как ты сам видишь.

Пушкин мечтал написать мемуары, но он писал в то же время: «Писать свои Мѣтoи-гес заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая. Перо иногда останавливается, как с разбега перед пропастью — на том, что посторонний прочел бы равнодушно».

Лев Толстой учился говорить правду, ведя дневники почти всю жизнь. Он никогда не останавливался перед пропастью.

Писатель стремится к правде, потому что она — самое ценное, самое наполненное познание; она и есть художество, и художество — трудно достижимое. Исповедоваться очень трудно. Вспомните стихотворение «Воспоминание». Пушкину еще нет тридцати лет; он прожил славную жизнь, был не трусом, был хорошим товарищем, не хитрил, много работал. Кроме того, он был еще молодой, но вот что он пишет:

Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю...

Эти признания Пушкина, дошедшие до нас через эпохи, через войны, через революции, через смены литературных вкусов, — вечны; читая их, можно научиться говорить правду.

Мы переживаем величайшую эпоху. Мы должны говорить о том, что видали, но не сказали, должны договорить о себе, о долгих путях и должны во многом признаться, потому что пути жизни не так легки: на них изнашиваешься, как корабль в долгих скитаниях.

Воспоминания драгоценны точностью видения и правдивостью.

Недавно были напечатаны воспоминания С. Мотовиловой. Автор — не профессиональный литератор, пишет в старости, но какую «неизносимость» правды она показывает. Как хорошо она рассказывает об из-

вестном толстовце Черткове — красивом, богатым, обладающем сильной волей, стремящемся к какой-то условной добродетели и в то же время мелочном, скупом. Как хороша эта деталь — Чертков раздумывает, положить ли простыни книгоиздателю Сытину, который приехал к нему по делам в Англию. Простынь сколько угодно, и сам Чертков их не стирает, но приказал он постелить Сытину без простынь, потому что Сытин — мужик.

Я не буду пересказывать мемуары, напечатанные недавно.

Очень хороши мемуары летчика-испытателя Марка Галлая, генерала А. Горбатова, необыкновенно точны воспоминания Е. Драбкиной «Черные сухари».

Жизнь дана конкретно; чувствуешь реальность подвига.

Старые русские литературные мемуары необыкновенно разнообразны. Сколько рассказал нам о Гоголе П. Анненков, как хорошо говорила и проговаривалась Авдотья Панаева, пересказали для нас свою жизнь точно-беспощадно Короленко и Горький.

В жизни Андрея Белого было всего много: он ошибался, падал, подымался, писал стихи, прозу, временами овладевал вниманием всех, потом его забывали. Он дружил и ссорился, уезжал со своей родины и возвращался к ней, не понимая ее до конца, любил революцию, умел смотреть. Книга А. Белого «На рубеже двух столетий» наполнена наблюдениями, особенными по своему характеру. Здесь многое криво, странно, как будто в работу пошли куски корабля, кривизна частей которого совсем иначе была оправдана. Рассказываемое Белым не всегда значит то, что хотел выразить автор, но оно всегда выражает время, оно может быть истолковано, может пригодиться. Потому что тут есть характер писателя.

Даже для мебели нужна не средняя древесина, а дерево с фактурой и со своим строением.

Для написания мемуаров нужно иметь характер, судьбу и не скрывать ее. Средний человек вообще фикция. Несколько лет назад в Америке исследовали антропометрические данные летчиков. Количество людей «средних» по росту оказалось 7,5 процента, по длине ног — 1,8 процента. Человек — существо разнообразное. В искусстве он своеобразие выражает,

Удача мемуаристов — не писателей — определялась тем, что они не были средними людьми и не притворялись ими, не писали средним языком со средней точки зрения.

С книгой А. Белого «На рубеже двух столетий» сходна по названию книга Корнелия Зелинского «На рубеже двух эпох». Это подчеркивает ее мемуарность. Книга издана в 1959 году, но я вспоминаю о ней потому, что она вместе с дополняющей ее публикацией в «Огоньке» недавно стала предметом спора между автором книги и критиковавшим ее В. Катаняном.

Что представляет собой эта небольшая книга?

К. Зелинский в своей жизни много видал, много встречался с людьми. Кажется мне, что напрасно он сейчас, защищаясь от критики, приводил в «Огоньке» цитаты из писем покойного Гехта, доказывая, что он, Корнелий Зелинский, действительно был в квартире Владимира Маяковского и что тот читал ему стихи.

Все было: и с Маяковским Зелинский был знаком, и Луначарского знал.

Разговор идет не об этом, а о том, как и зачем это написано, о ценности книги как показаний современника, человека, который видел то, чего другие не видали.

Книга Корнелия Зелинского принадлежит к жанру мемуаров, но это не мемуары; эта книга — временами бесполезная как библиографическое пособие — вся написана по литературным источникам.

Правда, в ней вспоминаются люди несправедливо забытые: А. Гастев, М. Герасимов, А. Поморский, но они не столько вспоминаются, сколько напоминаются.

Если вспоминать про пролетарских писателей, то не надо говорить только об их именах: у них были судьбы, трудности, они знали, что их время пришло, но не знали еще, что это не только их время, а новое время человечества.

Им надо было бесконечно расширить свои знания, хотя сами они произошли от победившего класса и были верны ему.

Кажется, это было в 1918 году, не помню кто послал писательскую бригаду, в которую входили Илья Садофьев, Анна Радлова, Жига и я, на завод. Насколько я помню, это был «Русский дизель»; завод расположен на берегу Большой Невки, нанкосок от того места, где сейчас на вечном приколе стоит «Аврора». Мы должны были агитировать за поднятие производительности

труда. Помещение цеха большое, народу мало, старики, мальчики, старые или составившие женщины: рабочие были на фронтах. Мы начали говорить. Кажется, сперва Анна Радлова. Было уже холодно, у нее на плечах лежал какой-то мех. Осень, видна пустая река, небо, наполненное тучами,— и все через немытые стекла.

Люди раздражены, они кричали, перебивали нас.

Я сменил Анну Радлову и попробовал разговаривать с аудиторией. Мне сказали, что завод сейчас закрывают, потому что нет подвоза топлива, а мы пришли говорить о поднятии производительности труда.

Уголь в Петербург приходил из Англии, как балласт, на пароходе. Выгружали его перед этим самым заводом. Во время войны возили из Донбасса, сейчас Донбасс отрезан, дровами топить нельзя: где шел пуд угля, идет больше сажени дров, а дров тоже нет.

Вышел Илья Садофьев — белокурый, молодой. Начал с того, что он сам рабочий этого завода, обратился к старикам. Они его узнали. Тогда он стал говорить, что дело общее и трудности общие. Садофьев читал свои стихи. Помню через сорок лет две строки:

Глаза голодные детей,
Как солнцу, радовались вобле.

Женщина из толпы ему крикнула:

— А вобла где?

Вот как это было трудно и как трудно было людям, которые продолжали говорить, доказывать. Важно было сохранить руки, навыки, умение и достать для завода уголь «Русский дизель» потом работал, конечно, не из-за нашего выступления.

Вероятно, и Корнелию Зелинскому пришлось встречаться с такими делами в Кронштадте, но он вспоминает обобщенно, цитатно, не благодарно, хотя и восторженно.

Тяжел был груз Маяковского. Я знал много людей, которых ругал Маяковский; Маяковский про поэтов говорил заинтересованно, иногда резко, но не ревниво.

Он не мерил поэтов по себе и не считал свой путь единственным.

Когда Михаил Светлов написал «Гренаду», Маяковский очень хвалил стихотворение. Светлов сказал в смущении:

— Там рифмы плохие.

Маяковский ему ответил:

— Мне стихотворение так понравилось, что я не заметил, какие там рифмы.

Кажется, это где-то записано.

У Корнелия Зелинского было плохое отношение к Маяковскому. Он в статьях писал, что не любит великанов, и отрицал их довольно последовательно.

Правда, великанов в литературе не так уж много и можно отойти с их великаньей дороги и где-нибудь в углу попробовать самому вырасти.

Но вообще-то говоря, можно и не любить какого-либо поэта и спорить с ним, предпочитая ему других. Но если захочешь написать воспоминания об этом поэте, то не надо изображать былую неприязнь как горячую любовь. А это делает Корнелий Зелинский в своих воспоминаниях о Маяковском. Делает напрасно. У каждого человека есть своя дорога, но не нужно свое сегодняшнее отношение отбрасывать в прошлое, изображать себя неопытными. Это искажает историю и не украшает человека.

Лучше не подчищать то, что ты раньше ошибочно написал, нехорошо и зачеркивать прошлое столь густо. В конце концов можно не писать о человеке, которого не признавал, но зачем спор изображать как единогласие?

Чарльз Дарвин в книге, которая называется «Воспоминания о развитии моего ума и характера (автобиография)», писал о себе очень скромно. Одно его высказывание я хочу напомнить: учился Дарвин в Кембридже и, по своим словам, занимал среди своих учеников среднее место; был «во множестве», «в массе». Вот что он пишет про одну из своих геологических экскурсий: «Это путешествие дало мне разительный пример того, как легко проглядеть даже самые заметные явления, если на них уже не обратил внимание кто-нибудь другой».

Дальше идет краткое описание долины, которую проходила экскурсия: «...ни один из нас не заметил следов замечательных ледниковых явлений, окружавших нас со всех сторон: мы не заметили ни отчетливых шрамов на скалах, ни нагромождений валунов, ни боковых и конечной морен».

Между тем картина была очень ясна. Дарвин говорил: «Дом, сгоревший во время пожара, не расскажет о том, что с ним произошло, более ясно, чем эта долина. Если бы она все еще была заполнена ледником, эти явления были бы выражены менее отчетливо, чем теперь».

Гениальный человек видит, но не знает и отмечает свое незнание, потому что он заинтересован рассказом о развитии науки.

Очень легко написать про себя так, как будто ты уже заранее все знал, и очень трудно, но необходимо указать границы своего непонимания.

Очень легко описать войны и революции, поставив себя в положение наивного, но всеведущего человека. Можно писать и так, как писали в старину военные релянции, над которыми смеялся Лев Толстой.

Но скромность мемуариста — это его качество, без которого он не может существовать. Великий человек рукой шупал следы ледника и не понимал, где он находится.

Революцию мы видали и видим, она пылает перед нами, она нас создает, но стараемся ее описать так, как мы тогда ее видали, а не так, как мы ее сейчас понимаем. И людей, которых мы тогда видали, мы понимали не так, как сейчас.

К. Зелинский видел многих людей и о многих вспоминает в книге. Но людей этих не видно. Они введены так, что Зелинский оказывается их наперсником; они говорят ему то, что мы и без книги Корнелия Зелинского знаем, — говорят написанное в их прежних книгах.

Я не думаю, что К. Зелинский построил книгу так для того, чтобы сделать себя центральной фигурой эпохи. Думаю другое: вместо того, чтобы выступить свидетелем, он выступил сценаристом.

В свое время писались такие биографические сценарии: брались письма, статьи и косвенная речь обращалась в прямую. Делалось это неправильно, потому что ни один человек не говорит так, как пишет. Получались неинтересные ленты, потому что терялось время, обстановка, в которой что-то было сказано. Вместо этой обстановки создавалась другая, предельно благополучная, и герой, находясь в ней, говорил с экраном прямо на публику.

Но эти использующие чужие воспоминания и документы биографические ленты хоть не были автобиографическими лентами: кажется, таких вообще на свете нет, свое прошлое не надо инсценировать.

Книга «На рубеже двух эпох» автобиографична и в то же время по материалу несамостоятельна. Людей в ней много, но они использованы только для введения основного героя. Поэтому сами они оказываются неразличимым фоном.

Александра Блока я близко не знал, хотя говорил с ним подолгу и много раз. Стихи он мне не читал, потому что они были напечатаны, а то, что не было напечатано, неблизкому человеку и не поэту поэты не рассказывали. Блок был человек огражденный, замкнутый, куда-то торопящийся, говорил он коротко и не легко подпускал к себе людей, умел удивляться, но никому не давал похлопывать себя по плечу. Друзей у него было мало, с ними он был мягок.

Неконкретность почерка самого Зелинского особенно замечается тогда, когда он цитирует мастера. Вот приводимая им на 187—188 страницах цитата: «Какой вы шаг сделали после «Двенадцати», Александр Александрович...

Помню, — я стоял рядом — чуть дрогнули его щеки и ровным голосом ответил он:

— Никакого. Сейчас я думаю так же, как думал, когда писал «Двенадцать».

Это очень похоже на Блока, на минимальность его мимики, на напряженность голоса, но это, к сожалению, не Зелинский, это цитата из воспоминаний Федина.

Есть у Зелинского разговор с Блоком. Блок будто бы сказал ему так:

— Благодаяние революции в том, что она пробуждает к жизни всего человека, напрягает все его силы, открывает в его сознании такие углы, которые прежде молчали («На рубеже двух эпох», стр. 8).

Это уже цитата из самого Блока, из тома, где собрана его проза, только цитата не оговоренная. К. Зелинский нашел в неоконченном рассказе Блока «Исповедь язычника» несколько фраз, которые счел подходящими для ответа в инсценировке разговора. Он лишь немного их испортил, редактируя (у Блока не было «углов, которые... молчали»): «Одно из благодаяний революции заключается в том, что она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты» (Александр Блок. Собрание сочинений, т. 6, М.—Л. 1962, стр. 39).

Книга «На рубеже двух эпох» написана как обзорная статья, сводящая литературные источники. Кроме того, она выражает сегодняшнее отношение автора к тем событиям, которые происходили почти пятьдесят лет тому назад. Автор мог вспоминать, но вместо этого цитирует; у автора хоро-

шая память на книги и, вероятно, большая библиотека, которую он долго не чистил.

Мемуары — это рассказ о том, что сам видел или по крайней мере слышал в давнее время. Они — признание в том, что ты сам сделал и думал.

Замена собственного видения цитацией — ошибка.

В результате нет современника событий, о которых рассказывается, вместо этого появляется книжное всеведение.

Глава «Горький и «Всемирная литература» начинается так: «Идя с вокзала, я влился в эти толпы, невольно захваченный всеобщим возбуждением, оглушенный разноголосней спорящих партий» (стр. 280).

Конкретность тут одна: автор идет по улице. Дальше рассказано, что иногда налетал дождь, и тогда спорящие толпы разбегались.

И это уже неточно. В то время уличные митинги выдерживали не только дождь, но и мокрый снег; выдерживали и стрельбу, продолжая нужный спор о жизни, без цитат и условной литературщины.

Глава эта составлена так: цитата из Демьяна Бедного, потом пять строк разговора о страхе помещиков и сановников, которые, спрятавшись, «стояли за тяжелыми портьерами у зеркальных окон своих квартир», потом абзац с пересказом «Петербурга» Андрея Белого; дальше идет уже упомянутый разговор о дожде, потом идет страница, взятая из 25 тома Сочинений В. И. Ленина, потом упоминание о статьях Горького, потом опять цитата из Ленина. Цитата из Горького, еще цитата из Горького уже в примечании, сонет Валерия Брюсова, обращенный к Горькому, ответ Горького, выступление Горького на митинге 19 декабря 1919 года, еще несколько цитат из Горького, описание каталога «Всемирной литературы», цитата из предисловия к этому каталогу, — цитата очень большая и перебивается скрытой цитатой-пересказом; после этого идет список «редакционной коллегии экспертов», список редакторов, еще фамилии видных иностранных писателей, фамилии редакторов стихов, несколько слов от автора, цитата из Луначарского, пятнадцать строк автора, десять строк цитаты из берлинского журнала «Русская книга» (дано в примечании), упоминание о «Доме искусств» и список писателей, группировавшихся здесь и проходящих школу Горького.

В главе о Луначарском автор восклицает: «И вот теперь я вижу живого Ленина, я слушаю его соратника Луначарского».

Если человек упомянул, что он видел живого Ленина, то хорошо было бы постараться вспомнить, как он видел, что говорил Ленин, как он выглядел.

Но все занято песком цитат, засыпавшим живую речь.

В главе инсценировка произведена так: Луначарский ждет стенографистку и разбирает бумаги. Стенографистка запаздывает; пока что Луначарский рассказывает то, что будет застенографировано, Зелинскому. Зелинский не убежден, что он все запомнил, но не проверяет по книгам — не пришла ли наконец эта стенографистка и надо ли дублировать старый материал.

В этой главе разговор с Луначарским, посвященный воспоминаниям, занимает шесть страничек, идут фамилии, названия городов, упоминание книг философов; все подробно.

Я обладаю нормальной памятью, но через пять лет после разговора могу запомнить не больше трех-четырех фраз. Через сорок лет я помню только общее содержание разговора. Горький обладал необыкновенной памятью: он мог цитировать прозу Чехова страницами. В Гаспре Горький видел Толстого часто, приходил он поговорить. В дневниках Толстого — целый ряд беглых замечаний о Горьком, но записи разговоров коротки, в то же время они носят характер столкновений: это маленькие эпизоды с развязками — такие столкновения могли так запомниться.

Происходила долгая встреча Толстого с Горьким в Хамовниках; сохранилась запись Горького и запись Толстого, сделанная немедленно после ухода Горького. Тема разговора обоими указана одна и та же. Трагичность разговора о женщинах у Толстого передана откровеннее, чем у Горького, но попытки передать буквально разговор нет ни у того, ни у другого.

Запись на память четверти листа невозможна и не нужна. Появление ее в книге объясняется тем, что Зелинский собирался написать мемуары, а написал статью, в которой показал хорошую книжно-журнальную осведомленность и неточное видение жизни. Он взял чужой текст, обратил статьи в монологи, разбил их по лицам, но так и не смог создать действие.

Мне по этой книге даже показалось, что мир Зелинского скучен. Это даже не мир, а комната: стены оклеены газетами и журналами, многие листы наклеены вверх ногами. Вероятно, мастер собирался комнату оклеить обоями, но «длинных свитков воспоминаний» не оказалось.

Думаю, что с мемуарами, составленными по книгам, надо кончать.

Имена, даты, программы издательств, даже если это верно процитировано, не

могут быть основным материалом мемуаров. Это остается в книгах, а не в памяти отдельного человека.

Не надо и переносить сегодняшнее свое знание на сорок лет назад, потому что тогда лишаешь себя места в историческом процессе.

Вспоминая, мы должны возвращаться в прошлое, вспомнить, что мы тогда знали, и не бояться дописать, как мы ошибались. Тогда будет ясно, в чем были правы другие.

Л. МАЛЮГИН

★

Сочинение с ошибками

(Заметки на полях мемуаров А. Штейна)

Воспоминания нахлынули толпой... Они стали сейчас едва ли не самым распространенным литературным жанром. Раньше мемуаристы довольствовались книгами, им редко удавалось проникнуть на страницы журналов. А если и удавалось — печатали их во второй половине номера мелким шрифтом.

Сейчас воспоминания можно встретить в каждом толстом журнале. Они заметно потеснили беллетристику. Читатель на это вряд ли посетует. И потому, что мемуары всегда любимы читателем, и потому, что долгие годы они были почти запретным жанром. Настало время, когда можно вспомнить тех людей, которые, казалось, обречены на забвение, посмотреть на события минувших дней «свежими, нынешними глазами».

Журнал «Знамя» печатал в пяти номерах этого года (№№ 4, 5, 6, 7, 8) книгу воспоминаний драматурга Александра Штейна.

Заглавие книги мемуаров «Повесть о том, как возникают сюжеты» наверняка привлечет внимание читателя. Каждому любителю литературы заманчиво заглянуть в творческую лабораторию писателя. Интерес к жизни писателя соединяется с возможностью взглянуть на его произведения с новой стороны. Оказывается, сю-

жеты — не плод кабинетной выдумки, а подсказаны писателю самой жизнью. Проверка жизнью едва ли не главная для писателя.

Мемуары А. Штейна начинаешь читать с большим интересом. В них много рассказано про ленинградскую блокаду, про летчиков, офицеров, военных журналистов. Читатель встречается в ней с художниками, о которых уже немало писалось, — с Вишневым, Охлопковым, Лавреневым; здесь много нового, не замеченного другими. Рассказывает книга и о литераторах, которые, может, и не сделали крупного вклада в советскую литературу, но служили литературному делу преданно и беззаветно. Впервые, например, широкий читатель узнает о мужественной жизни литератора Александра Зонина.

Книга написана ярко, живо. В этой живости есть, правда, излишества, чрезмерная изысканность стиля, от которой один шаг до безвкусицы. Когда Штейн пишет, например: «Дым изышен, легок, стелется, словно кисея подвенечной фаты», — хочется остановить его просьбой не говорить так красиво. Вместо того, чтобы сказать просто: «Я пришел к Вишневному», он выражается так: «В 1942 году посетил я его деревянную обитель». Это плохо не только потому, что сказано напыщенно и величаво.

Трудно подыскать более неподходящее слово, чем «обитель», для дома Вишнезского, куда во время блокады круглые сутки приходили люди, где ни на минуту не воцарялись тишина и покой.

Подобные литературные красоты встречаются в книге, но в конце концов с ними можно примириться, утешаясь тем, что, быть может, лучше излишества, чем словесная бедность и скука.

Мне кажется, что бедой книги Штейна является то, что, начав писать воспоминания, он не удержался от искушения продемонстрировать перед читателем и свое драматургическое мастерство.

Пушкин говорил: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным». Эти слова уместно применить к Штейну, поскольку он дважды ссылается на них в книге (оба раза, увы, неточно приводя пушкинский текст).

Для своей книги воспоминаний Штейн выстроил острый, крепко сколоченный сюжет. Жанр мемуаров не имеет точных границ — рассказчик вправе вспоминать и давно минувшее, и сегодняшнее, даже заглядывать в будущее, рассказывать о людях и о себе, делиться своими размышлениями о жизни. Воспоминаниям противопоставлено, по существу, только одно — выдумка, вымысел.

Драматургический сюжет в книге мемуаров столь же излишен, сколь он необходим в драме. Искусный сюжет, выстроенный Штейном, придает книге элемент искусственности.

В центре сюжета — история создания пьесы «Гостиница «Астория». Когда рассказывается о ленинградской блокаде, эти воспоминания кажутся и естественными и достоверными. Но когда сегодняшние впечатления и встречи автор подгоняет к той же теме — «Гостиница «Астория», — здесь и возникает атмосфера искусственности.

Сюжет завязывается оригинально. Воспоминания о блокадной «Астории» прерываются беседой Штейна с его попутчиком-австралийцем на океанском лайнере во время зарубежной поездки автора. Начало этой беседы настораживает: австралийский бизнесмен с ничем не объяснимой скроменностью делится с незнакомым человеком своими коммерческими махинациями. Но разговор быстро сворачивает на **нужную** автору тему: австралиец говорит,

что он остановится в гостинице «Астория», и спрашивает несловоохотливого собеседника, комфортабельна ли она?

— Вполне, — отвечает тот лаконично.

Такой эффектной концовкой завершается глава, посвященная блокадной «Астории». И невольно начинаешь думать, что австралиец говорит не то, что ему хочется, а то, что необходимо автору.

Сюжет продолжает разворачиваться... На океанском лайнере происходит еще одна встреча: «На палубе русская, с нерусским акцентом (как я это не заметил ее раньше, и ее стареющую статью, и нелепую шляпку ее со страусовым пером, точь-в-точь какие носили модницы в канун первой мировой войны)».

Может быть, и возможна такая дама, которая хранила шляпу полвека. Но неужели именно в этой шляпе дама (да еще с «нестареющей статью») возвращалась на родину?

Впрочем, дело не в шляпе, а в даме. Дама еще более странная, чем ее шляпа. Она «то ли шепчет, то ли напевает...

— А Исаакий святой
С колокольни витой...

Актриса? Из бывших бестужевок? Или дама из общества?..

Через тумбу-тумбу-раз!
Через тумбу-тумбу-два!
Через тумбу-тумбу-три!
Спотыкается!»

Штейн не раз возвращается к этой даме. Воплощая собой ностальгию, тоску по родине, она всю дорогу воспоминаний будет шептать «то в оцепенении, то в забытьи» слова странной в ее устах песни.

Впрочем, в ней ведь говорится об Исаакии, а от Исаакия два шага до гостиницы «Астория». Дама в шляпе полувековой давности принимает эстафету от австралийца и продолжает сюжет.

Искусно? Может быть.

Искусственно? Да.

Рассказчик, излагающий правдивую историю, но присочиняющий в деталях, неизбежно теряет доверие слушателей.

Штейн вспоминает о том, как разорвался снаряд в тот самый момент, когда он переступил порог номера гостиницы.. «Таков был салют по случаю занятия номера в гостинице «Астория».

Мы невольно начинаем раздумывать: так ли было на самом деле или это эффектная сцена, продиктованная законами жанра?

Книга воспоминаний заканчивается водевильной концовкой — автору пьесы «Гостиница «Астория» не оказалось места в этом отеле. Прием использован до конца — ведь где-то в середине книги говорилось: «Итак, я остановлюсь в гостинице «Астория». Прав мой милый попутчик... это романтика».

Сюжет достроен дорогой ценой — читатель теряется в догадках: где автор вспоминает то, что было, а где сочиняет.

Искусственный сюжет не только повредил достоверности книги. Все воспоминания радиусами сошлись к пьесе «Гостиница «Астория». Штейн упоминает и о других своих пьесах и сценариях, но об этом говорится мимоходом, между прочим. Когда заканчиваешь книгу, остается ощущение, что все увиденное и пережитое писатель отдал пьесе «Гостиница «Астория». Сюжет сделал ее центром книги. Это было бы досадно даже в том случае, если бы эта пьеса была вершиной творчества драматурга. Но хотел ли он сам добиться такого впечатления?

Итак, вместо повести о том, как возникают сюжеты, получилась повесть о том, как возник один сюжет.

Значительное место в книге заняли воспоминания о встречах с деятелями литературы и искусства. Среди портретов и зарисовок есть немало талантливых, своеобразных, но, как бы ни уважать манеру портретиста, все же сходство с натурой — первое условие портрета.

В главе о Лавренте Штейн пишет: «С осуждением произносилось довольно точное определение доминанты лаврентевского творчества: «Ищет необычных иллюзий, возвышенной героинки, сильных чувств и страстей».

Но «довольно точное определение доминанты лаврентевского творчества» Штейн передает в неточном виде. Цитата взята из статьи А. Селивановского в «Литературной энциклопедии». Если обратиться к первоисточнику, то она звучит так: «Ищет необычных коллизий». Не иллюзий, а коллизий. За поиски иллюзий драматурга можно осуждать, за коллизии — вряд ли.

Далее:

«Он и в самом деле искал все перечисленное.

...Как искал все перечисленное ста годами раньше автор «Мцыри», «Демона», «Кавказского пленника».

...Как искал все перечисленное двумя тысячами лет раньше автор «Меден» Еврипид».

Эк куда метнул! Штейн пишет, что Лаврентев был склонен к преувеличениям. Но при всем своем воображении Лаврентев почувствовал бы себя неловко, очутившись в этом произвольном триедином ряду.

Кстати, о преувеличениях в устных рассказах Лаврентева. Штейн вспоминает два его «ошарашивающих» рассказа — о том, как человек жестоко пострадал от горного солнца, и о коллективном отравлении рыбой на обеде у херсонского губернатора.

Быть может, Лаврентев действительно рассказывал нечто подобное, но говорится об этом так, что в представлении читателя он из своего почетного соседства с Лермонтовым и Еврипидом переходит в близнецы барона Мюнхгаузена. Неужели Штейн не чувствует, что портрет писателя, о котором он так долго вспоминал с любовью, на глазах у изумленных читателей начинает походить на шарж?

В портрете Вишневского, нарисованном Штейном, нет столь резких контрастов, как при изображении Лаврентева. Но склонность к преувеличению и здесь дает себя знать.

Вспоминная литературную борьбу вокруг пьес Вишневского, Штейн сравнивает ее с ожесточенными нападками на Маяковского, с травлей Пушкина — все это без раздумья ставится в один ряд.

С такой же легкостью ставит он в один ряд, так сказать по тематическому признаку, выдающуюся пьесу «Оптимистическая трагедия» и «У стен Ленинграда» — произведение слабое.

Конечно, литературный портрет — не литературоведческое исследование, первым условием которого является объективность. Но и субъективность имеет свои границы.

Не умаляя заслуг Вишневского перед советской литературой, мы говорим об идейно-художественных слабостях его пьесы «Незабываемый 1919-й».

Штейн останавливается на этой пьесе подробно. «Из литературной биографии

Вишневого не выкрадешь его последней пьесы», — пишет он.

Выкрадывать пьесы из биографии — занятие странное. Полезнее разобратся в причинах неудачи драматурга.

Штейн пишет о «Незабываемом 1919-м» так, будто в неудаче пьесы виноват кто угодно, кроме самого автора: «Театр, пресса, критика, друзья курили ему фимиам за то, что он курил фимиам». Сказано хлестко, но вдумаясь в смысл этого каламбура. Что это за друзья, которые курят фимиам, да еще тому, кто сам курит фимиам?

Штейн продолжает: «И он, как и многие другие писатели, и я в том числе, славил, монтировал, тянул за волосы исторические факты... приписывая заслуги многих одному, отводил в тень многих — ради одного... Вклеек в те времена было много: в живописи, в драме, в поэзии, — и только люди, стоявшие в стороне, «механические граждане», полагали, что эти вклейки объясняются низменными соображениями. Случались и низменные соображения, и приспособленцы, и карьеристы — случались! — но я пишу о тех, кто, подобно Вишневному, работал искренне, делал вклейки, имея в виду самые возвышенные интересы».

Оказывается, и такого рода вклейки можно делать с возвышенными интересами!

Конечно, были художники, искренне заблуждавшиеся в оценке Сталина, но при чем же тут «вклейки»? Есть же все-таки разница между самообманом и готовностью к «вклейкам».

Однако Штейн повторяет все настойчивее: «Писал Вишевский свой «Незабываемый» искренне, от души... возвеличивая вождя, которому был предан».

«Верилось, что Вишевский взялся за проблему гигантскую».

«Да, верил, как все верили. Да, помогал развиваться... тому уродливому, что мешало революции и ее принципам, тому, что определено формулой «культ личности»».

Интонация утвердительная и такая патетическая, что начинаешь думать: о чем, собственно, идет речь? О тяжелых ошибках или о литературном подвиге?

Ошибки надо не оправдывать, а осознавать, чтобы они больше не повторились.

Глава о Вишевском называется так: «О Вишевском и не только о нем...»

Говоря «не только о нем», А. Штейн

говорит и о себе. Он тоже занимался «вклейками» — вписывал сцены со Сталиным в пьесу «Пролог». Но автор находит смягчающие вину обстоятельства — додумался до этих вклеек не он сам, подсказал ему, из добрых побуждений, конечно, коллега. Настали иные времена, злосчастный эпизод был выкинут, и пьеса сохранилась.

Вклейки из пьесы, как видим, выкидываются с такой же легкостью, с какой они делались.

Воспоминания — это не только рассказы о встречах, но и размышление о прожитой жизни, о своей творческой судьбе. Мы, признаться, думали, что, заговорив об ошибках Вишневого, Штейн не менее подробно расскажет и о своей пьесе «Закон чести». О том, как возникал этот сюжет. А ведь возникал он не в кабинете писателя, не как плод чистого воображения драматурга.

В основе пьесы лежит — увы! — жизненный сюжет: несправедливое обвинение двух советских ученых, только в ней это обвинение представлено как справедливое. Теперь ученые реабилитированы и продолжают трудиться во славу советской науки. А пьеса?

А. Штейн ничего не пишет о ней. Правда, однажды он упоминает ее, но лишь для того, чтобы сказать, как талантливо показал Охлопков на репетиции несколько ее персонажей. И только.

Точность — едва ли не первое условие мемуарного жанра. Память человеческая изменчива. Ошибки у мемуаристов не только возможны, но, пожалуй, и неизбежны.

Но ошибки ошибкам рознь! Читатель простит мемуаристу ошибки памяти при рассказе о давней встрече. Но не помирится с ошибками, которых автор мог бы избежать, если бы не понадеялся на свою память, а прибегнул бы к самой элементарной проверке.

Вспоминая то, что далеко, Штейн путает то, что близко. Он едет из Лондона в Ленинград морем, проехал Стокгольм и, вспомнив столицу Швеции и дождь, шедший там, добавляет: «Датчане приняли эстафету у шведов: дождь и в Копенгагене».

Но каждому школьнику известно, что, если плыть из Лондона в Ленинград, сна-

чала будет Копенгаген, а потом уже Стокгольм.

Рассказывая о первых днях войны, Штейн говорит, что эшелон с детьми и женами писателей из Ленинграда «уходит на север, куда-то в Ярославскую деревню». Но Ярославская область расположена не на севере от Ленинграда, а на юго-востоке.

Но, может быть, мы слишком придирчивы, требуя от писателя географической точности? К сожалению, и в его литературных экскурсах немало путаницы.

«Цитирую на память, врезалась», — обмолвился как-то Штейн по поводу одной из своих цитат. Но память часто подводит. Да и зачем цитировать по памяти — проще снять с полки книжку и привести цитату точно. А то возникают ошибки весьма конфузные.

Штейн плохо помнит шекспировского «Гамлета». Он пишет: «Фортинбрас и Гильденстерн — это люди-символы», явно имея в виду Розенкранца и Гильденстерна. В другом месте режиссер Охлопков раскланивается с парой — Фортинбрасом и Гильденстерном, — и мы уже понимаем, что переименование Розенкранца в Фортинбраса — это не обмолвка мемуариста.

И сколько таких небрежностей рассыпано по книге!

«Молодой Каверин... весело глумится над нашими первыми литературными опытами», — вспоминает Штейн.

Каверин был и моим литературным наставником. Я вспоминаю, какую претенциозную чепуху писали мы в юности, но Каверин, конечно, никогда не глумился (да еще весело!) над нашими опусами. Да и трудно придумать более неподходящее слово для человека, преданного литературе, уважающего каждого литератора и особенно литературную молодежь.

Штейн утверждает, что большинство пьес Евгения Шварца увидело сцену только после его смерти. Это тоже преувеличение. Шварц увидел все свои пьесы, кроме «Голого короля», поставленного уже после его смерти.

Штейн называет артистку ленинградского театра имени Пушкина Рашевскую Раневской. Том «Литературной энциклопедии» со статьей об А. Зонине относит к «началу двадцатых годов», хотя он вышел ровно в 1930-м. Показывая раннее созревание людей в первые годы революции, Штейн

говорит, что Фадееву был двадцать один год, когда он вместе с делегатами партийного съезда пошел штурмовать Кронштадт. Но Фадееву было тогда всего девятнадцать лет.

Особенно досадно, когда на основе неверной цитаты выстраивается целая концепция.

Штейн пишет:

«Что такое жена?

Чехов ответил на этот вопрос монологом. Это известно.

Известно также и то, что монолог, не раз переписывавшийся, на люди явился одной фразой.

Жена есть жена.

Все остальное перечеркнуто. Чеховская рука не знала пошады.

Загадочная, изумляющая своей нечеловеческой силой скупость его письма и на этот раз вместила в одну фразу всю философию и все вариации из века в век вторяющегося сюжета...».

Сказано несколько витиевато, с преклонением перед Чеховым, перед «нечеловеческой силой скупости его письма».

Но заглянем в пьесу «Три сестры». Там можно прочитать следующее:

«А н д р е й. Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто принижающее ее до мелкого, слепого, этакое шершавого животного. Во всяком случае она не человек». И т. д. Нет смысла приводить полностью этот замечательный монолог — он известен каждому читателю и зрителю. Давно исправленная историками литературы неточность в мемуарах Станиславского заново воскрешена и «развита» в книге Штейна.

Кстати, на основе фразы: «Жена есть жена», взятой эпиграфом к главе, Штейн выстраивает нечто вроде концепции о женах художников — от Софьи Толстой до Софьи Вишневецкой (жене Вишневого), пожертвовавших всем ради своих мужей. Портрет Софьи Вишневецкой сделан блестяще, но если бы Штейн заглянул в пьесу, то воздержался бы и от рассуждений, и от эпиграфа, ибо Чехов говорил о совсем иных женах.

Штейн пишет о жене Леонида Андреева — «Даме Шуре»: «Когда умерла «Дама Шура», умер писатель Леонид Андреев, хотя он физически, как известно, жил дольше».

Этот литературный экскурс осуществлен мемуаристом при помощи воспоминаний Вересаева о Леониде Андрееве. «Таков смысл вересаевских воспоминаний, как они мне запомнились», — пишет Штейн.

Но Вересаев делился своими воспоминаниями о Леониде Андрееве не с одним Штейном — они опубликованы.

Стоит заглянуть в первоисточник, как возникшая версия оказывается под угрозой. Вересаев действительно вспоминает рассказ Леонида Андреева о том, как жена помогала ему в творчестве, приводит его слова: «Не похоронен ли вместе с ней

(женой.— Л. М.) Леонид Андреев», но сам он нигде не говорит, что после смерти «Дамы Шуры» Леонид Андреев умер как писатель. Да он и не мог этого сказать. Ведь Леонид Андреев был женат на «Даме Шуры» всего четыре года, и после ее смерти создаются как раз наиболее известные его вещи, происходит сближение с Горьким.

Лихтенберг считал, что хороший писатель должен отвечать следующим требованиям: простота, искренность, точность.

Эти условия особенно необходимы для авторов воспоминаний.

* * *

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. Статья В. Катаняна «О сочинении мемуаров» («Новый мир», № 5, 1964) вызвала возражения со стороны В. Левина («Литературная газета», 9 июля 1964 года) и К. Зелинского («Огонек», № 30, 1964). Оба эти автора отстаивали достоверность воспоминаний К. Зелинского о Маяковском и его же книги «На рубеже двух эпох», которые в числе других произведений были подвергнуты критике в статье В. Катаняна. Однако они не смогли опровергнуть ни одного существенного критического замечания, касающегося фактической стороны дела и методики работы Зелинского. Об этой методике достаточно убедительно говорится в статье В. Шкловского. Однако количество примеров, приводимых им, можно увеличить.

В. Шкловский уломинает счерк Зелинского о Луначарском и называет его мало достоверным. В самом деле, в этом очерке Луначарский неправдоподобно много рассказывает Зелинскому о своем прошлом (с знакомстве с Лениным, о Плеханове, Розе Люксембург, Мартове, Богданове, о «цветном марксизме», о швейцарском поэте Шпиттелере и т. д. и т. д.), а Зелинский удивительно точно все это запоминает. Однако все эти чудеса памяти объясняются весьма просто. Дело в том, что все, будто бы рассказанное Луначарским Зелинскому в тот день, давно уже, за десять лет до этого разговора, было напечатано в брошюре Луначарского «Великий переворот (Октябрьская революция)» (изд. З. Гржебина. П. 1919).

Мемуарист взял из книги Луначарского, давно ставшей библиографической редкостью, две главы — «Мое партийное прошлое» и «Владимир Ильич Ленин», переставил Шпиттелера из конца в начало, оживил повествовательную форму разговорными оборотами речи, кое-где вставил «как я помню» или «кажется, в конце 1904 года», иное пересказал своими словами и таким образом из воспоминаний Луначарского сделал свое «воспоминание» о Луначарском.

Часто К. Зелинский создает свои «воспоминания» и при помощи более общедоступных источников. Он берет, например, цитату из выступления Максима Горького (Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 24, М. 1953, стр. 186—187), слов в слово переписывает ее к себе в книгу («На рубеже двух эпох», 1960, стр. 261—262) и при этом только делает вид, что не может припомнить точной даты... «Не помню уже сейчас точно, когда было это (вероятно, в декабре 1918 года), но отчетливо помню высокую фигуру Горького с листочками в руке». Правдоподобия ради мемуарист ошибается на несколько дней, пренебрегая точным указанием горьковского тома, где сказано, что все это происходило 29 ноября 1918 года.

Подобные вялые компиляции из цитат и пересказов мало что могут прибавить к представлению о человеке, о котором мемуарист хочет рассказать. Не лучше ли в таком случае обращаться прямо к первоисточнику?

В своем ответе К. Зелинский прибегает, к сожалению, к приемам, которые не имеют ничего общего с принципиальной полемикой: цитирует гимназические стихи своего оппонента, приводит старые надписи на книгах, поминает без всякого основания и нужды имя Л. Ю. Брик, упрекает Маяковского за то, что он недостаточно оригинально подписывал свои личные письма, и т. п. Всем этим критик лишь роняет себя в глазах читателей, и мы не считаем возможным вести с ним полемику на таком уровне.

Но есть один вопрос, который остается принципиально важным. К. Зелинский писал в «Огоньке», что главное в мемуарах — «образ человека или событий плюс достоверность приводимых фактов». Но можно ли отделять «образ человека или событий» от самой достоверности фактов? Верность фактам, тому, что действительно было, а не «могло быть», во всех случаях определяет главную ценность произведений мемуарной литературы.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМО А. К. ВОРОНСКОГО В. И. ЛЕНИНУ

В 1921 году в Москве начал выходить литературно-художественный и научно-публицистический журнал «Красная новь», сыгравший значительную роль в развитии советской литературы. Организатором и первым редактором его был талантливый советский критик Александр Константинович Воронский. Он пришел в литературу, имея большой опыт партийной, журналистской работы.

В Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС имеются документы 1919—1922 годов, отражающие непосредственные контакты А. К. Воронского с В. И. Лениным.

А. К. Воронский обращался к В. И. Ленину с просьбами, рассказывал о своих наблюдениях, делился размышлениями, откровенно писал о трудностях, с радостью сообщал об успехах социалистического строительства.

Первые два письма А. К. Воронского, сохранившиеся в делах Совнаркома, написаны им еще до того, как он стал во главе «Красной нови», а работал в Иваново-Вознесенске редактором губернской газеты «Рабочий край». Они показывают, какими интересами жила газета и ее ответственный редактор, содержат любопытные черты общественного и политического быта тех лет, свидетельствуют о тесной связи В. И. Ленина с партийным активом, с поднявшимися к творчеству новой жизни трудящимися массами.

В один из самых трудных месяцев 1919 года (В. И. Ленин получил письмо 25 ноября) редактор «Рабочего края» обращается к Председателю Совнаркома с некоторыми просьбами делового характера. Ленин, ознакомившись с письмом, направил его в военное ведомство для принятия мер. При этом он попросил письмо по прочтении вернуть¹.

В этом письме, от которого веет суровой обстановкой гражданской войны, мы находим упоминания о фактах большого политического значения. Воронский сообщает В. И. Ленину, что партийная неделя в губернии прошла хорошо. Конечно, к этому времени В. И. Ленин уже знал итоги партийной недели и по всей стране, и по Иваново-Вознесенской губернии. Еще в октябре он выступил на страницах «Правды» со статьей «Государство рабочих и партийная неделя», в которой с поразительной глубиной раскрыл значение массового вступления рабочих в ряды коммунистов. Но как мог партийный активист тех дней, обращаясь к руководителю партии и государства, обойти такое важное событие и еще раз не порадоваться вместе с В. И. Лениным от сознания неисчерпаемости источников силы советского строя?

Летом 1920 года А. К. Воронский побывал в родных местах, на Тамбовщине (в южной части Усманского уезда), и впечатления, которые он вынес из поездки, поспешил сообщить В. И. Ленину. Он писал о тех явлениях деревенской жизни, над которыми в то время усиленно размышлял В. И. Ленин: об упадке производительных сил деревни, о снижении хозяйственных стимулов у крестьянина, о тяжести продовольственной разверстки.

¹ Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (далее ЦПА ИМЛ), ф. 2, оп. 1, ед. хр. 11834, л. 1.

Воронский заметил не только теневые стороны жизни крестьян, вызванные тяготами гражданской войны. Он увидел сложность и противоречивость проходящих в деревне процессов. Трудящийся крестьянин в открытую критикует продрозверстку не потому, что отделяет себя от интересов Советского государства. Наоборот. «...Нужно отметить,— пишет Воронский,— что крестьяне уже понимают, что хлеб государству нужно давать, что без этого нельзя»¹. Крестьянин хочет такой политики, которая позволяла бы ему и давать хлеб государству, и открывала бы перспективу подъема пришедшего в упадок двора.

Это письмо Владимиру Ильичу А. К. Воронский писал 26 сентября 1920 года, находясь в Москве. Существенны новости, сообщаемые им о восстановлении и пуске текстильных фабрик в Иванове, о своих намерениях помочь М. В. Фрунзе на соляном фронте.

«Я сижу пока в Иванове. Переправляю Вам также доклад о снабжении нашей Красной губернии, составленный нашим Губпродкомом. У нас пускают 18 фабрик текстильных. Думаем, что с этим справимся. Если отпустит губком, рассчитываю месяца на 2 хотя бы урвать время и помочь, чем могу, т. Фрунзе на соляном фронте. Он мой старый приятель по тюрьме[...]. Теперь у нас, ивановцев, будет сильная тяга на юг, ибо к Фрунзе многие поедут с большой готовностью. Пока всего лучшего. Я здесь на конференции и на сессии². Хотел добиться свидания с Вами минут на 10, да раздумал. Очень у Вас много дел. Обойдусь пока письмом. Кое-что следовало бы рассказать про наши фабрики, но отложим до другого раза... когда не будет войны»³.

Слова: «Я сижу пока в Иванове» — позволяют предположить, что к концу 1920 года у А. К. Воронского созрело желание переменить место работы, уехать из Иванова. Но на месте он, по-видимому, поддержки не нашел: в октябре 1920 года на 12-й губернской партийной конференции А. К. Воронский избирается членом губкома и членом бюро губкома РКП (б).

В то время Учетно-распределительный отдел (Учраспред) ЦК РКП(б) приступил к систематическому передвижению партийного актива. Это было вызвано решениями IX съезда РКП(б) о перераспределении партийных сил в общегосударственном масштабе и IX Всероссийской конференции РКП(б), обязавшей в центре и на местах «систематически перемещать ответственных работников с места на место, дабы дать им возможность шире изучить советский и партийный аппарат и облегчить им задачу борьбы с рутинной»⁴. В конце января 1921 года Учраспред ЦК РКП(б) извещал коммунистов о перемещении очередной группы ответственных работников, среди которых был и А. К. Воронский, переводившийся в Москву — в Главполитпросвет⁵. 3 февраля 1921 года Н. К. Крупская (председатель Главполитпросвета) подписала приказ о назначении А. К. Воронского заведующим редакционно-издательским подотделом Главполитпросвета⁶, а уже через два дня Воронский входит в комитет Главполитпросвета с предложением о создании журнала «Красная новь».

Все эти даты позволяют предположить, что Воронский ехал в Москву с уже выношенной мечтой организовать «толстый» литературно-художественный и общественно-политический журнал и с необычной энергией и быстротой осуществил свое желание.

Пятого февраля 1921 года он получает поддержку комитета Главполитпросвета.

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30228, л. 1.

² А. К. Воронский присутствовал на X Всероссийской конференции РКП(б), проходившей 22—25 сентября 1920 года. Как член ВЦИК, он участвовал в работе очередной сессии Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 28—29 сентября 1920 года.

³ ЦПА ИМЛ, ф. 461, ед. хр. 30228, л. 2—2 об.

⁴ См. «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Часть I. Госполитиздат, 1953, стр. 497 и 510.

⁵ «Известия ЦК РКП(б)», № 27, 1921, стр. 7.

⁶ Центральный Государственный архив Октябрьской революции (далее ЦГОАР), ф. 2313, оп. 1, ед. хр. 47, л. 4 об.

Затем Н. К. Крупская и А. К. Воронский обратились в Политбюро ЦК РКП(б) с соответствующим предложением:

«...На заседании 5/II с. г. Комитет Главполитпросвета постановил издавать периодический журнал (предполагается назвать «Красная новь»). В журнале намечаются отделы: литературно-художественный, политико-экономический, научный, информационный, публицистический, библиографический. Журнал рассчитывается на нового читателя: слушателей рабочих факультетов, командных курсов, советских курсов, советских и партийных школ. Объем журнала 14—15 печатных листов. Выходить будет один раз в полтора — два месяца в количестве 15 тысяч экземпляров. Во главе журнала будет поставлена литературная коллегия, подобранная по намечающимся отделам, о чем в настоящее время ведутся соответствующие переговоры с авторитетными учеными, художниками и партийными товарищами. Список членов редакционной коллегии дополнительно будет сообщен. Руководство организационной работой поручается тов. Воронскому, заведующему редакционно-издательским подотделом Главполитпросвета. Ведутся также переговоры с Госиздатом относительно слияния отдельных журналов в один при Главполитпросвете»¹.

Судьбу «Красной нови» предрешила поддержка Владимира Ильича. Об этом рассказали впоследствии А. К. Воронский и Вс. Иванов².

В. И. Ленин поддержал кандидатуру А. К. Воронского на пост ответственного редактора первого «толстого» журнала. Руководить литературным отделом «Красной нови» дал согласие А. М. Горький. О Воронском Ленин был высокого мнения, считал его старым, надежнейшим партийцем. Именно такими словами он характеризовал А. К. Воронского, направляя его ноябрьское письмо 1919 года в военное ведомство.

В личном деле члена Общества старых большевиков А. К. Воронского (он вступил в общество в ноябре 1922 года) мы находим материал, в какой-то мере позволяющий судить об основаниях ленинской характеристики. «Мне 39 лет, — читаем мы в документе, относящемся к 1923 году, — я — член партии с 1904 года, ни в каких других партиях не состоял, работал в самые глухие годы, о чем осведомлен хорошо т. Ленин, Мария Ильинична Ульянова, Серебряков, Голощекин и др. Сейчас я нахожусь при Главполитпросвете»³.

Началась для Воронского трудная и очень интересная работа. Она захватила его целиком. Но никакой другой судьбы он в это время и не хотел. В анкете ответственных работников Главполитпросвета, заполненной в 1922 году, А. К. Воронский на весьма характерный вопрос: какую работу считаете наиболее подходящей для себя (методологическую, организационную или административную) и где (в местных или центральных учреждениях)? — ответил: редакционную⁴.

Были случаи, когда В. И. Ленин обращался к А. К. Воронскому с просьбой отрецензировать присылавшиеся к нему рукописи литературных произведений. Так, в феврале 1922 года секретарь Совнаркома Л. А. Фотиева по поручению В. И. Ленина направила Воронскому на рецензию пьесу Д. С. Коваленко «Большевик». Характерно, что Владимир Ильич полагается на Воронского и просит его дать отзыв «еще какого-нибудь лица, компетентного в оценке литературных произведений». Воронский избрал рецензентом В. Плетнева — тогдашнего председателя Пролеткульта. Выбор был сделан, видимо, потому, что Плетнев сам был драматургом. Плетнев написал обстоятельную рецензию, в спокойном и доброжелательном тоне вскрыл недостатки пьесы, посоветовал автору учиться. Отзыв В. Плетнева из Секретариата Совнаркома был направлен автору пьесы, Д. С. Коваленко. Соответствующие документы, хранящиеся в Центральном партийном архиве, дают представление о характерном эпизоде литературной жизни первых лет советского строя.

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 60, ед. хр. 48, л. 89.

² См. «Прожектор», № 6, 1927, стр. 19 и «Красную новь», кн. 6, 1941, стр. 81—82

³ ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 2, ед. хр. 124, л. 11.

⁴ ЦГОАР, ф. 2313, оп. 8, ед. хр. 96, л. 8.

Письмо Воронского В. И. Ленину от 21 апреля 1922 года целиком посвящено вопросам литературы. Воронский посылает В. И. Ленину второй номер «Красной нови» за 1922 год и сопровождает его необходимыми пояснениями.

«Тов. Ленин! Посылая Вам очередной номер «Красной нови», считаю нужным написать это мое письмо.

В номере есть два имени — Базаров и Суханов, которые «режут ухо». И по содержанию в их статьях далеко не все наше. Я очень далек и от Базарова и от Суханова и если дал место их статьям, то произошло это вот почему. Сейчас приходится выдерживать бешеную борьбу с журналами частных издательств и в своей среде. Журнал должен быть распродан, а не рассован. Как раз именно эти месяцы являются самыми критическими. И я пошел на некий компромисс, «освежив» содержание журнала. Это — сознательный шаг и, буду надеяться, последний, в том смысле, что журналу удастся выдержать денежные испытания. Впрочем, Базарову в следующей книге будет дан основательный ответ в той части, которая не согласуется с ортод. марксизмом.

Теперь несколько слов о «литературщине», «перегруженности беллетристической» и пр. В противовес «старикам», почти сплошь белогвардейцам и нытикам, я задался целью дать и «вывести» в свет группу молодых беллетристов — наших или близких нам. Такая молодежь есть. Кое-каких результатов я уже добился. Дал Всеволода Иванова — это уже целое литературное событие, ибо он крупный талант и наш. Есть у меня С. А. Семенов, Зуев, Либединский, Н. Никитин, Федин и др. Все это молодежь — самый старый В. Иванов, 27 лет, все они из Красной Армии, из подлинных низов, с красноармейскими звездами. Твердо уверен, что через год-два эта зелень совсем окрепнет и займет места Чириковых и прочих господ, и займет с честью. Против «стариков» я организую молодежь. Это нужно; обстоятельства складываются так, что беллетристика в ближайшее время будет играть очень большую роль — такие времена. Таланты из низов прямо прут — им только надо дать ходу и организовать идейно. Вот почему я ушел теперь в «литературщину» и почему ей я так много уделяю места. Возможно, что у меня бывают ошибки, но ведь дело мое неизмеримо трудно; очень легко переводить с иностранного Уэллса и дать «имя» и очень трудно дать свой выводок. Непростительную ошибку совершим мы, если теперь не сумеем выявить то, что есть у нас, но хранится пока больше под спудом. Имейте в виду, что Всев. Иванов — это первая бомба, разорвавшаяся уже среди Зайцевых и Замятиных. Уверен, что будут и другие.

Вот что мне хотелось сказать Вам. Простите за длинное письмо, но я давно собирался о «литературщине» написать Вам ¹.

С приветом

А. Воронский.

19 ²¹/_{IV} 22 г.

По содержанию и по тону письма видно, что Воронский ведет речь о самом смысле и содержании работы, о понимании им стоящих перед журналом задач.

Невозможно с полной определенностью сказать, в связи с чем возникает в письме Воронского вопрос о «литературщине», «перегруженности беллетристической», но можно предположить, что он является откликом на беседу Ленина и Горького, состоявшуюся в присутствии Крупской и Воронского год назад — в марте 1921 года — на квартире у Ленина. Это была та встреча, которую Воронский в своих воспоминаниях называет «первым организационным собранием редакции «Красной нови» и на которой было положено начало журналу. Вот как передает разговор Ленина с Горьким Воронский:

«М. Горький связан с берлинским книгоиздательством Гржебина, издающего по-русски наших классиков, книги по отдельным отраслям научного знания. Изданы книги

¹ ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, ед. хр. 23184, лл. 2—2 об.

отменно хорошо, и это радует Горького. В руках у Ленина прекрасный сборник индийских сказаний и легенд, подобранных М. Горьким с большим мастерством и вкусом.

— Да, да,— соглашается Ленин,— превосходные издания, только поменьше бы беллетристики и побольше деловых книг. А то вот голод у нас и разруха. С ними нужно разделаться в первую очередь.

— Да ведь дешевка, Владимир Ильич,— убеждает М. Горький,— пустяки, копейки...

— Золото, золото ведь идет на это. А золота нет...

Две правды, две истины. Не о хлебе едином жив будет человек. Конечно. Но когда хлеба нет, совсем нет? Нет, пусть сначала хлеб, паровозы, мануфактура, а затем беллетристика. И за этим якобы узким практицизмом, за этой деловой сухостью чудится большая любовь и горячее чувство к страдающему трудовому человеку¹.

На Воронского эта краткая «дискуссия» произвела сильное впечатление. Он придавал ей большое значение и в общем, и в личном плане и трижды — по разному поводу — возвращался к ней в своих статьях и выступлениях². «Мне показалось тогда,— писал Воронский,— что столкнулись две правды: один как бы говорил: «Не о хлебе едином жив будет человек», другой отвечал: «А если нет хлеба»... И после, находясь на стыке между художественным словом и практической работой коммунистической партии и советских органов, я неоднократно вспоминал об этих двух правдах, и всегда мне казалось, что вторая правда, правда Владимира Ильича, сильнее первой правды»³.

К сожалению, в личной библиотеке В. И. Ленина, по не установленным пока причинам, не сохранилось комплекта «Красной нови», кроме одного номера (№ 5—7) за 1923 год, и мы лишены возможности судить о наличии и характере ленинских замечаний на страницах журнала.

Если же обратиться к самому журналу (к этому времени вышло лишь пять книг), посмотреть, как распределяется в нем «площадь» между отделами, то легко убедиться, что «перегруженности беллетристической» в «Красной нови» нет.

Первый номер 1921 года: из 319 страниц только 63 страницы отданы художественной литературе. Во втором номере — 68 из 359. В третьем номере произведения прозы и поэзии занимают 95 страниц из 398. Четвертый номер дает увеличение отдела художественной литературы, но и здесь его объем немногим превышает одну треть журнала. Примерно такое же распределение «площади» журнала в первом номере за 1922 год. Историки советской журналистики уже заметили, что «Красная новь» в первые годы была журналом «не только и, пожалуй, не столько литературно-художественным, сколько общественно-политическим. Художественный отдел составлял всего лишь одну пятую часть материала журнала»⁴.

Значительное место в журнале занимали отделы и разделы: политико-экономический, «искусство и жизнь», научно-популярный, внутренней жизни, иностранное обозрение, «из прошлого», «в порядке дискуссии», «из зарубежной прессы», критика и библиография и другие. Журнал успел откликнуться на многие актуальные и острые проблемы экономической, политической и идеологической жизни страны.

Среди авторов научных и публицистических отделов первых пяти номеров мы видим В. И. Ленина, А. В. Луначарского, М. В. Фрунзе, Г. М. Кржижановского, Н. К. Крупскую, М. Н. Покровского, И. И. Скворцова-Степанова, М. Павловича. Какой журнал не стал бы гордиться таким подбором партийных публицистов?

Трудно представить, чтобы В. И. Ленин мог упрекать журнал в «перегруженности беллетристической», не подкрепив критику, как это ему всегда было свойственно, вескими конкретными доказательствами, не назвав в качестве примера ни одной публика-

¹ А. Воронский. Искусство и жизнь. Сборник статей. М.—П. 1924, стр. 272—273.

² См. статьи «М. Горький» (в альманахе «Начало», Иваново-Вознесенск. 1921), «Россия, человечество, человек и Ленин» (А. Воронский. Искусство и жизнь. Сб. статей. М.—Л. 1924) и речь «Из прошлого» («Прожектор», № 6, 1927).

³ См. В. И. Ленин. О литературе и искусстве. Изд. 2-е. М. 1960, стр. 686.

⁴ А. А. Максимов. В. И. Ленин и советские литературно-художественные издания. В кн. «Ученые записки ЛГУ», № 257. Серия филологических наук. Вып. 47. Л. 1959, стр. 130.

ции в журнале. А ведь, имея они место, тогда и в письме Воронского, надо думать, были бы соображения по поводу этих конкретных примеров

Заметим, что А. К. Воронский, по его словам, давно намеревался «н а п и с а т ь» В. И. Ленину. Не «объяснить» и не «ответить», что было бы более уместным, если бы он отвечал на замечания Владимира Ильича, а именно «н а п и с а т ь», то есть высказать свою точку зрения по поводу волнующего его вопроса.

Как известно, в 1927 году на юбилейном вечере «Красной нови» Воронский рассказал об участии В. И. Ленина в создании и работе журнала. Не скрыл он и того, что у него «был с л у ч а й», когда В. И. Ленин «гожурил» его. Это был теперь уже широко известный случай: Ленин критиковал Воронского за помещение в журнале статей Базарова и Суханова. Надо полагать, что Воронский рассказывал бы и о других случаях ленинской критики, если бы они имели место.

Конечно, очень важно было бы найти стенограмму редакционной комиссии XI съезда РКП (б) по выработке резолюции. Представлявший съезду проект резолюции о печати и агитации заместитель заведующего Агитпропом ЦК РКП(б) Я. А. Яковлев сообщил, что из пяти основных поправок, внесенных комиссией в первоначальный проект, «первая поправка сигнализирует контрреволюционную буржуазную опасность в области литературы»¹. Не исключено, что в ходе обсуждения этой поправки на заседаниях редакционной комиссии было подвергнуто анализу положение на литературном фронте и высказаны замечания о слабостях и ошибках наших журналов.

Можно предположить, что Воронского упрекали за то, что он «ушел в литературишину», товарищи по работе, стремившиеся более целесообразно, с их точки зрения, использовать способности А. К. Воронского. Такого рода упреки могли идти со стороны руководящих работников Главполитпросвета, недовольных тем, что Воронский, став редактором «Красной нови», охладел к работе в редакционно-издательском подотделе. В этом случае критические замечания в адрес ответственного редактора «Красной нови» могли стать известными Владимиру Ильичу от Н. К. Крупской. Подобного рода упреки могли раздаваться и со стороны руководителей Агитпропа ЦК РКП(б), которые в январе—марте 1922 года давали А. К. Воронскому много ответственных и хлопотливых поручений.

Содержание письма Воронского делает его значительным литературным фактом тех дней.

С большой убедительностью говорит редактор «Красной нови» о неизбежном возрастании роли художественной литературы в ближайшее время. Безусловно, что мнение Воронского совпадает или опирается на известный тезис резолюции XI съезда «О печати и пропаганде»: «Съезд признает чрезвычайно необходимым создание литературы для рабоче-крестьянской молодежи, которая могла бы быть противопоставлена влиянию на юношество нарождающейся бульварной литературы и содействовать коммунистическому воспитанию юношеских масс»².

Горячо радуется Воронский росту молодых литературных талантов. Неколебимая вера в победу новой литературы над Чириковыми, Зайцевыми, Замятинными и «прочими господами», которой проникнуто все письмо, стала, как мы знаем, пафосом критических статей А. К. Воронского. «Вот почему я ушел теперь в «литературишину» и почему ей я так много уделяю места»,— пишет Воронский.

Эта столь широко понимаемая перспектива развития советской литературы определила точку зрения Воронского на задачи журнала «Красная новь» — всемерно способствовать выходу на простор творчества молодых художников слова. Об этом в те же дни (17 апреля 1922 года) Воронский писал и Горькому, посылая ему тот же (второй за 1922 год) номер журнала: «С очень большим трудом, но все-таки небезуспешно работаю над объединением вокруг журнала группы молодых литераторов [...]. Всеволод Иванов — молодчина. Здорово у него выходит. И развивается он очень быстро. Снизу вообще писатель сейчас «попер»³.

¹ «Одиннадцатый съезд РКП(б). Март—апрель 1922 года». Стенографический отчет. Госполитиздат. М. 1961, стр. 515.

² «Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК». Часть I, стр. 645.

³ Архив имени А. М. Горького.

Воронский не исключает того, что в его деятельности бывают ошибки, но обращает внимание на новизну и сложность идейного воспитания и объединения молодых писателей. Легко издавать давно уже признанных западных авторов, чем занимался, например, Зямытин, редактируя и сопровождая предисловиями переводы сочинений Г. Уэллса. Но значительно труднее «дать свой выводок».

Читатель легко заметит необубительность рассуждений А. К. Воронского по поводу помещения в посылаемом В. И. Ленину журнале (№ 2 за 1922 год) статей Суханова и Базарова. И, как известно из воспоминаний самого Воронского, В. И. Ленин, несмотря на оправдания редактора «Красной нови», при личной встрече покритиковал его за такой шаг. Внимательно и заботливо В. И. Ленин следил за первыми шагами нового советского журнала.

А. К. Воронский знал литературу и любил ее. Известно, что позднее он допускал ошибки принципиального характера, отступал от партийных позиций в литературе, не смог удержать «Красную новь» на том уровне, который она заняла в первые годы своего существования. Эти ошибки и отступления Воронского не случайны и связаны с его принадлежностью к троцкистской оппозиции. (В 1928 году Воронский был исключен из партии, но затем ошошел от оппозиции и в 1930 году был восстановлен в партии.)

Письмо А. К. Воронского В. И. Ленину, посвященное вопросам литературы, относится к лучшему периоду деятельности А. К. Воронского и способствует всесторонней оценке этого видного деятеля советской литературы.

И. СМОРНОВ.



ЛУИЗА БРАЙАНТ

★

БЕСЕДА С Н. К. КРУПСКОЙ

Известная американская журналистка Луиза Брайант (1890—1936) дважды посетила Советскую Россию вместе со своим мужем Джоном Ридом и жила здесь некоторое время после его смерти в качестве корреспондента влиятельных американских газет. Луиза Брайант виделась несколько раз с В. И. Лениным. При его содействии ей удалось получить разрешение на поездку в Среднюю Азию, непосредственно на фронты гражданской войны. С его же согласия и одобрения состоялась ее встреча с Н. К. Крупской.

Известно, что иностранных корреспондентов Надежда Константиновна не принимала. Беседа с Луизой Брайант не носила характера обычного делового интервью, хотя инициатива встречи принадлежала журналистке. Вдова Джона Рида была гостьей Н. К. Крупской. И подавленная горем женщина тонко ощутила сердечность и внимательность к себе Крупской, теплоту ее большой и чистой души.

Точную дату встречи установить не удалось; видимо, произошла она в начале лета 1921 года.

Очерк Луизы Брайант об этой встрече, озаглавленный «Первая женщина России», впервые был напечатан в ноябрьском номере американского прогрессивного журнала «Либерејтор» за 1921 год. В этом журнале часто помещал свои статьи и корреспонденции из Советской России Джон Рид и до 1919 года входил в состав его редакционной коллегии. Затем (8 апреля 1922 года) очерк этот появился на страницах ирландской рабочей газеты «Войс оф лейбор». На русском языке он печатается впервые.

Вопреки ходячим легендам у жен народных комиссаров трудная жизнь. При мером может служить Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина. Несмотря на плохое здоровье, она продолжает вести большую партийную работу, создала для социалистического государства замечательный план ликвидации неграмотности среди взрослых. Насколько действителен этот план, видно по некоторым удивительным статистическим данным, которые получены мною от наркома просвещения Луначарского. Только в одной Москве научились читать и писать восемьдесят тысяч человек — это прекрасный пример! В Красной Армии осталось лишь двадцать пять процентов неграмотных. В царской армии их было восемьдесят пять процентов. Коммунисты борются с неграмотностью, как с чумой, причем воспитание классового сознания — неотъемлемая часть народного образования.

Я была очень обрадована, узнав, что Крупская согласилась принять меня у себя дома. Ведь книги, картины на стенах квартиры, предпочитаемые цвета — все это дает возможность составить представление о характере людей, и, собираясь к Надежде Константиновне, я была полна любопытства.

Только что село солнце, когда я прошла через кремлевские ворота к зданию бывшей палаты судебных установлений; там находится служебный кабинет Ленина, а в крыле этого же дома — его квартира. Закат отбрасывал на башни Кремля золотые и пурпурные блики, придавая старинной крепости фантастический вид. Через охранные посты я прошла без затруднений. У меня был не только обычный пропуск, но и письмо, написанное собственноручно Лениным и скрепленное печатью.

Перед дверью квартиры стоял единственный вооруженный часовой. Это был крестьянский парень, широколицый и добродушный. Он проверил мой пропуск,

улыбнулся и со словами: «Товарищ ожидает вас», негромко постучал в дверь. Открыла сама Крупская и, радушно приветствуя, тепло пожала обе мои руки. Когда мы вошли в маленькую прихожую, она повернула ключ в замке и положила его на вешалку, стоявшую рядом с дверью. Затем она провела меня в очень маленькую и очень чистую комнату — спальню. Осмотревшись, я поняла, что в квартире было два крошечных помещения¹: эта спальня и другая комната, которая служила и столовой, и прочим целям. Семья Ленина жила, соблюдая строжайшие ограничения, существовавшие в перенаселенной Москве!

В комнате стояла кровать, четыре или пять стульев, письменный стол, набитый книгами шкаф и кушетка. Все вещи находились на своих местах, и нельзя было заметить никакого беспорядка, как это часто случается у русских. Не успели мы сесть, как в комнату вошла миловидная женщина². «Моя родственница, — сказала Надежда Константиновна. — Она обычно бывает со мной. Я люблю ее и хочу, чтобы вы познакомились».

Крупская говорила по-английски с затруднениями, присущими людям, не имеющим разговорной практики. Почувствовав, что я заметила, как она подбирает нужные слова, Надежда Константиновна смутилась. «На каком языке мы будем говорить? — спросила она. — Джон Рид всегда предпочитал французский, но, может быть, он труден для вас?»

Я сказала, что она объясняется по-английски великолепно. Крупская улыбнулась. «Отлично. Давайте беседовать по-английски. И не беда, если я буду говорить медленно: у меня для вас целый вечер. Только не сравнивайте мой английский с тем, как говорят Коллонтай или Балабанова»³. И, взяв непринужденный тон, как это часто свойственно славянам, Крупская принялась рассказывать мне случай, происшедший минувшим летом. Повидаться с нею пришел англичанин; его сопровождал переводчик. «Нужно сказать, что переводчик знал английский язык куда хуже меня. Фактически он даже не старался понимать то, что я говорила. Я долго терпела, слыша, как он искажает мои мысли, затем, не выдержав, извинилась по-английски и начала сама исправлять перевод».

Вскоре в комнате появился пушистый кот и прыгнул к хозяйке на колени. Я сказала, что в Америке мне приходилось читать, что Ленин очень любит кошек. Сообщалось, заметила я, что их у него семь. Крупская рассмеялась. «Вот великолепный пример того, как все, касающееся России, преувеличивается. Правда же такова: и мой муж и я любим животных, но сейчас в России никто не заводит себе любимцев из-за продовольственных трудностей. Кошки — животные более или менее самостоятельные. У нас всего один кот. Но для сенсации американскому репортеру нужно, чтоб их было не менее семи!»

Прохлада и спокойствие сумерек, опустившихся над Москвой, делали комнату особенно уютной. Окна были раскрыты, и на подоконниках я заметила цветы в маленьких горшках — герань, лаванду и примулы. На стенах мягкого серого цвета не было картин. Мне особенно нравится, когда в маленьких комнатах не вешают картин.

Облик самой Надежды Константиновны — ее черное платье, бледное лицо и белые без колец руки, ее низкий голос — так гармонировал с окружающей обстановкой.

Она спросила, почему я собираюсь уехать из России, и я объяснила, что хочу написать еще одну книгу⁴ и подготовить рукописи Джека для посмертного издания. Выражение боли появилось на ее лице. «Это почти чудо, — сказала Крупская, — что единственную книгу, в которой магически схвачен истинный дух нашей революции, написал иностранец». Она наклонилась и прикоснулась своей рукою к моей. «Как это должно быть тяжело! Вы теперь совсем одна?» Я кивнула; наступило молчание. Затем она быстро поднялась и воскликнула: «Давайте пить чай!» Насколько истинно русскими были эти слова! Как часто приходилось слышать их в трудные минуты!

Родственница Крупской позвала нас в другую комнату, столь же скромную, как и та, в которой мы сидели. Часы красного дерева, уютно тикающие в своем

углу, цветы на подоконниках, еще больше книг, полдюжины стульев и круглый стол, покрытый клеенкой. Слуг здесь не было. Чай разливала сама Крупская.

Она поделилась своими впечатлениями от недавно прочитанного романа Эптона Синклера «Джимми Хиггинс». «Это хорошая книга, она создает законченное представление о рядовом американском социалисте. Кроме того, книга наводит на грустные размышления, разрушает иллюзии и потому поучительна. Мне хотелось бы больше узнать о Синклере. Он коммунист? Есть ли у него другие книги?»

Я коротко рассказала о писателе. Крупская заинтересовалась и выразила желание прочесть «Джунгли» и «Медную марку». Я заметила, что, если бы Синклер знал о ее намерении, он прислал бы ей свои книги с автографами. Надежда Константиновна обрадовалась, но мои слова ее не убедили. «Почему? Ведь Синклер, вероятно, никогда обо мне не слышал». Было что-то такое обаятельное в ее простоте!

Мы много говорили о ее деятельности, и она рассказывала о своих товарищах по работе в органах народного просвещения. В свою очередь Крупская расспрашивала меня о людях, которых я встречала во время своей длительной поездки по Средней Азии. Наконец я обратилась к ней с вопросом, задать который мечтала больше всего. Мне хотелось услышать, не разочарована ли она декретами о новой экономической политике. Крупская долго говорила со мной, как с ребенком.

«Нет. Я не разочарована. Я знала, что должны наступить большие изменения. В России несколько лет назад перемены казались невозможными. Вам, американке, приехавшей из страны, которая очень мало была затронута войной и революционными идеями, кажется неправдоподобной мысль о переменах в Америке. Но изменения, о которых мечтаем мы, неизбежны. Я не хочу тем самым сказать, что они близки. Мы спасем все плоды революции, все, что сможем. Вот почему мы встречаем трудности с открытым лицом. Компромисс тяжел, но необходим. Неважно, насколько он труден, знайте твердо, что мы не обескуражены и что наши надежды сбудутся».

Когда я собралась уходить, Надежда Константиновна взяла обе мои руки и посмотрела мне в глаза. «Вы вернетесь к нам? — спросила она. — Ах, да, теперь вы всегда должны будете возвращаться...»

Как понятны были мне ее слова! Мне, навечно связанной с Россией могилой Джона Рида на Красной площади.

У дверей мы снова пожали друг другу руки, и, удаляясь, я слышала поворот ключа в замке. Когда я вышла на улицу, над городом уже спустилась ночь, воздух был прохладен и чист. Пели солдаты кремлевского гарнизона...

*Публикация, комментарии и перевод
А. Байковой.*

¹ Фактическая неточность: квартира Ленина в Кремле состояла не из двух комнат, как пишет Л. Брайант, а из четырех. Очевидно, она имела в виду только те помещения, в которых была лично, судя по описанию — комнату В. И. Ленина и столовую.

² Упоминаемой молодой родственницей Крупской была, по всей вероятности, младшая сестра Владимира Ильича — Мария Ильинична Ульянова.

³ Александра Михайловна Коллонтай (1872—1952) — участница Октября, видный советский дипломат.

Анжелика Балабанова — в ту пору работник Коминтерна, позже отошла от коммунистического движения.

⁴ «Еще: одна книга», которую журналистка собиралась написать по возвращении в США, это изданная ею книга «Mirrors of Moscow» («Зеркала Москвы») (Нью-Йорк, 1923), посвященная деятелям Советского государства — В. И. Ленину, Н. К. Крупской, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинскому и другим. Ее первая книга о нашей стране «Six red Months in Russia» («Шесть красных месяцев в России») появилась в 1919 году в результате поездки в Россию вместе с Джоном Ридом в конце 1917 года — начале 1918 года.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Березкин. Он сделал все, что мог...— С. Соложенкина. Быть самим собой.— А. Синявский. Памфлет или пасквиль? — Ст. Рассадин. Среди людей.— Г. Трефилова. Азбука этики.— Л. Левицкий. Неведомый враг.— В. Адмони. С позиций человечности.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Кучерова, И. Кон. Безответственный подход к ответственной теме.— О. Семеновский. Об этом забывать нельзя.— И. Кичанова. Католическая церковь и политика.— С. Шостакович. Новая книга о Грибоедове.— И. Миндлин. Старое в новом.

Литература и искусство

ОН СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ...

Максим Лужанин. Якуб Колас рассказывает... Авторизованный перевод с белорусского Е. Мозолькова. «Советский писатель». М. 1964. 400 стр.

«А знаешь, что у меня самое основное в творчестве?» — как-то спросил Якуб Колас у белорусского поэта Максима Лужанина. И сам ответил так: «Жажда воды, прямо молитва о дожде. Я всю свою жизнь зову урожай на наше поле.— Улыбнулся, помолчал.— Правда, он мало улучшился. Но не потому, что я плохо просил. Я сделал для этого все, что мог».

Приведенное коласовское признание взято нами из книги Максима Лужанина «Якуб Колас рассказывает...». Это очень своеобразная книга. Нечто вроде «энциклопедии по Коласу», обладающей всеми достоинствами добротной прозаической вещи. История жизни замечательного белорусского писателя, подробно изложенная им самим, — и столь же обстоятельный рассказ о том, как работал Колас. Отрывки из некогда начатой, но не законченной Лужаниным повести о детстве и отрочестве классика белорусской литературы и критические замечания самого Коласа, первого читателя этих отрывков... Свободно построенная, «бессюжетная» книга, прочно связанная, однако, единством одного человеческого образа,

образа «дядьки Якуба» — художника, гражданина, мыслителя, человека «от мира сего».

Последнее, то есть естественная и как бы сама собой разумеющаяся слиянность с реальной почвой, с миром народных интересов и нужд, и составляло, пожалуй, решающую черту в облике Коласа. И не от сознания ли этой слиянности, понятой не просто как «условие творчества», а как единственный и непреходящий смысл существования, — странное на первый взгляд определение основного: «жажда воды», зов об урожае?

Конечно же, это определение не следует воспринимать буквально — оно в высшей степени общественно, социально, ибо непременно включает в свой состав и самоотверженную борьбу Коласа в дореволюционные годы за справедливость, за освобождение родного края, и гордое, «хозяйское» чувство Коласа советских лет, его огромную удовлетворенность тем новым и небывалым, что внесли революция и социализм в народное бытие.

И все же, читая книгу Лужанина, знакомясь со всеми представленными в ней

асpekтами жизни и творчества Якуба Коласа, отдавая должное полноте нарисованного в ней человеческого образа, то и дело ловишь себя на том, что самое интересное в книге — именно «бытовой», «практический» Колас, великий отнюдь не исключительностью своей, а, напротив, своей глубочайшей причастностью к тому, как живут, думают, чувствуют все. Обычно критики в таких случаях говорят: знание жизни, вмешательство в жизнь. Для Коласа же это означало просто жизнь — драгоценную, неповторимую и великую, повторяю, тем, что ее никаким усилием не извлечешь из бесконечного ряда, нет, не «роевых», а таких же осмысленных, трудных и радостных существований.

Вот он, опасно больной, лежа в машине скорой помощи, на пути к больнице, где ему предстоит сложная операция, просит попутчика рассмотреть, сколько хат собрались в отлет. «Отлет» и «хаты» — его словечки, которые относятся к остаткам старого, деревенного, одноэтажного Минска.

Вот он в одном из предсмертных писем наказывает младшему своему собрату, автору рецензируемой книги: «Пиши, как выглядят наши поля».

Вот он весной 1952 года звонит тому же Максиму Лужанину: «Приезжай, будем жито сеять». И посеял. Под окнами собственного дома. По способу, вычитанному из старинной, изданной в 1611 году на польском языке хроники итальянца Гванини...

Едва ли я ошибусь, сказав, что именно этим практическим, если угодно, крестьянским реализмом коласовского поведения, его взглядов и психологии в равной мере питались и гражданственность писателя, и дело, которому он себя безраздельно посвятил, — его художественное творчество.

Выходец из народа, знающий цену труду разумному и целесообразному, Колас не терпел бездельности и прожектерства, освященных высокими титулами и должностями; его буквально заставляла страдать многозначительная с виду, призрачная игра «в работу» и особенно «в руководство». «Беда одна, — говорил он, — слишком много псевдоавторитетов, псевдоученых, псевдописателей, псевдодеятелей. Тронь одного — целый рой на тебя накнет. Но будет и на них управа... Хочется только, чтобы поскорей. Мало у меня времени остается, боюсь, что не увижу».

И коль уж зашла речь о Коласе-гражда-

нине, то и не лишним будет заметить, что нередко его посещали и вовсе «крамольные» по тем временам мысли. Вспомнив двух старых лириков, некогда бродивших по минским улицам и бульварам, Колас добавил с нескрываемой горечью: «В 30-х годах они оба вдруг исчезли. Говорили, что английские шпионы были...» И еще решительней, резче, с большей болью: «Взять власть над собой труднее, чем командовать, приказывать, руководить кем-нибудь другим. Разве не ложились на весы судьбы государств, жизнь многих тысяч людей из-за минутного настроения, боязни утратить власть, а то и просто жестокости одного? История знает случаи... Впрочем, я не о Грозном говорю... Мог быть и не таким кровавым последний десяток лет...» Напомню: так думалось, так говорилось до XX съезда!

Зато он умел и радоваться от всей души, столкнувшись с настоящим делом, с приметами нового, жизненно важного для людей, для страны. «Несколько лет подряд на окне, прямо перед письменным столом Константина Михайловича, стоит бутылка рыжеватой жидкости... Для наиболее почетных и близких посетителей дома пробка в бутылке открывается: — Поноухай, какая она, наша белорусская нефть! — приглашает Колас, и лицо его светится от удовольствия. — Я думаю, что, хорошо поискав, в нашей земле и не это можно выкопать».

Одной из главных заслуг М. Лужанина является то, что, показав нам «обыкновенного», «земного» Коласа, он вместе с тем убедил нас и в том, что последнему было свойственно «такое знание жизни, которое выделяет поэта действительно народного среди других знатоков и просто людей, сочувствующих какому-то делу». Лужанин раскрыл перед нами Коласа-художника, чей мощный реально-практический крестьянский разум только потому оставил столь неизгладимый след в истории и культуре Белоруссии, что за ним, этим разумом, а лучше сказать, в нем самом, рано зазвучал именуемый талантом праздник щедрой на вымысел, впечатлительной молодой души.

Очень хороши главы, рассказывающие о том, как исподволь формировалась художническая натура в простом крестьянском мальчишке, сыне лесничего Костусе Мицкевиче (подлинная фамилия Коласа), как в стенах официально-казенной учительской семинарии был неожиданно «открыт» им

Гоголь, окончательно утвердивший юношу Коласа в его решении «быть смелей, написать о тех, что сейчас волей времени и судьбы, кнута и штыка загнаны на самый низ жизни». Подробен и точен лужанинский анализ возникновения крупнейших коласовских вещей (поэмы «Сымон Музыкант», романа-трилогии «На росстанях»). Поучительны, современны коласовские уроки мастерства, литературной этики, ответственности художника перед временем и народом.

Колас требует от поэта «гармоничного сочетания мысли, рисунка и звучания». Он ярый противник «глухонемой», бесцветной, погрязшей в штампах прозы: «Пишут о жизни партизан в лесу. Попробуй представить этот лес! Герой два часа идет пушею, а у него под ногою даже сучок не хрустнет. Партизаны, конечно, с «суровыми лицами», командир встает и отдает команду «звонким» голосом и, конечно, «подтянув пояс»...» Колас за откровенность и прямоту суждений: «Откровенность еще никому никогда не повредила. Особенно в искусстве. Ведь оно уже самим существом своим разоблачает неправду. И когда мы перестанем показывать одни вещи лучшими, чем они есть, а другие — худшими? Литературе от этого вред». Колас по-настоящему широк в своих пристрастиях; убежденный, последовательный реалист, он высоко ценит романтика А. Грина: «Какой-то инструмент, мягкий,

грудной, с капелькой загаенной тревоги. Как альтовая скрипка».

Изумительно тонки, содержательны коласовские суждения о своем лучшем друге, другом классике белорусской поэзии — Янке Купале. «Мы с Купалой думали с первых своих шагов об одном: чтобы народ как можно крепче на ноги стгал... Но подходили к писанию каждый со своей меркой: что кому больше в сердце запало... Наверно, какая-то часть его работы усиливая, дополняет мою, и наоборот. Но не двойники мы с ним, как рисуют критики.. Если бы бог имел умную голову и вовремя соединил нас в одно целое, наверно, громкий голос получился бы... Вот теперь очутились не в равном положении: Янка умолк, мне одному шагать нужно...»

Некоторые места лужанинской книги о Коласе трудно читать из-за чувства неизъяснимой, шемящей жалости к нему, больному и старому. Вот он во время поездки в родные края говорит брату: «Я к тебе, Юзик, помирать приеду. Сяду тут, в тени, на Неман буду смотреть». И в письме к Лужанину незадолго перед смертью: «Отбой. Кто усердствует и работает, урожай соберет. Хочу думать, что такое усердие охватит нас с ног до головы». И подпись: «Якуб, у которого истекает срок жизни на этом свете».

Урожай, собранный Якубом Коласом, громаден. Он много и славно поработал. Он сделал все, что мог.

Г. БЕРЕЗКИН.

Минск.

★

БЫТЬ САМИМ СОБОЙ

Сергей Наровчатов. Взыскательный путник. Книга стихов. «Советская Россия». М. 1963. 136 стр.

Сергей Наровчатов. Избранная лирика. «Молодая гвардия». М. 1964. 32 стр.

Уборника стихов Сергея Наровчатова, выпущенного недавно «Советской России», есть адрес Его должен получить

Взыскательный путник,
Ищущий правды в речах.
Радостных праздников в буднях,
Ясного света в ночах!

Не случайно книга так и названа «Взыскательный путник».

Итак, поэт сам избрал себе собеседника и одновременно определил задачу для себя. В самом деле, адресуясь к человеку, жаждущему «правды в речах», поэт как бы

обязуется дать ему эту правду, научить открывать в буднях «радостные праздники».

Справился ли автор с этой им самим поставленной задачей?

Сложившийся как поэт в годы Великой Отечественной войны, С. Наровчатов вошел в литературу бойцом, сжимающим автомат.

Я проходил, скрипя звонами, мимо
Сожженных сел, казенных городов
По горестной, по русской, по родимой.
Завешанной от делов и этцов.

Запоминал над деревнями пламя.
И ветер, разносивший жаркий прах.

И левушек. библейскими гвоздями
Распчатых на райкомовских дверях.

(«В те годы»)

Таким был путь поэта. Вот почему военные стихи его по-настоящему волновали и продолжают волновать нас по сей день. Реалистическая зоркость, внимание к жизненным деталям — и умение обобщить эти детали, динамичность и страстность — вот основные качества, присущие этим стихам С. Наровчатова и получившие затем свое развитее в дальнейшем его творчестве.

Стихи С. Наровчатова, как правило, чужды расплывчатости, он не склонен делать «намекы тонкие на то, чего не ведает никто», не прячет своих симпатий и антипатий. Поэт резок и прям. Однако быть прямым — вовсе не значит быть прямолинейным. Не навязчивый моралист, составляющий точки над «и», но интересный, вдумчивый собеседник — таким предстает С. Наровчатов в лучших своих стихах. Чтобы убедиться в этом, достаточно перелистать небольшой сборничек, изданный недавно «Молодой гвардией» в числе книг, составляющих «Библиотечку избранной лирики». (Разумеется, можно точно так же обратиться и к другим сборникам С. Наровчатова — мы берем для примера именно этот лишь по той причине, что «Библиотечка избранной лирики» предполагает знакомить читателей с наиболее яркими образцами творчества того или иного поэта.) Стихи С. Наровчатова, включенные в этот сборник, — «Пес, девчонка и поэт», «Письмо из Мариенбурга», «Алые паруса», «Костер» и другие (часть из них включена и в книгу «Взыскательный путник») — показывают, как широк диапазон поэта. От патетики гневного вопроса:

Но я спрошу тебя в упор:
Как можешь ты молчать,
Как можешь верить в тишь, да гладь,
Да божью благодать.
Когда грозятся наш костер
Смести и растоптать? —

(«Костер»)

С. Наровчатов может совершенно свободно и естественно перейти к романтической, сказочной интонации.

Сказками я с дочкой провожаю
Каждый день вечернюю зарю:
Коням в стойлах гривы заплетая,
Перстни красным девушкам дарю.—

(«Алые паруса»)

а затем к радостно уверенной речи:

Мы живем в меняющемся мире,
Дважды два в нем не навек четыре.
...Время плавит льдистые зазоры,
Время с наших глаз срывает шоры.
В мастерской Уверенной Надежды
Ткутся людям новые одежды.

(«Утверждение»)

Каким же образом удается поэту сохранить в таких, казалось бы, разных стихах необходимую цельность? Ответ прост: он — в судьбе С. Наровчатова, в тех убеждениях, которые пронизывают все его творчество. У С. Наровчатова нет стихов «лирических» и «политических» — о чем бы и как бы он ни говорил, он остается бойцом и гражданином. Добавим: и поэтом.

Осознанное тяготение к гражданской теме всегда ощущалось в стихах С. Наровчатова. Особенно характерен в этом отношении в сборнике 1963 года раздел «Неслыханная судьба», в котором поэт как бы оглядывается на пройденный им вместе со всей страной путь. Мы слышим вновь песни Коминтерна, видим «заломленные кепки первой пятилетки», «невиданных людей неслыханной судьбы» — и с болью читаем о годах, когда улица Камиля Демулена, переименованная в Парковую,

Глядела с душой тяжелой
На зримые отсель
Чугунную фуражку,
Чугунную шинель,—

(«Улица Камиля Демулена»)

когда на далеком Севере лагерники строили школу для ребят, с любовью делая «подневольное дело»:

Такой
В системе закрытой
Им дом хотелось сложить,
Чтоб смог он,
Заложенный кривдой,
Открытой правде служить...—

(«Северная школа»)

Мы вновь переживаем грозные сороковые годы, горечь отступлений и радость побед, видим «печальницу» Европу, босой девушкой бегущую по мартовскому снегу к советскому солдату, принесшему ей освобождение.

Стремление к масштабности, к гражданской значительности — по-прежнему главное для С. Наровчатова. Он сознательно не позволяет своей музе сменить походную гимнастерку на бальный туалет, — и в этой верности самому себе — источник силы поэта.

Но здесь же приходится сказать, что кое-где сила поэта оборачивается слабостью: стремление к монументальности — растянуто, гражданский пафос — риторичностью. Наряду с действительно волнующими, заставляющими задуматься стихами, где слышится — пусть порой и горькая! — «правда в речах» («Улица Камилла Демулена», «Северная школа», «Солдаты свободы», «Атлантида»), в сборнике есть и такие стихи, как «Россия», в котором налицо весь ассортимент риторических вопросов и восклицаний, но нет ничего, что делает поэзию поэзией. Здесь — и «скованный орел», и «заря», кочующая из стихотворения в стихотворение поэтов всех возрастов и никак не могущая превратиться хотя бы в закат, чтобы одним штампом стало меньше, — и отсутствие какой-либо попытки по-новому осмыслить громадную тему России.

В том, что С. Наровчатов гораздо сильнее там, где говорит своим, естественным голосом, а не там, где ставит подряд несколько восклицательных знаков, красноречиво убеждают нас такие стихи, как «Утверждение» и «Базарная Галатей», едва ли не лучшие в сборнике. Автор здесь неостановимо изобретателен, он как бы шутя нанизывает одну за другой озорные, яркие рифмы — но за этой веселостью стоит все тот же поэт-гражданин, привыкший давать бой пошлости «базарных Галатей», беспощадный к тем, чьи «вдумчивые кресла» берегут «упитанные кресла», ко всему затхлому, мешанскому, что еще мешает нам строить новую жизнь.

Там, где С. Наровчатов остается самим собой, где он непринужденно говорит с читателями о вещах важных и серьезных, — там добывается он удачи. И наоборот — становясь в воинствующую позу Аввакума от поэзии, обличая, а вернее, обличительствуя, — поэт теряет свое лицо, впадает в ложный пафос и зачастую добывается результата, прямо противоположного тому, которого он хотел. В качестве такого примера можно привести стихотворение «Ты не русская», в котором поэт обрушивается на разлюбившую его женщину с такими упреками:

Разлюбила? Бросаешь? Что же
Раньше думала ты? —

и на этом основании отказывает ей в праве считать себя... русской.

Не по-русски живешь! Крепость веры,
Знамя веры — наш человек! —

хотя, как известно, не все способны любить до гроба, в том числе и русские, да и вообще «выяснение национальности» в подобной ситуации выглядит по меньшей мере странно. Ни двадцать три вопросительных знака, ни восемнадцать восклицательных не спасают этого стихотворения.

Надо сказать, что стихам о любви вообще не повезло в сборнике. «Когда б за сердечные раны судьбой...» — характерный тому пример. Комичное впечатление производит в этом стихотворении признание автора, что он ходил бы «полосатей зебры», когда б за сердечные раны судьба дарила ему нашивки; стихотворение «сшито» из разных, совершенно не подходящих друг к другу кусков.

Не хватает психологической глубины и поэме «Пролив Екатерины», посвященной, как написано в предисловии к сборнику, «сложным перипетиям трудной любви». С. Наровчатов явно злоупотребляет здесь беглым пересказом страстей вместо изображения внутреннего мира описываемых им людей. Кроме Андрея Бугрова, все герои поэмы схематичны, бледны, говорят они нередко не языком живых людей, но языком протоколов. Налет риторичности лежит на многих лирических отступлениях, которые кажутся лишь докучными комментариями к тексту. Нет-нет, поэту изменяет вкус:

Не выдержит сердце и хрустнет вдруг...
...Мешались краски неба и земли
В ее глазах пустынных...
...И волшебными будто нитками
Были — радостны и чисты —
Из рассвета и ветра вытканы
Ослепительные черты, —

откуда все эти красоты у С. Наровчатова, чье письмо почти всегда лаконично, даже несколько сурово?

Одним словом, выбрав себе собеседником «взыскательного путника», поэт должен приготовиться к тому, что путник выскажет ему немало замечаний. И все-таки, думается, новый сборник С. Наровчатова не останется лежать невостребованным. Во многих стихах С. Наровчатова взыскательный путник сможет найти то, что искал.

С. СОЛОЖЕНКИНА.

Ваку.

★

ПАМФЛЕТ ИЛИ ПАСКВИЛЬ?

Иван Шевцов. Тля. Роман-памфлет. «Советская Россия». М. 1964. 284 стр.

В предисловии к этой книге действительный член Академии художеств А. Лактионов предупреждает читателей: «Тля» — роман-памфлет едкий, боевой и гневный. Наверняка он вызовет горячие споры, возможно, и резкие нападки со стороны некоторых искусствоведов и критиков. Что ж, борьба есть борьба...»

Приступая к разбору романа «Тля», в порядке предупреждения хочется возразить почтенному рекомендателю: «горячие споры» и «резкие нападки» здесь едва ли уместны. Хотя «борьба есть борьба», существуют, очевидно, различные ее формы и способы. Борьба, которую ведет Иван Шевцов на страницах своей книги, граничит, нам представляется, с такими внелитературными формами, как уличный скандал, трамвайная перебранка, квартирная склока... Она требует от критики не ответных нападков и споров, а прежде всего спокойствия, миролюбивой рассудительности. Участвовать в этой полемике на предлагаемых условиях как-то стыдно, унижительно; с горячностью опровергать ее доводы — смешно. Полезнее, набравшись терпения, разобраться в книге, войти в положение автора, учтя его, как рекомендует А. Лактионов, «ершистый» характер, и, может быть, не столько нападать на Ивана Шевцова, сколько пожалеть его, посочувствовать...

Положение, в котором очутился автор «Тли» и его герои — художники-реалисты, ведущие борьбу с разнообразными врагами, в самом деле достойно всяческой жалости. В нашей художественной жизни, по уверению Шевцова, действуют неуловимые силы «темной, но спянной, спевшейся кучки» — «немногочисленные, но поразительно активные» «модерняги», «космополиты», «поджигатели», «эстеты и формалисты всех мастей». Они «безнаказанно издеваются» над честными художниками, дают им советы, в которых «есть что-то дьявольски-подкупающее. вернее — интригующее», «несут чертовщину», стараются «проташить» всюду «своих людей», насадить «крамолу»¹.

Роман «Тля» приправлен уголовной хроникой, скандальными разоблачениями. Знаменитый художник Лев Барселонский

(а большинство персонажей обрисовано здесь как личности весьма известные в мире искусства) в годы революции, оказывается, едва ушел от расстрела. Его дальнейший путь отмечен сделками и уловками политического свойства, а «золотой значок лауреата и звание действительного члена Академии художеств» он получил, по слухам, выдав чужую работу за собственное творенье. Маситый искусствовед и критик Осип Давыдович Иванов-Петренко также добился славы с помощью подозрительных махинаций, каковою была, к примеру, его докторская диссертация о Сезанне: «Сведущие люди говорили, что существо этой диссертации составляли неизвестные материалы, случайно попавшие в руки ловкого дельца». «...На том же Оське, — по чеканному определению положительного героя романа, — чистого места нет, пробы ставить негде. И с эсерами, и с троцкистами, и с кем только он не якшался. А Оське хоть бы что. Он живет, здравствует, процветает и делает свое грязное дело».

Воровством, подлогами, гнусными спекуляциями и другими преступлениями переполнены биографии сторонников «чистого искусства», пользующихся успехом, задающих тон в художественной среде. Даже о погоде они изъясняются, как опытные заговорщики, уподобляясь матерым шпионам из детективного романа:

«Они обменялись понимающими улыбками.

— Хорошая погода, — сказал Иванов-Петренко, энергично подавая Барселонскому теплую руку. Вид у него был бодрый и решительный. — Оттепель!

— Хорошая оттепель, — подтвердил Лев Михайлович, испытующе посмотрев собеседнику в глаза. Осипу Давыдовичу был знаком этот внимательный, выматывающий душу взгляд...»

То, что негодующий автор на своих идейных противников взвалил все грехи, нацепил на живые лица маски кровожадных злодеев, — прием не новый. В романе «Тля» нашли развитие черты, восходящие к давней традиции, по счастью, не привившейся в советской литературе, но хорошо знакомые желтой прессе. Неожиданно в книге Шевцова другое: ослепленный ненавистью

¹ Все закавыченные выражения взяты у Ивана Шевцова.

к людям, которые, по его понятню, чернят действительность, снижают уровень советского искусства. автор настолько увлекся и сгустил краски, что — по всей вероятности невольно, сам того не желая, — выступил в роли очернителя нашей жизни и культуры. Уголовные типы, дельцы, прохвосты составляют в романе «Тля» кощунную организацию, этакую всесильную мафию, гласно или негласно управляющую эстетической жизнью страны. Мало того, что они экономически преуспевают, строят роскошные дачи, пьют коньяк, тогда как реалисты, в шевцовском изображении, бедствуют, влечат по преимуществу нищенское существование и занимают на жизнь деньги у благоденствующих эстетов. Последние, оказывается, проникли во все поры общества, добились высоких постов, влиятельного положения. Разорвать их сети трудно, почти невозможно.

До того, как появился роман «Тля», мы наивно полагали, что одним из выражений общественного мнения служат у нас книги отзывов на художественных выставках. Ничего подобного. Книги отзывов, как это установил Шевцов, находятся под контролем агентов Осипа Давыдовича, которые систематически поносят хороших художников и рекламируют бездарность.

Мы полагали, что в мире искусства действует демократия, обеспечивающая развитие творческих возможностей, справедливость оценок, свободу слова. Нет, демократия в романе «Тля» подчинена «машине» вездесущего Иванова-Петренки. «Осип Давыдович в выставочке имеет большинство, проголосуют, и точка». «...Барселонскому и К° каким-то образом удалось завоевать или одурачить МОСХ». «Выступать здесь бесполезно: освищут, обругают, заплюют. Полон зал молодчиков Барселонского и К°». «Ежели, скажем, я, ты или кто-нибудь из не угодных Барселонскому людей когда-нибудь сделает пустяковый грешок, сгоряча не то слово скажет, — это ляжет пятном на всю жизнь. Уж Оська раздует пожар на всю вселенную...»

— Но существует же печать, пресса?! — не унимаемся мы.

— Печать в руках Барселонских, — отвечает хмуро Шевцов.

«Петр Еременко нес свою статью «Творить для народа» в третью редакцию. В двух редакциях статью продержали по две недели и не напечатали. В одной редакции тем-

новолосая узколицая дамочка сказала отчужденным голосом:

— На эту тему у нас уже заказана статья одному искусствоведу. — И подала Еременко его рукопись.

Она глала — никакому искусствоведу редакция не заказывала такой статьи... В другой редакции с ним разговаривал пожилой мужчина, похожий на старого ворона:

— Статья ваша, Петр Александрович, интересная. Но понимаете, какая штука, на редколлегии высказали мнение: наша газета решила пока не выступать по вопросам изобразительного искусства.

Это тоже была отговорка: никто из членов редколлегии статьи не читал.

Удостоверюсь в зараженности прессы ядами формализма, один из положительных героев романа приходит к решению: «Не заглядывать в газеты и не включать радио с передачами о лже-Репиных».

В такой обстановке, естественно, художественная общественность парализована и повинуетса самым диким порядкам. Роман «Тля» стремится внушить читателю, что у нас в мире искусства господствуют вздорные слухи, сплетни, «циничная клевета, злой вымысел, глупые инсинуации», распространяемые «салонем» Иванова-Петренки. «Они, как едкий дым, выползали из «салона» и распространялись среди людей с невероятной быстротой, сопровождаясь зловещим шипением клеветников». Художники живут в состоянии моральной подавленности, выслуживаются, а в отношениях между собою руководствуются личной завистью, соображениями карьеры, родственными связями, приятельством — по принципу «свой своему на мозоль не наступит».

В этих условиях честные люди чувствуют себя «прокаженными», пребывают в полной изоляции, в тягостном одиночестве. Они бессильны противостоять натиску формалистической банды. Когда, например, у талантливоего колхозника Алексея руководительница ансамбля, некая Вика Гомельская, украли сочиненные им песни, тот обратился за помощью к передовому художнику Владимиру Машкову. «Жаловаться бесполезно и некому, — через силу выдавил Владимир, расхаживая по комнате. — Ты ей ничего не сделаешь, потому что она не просто Вика, а частица целой группы, цепкой и сильной, с которой одному бороться очень трудно».

У положительных героев Шевичова «душа в синяках». «Состояние было такое, будто

ему в душу наплевали». Не переставая бороться с формализмом, они живут на грани отчаяния, физического и нравственного истощения, теряют веру в справедливость нашего общества, приходят к мыслям о самоубийстве. «А у меня уже нет веры, этой самой глубокой и сильной. Честное слово, иссякла вся до капельки. Потому как никакого просвета не вижу»,— признается Петр Еременко. Даже непреклонный Михаил Герасимович Камышев, выполняющий в романе «Тля» роль идейного вождя реалистического направления, трагически переменяется: «...Лицо покрылось вдоль и поперек несметным числом морщинок, стало каким-то сухоньким, мелким, на нем прочно поселились усталость и тоска. Плохо видят глаза, поблекли, затуманились, затаили в себе холодные блестящие скептицизма и душевной боли».

Но странное дело: чем больше узнаешь о страданиях положительных героев Шевцова, тем меньше веришь в истинность горя, постигшего этих людей. Ведь тот же тоскующий Камышев, по словам автора, «никогда и никому не давал спуска». «Он пользовался авторитетом среди лучших советских художников, но еще больше он был авторитетен среди простых советских людей и их руководителей». Зачем же при таком авторитете затаивать в глазах скептицизм? Или признание народа, руководителей, лучших художников — не главное для Камышева?..

О судьбе своих героев Шевцов в эпилоге рассказывает: «А как живут Машков, Еременко, Окунев, Вартанян? Да все так же. Много развезают по стране, по селам, заводам и стройкам. Пишут в старой манере, которая не приносит им ни шумной славы, ни денег. Но они, упрямы, остаются верными самим себе и своим зрителям — миллионам простых смертных тружеников, которые еще не научились понимать «новое» искусство. Но ничего, это вопрос времени: Винокуров и Иванов-Петренко их научат и воспитают. Они уже выпустили по несколько книг о современном западном искусстве, о новых тенденциях в советской живописи».

Трудно сказать, чего тут больше: наигранной бодрости или неоправданного минора? И почему приверженцы «старой манеры» не имеют «ни славы, ни денег», хотя работают не покладая рук и пользуются успехом у массового зрителя?

Подобные недоуменные вопросы по тексту «Тли» возникают на каждом шагу. Они

результат того, что автор на страницах своей книги не свел концы с концами и сам, видимо, плохо верит созданной им картине. Ужасы, им нарисованные, вымышлены, а характеры, при всем расчете на узнавание реальных прототипов, до невероятности искажены. Преувеличения, к которым прибегает Шевцов, имеют мало общего с гиперболизмом сатиры. К ним больше подходит житейская поговорка: у страха глаза велики.

Поэтому, между прочим, и положительные герои романа зачастую предстают в несколько неожиданном свете, проявляют качества, несвойственные ни просто хорошим людям, ни тем более передовым художникам. Хотя их высокие убеждения декларированы Шевцовым, психология и поведение этих героев противоречат их убеждениям. На словах они — борцы, на деле — нытики. На словах — тверды, самоотверженны, принципиальны, на деле — ущербны, паталогически пугливы, мстительны, завистливы. Они только и думают о том, что их недооценили (хотя тут же сказано, что народ их любит и ценит). Их беседы между собою оснащены сенсационными слухами по адресу ближнего. Они напряженно собирают сведения, компрометирующий материал, призванный уничтожить противника. Речи их пестрят сентенциями такого типа: «Пока Варягов на коне, Оське нечего бояться» (Варягов — ответственный работник в Министерстве культуры). Ведущие деятели искусства — его надежда и будущее — слишком поглощены кухней, распределением наград и должностей, мелочными обидами. Они мало чем отличаются от отрицательных персонажей Шевцова и своими конспираторскими замашками, намеками, угрозами нагнетают в произведении ту тяжелую атмосферу взаимной подозрительности, которая возвращает нас к нравам, ушедшим в прошлое под именем «культы личности». Вот пример нездоровой психологической взвинченности положительных героев романа:

«Утром на третий день после открытия выставки Владимиру позвонил Павел Окунев.

— Читал сегодня «Советское искусство»? — спросил он загадочно.

— Нет, а что? — с неосознанным беспокойством спросил Владимир...

— Прочти. Невероятные вещи творятся на белом свете... — И положил трубку.

Владимир босиком побежал на лестничную площадку к почтовому ящику, дрожащими пальцами извлек газету...»

Эта атмосфера подозрительности, заговорщицких ужимок, шпиономании и служит питательной почвой невероятных страхов Шевцова, а затем и недозволенных приемов, к которым он прибегает. Вся сложная проблематика современного художественного развития смещается в плоскость каких-то батальных и разведывательных операций, любая эстетическая дискуссия превращается в сражение, пахнущее кровью. Стратегические и тактические удары, маневры, расчеты прочно входят в психологию автора и героев «Тли», предпочитающих военную лексику языку искусства: «...Апологеты «искусства для искусства» были оттеснены на задний план. Все эти винокуровы, яковлевы, ивановы-петренки, как тараканы, попрятались по щелям и временно не проявляли особой активности. В тиши дачных особняков они производили перегруппировку своих сил, вырабатывали новую тактику и вели разведку наблюдением».

За «разведкой наблюдением», как полагается на войне, следует «разведка боем»: «Акварели Барселонского были хорошим началом,— говорил Иванов-Петренко, и все понимали, что это, собственно, была успешная разведка боем и что настало время переходить в решительное наступление на реалистическое искусство».

В подобных ситуациях уже и в разгоряченном сознании положительного героя Петра Еременки подготовка художественной выставки облекается в живописные образы рукопашной схватки, заимствованные из «Тараса Бульбы»: «И уж так-то рубились они!»

Это бряцание оружием очень далеко от задач идейной борьбы, стоящих перед советским искусством. Батальные аналогии сами по себе еще ничего не решают. Напротив, в некоторых случаях они вредят. Состояние военной тревоги, угрюмой напряженности, искусственно подогреваемое в романе «Тля», сплошь и рядом разрешается паникой, истерией, кликушеством, когда у автора и его героев не выдерживают нервы и они принимают «рубить» направо и налево, не разбирая своих и чужих. Нагромождение подозрений, сочинение слезливых жалоб, доносов, пасквилей имеют уже вид **не защиты реалистических традиций от**

эстетских посягательств, но злой пародии и на эту защиту, и на сами традиции.

Психология страха ведь на том и основывается, что человек теряет чувство реального и начинает «бороться» в выдуманном мире, пугая себя все новыми и новыми домыслами. На таком самовозбуждении строятся обличительные гирады шевцовских героев, одержимых манией преследования и готовых прицепиться к любой фразе воображаемого противника, для того чтобы, вывернув ее наизнанку, путем подтасовок отыскать в ней очередную «двигерсию». Стоит кому-нибудь высказаться о многообразии искусства социалистического реализма — и начинается вакханалия.

«Слышал, они тоже за социалистический реализм, за его неограниченное многообразие, за свободу гворчества!— восклицает Камышев.— Знаю я, какой они свободы хотят! Им нужна свобода расправы над инакомыслящими, свобода командования искусством, чтобы они могли изготавливать всякую стряпню и выдавать за шедевры, создавать своих «гениев» и «классиков». Им нужна свобода на запрещение социалистического реализма в искусстве. Понимаешь? Свобода на запрещение! Мы не дадим им этой свободы. Партия не позволит.

...В одном журнале статейку напечатали: требуют открыть в Москве музей так называемого нового западного искусства, то есть музей эстетско-формалистического кривлянья. В свое время в Москве был такой,— пояснил Камышев.— Снобствующий купчихка Щукин открыл. А зачем нам такой музей?.. Вот я и думаю: ну, дадим им эту «свободу», откроем музей Синьяка и Сезанна, а ты думаешь, они успокоятся? Палец дашь — руку откусят. Третьяковку, может, и не рискнут закрыть, зато Шишкина и многих других народных художников из залов выбросят... Им только дай волю, они и Художественный театр закроют...»

Почему «свобода» означает «запрещение», «многообразие» — «расправу», почему «открыть» музей означает «закрыть» театр?.. Спрашивать бесполезно: Камышев не услышит. Ему ничего не стоит превратить черное в белое, а белое в черное. Ему нет дела до того, что «снобствующий купчихка» Щукин, подобно купцу Третьякову, оставил нам огромное художественное богатство, которым мы, русские, вправе гордиться перед всем миром, что щукинское собрание «великих европейских мастеров, по преиму-

шеству французских, конца XIX и начала XX века» уникально и «по своей высокой художественной ценности имеет общегосударственное значение в деле народного просвещения», как гласил подписанный Лениным декрет, на основании которого был в свое время открыт Музей нового западного искусства. Какие там французы?! Для Камышева и его единомышленников все иноземное морально и политически подозрительно, а все французское искусство, начиная с импрессионистов,— одно «кривлянье». Французы, уверяют они, «первыми и начали губить искусство» (!).

Впрочем, о взглядах на искусство, изложенных в романе «Тля», можно особенно не распространяться. Если в междоусобных распрях герои романа знают толк, то в области эстетики они сущие дети. Уровень эстетических представлений И. Шевцова достаточно характеризует одна деталь. У негодяя и пошляка Бориса Юлина комнату отдыха украшают «цветные фоторепродукции обнаженных женщин: «Даная» Рембрандта, «Венера» Джорджоне, рубенсовская «Сусанна», брюлловская «Вирсавия» и, конечно, ренуаровская молодая дама, сидящая спиной к зрителю с мягким поворотом головы». Перечислив эти создания мирового гения, Шевцов разъясняет читателю, что они помогли Борису Юлину соблазнять девиц.

Попутно заметим, что автор вообще склонен воспринимать работу над обнаженной натурой, мягко выражаясь, слишком утилитарно. Сам Камышев, оказывается, грешил подобным образом (только у эстета Юлина это было признаком пошлости и формализма, а у Михаила Герасимовича — физической крепости и здорового реализма). Но вот, сокрушается автор, пришла старость и «увела с собой молоденьких натурщиц». Может, у Михаила Герасимовича так оно и было на самом деле, как рассказывает Шевцов,— мы не знаем. Только ведь, к слову сказать, в ободрение живописцам, «молоденькие натурщицы» не уходят с наступлением старости и старость тут не помеха, если, конечно, подходить к натуре с самыми прямыми, то есть художественными намерениями.

Загадочно и шевцовское толкование реализма. В реализме особое значение придается тщательному выписыванию подробностей, вплоть до того, например, что в жанровой композиции «В загсе», которая здесь демонстрируется в качестве реалистического ше-

девра, настроение жениха «можно читать по дрожащим длинным ресницам», а на столе виден «незаполненный бланк», над которым «застыло перо», готовое зарегистрировать брак. Если принять во внимание, что все это, с массой других деталей, представлено «на холсте небольшого размера», то станет ясно, с какой кропотливостью работал художник над отделкой мелочей, усматривая в этом истинное торжество реализма. Над изображением того, «как дрожат ресницы», много бьются и другие герои Шевцова, а в пейзажном этюде для них особенно важно «написать бриллианты росинок, сверкавших на елочке».

Нужно ли говорить, что все эти росинки и бриллианты чрезвычайно сужают и опошляют задачи искусства, выдавая себя за реализм? Главная беда, однако, что лишь такое искусство наделяется в романе «Тля» высокими полномочиями, а всякая иная живопись подвергается хуле, зачисляется по разряду эстетства, формализма.

В романе «Тля» всего хватает — и ругани, и безграмотности, и крокодиловых слез... Это понятно: то, что всей нашей жизнью исключено из обращения, иногда пытается мстить за свои несчастья и ради этого ничем не брезгует. Но непонятна, непостижима новость, поджидающая нас в самом конце книги, когда, дочитав ее, мы узнаем, что издательство «Советская Россия» размножило «Тлю» сотысячным тиражом и выпустило, как сказано там, в «дополнение к тематическому плану 1964 г.», то есть зеленой улицей, в ударном, сверхурочном порядке, как радостный сюрприз...

На роман «Тля» появились критические отклики в «Литературной газете», «Комсомольской правде», «Огоньке». Книга подверглась решительному и единодушному осуждению. Такое единодушие радует, хотя, нам кажется, иногда критика «Тли», как это произошло в «Огоньке», по своему тону снижается до уровня разбираемого романа и дает автору аттестации, напоминающие его же художества. Но дело состоит не в том, чтобы публично оттолкнуть Шевцова или обругать его покрепче. Важнее задуматься, только ли Шевцов проповедует невежество под видом реализма и смешивает с грязью художественную интеллигенцию? Ведь тот же человек, который «Огоньком» теперь причислен к «приживалкам», «салопницам», «бутербродникам», еще недавно

пользовался признанием в определенной среде, получал напутствия. «Ведь он отлично знает нашу среду, разбирается во всех тонкостях нашего гворчества», — писал о нем А. Лактионов в предисловии к «Тле»¹. А предыдущий роман Шевцова «Свет не без добрых людей» сопровождался сочувственным послесловием А. Герасимова...

Знакомство с рецензиями на роман «Тля» наводит и на другого рода вопросы. Вот ведь, точно сговорившись, все на одного напали. Не значит ли это, что «Тля» своей печальной судьбой косвенным образом вдруг подтверждает собственную версию — горестный рассказ об участии борца, которого теснят злые недруги да еще вдобавок безнаказанно издеваются? Не воскликнет ли обиженный автор, что он был прав, когда писал о гонениях на реалистическое искусство, и вот теперь все в жизни происходит почти что по роману — напрасно его обвинили в неправде и клевете? И не призовет ли он вновь к оружию, брэнча цитатами из Гоголя и Гюго, из Репина и Чайковского, из Даля и Карамзина, и не напишет ли новую книгу на эту тему, снабдив, как и в романе «Тля», каждую главу неопровержимыми эпиграфами?..

Во избежание подобных недоразумений я тоже позволю себе воспользоваться цитатой, на мой взгляд, хорошо объясняющей беду, случившуюся с Иваном Шевцовым. Эта цитата заимствована из одной старинной книги, в которой речь идет о различных чудесах природы и людского нрава. Среди прочих интересных предметов здесь дается научное объяснение граду, ниспадающему на землю в виде «твердых и льдистых ша-

¹ В «Литературной газете» от 17 декабря появилось письмо А. Лактионова, в котором говорится: «Я не читал роман, когда подписывал предисловие к нему, заранее заготовленное автором романа...» Номер журнала был уже подготовлен к печати, и мы не могли учесть это сенсационное заявление действительного члена Академии художеств СССР. (Ред.)

ров». Заранее прошу извинить меня за длинную выдержку: стиль старой книги, неизмеримо прекраснейший, все же чем-то созвучен с человеческими страстями, бушующими в романе Шевцова, а приводимый текст может послужить послесловием к этому произведению, ниспосланному на нас внезапно, подобно граду.

«Сии шары то угловатые, то круглые будучи, поелику от воздуха и ветров больше или меньше соглажены, с ужасным визгом свирепствующих ветров, на грады и поля стремятся... Звери, пораженные сим необыкновенным ударом, которого избежать не могли, воют и ревут объята унынием и страхом. Люди на полях и стогнах, постигнутые градом, укрывают лице свое, и оному противопоставляют твердый и не столь чувствительный свой хребет; но его свирепством часто низвергаются, и от ударяющих шаров, подобно как сражающиеся на битве от смертоносного свинца, повергаются на землю...

Таков есть Хулитель. Из очей его сверкает завистливый и снедающий огонь, а из свирепых челюстей исходит на врагов и на приятелей град, преисполненный поношений и ругательства. Сии ударяют и разят жестоко, терзают и язвят, и нигде не можно от них укрыться. Но к счастью нашему, Хулитель опровергает через то купно и собственное свое благоденствие; и будучи попрач исчезает он, подобно граду тающему на разженной земле.

Приводит в страх, разит, и часто убивает; Но чуть появится, сам скоро исчезает».

(«Свет зримый в лицах; или величие и многообразность зиждителей намерений, открывающиеся в природе и во нравах, объясненные физическими и нравственными изображениями, украшенными достойным сих предметов словом, в пользу всякого состояния людям, а наипаче молодым витиям, стихотворцам, живописцам и другим художникам». СПб 1789).

А. СИНЯВСКИЙ.

★

СРЕДИ ЛЮДЕЙ

Фазиль Искандер. Дети Черноморья. Стихи. Сухуми. 1961. 143 стр.
Фазиль Искандер. Молодость моря. Стихи. «Молодая гвардия». М. 1964. 112 стр.

Поэт Фазиль Искандер редко рассказывает прямо о себе самом (во всяком случае это относится к большинству лучших стихов двух рецензируемых сборников). Он

даже как будто рад раствориться в родном ему мире, затеряться среди любимых своих героев Искандер просто дает нам возможность вместе с ним следить за колхозника-

ми, приехавшими в городской театр: «они внезапно подкатили на двадцати грузовиках, как будто город захватили на двадцати броневиках»; слушать разговор подгулявших цыган на маленькой южной пристани; спускаться без провожатого по течению горного ручейка, выбегающего из орешника и разумно освоенного людьми: «у каменной заветной ниши ограду соорудил народ. А водопой чуть-чуть пониже — сначала люди, после скот». Мы благодаря ему чувствуем себя своими людьми среди крестьян, собирающих «изабеллу» — «абхазский древний виноград», и в деревенской давилъне в ту самую пору, когда там

давят виноград —
Вот что важнее всех событий.
В дубовом дедовском корыте
Справляют осени обряд.

Крестьяне, закатав штаны,
Ведут языческие игры,
Измазанные соком икры
Работают, как шатуны...

Да и во многих иных стихах нет самоизлияний и деклараций, есть «всего только» картины жизни — но чем реже Искандер заявляет нам о своем присутствии, тем яснее мы ощущаем в стихах его самого; чем больше он говорит о других, тем живее мы различаем конкретный человеческий характер его лирического героя.

Первые сведения о нем дает нам хотя бы бросающаяся в глаза многокрасочность и «вещность» его поэтического видения.

Речь идет не о литературных влияниях, не о наивных «багрицизмах», которых у Искандера становится все меньше и меньше. Речь — о естественной, органичной красочности, внушенной Искандеру природой его родного края — Юга, Черноморья, а главное — выражающей его жизнелюбивое, радостное мироощущение.

Это жизнелюбие — не просто мускульная радость, свойственная всякой — лишь бы нормальной — молодости и многим молодым поэтам. Тем более дело тут не в запоздалой полудетской легкости и доверчивости к миру, порою очень привлекательной, но основанной на малом знании жизни, ее добра и зла и потому становящейся чем дальше, тем все более инфантильной. Здесь не то. Мироощущение Искандера радостно не потому, что он слыхом не слыхал о недобром и трагическом. Не потому, что мир его наблюдений ограничен одним весельем.

Даже в самых радостных стихах Искандера нет беззаботности, есть представление о жизненной сложности — оттого сама радость становится значительнее и дороже; и, напротив, стихи о людском горе у Искандера особенно сочувственны и неравнодушны потому, что он знает (и постоянно ощущает) цену радостям жизни и ее полноте.

Из простой, казалось бы, жанровой зарисовки выросло сильное стихотворение «Цыганы на пристани» — о том, как кланет судьбу и цыганского бога старик кузнец, потерявший одиннадцать детей и сохранивший лишь одного; о том, как неумело и трогательно жалеет он последыша: «Сыночек! Человек! Где братья? Братьев — нет! Буфетчик, эй, буфетчик, дай мальчику конфет! Дай мальчику печенье, котлеты тоже дай. Мученье есть мученье. Гуляй, сынок, гуляй!..»

Стихи эти не были бы так человечны, а неумелая ласка, выраженная в этой бедной щедрости, которая и сама-то по себе говорит о судьбе человека, о горькой кочевой жизни, не была бы такой пронзительно достоверной, если бы эта сцена не была увиденна глазами человека, знающего, что такое счастье, знающего, как оно необходимо всем.

И когда поэт рассказывает о парковой танцульке, где «девочки с фабрики местной, матросы с торговых судов», когда он любит девчонкой в выцветших лыжных штанах, которая танцует сама по себе — и не просто любит, а видит за этой беззаботной юношеской самоуверенностью «зеленую крепость орешка», видит, как «хочет найти поколение свой голос, свой собственный жест», — то именно эта душевная пристальность не позволяет ему проглядеть в веселой толкотне промелькнувшую нелегкую судьбу. И сам стих, легкий, почти вальсирующий, вдруг становится полнее суровым, сосредоточенным, отрывистым:

А вон и знакомые лица.
Танцуют с военных времен.
Им боязно остановиться,
Им страшно лететь под уклон.

На шаткие доски настила
Из круга семьи и подруг
Войны центробежная сила
Их вбросила в бешеный круг.

Пора бы какую новинку,
К домашнему, что ли, теплу.
Но словно заело пластинку,
И некому сдвинуть иглу...

Последние строки — не «находочка», призывная оживить стих. Пластинка, потеряв-

шая вдруг возможность сдвинуться с какой-то музыкальной полуфразы и томительно-однообразно повторяющая ее, разом напоминает нам о тяжком однообразии одинокой женской судьбы, чье естественное движение было остановлено войной, и о противоестественности этого одиночества и однообразия, мучительно осознаваемой поэтом. Конкретность образа рождена конкретностью переживания.

Конечно, жизнелюбие само по себе еще мало что говорит о человеке. Эгоистический эпикуреец, весело идущий мимо чужой беды, тоже жизнелюб. Но здесь жизнелюбие, пройдя испытание горем и злом, стало принципиальным, выросло в сознание слитности мира и людей, их взаимной ответственности и связанности.

Решающую роль сыграло в этом то, что Искандер связан не с «человеком вообще» (которого, как известно, попросту не существует), а с живыми своими современниками и соседями, которых хорошо знает, часто видит, у которых многому учится, — с трудовыми людьми.

Почему-то в нашей поэзии последних лет прочно сложился штамп стихотворения на тему «рабочая (или, скажем, студенческая) столовая». Смысл его сводится к тому, что поэт, попав в общество обедающих рабочих, с восторгом и с гордостью декларирует свою причастность к ним. Начало этому штампу, кажется, невольно положило хорошее (и оттого не несущее за штамп ответственности) стихотворение Я. Смелякова «Столовая на окраине». То ли обаяние этих стихов было неотразимым, то ли столовая показалась последователям очень уж удобным для общения с трудовыми людьми местом, но так или иначе стихи о столовых и чайных пошли волной. В конце концов (такова логика бесплодного и равнодушного к людям самоутверждения) сами посетители столовой превращались в реквизит, а гордое ощущение причастности к ним вырождалось в нехитрую игру словами, как это случилось, например, в одном из стихотворений, напечатанных в «Юности»:

Я чувствую себя их однокашником —
Я съел немало вместе с ними каш!
Я сознаю себя их одноклассником,
Поскольку ведь и я рабочий класс!

У Искандера тоже есть стихотворение «Хашная». Оно характерно для него многим, в том числе и выразительными сред-

ствами. Характерно, скажем, чуть торжественной интонацией начальных строк («вчера, вовеки и сегодня здесь все равны между собой»), особенно обаятельной рядом с юмором и легкой иронией; характерно уже знакомой нам красочностью, осязаемостью; характерно не стерильной, а скорее даже грубоватой лексикой, а главное — органическим слиянием всех этих качеств, тем сплавом, который и составляет своеобразие манеры Искандера.

Эти стихи — как и многие другие — на первый взгляд могут показаться описательными; но только на первый взгляд. На самом деле ряд сочных зарисовок и мгновенных портретов — цельная картина, соединенная взглядом поэта, его — хотя прямо и не высказываемой, но осязаемой — мыслью.

Наш взгляд скользит по лицам ранних посетителей хашной — дежурного таксиста в нижонском шарфе, рыбаков, вернувшихся с ночного лова и шумно требующих горячего; мы охотно приобщаемся к той симпатии, которую поэт испытывает к своим героям и исподволь внушает нам, хотя пока еще не совсем осознаем причины этой симпатии. Но вот внимание наше задерживается:

В углу, намаившийся с ночи,
Слегка распаренный в тепле,
Окончив смену, ест рабочий,
Дымится миска на столе.

Он ест, спины не разгибая,
Сосредоточенно, молчком,
Как бы лопатой загребая,
Как бы пригнувшись под мешком...

Обаяние этих стихов в том, что автор их — не случайный гость среди своих героев, он видит их не впервые, понимает и ощущает их судьбы и характеры. Даже в посадке своего соседа он безошибочно узнает рабочего. Следя — всего-то-навсего — за тем, как тот ест, поэт видит характер трудового человека, видит, что труд сообщил ему и спокойную уверенность, и достоинство, и естественность.

Он густо перчит, густо солит.
Он держит нож, как держат нож,—

конечно, такие мельчайшие подробности ничего не дали бы поэту, если бы тут не было постоянной, непрерываемой причастности, если б Искандер не мог сказать:

По грозной сдержанности, что ли,
Его повсюду узнаешь.

Именно «повсюду». Хашная для Искандера не экзотический кабачок, а маленькая и, разумеется, не главная часть мира, в которой тоже можно постичь самую его суть. Не зря стихи кончаются ликующим возгласом:

Горбушка теплая, ржаная,
Надкушенная ровно в шесть.
Друзья, да здравствует хашная,
Поскольку жизнь кипит
и здесь!

Таков поэт Искандер.

Правда, сейчас он заметно меняется. В его последней книге «Молодость моря» гораздо больше, чем в предыдущей, стихов, в которых мысль высказывается уже не отраженно, не через живописные подробности и портреты, а прямо. Поэт все чаще обращается к читателю непосредственно, все чаще мелькает в стихах его «я».

По-видимому, это естественно — как признак дальнейшего взросления, как желание взойти на высшую ступень осмысления мира, желание мыслить и философскими категориями. Но как важно и в этом — как и в любви — случае сохранять главные и лучшие свои качества — ощущение всеобщей связности, яркость восприятия жизни!

Когда Искандер сохраняет все это, он пишет такие отличные стихи, как «Мода», в которых с легкой, а то и едкой иронией говорит о капризно изменчивой моде и о тех, кто поспешает за ней, страшаясь оказаться «старомодным». Естественно и облегченно звучит вздох поэта:

Но, слава богу, соль и хлеб
Стоят вне временных судеб.

А затем следует главный вопрос, ради которого и был заведен разговор:

А как твои дела, Искусство?
Кто моден, то есть знаменит?
Кто выплеснут струей фонтана,
Короткой славой Ив Монтана?
Кто восстает на реализм
Как бы на некий роялизм?
А кто вне временных судеб,
Как Пушкин, как Толстой, как хлеб.

Стихи эти несколько отличны от тех, что были характерны для «старого» Искандера, но он остается в них самим собой — во всяком случае не изменяет лучшим и главным своим качествам. За их обобщающими словами, не давая им превратиться в слишком общие, в абстракцию, ощущается и прежняя

причастность Искандера к любимым его героям (как не случаен здесь «хлеб» — критерий независимости от «временных судеб»), ощущаются прежние симпатии, прежде — жизнелюбивое и напряженное — восприятие жизни.

Но бывает и иначе, когда поэт (или его лирический герой) как бы расслабляется, думает и чувствует, «не выкладываясь».

По удачному выражению одного из критиков, отношению между автором и его лирическим героем те же, что между прототипом и типом.

Если поэт потребует «к священной жертве Аполлон», если он (поэт) «типизирует» свои собственные чувства, освобождая их от мелкого и случайного, доводя до полной ясности свое представление об идеале, о том главном, что он имеет сказать, — он выразит себя именно как человека, как личность, заставит нас поверить в свою человеческую подлинность. Если же он станет писать о себе «просто так», без особой нужды, потому что пишется, то сколько бы ни сообщал он подробностей о себе и своей жизни, все равно личность его, не поднятая ощущением идеала, покажется нам лишь одной своей стороной и перестанет в наших глазах быть личностью, а стиль тоже распадется на составные части и перестанет быть стилем.

К сожалению, последнее случается и с Искандером — когда он вздумает «просто так», без серьезного внутреннего повода рассказать о своей семейной жизни или о лыжной прогулке или увлечется слишком общими (то есть опять-таки лишенными внутреннего повода) словами. Тогда сплав его характерных качеств, его индивидуальность вдруг распадается на составные части, переставая быть сплавом и индивидуальностью: красочность существует сама по себе, остроумие — тоже, ораторская интонация — тоже. Все это теряет в таком случае трехмерность, становясь плоским.

Так, красочность или расцветивает примитивную сентенцию (как в стихотворении «Зимние игры», где вся яркая изобретательность подчинена заключительному призыву возлюбить лыжный спорт), или же вовсе оказывается нужной лишь затем, чтоб описать арбуз, только и всего (стихотворение это можно привести целиком):

Арбуз — это пиршество лета.
Плшету рождает планета.
Арбуз — это зори во взоре (?)

Да свежесть предутренней зыби.
Арбуз — это Красное море,
Где плавают черные рыбы.

Остроумие стихов «Кольцо», столкнувшись с пустяковостью замысла, в конце концов перешло в банальные остроты насчет тещи и телевизора; национальная определенность стиля превратилась в «Балладе о зависти» в книжный *couleur locale* с наивным антуражем (где есть и «седло кубачинской работы»), и пистолеты с серебряной насечкой, и «улыбка красавицы Ризико»), с мнимовосточной витиеватостью речи и мнимовосточным культом «мужественности». А ораторский пафос и гнев кое-где выродились в обилие восклицательных знаков, в высокопарность и в ругань:

Нас предают анафеме жрецы,
Хотя б за то, что женщины и музы
Нам улыбаются, за то, что наши блузы
Распахнуты. Нас ненавидят трусы,
За трусость собственную мстят они.
Скопцы!

А порою это писание без особого повода соединяется к тому же с претензией — и на свет является имитация многозначительности, граничащая порою с комизмом. Как в этом мадригале:

Ты говоришь: «Никто не виноват,
Но теплых струй не вымолить у рек.
Пускай в долинах давят виноград,
Уже в горах ложится первый снег».

Я говорю: «Благодарю твой смех».
Я говорю: «Тобой одной богат.
Пускай в горах ложится первый снег,
Еще в долинах давят виноград».

В пушкинском «Романе в письмах» есть такое место:

«Намедни сочинил я надпись к портрету княжны Ольги (за что Лиза очень мило бранила меня):

Глупа как истина, скучна как
совершенство.

Не лучше ли:

Скучна как истина, глупа как
совершенство.

То и другое похоже на мысль. Попроси В. приискать первый стих и отныне считать меня поэтом».

Однажды было тонко замечено, что эти упражнения Владимира (героя романа) — пушкинская пародия на мнимую многозначительность, на то, что всего лишь «похоже на мысль», а на самом деле не значит решительно ничего.

Это может показаться странным, но пока еще именно в тех стихах, где Искандер не выставляет на обозрение своего «я», выражая его опосредствованно, мы чаще видим его живое лицо, слышим живой голос. Во многих же стихах, написанных прямо о себе, претендующих на исповедальность, мы видим не лицо, а, как говорил Маяковский, «веснушку, ноздрю».

...Может быть, я уделил слишком много внимания неудачам хорошего поэта. Ведь в конце концов даже в последней книге Искандера, где неудач больше, чем в предыдущей, много и хороших стихов; более того, в ней есть и такие удачи, которые прежде Искандеру были недоступны.

Все так. Но о неудачах этих (пусть частных), мне кажется, говорить самое время. Ведь так бывало со многими поэтами — и как раз в тот момент, когда они, по их мнению, достигали зрелости, овладевали мастерством, становились «профессионалами». Им начинало казаться, что теперь-то уж решительно все, выходящее из-под их пера, решительно все, касающееся их самих, касается и читателя. Так терялась связь с читателями, так уходила из стихов живая жизнь во всей ее цельности и сложности. И упали бог от такого профессионализма!..

Я не верю, что подобное грозит Искандеру, — слишком органична его причастность к людям, слишком хороши эти люди, слишком полнокровно его мироощущение. Но знать об этой опасности и о своих неудачах он должен. Хотя бы потому, что легче всего мы прощаем тех, от кого мало ждем, кого — в итоге — не очень-то любим.

Ст. РАССАДИН.



АЗБУКА ЭТИКИ

Глеб Горышин. Синее око. Повесть и рассказы. Лениздат. 1963. 226 стр.
Глеб Горышин. Земля с большой буквы. Повести и рассказы. «Советский писатель». М.—Л. 1963. 304 стр.

Первый сборник Г. Горышина «Хлеб и соль» (1958) был книгой уверенного вступления в жизнь и литературного самоутверждения: полный надежд и решимости, совсем еще юный автор много ждет от будущего. Его зовут новые места, дела, люди простого и необходимого труда. В каждом рассказе он отдает дань восхищения то солидарности дружных и влюбленных геологов, то незаурядной отваге мастеров-сплавщиков, то великодушью и взаимной выручке лихих шоферов, знающих, почем фунт хлеба и соли в зимней бездорожной степи. Эти его ранние рассказы не отличались особой художественной новизной: их проблематика, типы, образительность были тесно связаны с развитой традицией нашей публицистики — традицией лирического репортажа и «положительного очерка». И все же, когда вместе с В. Конецким, Ю. Семеновым и другими «молодыми» автор впервые представил нам своего героя — воодушевленного, деятельного, выносливого, — он многим приглянулся. Все в нем было как будто настоящее, «крупное» и «мужское»: его дело — «настоящее мужское дело»; его жизнь — «мужская, малословная и крепкая»; его разговор — «крупный, мужской»: «И пошел дальше мужской разговор, малословный и многозначный. Разговор о женщинах».

Как видим, все искомые идеальные качества связывались в представлении нашего героя со словом «мужской», «мужчина». И вот этот-то и без того почтенный мужчина все рос, матерел, поигрывал тугим надежным бицепсом, пока — в цикле рассказов об алтайском таежнике Костромине — вам не нарисовали уже могучего, властного великана, Хозяина Леса и Жизни, превзойти которого под силу разве что другому такому же Хозяину, только помоложе, как оно бывает у диких оленей при встрече двух матерых «пантачей» в их борьбе за стадо пугливых ланок.

Но пришло время — оно должно было прийти: знакомые мотивы запоздалого, хоть и ускоренного возмужания исчерпали себя. Прежний, воображаемый «мужской» мир разомкнулся, рассыпался. Явления изменили масштаб.

Не то чтобы совсем пропал интерес автора к лихим водителям, удалым рубшикам и добычливым охотникам. А проско сквозь эти обозначения пола и профессии начали — при более пристальном рассмотрении — проступать люди, личности во всей пестроте их индивидуальных человеческих качеств. Мало кто при этом не поблек, не отступил на второй план. Сам Костромин, наблюдатель поста гидрометеослужбы, обернулся не более чем «большим, сутулым, длинноруким стариком» с «маленьким сухим лицом». И в «Синем оке», одном из лучших рассказов Г. Горышина, за Костроминим уже не кондовая сила здорового мужского естества, а нравственная сила духа, основательность и правда всей жизни, «умудренной тайгой и трудами».

Иначе — с другими. Они по-прежнему симпатичны, им еще признаются в любви: «Кремер любил шофера Гошку. Хорошо сидеть с ним рядом. Весь он прочный, этот мужик из Заярска, готовый жилой доминат!» Или: «Люблю я Тольку... — Ну еще бы, такой парень, я думаю». Но между этим любимым Гошкой или Толькой и самим рассказчиком нет уже прежней спаянности. В облике этих и близких им по духу героев проступают прежде в них не предполагавшиеся черты; приходится делать оговорку. «У него и души-то, наверное, нет, — подумал про Тольку Саша Варягин. — Ему жить — все равно что елки рубить. Он веселый, а черствый. Волчонок».

В рассказе «Два Толи» (другое название — «Просека») оба героя-рубшика не только воспеты за силу, удаль и умение, но и развенчаны: в Толе-большом очевидны черты дикого буйства, легко переходящего в хулиганство. Сила его слепа. Она облегчает себе жизнь нахрапом, имеет тенденцию пугать и подавлять. Она собой не владеет, поэтому может становиться страшной и разрушительной. А внутренних ресурсов его «кореша» Толи-маленького едва-едва хватает на то, чтобы преодолеть духовную зависимость от своего непутевого дружка.

Уже здесь литая цельность природы и победительное мирозерцание наших героев дали заметную трещину, вполне очевидно

обнаружив свою непрочность и негуманность. За этими героями вскоре последовали другие: в рассказах «Дамба», «В тридцать лет», «Синее око» герои преисполняются сознанием вины, стыда, раскаянья и сожалений — по самым разным поводам и в самых разных обстоятельствах. Везде ощущается этот горький привкус — в работе, на отдыхе, в любви, в отношениях с близкими. Более того, «ясные» характеры, видимо, отталкивают автора: «...меня немножко страшат спокойные деловые парни... Они исполнительны и безотказны. На них можно положиться начальству. Но после них нужно начинать — как это? — обрыбление...» О геологе Саблине он отзывается без воодушевления и с иронией: «Он много повидал, Саблин, но ничто его не тюкнуло по башке и не озадачило». Психология «тюкнутого и озадаченного» человека, исследование ее переменчивых состояний — вот что делается главным предметом внимания писателя и что приходит весьма вовремя.

Дело в том, что пока герои Г. Горышина переживают душевный кризис, автор становится уверенным профессиональным рассказчиком. Потребность писать уже не оставляет его. Он испытывает нужду в замыслах, конфликтах, проблемах, которых на две последние книги явно не хватает. Кое-где приходится повторяться, использовать одни и те же наблюдения и мотивы. Например, «девочка на гвоздиках», устоявшая в лесу перед шикарным владельцем «волги», встретится читателю трижды. Некоторые рассказы — скорее учебные опыты, чем самостоятельные художественные произведения. Так, «Подождите, дворники!» в сборнике «Синее око» — пример чисто технологического членения событий. Это всего лишь формальное подобие новеллы — с завязкой (поездка в Москву на фестиваль), перипетиями (отсутствие пристанища, недостаток денег), внутренним конфликтом (разногласия с другом-скептиком, уговаривающим вернуться домой) и вознаграждающей кульминацией (герой совершает дерзкий «рывок через все государственные границы»: он целует француженку, сидящую в автобусе, и убеждается, что она такая же, как все, женщина — губы, увезенные автобусом, «были теплые внутри, чуть-чуть зачерствевшие от краски и доверчивые — жерские губы. Я знал и раньше, что они таковы на вкус»). Налицо все атрибуты короткого рассказа. Событие сюжетно разработано,

«инструментовано». А рассказа нет — есть навык уверенного ремесла.

В таких обстоятельствах новый герой — человек озадаченный, вдохновленный, ударенный и поднятый жизнью, человек участвующий и причастный, не все понявший и готовый понять, — мог показаться открытием. Наконец-то автор приблизился к к своей, особой проблеме и, поняв это, постарался не упустить ее. Если перевести ее в план «высокой теории», то это будет проблема смутного сознания человека, выведенного однажды из состояния непотревоженного, девственного эгоцентризма и впервые поднявшегося выше, так сказать, простого «шкурного» интереса. Это г а з б у к а э т и к и, те «простые нормы нравственности», с которых, собственно, человек только и начинается. Где-то тут, рядом, начинается и литература.

Но названная проблема интересует Г. Горышина преимущественно в узкопсихологическом плане. Он ловит и оставляет героев как бы наедине с их совестью, на некой невидимой грани, где поступки вполне еще приличные и благообразные незаметно переползают «по ту сторону добра», — и с любопытством смотрит, как, спохватившись, человек ужасается сам себя («Весна за окном»). Писатель исследует, «как это бывает». Не почему, а как; чаще всего речь идет в таких случаях о характерах либо юных, несложившихся, либо «дремучих» и мелких: другие неизбежно поставили бы перед автором разные «проклятые» вопросы, но тогда и рассказы были бы не те и разговор о них другой. Наверное, именно вследствие особенности изображаемого характера «серьезное», драматическое истолкование темы менее удастся автору. А наиболее удачные рассказы — иронические.

Таков, например, шуточный рассказ «О чем свистнул скворец?» — одна из удач Г. Горышина. Изыщная концовка этой лирической новеллы превращает ее в маленькую притчу, заставляя вспомнить замечательные «педагогические» миниатюры М. Пришвина, адресованные одновременно и детям и взрослым. Небрежность мальчика, который очень хотел быть хорошим, но и хорошим быть для себя — что скоро обнаружилось в одной безделице, — в рассказе Горышина остроумно и памятно наказана. Мальчик построил скворечник «kozyрьком вниз» — «насупленный и скрытный». Он сам сокрушался об этой своей задаче, но

надеялся, что можно обойтись и так: скворцы ничего не заметят. Но «главному скворцу», принявшему работу, как было не глянуть из нового дома на волю? Он глянул — «а неба-то не видать». Он «посидел, посидел, да и свистнул. Длинно свистнул, презрительно, как человек. Дескать, пошли, ребята. Тут несерьезное дело. Только время потратили. И унеслись три скворца. Как не бывало. А я остался».

Другие рассказы Г. Горышина более масштабны по важности изображаемого, да и по размеру. Это уже подступы к жанру маленькой повести. В рассказах «Близко море», «Весна за окном», «Земля с большой буквы» на карту поставлены жизнь человека, его судьба или его любовь, — но что поделаешь: мелкий характер остается таковым в любых обстоятельствах; только начавшись, он уже выдыхается. И самоотверженность его, и великодушные, и благородство все как-то сводятся к тому, что он мог бы сделать какую-нибудь пакость — но не делает ее. Весь характер выражается в этом неделании, не более того.

Трудно и не очень весело идти рядом с такими героями по трясине их сомнений и недоумений. Пытаясь поднять их до вершин подлинного драматизма, автор сам становится их жертвой: злоупотребляет описательностью, вязнет в несущественных подробностях, впадает в мелодраму. Но кто скажет, что предмет не актуален? Не один Г. Горышин уличает и обличает своих героев, не один ведет их нынче к нравственному прозрению и самоусовершенствованию. Это тема десятков, а то и сотен рассказов. И у нее есть уже свои прочные штампы.

Более других распространен штамп «утешительный»: то забывчивого преуспевающего сына осеняет благодатное воспоминание о старенькой тоскующей матери. то благонравная девушка-дурнушка находит себе хорошего мужа, тогда как ее красивая и вздорная подруга упускает свой «голубой шарик», и т. д.

В последних сборниках Г. Горышина эта благотворительная литература «исправления нравов» не обретает еще своих утешительных стандартов. Но он близок к ней в таких рассказах, как «Все об одном», герой которого долго собой умиляется, починив забор Назаровне («Хоть пока, до Федьки, пусть постоит») и как бы воздав

тем самым в ее лице должное всем горемычным сиротеющим русским матерям, а заодно попрекнув и тех сыновей, которые, «уехавши в город со своей бабой, ну хоть бы чем мать порадовали». Правда, писатель все же не последователен: особенность Г. Горышина в последних двух его книгах — длительная, пожалуй, уже искусственно длительная, задержка героя на стадии саморазоблачения, которое все более превращается из потребности в привычку, из привычки в позу.

«От себя никуда не сбжишь. За все, за все отвечать надо». «Я искал в себе прощение». «Выпив, жалел себя». «Ладно, хватит. Ничего не может быть. Все уже было. Работать надо. Работать. Работать». «Стыдно!» «Стыдно мне было хлебать глухариную похлебку». Как бы ни были бессвязны эти взятые из разных рассказов, как говорят «выдернутые из контекста» признания, — сама их лексика показательна.

Особенно характерны признания Левы Танфильева из «Земли с большой буквы»: «Когда-то казалось: только бы добиться, только бы работать, жить вместе с людьми, умеющими летать. В таких людях не может быть страха, будничной людской мелкости; стоит стать с ними рядом — и будешь таким, как они, и все никчемное, стыдное отпадет... Герои, — Лева усмеяется. — Летучие люди... Я-то думал, они действительно отличаются от нас, наземных букашек. А на самом деле все одинаковые». В этом рассказе («Земля с большой буквы») Лева Танфильев проделявает всю эволюцию молодых героев Г. Горышина и несколько приоткрывает завесу над их ближайшим будущим. Сначала Лева разочарован тем, что «летучих людей» не обнаружил. Потом, очутившись в опасных обстоятельствах, боится за себя — что струсит, смалодушествует и не поступит как должно: «Ага... Ага!.. Боишься? Сам ведь хотел... Ну, давай! Ну, докажи, что ты человек». И наконец, испытав угрозу смерти, по халатности летчика едва не разбившись в горах, понимает, что его прежнее бытие — «несбыточное», «сказочное счастье» и что «превыше всех бед, раскаяний и мечтаний — жить, идти по земле. Быть необходимым и жить».

Так зарождается новая «философия» — философия «необходимого существования» и вытекающего из нее возвращения к будням.

У какого героя, как Лева Танфильев, «по малости его заслуг в мире», нет больше права слишком много требовать от этого мира, а после разных передраг — нет и желания. Он теперь становится благоразумен и морально эластичен. Да и как ему быть иным, с его все еще не изжитой боязнью за свой «градус благородства»? Странное это. между прочим, сочетание слов; оно стало названием целого раздела дневниковых заметок в книге «Синее око», но нельзя назвать его счастливой находкой автора. Такая илюзия может дорого обойтись кому-то — стоит только поверить, будто и в самом деле возможно поступать не просто благородно или, наоборот, подло, а благородно на 10 градусов, на 18, на все 80. Какие откроются богатые возможности роста! Тогда и подлость легко измерить в градусах; и как приятно самообольщаться. «Я был вчера благороден на 40 градусов» или: «Ну, что это за подлость — всего 7,5 градуса. Так, пустяк».

Но при этой заведомой снисходительности к любым проявлениям жизни Быт, некогда отброшенный и презренный, неминуемо должен снова обрести свою значительность. И вот — землянка изыскателя Федора Колотухина из рассказа «Девчонка свое возьмет». И здесь, в тайге, открылся свой незабываемый бытовой уклад. От него уже некуда бежать и нельзя отмахнуться — ему нечего противопоставить: все люди — «букашки», но ведь и сам ты среди них букашка. Обстоятельства неизбежно одолевают тебя, их не поборешь иначе, как их же собственной силой; они «побеждают» через подчинение им». Почему в рассказе о Федоре Колотухине вершится любовь героев? В ней нет ни тайн, ни ореолов, ни буйной и вольной чувственности, она обыденна. Это такая же принадлежность житейского устройства, часть его нерушимой системы, как и все другие, — из них вытекает, от них зависит, ими предписана. Возраст девушки, которой пора уже думать «об этом», мужское одиночество Федора, вынужденные ночевки в одной землянке решают за них их таежный роман во всей его неизбежности — и девчонка «берет свое».

Так же неуправляемо целесообразна, несмотря на изобилие неблагоприятных случайностей, и биография двух героинь в рассказе с демонстративным названием

«Банальная история». Да, банальная. у одной муж — пьяница и садист; другая готовится в «матери-одиночки»; но обе уезжают на стройку, работают, щебечут по вечерам в общежитии, зализывают раны, а жизнь ликует «в трубных звуках весеннего гимна»: крик новорожденного младенца оправдывает и возмещает в ней все. «Се ля ви» — такова жизнь. Такова ее суровая правда. Нерушимый и вечный базис человеческого бытия отождествляется с его конечным смыслом.

Автор выступает как апостол «суровой правды». Ей отдает он свой навык профессионала, свой жизненный опыт, выучку и начитанность. Необходимость писать о ней обосновывается теоретически, появляются ссылки на учителей-предшественников: в рассказах и биографических заметках повторяются имена Хемингуэя, Андрея Платонова и других, чья «суровая правда» своеобразно толкуется как безысходная всепоглощающая проза — «только работа людей, их боль, смерть, борьба за миску похлебки. За существование».

Вся программа приятия «суровой правды» Г. Горышина последовательно требует подчинения «разумной необходимости», основанной на трезвом осознании скромных возможностей и несовершенства индивида. У индивида есть надежда удобно устроиться и даже улучшить себя в рамках этой же необходимости, но при условии: выше себя не прыгать.

Именно к этому берегу, побарахтавшись и озябнув в холодных водах залива, выгребают герои нарядной, но какой-то игрушечной киноповести Г. Горышина «Двое в скифе», опять-таки экспериментально — ради освоения сценарной техники — развернутой из уже опубликованного рассказа «Лахтинские камыши».

Таков сегодняшний итог духовных поисков молодых героев Г. Горышина. Давно расквитавшись со стандартом «сильной личности», они ищут путей преодоления своего эгоцентризма, разбившегося о твердую неподатливую быта. Правда, ищут все еще эгоцентрически, в направлении индивидуального благоустройства и «гигиены души». Вместе с ними и автор на этом этапе своей биографии рискует по-прежнему не обрести самобытность: гошая идея «мира в себе» — это всего лишь «честная бедность», да и то когда она не поза и не

маска. Все тропы построения «царства божия внутри нас» давно уже исхожены искусством. И писатель понимает это. Ему неспокойно. «Ученичество продолжается», — говорит он, мечтая о настоящей, хорошей книге, — «чтобы она была как надежда на поездку в Крым для северного сахалинца, как дверь из одного дня, из одной квартиры в миллиондневный, омытый океа-

нами, озаренный гением и счастьем жизни мир людей».

Но путь к этой книге есть одновременно и путь от этической азбуки к более обязывающим и действенным формам общественного сознания, к более развитой человечности. Другого пути не бывает.

Г. ТРЕФИЛОВА.

★

НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ

Анатолий Поперечный. Невидимый бой. Стихотворения и поэмы. «Советская Россия». М. 1963. 112 стр.

Сборник стихов Анатолия Поперечного называется «Невидимый бой». Он снабжен аннотацией, в которой нет ни биографических сведений о поэте, хотя бы самых кратких, ни упоминания предыдущих его книг, но в которой содержится зато развернутая характеристика новой работы автора. В этой аннотации написано:

«Горячий порыв молодости к яркой красоте, к знойной, до седьмого пота, работе, гордость неутоленной силой и пьянящая радость сопричастия к великим делам эпохи — основная черта новой книги Анатолия Поперечного. Поэт увидел главного героя времени и лирически раскрыл безудержный размах его чувств и дел. Поэт постоянно обращает взор к своей Родине. Поэтому и клянется молодость сносить все невзгоды в пути завоевания мечты... Книга «Невидимый бой» — книга любви ко всему прекрасному в человеке и ненависти к темному и злему, по-настоящему современна».

Авторы этой возвышенной аттестации напрасно говорят лишь об одной черте книги. «Горячий порыв», «пьянящая радость», «гордость неутоленной силой» вкупе с другими не менее прекрасными качествами — это не одна черта, а целое собрание черт, плохо, правда, согласующихся между собой. Если, скажем, налицо имеется горячий порыв к работе, да еще знойной, до седьмого пота, то почему же сила остается все же неутоленной? Любовь ко всему прекрасному и ненависть ко всему темному и злему вряд ли составляет индивидуальную особенность данного сборника, эти качества присущи великому множеству книг — от Гомера до наших дней.

Звонкие, пышные фразы, общие места, затасканные эпитеты — к этому, увы, сводится

аннотация, которая не дает ни малейшего представления ни об авторе, ни о его книге стихов. Неужели сборник стихов А. Поперечного настолько лишен конкретного содержания, что для его характеристики приходится прибегать к туману общих фраз?

Это не так. Книга А. Поперечного не только вполне определена, но эта определенность осознана. В стихотворении «Посвящение», которое открывает сборник, содержится своего рода программа поэта. Кому же и чему посвящает свою музу художник? Приведем его полностью, от первой до последней строки:

Рыбак иль мореплаватель
пропавший,
Осмысливший свой жребий
гражданин,
Встань предо мною,
Ремеслом пропахший,
На собственной судьбине
испытавший,
Что человек не может быть один,
Не должен быть..
И звезды бьют в отсеки,
И, пятясь, отступает океан,
И жилистые руки Человека,
Как молнии сверкают сквозь
туман...

Но все же есть мгновения такие
(И не поставлю я тебе во грех),
Когда,
врасплох застигнутый стихией,
Ты победишь ее,
один —
за всех,
Не потому, что други не найдутся
И за тебя не постоят горой. —
А просто лично твой был этот бой.
И пусть молчат иные славолубцы,
Что пренебрег ты дружбою самой.

Нет, други есть.
Лишь только позови ты.

Только вжился в права —
От подножья мешанства
До высот плутовства
И чиновного чванства
Я сказал ему:

«Нет!»

И с тех пор длится правый
Бой,
Невидимый бой,
Между кривдой и правдой...
Это века прибой,
Это сердца решимость...
И да здравствует бой,
Мира непримиримость!

Враг, о котором лирический герой говорит в таком агрессивном тоне и которого он готов испепелить,— это не живой человек, а абстрактное средоточие абстрактных пороков, составленное чисто умозрительно. Добродетели, воплощением которых является лирический герой, так же абстрактны, как и пороки, и составлены по тому же принципу.

Единственная черта его, имеющая вполне реальные очертания,— это активная воинственность. Стоит ему лишь почуять запах врага, как у него загораются глаза и он чувствует небывалый прилив сил: «Со мною не просто врагу разминуться... рассчитаться не просто, расквитаться не просто... я встаю беспощадней любой беспощадности... я, скуластый в родню... буду бить смертным боем... Да здравствует бой...»

Эта грозная, ни на минуту не утихающая воинственность звучит и в других стихах А. Поперечного, составляя самый устойчивый их мотив.

Поэзия свершает свой обряд,
Кулак и сердце обретает слово,—

говорится в стихотворении «Поэзия свершает свой обряд...». Любой повод хорош для открытия военных действий, как видим, когда человек изо всех сил рвется в бой.

Вот стихотворение о любви и верности («Клятва на весле»):

Что слово мне скажи —
Кулак мой к бою,
Что бровью поведи —
Я раб бровей,
Их крутокрылой прихоти...
Но если
Затеют вдруг игру в измену,—
Что ж,
Я тоже остробров.
Но бровь, как нож,
Все молнии в бровях моих воскресли
Рыбацкий нож —
Моя кривая бровь,
Слепая ночь —

Моя к тебе любовь,
И на весле,
Что брошу я к ногам,
Кровь соловья
Зарезанного,
Кровь
Зари последней нашей...

Как-то даже жутко делается от этих кровавых угроз, обрамленных «красивостями» («Я раб бровей, их крутокрылой прихоти» и т. п.). Впрочем, погодите, лирический герой, чуть-чуть остыв и сообразив, что к чему, готов сменить гнев на милость: «Зачем бровей твоих крыластую игру (никуда нам не деться от этой роковой игры бровей.— Л. Л.) мне за измену принимать и тем тебя так обесславить на миру». Но и при этом он не забывает, что «если есть на свете доброта, то есть жестокость». Жестокость, обратите внимание, а не что-нибудь иное! Это, видимо, еще одна грань «мужской необоримости».

Лирический герой поэзии А. Поперечного любит море и рыбаков. Это его родная стихия, здесь он у себя дома. В одном из стихотворений («Грозе в глаза») он говорит: «А только чую — рыба идет... а только вижу бровей разлет (ох, уж эти брови! — Л. Л.), как взмах топора пред убийством быка. Моря кровавое око, гори! Море, за жестокость меня не кори. Жестокости ты научило меня...»

Но почему же мирный рыболовецкий промысел изображается как кровавая бойня, пробуждающая в душе человека зверя? И зачем путать правила добычи рыбы с законами человеческого общежития?..

А далее лирический герой переходит к нзлюбленной своей теме:

О, я суеверен,
Но верю я
В рыбацкое сердце.
В бойцовский кулак.
О, я суеверен,
Но верю я
В мужество самых опасных драк.—
Когда,
Скуласты и высоки,
Выходят рыбак
И еще рыбак,
Выходят один на один рыбаки —
И пятится, пятится,
пятится
враг..

Не тот рыбак,
Кто, как черт, полосат.
А тот,
Кто над смертью хохочет:
Ха-ха!..

Если эти строки могут быть причислены к поэзии, то разве что к пародийной, хотя их автор и не помышлял о комическом эффекте.

Итак, вот идеал лирического героя. Что-бы драка, чтоб стенка на стенку, чтоб настоящий, без дураков, мордобой, чтоб кости трещали и кровь лилась. Ему и в голову не приходит соображение, что драка можно отвергать по иным причинам, кроме страха смерти, что человеку не все равно, где погибнуть,— в борьбе за правое дело или в бессмысленной драке, затеянной только потому, что кулаки чешутся.

Как-то неловко и совестно доказывать в середине двадцатого столетия, что культ грубой силы и откровенной жестокости отжил свой век.

Нет, какими бы иллюзиями ни тешил себя лирический герой книги А. Поперечного, на «мускулах и воле», если они не подкреплены отчетливыми нравственными представлениями и серьезной жизненной целью, далеко не уедешь. При случае они еще могут принести какому-нибудь кандидату в чемпионы успех в очередной драке, но этих качеств явно маловато для того, чтобы «преобразить времени черты». Если, понятно, не считать времени кулачного права, которое безвозвратно ушло в прошлое.

Было бы несправедливо умолчать о том, что в сборнике А. Поперечного есть немало стихов (не говоря уже о двух поэмах), в которых содержатся хорошие и благородные

мысли о вреде равнодушия, о красоте человеческого труда, о высоком назначении искусства. Но эти мысли, выраженные витиевато и невнятно, находятся в вопиющем несоответствии с характером лирического героя, человека драчливого, не очень доброго и очень довольного собой. Причину этой двойственности надо искать, видимо, в нравственной невоспитанности лирического героя, у которого мирно уживаются самые противоположные качества и устремления. Причем не естественные противоречия, свойственные живому человеку, а черты несовместимые и взаимно отрицающие друг друга. Герой поэзии А. Поперечного и не подозревает, что страсть к мордобой и похвальба своими кулаками плохо согласуются с декларациями о человеческой солидарности и призывами к общению. Он слишком стихийен, слишком бездумен, слишком носится со своим крутым нравом, унаследованным от предков (к нему, кстати, он постоянно апеллирует), чтобы отдавать себе отчет в том, что с ним происходит и что он делает...

Аннотация к книге А. Поперечного (вернемся в заключение к ней), утверждая, что «поэт увидел главного героя времени и лирически раскрыл безудержный размах его чувств и дел», явно грешит против истины. Думается, что стихийность, бездумность и драчливость никак не могут быть названы ведущими чертами главного героя нашего времени.

Л. ЛЕВИЦКИЙ

★

С ПОЗИЦИЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

Генрих Бэль. Глазами клоуна. Роман. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой. «Иностранная литература», № 3, 1964.

Нищий музыкант необычного вида и необычной судьбы сидит на лестнице Боннского вокзала и собирает подаянье, напевая песенку под гитару.

Его лицо набелено. Еще вчера он выступал на сцене и недавно был одним из популярных клоунов и мимов, «артистов эстрады». А его отец — один из богатейших предпринимателей страны.

Такова заключительная сцена романа Бэля «Глазами клоуна». Все действие романа разыгрывается в течение одного вечера — и завершается тем, что Ганс Шнир оказывается на ступеньках вокзальной лестницы. И хотя в этом его поступке много детского

и актерского (он готовится просить милостыню, тщательно обдумывая все детали, словно ставит одну из своих пантомим), все же те несколько часов из жизни клоуна Шнира, которые показывает нам Бэль, достаточны, чтобы сделать понятным неизбежность если не этого, то какого-нибудь другого столь же странного или даже рокового поступка со стороны героя романа.

Скажем сразу, что действия Ганса Шнира менее всего определены нуждой, голодом... Конечно, он потерпел сокрушительную актерскую неудачу — его последние выступления становились все слабее, публика перестала их принимать, в печати по-

явилась уничтожающая рецензия, импресарио, организовавший выступления Шнира, отказывается от него. Рушатся и надежды клоуна на помощь со стороны отца, и у него в кармане нет буквально ни одного пфеннига. Но он идет с гитарой под мышкой к вокзалу не из-за тех жалких грошей, которые могут бросить там в шляпу уличного музыканта. Он идет туда, чтобы стать укром для тех, кто довел его до отчаяния,— с безумной надеждой, что покинувшая его Мари, ужаснувшись, вернется к нему.

Непосредственная причина душевных мучений клоуна — уход от него Мари. С детских лет они были привязаны друг к другу. Шесть лет была она его женой, сопровождала его во всех актерских скитаниях, и жизнь без нее представляется ему невозможной. Правда, их союз никогда не был официально скреплен. Мари — католичка, и чтобы заключить брак, Шнир должен был дать подписку, что их дети будут воспитываться в католической вере. А он видел в этом принуждение и не соглашался. Когда же, смертельно утомленный работой и удрученный возрастающим отчуждением Мари, он согласился, было уже поздно. Мари встретила давно влюбленного в нее Хериберта Цюпфнера, одного из видных католических деятелей, и ушла к нему. Именно после этого Шнир стал пить, прекратил тренировки, потерял контроль над собой во время выступлений — и потерпел фиаско как актер.

И все же дело не только в Мари. В конечном счете дело в глубочайшем разладе между клоуном Гансом Шниром и тем миром, в котором он живет. И уход Мари от него — это, кроме всего прочего, как бы переход на сторону врагов единственного человека, который был близок Гансу, измена его единственного союзника — и начало его полного одиночества.

Ганс Шнир человек совсем иной, чем все те люди, с которыми он сталкивается и от которых он ушел, чтобы стать клоуном. Это человек необычайной чистоты и целомудренности. Он подлинный художник, самоотверженно, почти до аскетизма занятый своим искусством и неотступно думающий о нем. (Кстати, рассуждения клоуна об искусстве весьма близки к мыслям, в иной форме высказанным в статьях самого Бёля.— одно из проявлений глубокого родства между автором и его героем, род-

ства, отнюдь не означающего, конечно, их полного единства.)

Облик Ганса Шнира подчеркнуто инфантилен. Недаром его любимым развлечением оказываются наивнейшие детские игры. Он во всем следует велениям своего сердца, того трудно определимого внутреннего голоса, по поводу которого сам говорит: «Может быть, нужно было сказать: душа, чувство, нутро, но мне показалось, что «сердце» самое подходящее слово».

В мире, который противопоставлен Гансу Шниру, много различных сфер и оттенков, немало характерных лиц.

Особое место уделено родителям клоуна. Его мать, безмерно скупая и себялюбивая, когда-то восторженно поддерживавшая гитлеровские порядки, пославшая даже собственную дочь, шестнадцатилетнюю Генриетту, в отряд противоздушного обороны и тем обрекая ее на гибель,— холодна и безжалостна. Отец клоуна — владелец или совладелец многих предприятий страны, безмерно богатый и влиятельный человек, для которого накопление денег оказывается самоцелью.

Характеристика родителей клоуна дана Бёлем прежде всего в моральном плане. Социально-политический момент здесь, конечно, присутствует: рассказчик — клоун, а его устами сам автор судит своих родителей и многих других персонажей романа с последовательно антифашистских позиций, показывает, как они пособничали нацизму во время власти Гитлера и лицемерно щеголяют демократическими фразами ныне, не осознав и не испуив свои преступления. Более того, именно этот угол зрения является основным и решающим для рассказчика (и автора) не только в его оценке людей, но и во всей рисуемой им картине мира. «Глазами клоуна» — вообще самый сатирический из всех романов Бёля, и эта сатира — прямо или косвенно — обращена на самые различные стороны политической жизни Западной Германии. Но повернута вся эта проблематика своей моральной стороной, направлена на установление нравственной вины людей, на разоблачение их моральной низости.

Герой Бёля отнюдь не оперирует, однако, какими-либо абстрактными моральными догмами, религиозными или философскими. Его мораль — это мораль, естественно складывающаяся перед лицом современного мира в душе человека честного и чистого.

Клоун Ганс Шнир живет необычайно интенсивной и глубокой душевной жизнью. Он не только по-детски наивен и импульсивен. Он также необычайно впечатлителен и эмоционален. Свое крайнее, несколько забавное выражение это находит в том, что ему свойственна одна невероятная черта, которую он сам называет «почти мистической»: он чувствует по телефону запахи. Так, взяв трубку, когда его вызывает его импрессарио Цонерер, он сразу ощущает пивной запах. И это дано Бёлем совсем не как мистика, а лишь как свидетельство точности и остроты восприятий Ганса Шнира.

Внутренняя жизнь человека у Бёля не похожа на тот сгусток чудовищных влечений и животных инстинктов, которыми она со времен натурализма нередко подменялась. Душевная жизнь, показанная писателем, отнюдь не враждебна человеческому интеллекту, а образует с ним органическое единство вопреки всем странностям в поведении клоуна. И, при всей своей ранимости, уязвимости и незащитности, герой Бёля негибает.

Роман «Глазами клоуна» не единственное произведение современного искусства на Западе, рассматривающее весь мир с позиций человечности, с позиции души. В повествовательной литературе здесь прежде всего вспоминается роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», в кинематографии — фильмы Феллини, особенно «Дорога». При всем своем различии — а эти произведения очень различны, — они обращены к душевной жизни человека и рисуют ее противостоящей действительности.

Холден Колфилд в романе Сэлинджера и в колледже, и в мире взрослых сохраняет особое, незатемненное зрение, неподкупность своей совести. При всей странности и импульсивности своего поведения, он обладает моральным здоровьем и в этом смысле совершенно нормален — едва ли не единственный нормальный среди всех своих сверстников и взрослых, изображенных в романе.

А забытая и смешная дурочка Джельсомина в «Дороге» Феллини, купленная звероподобным уличным циркачом Дзампано и превращенная им в служанку, наложницу и помощницу при его представлениях, в своей трогательной доверчивости и готовности радоваться даже малейшему, хотя

бы самому иллюзорному проявлению доброты и внимания, становится в потрясающем исполнении Джульетты Мазини как бы символом человеческой души. И хотя она хрупка и незащитна, хотя она впадает в помешательство, когда на ее глазах Дзампано убивает единственного человека, дружелюбно отнесшегося к ней, — светлого и легкого клоуна Матто, она обладает все же особой силой, будит в людях какие-то сокровенные чувства, и даже сам Дзампано не может забыть ее.

О близости романа Бёля к Сэлинджеру, даже о подражании Бёля Сэлинджеру критика заговорила сразу же после выхода в свет рецензируемой книги — тем более что именно Бёль перевел повесть Сэлинджера на немецкий язык. Но ярлык «подражание» ничего не объясняет, когда речь идет о чертах сходства в произведениях крупных писателей. Близость Бёля и Сэлинджера — в выдвигании на передний план душевного мира человека, в характеристике с этих позиций всей действительности — это проявления какого-то нового этапа в развитии искусства на Западе, искусства, отвечающего на духовные потребности передовых слоев интеллигенции, возникшие на новом историческом рубеже.

Здесь есть общая предпосылка: протест против все увеличивающейся автоматизации и обезличения человека в современном буржуазном обществе, против обнищания и калечения духовной жизни человека. Художники, не становящиеся на путь социальной революции, но обладающие зорким и неподкупным взглядом, в своей критике современного общества все чаще вместо частных социальных явлений дают суммарную и фактически уничтожающую картину современной жизни — противопоставляя эту жизнь человеку, сохранившему свою чистоту, естественность, свою подлинную человечность.

Это не означает, конечно, что отмеченный здесь процесс является единственным содержанием всего развития западного искусства в наши дни. Но это тенденция очень важная. И она важна, в частности, тем, что утверждает такое высокое и неистребимое начало, которое оказывается как бы неподведомственным всем могущественным силам, принижающим и расплывающим человека.

Легко заметить, что силы героя Бёля и силы противостоящего ему мира весьма

неравны. Вернее, Ганс Шнир вообще бессилен перед лицом своих противников с точки зрения реальных действий. Он настроен весьма воинственно по отношению к окружающему миру, но это придает ему даже несколько комический облик. Клоун не предвидит последствий своих поступков, как ребенок нанося удары, от которых страдает сам. Но все это не означает, что его борьба бессмысленна. Бёль ценит в своем герое силу нравственного сопротивления. Писатель стремится оживить и поднять душевные силы людей, дать им пример духовной несгибаемости и самостоятельности.

Для Бёля очень важна тема современного католицизма. Клоун обвиняет современных католиков — обвиняет в лицемерии, фразерстве и т. д. Но за этой полемикой явно ощущается и глубокая заинтересованность героя романа (и его автора) в католицизме, даже известное притяжение к нему. Это объясняется отнюдь не только биографическими обстоятельствами (то есть тем, что Бёль происходит из католической семьи), но и тем, что в условиях современного общества на Западе религия оказывается одной из тех сфер, в которых люди пытаются найти что-то для своей душевной жизни. Не случайно Лео, брат Ганса, также не желающий жить жизнью своих родителей, решает стать католическим священником. И этим же объясняются те сложные связи с католицизмом, которые существуют у ряда других художников, исповедующих человечность. Но показательно, что для самого Ганса Шнира борьба за сохранение чистоты души, за интенсивность душевной жизни лежит на путях внерелигиозных.

Ганс Шнир — целиком и полностью человек своего времени. Весь роман Бёля исторически конкретен. Но у чудака-клоуна (и у его сотоварищей в современном искусстве) есть множество предшественников в мировой литературе.

Чудаки, не считающиеся с внешними условиями при осуществлении велений своей души, были едва ли не наиболее примечательными из положительных героев искусства буржуазного общества. Само отсутствие в них утилитаризма и своекорыстного начала разительно отличало их от типических деятелей мира капиталистических отношений, придавало им особую возвышенность и героичность, неотдели-

мую при этом от некоторого комизма. Этот традиционный герой, конечно, отнюдь не просто воспроизводится у Бёля, а преображается и приобретает новую жизнь, органически входя в иную историческую действительность.

И художественная структура нового романа Бёля также характеризуется сочетанием давних традиций европейского реалистического романа и новейших форм повествовательного искусства. Концентрация действия на небольшом временном плацдарме в четыре-пять часов, извилистость тематического движения в монологе клоуна, организующем весь роман и прерываемом лишь телефонными разговорами, — все это сближает книгу Бёля с произведениями, построенными по принципу «потока сознания». Но отбор материала у Бёля несравненно более строг и экономичен, чем в этих произведениях. Даже повторения и противоречия в мыслях героя всегда целенаправлены с точки зрения развертывания его характера.

Для творчества Бёля, как, впрочем, и для некоторых других писателей, характерно гакже органическое соединение двух прежде раздельных и даже полярных линий в развитии литературы Запада, возникших накануне и после первой мировой войны: сдержанной, построенной на подтексте системы повествования Хемингуэя и разорванной, обнажающей свою эмоциональность манеры экспрессионистов. Обе эти линии возникли как ответ на те ужасные страдания, которые принесли с собой человечеству в начале века империализм и мировая война. Стиснутые зубы или безудержный вопль — либо так, либо так, в зависимости от особенностей своей натуры, от своеобразия своего художественного дарования, реагировали на страшные испытания этих лет многие писатели капиталистического мира.

Но после второй мировой войны намечается — особенно в немецкой литературе — сближение этих направлений. Непосредственное изображение потрясений и страданий человека здесь сохраняется, как у экспрессионистов, но форма изображения этих потрясений и страданий становится сдержанной и сконцентрированной, как у Хемингуэя. В одной из своих статей Бёль, анализируя произведения рано умершего антифашистского писателя Вольфганга Борхерта, выступившего в печати сразу по-

сле второй мировой войны, подчеркивает, что в его творчестве, как это обычно подчеркивалось критиками, слышен «воплъ», но что его дикция вместе с тем характеризуется «сдержанностью», «спокойствием». И этот синтез «вопля» и «спокойствия» определяет собой в значительной мере и творческий облик самого Бёля, начиная с его первых работ.

Но если у раннего Бёля все же нередко преобладает показ более внешней стороны человеческой жизни, то уже в романе «Бильярд в половине десятого» происходит

решительный поворот к психологизму. Само выдвигание у Бёля на передний план душевной жизни человека, сама трактовка всего мира с позиции человечности, при всей своей связанности с новейшими тенденциями в развитии западного искусства, глубоко родственны той устремленности к изображению внутреннего мира человека, которая была так важна для немецкой классической литературы со времен «Страданий молодого Вертера».

В. АДМОНИ.
Ленинград.

★

Политика и наука

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОТВЕТСТВЕННОЙ ТЕМЕ

К. Бусл ов. Проблемы социального прогресса в трудах В. И. Ленина (1917—1923). Издательство Академии наук БССР. Минск. 1963. 515 стр.

Разработка ленинского наследия — одна из важнейших задач советской философии. В последние годы ряд специальных работ был посвящен, в частности, теории социального прогресса. Однако многие аспекты этой проблемы еще далеко не исчерпаны, и монографию на эту тему можно только приветствовать. С этой мыслью читатель и берет в руки объемистую книгу К. Бусл ова, изданную под грифом Академии наук Белорусской ССР.

Но, к сожалению, разочарование овладевает им уже с первых страниц. Ограничение исследования рамками 1917—1923 годов должно, видимо, означать, что автор рассматривает свою работу как историко-философскую. Но такой аспект никоим образом не выдержан ни в структуре книги, ни в ее содержании. Не является книга и теоретическим исследованием. Четыре части, на которые она распадается (1. Историческое место ленинской теории социалистической революции в общественном прогрессе. 2. Ленинская теория и практика строительства социализма и социальный прогресс. 3. В. И. Ленин о свободе личности как критерии социального прогресса. 4. Обоснование В. И. Лениным роли социалистической культуры в социальном прогрессе), слабо связаны не только друг с другом, но и с главной темой исследования. К. Бусл ов не развивает определенную мысль, а просто нанизывает друг на друга различные положения и факты, добавляя каждый раз, что

все они имеют значение для социального прогресса. И что еще хуже — даже при изложении общеизвестных вещей допускает теоретические ошибки.

Идея прогресса занимает важное место в истории философии и общественно-политической мысли. Показать ленинский вклад в развитие теории прогресса невозможно, не сопоставив взгляды В. И. Ленина с теориями его предшественников, в частности классиков домарксовской философии. К. Бусл ов поступает поэтому совершенно правильно, когда пытается во «Введении» к своей книге коротко охарактеризовать авторов, которые, по его словам, оставили след «в развитии теории прогресса» (стр. 8). Но как это делается! К. Бусл ов скопом перечисляет десять — пятнадцать имен, не учитывая ни хронологической последовательности, ни различий в теоретических позициях авторов. Французский историк периода Реставрации Гизо стоит в его перечислении между просветителями XVIII века Гердером и Руссо, а итальянский философ Вико, рассматривавший историю общества как циклический круговорот, соседствует с английским историком Гиббоном, который выражал уверенность в поступательном развитии общества и в том, что времена варварства никогда уже не вернуться.

Об уровне историко-философской эрудиции автора говорит следующая цитата: «В условиях вырождения буржуазной социологии проблемы прогресса (?) начали

вытесняться... Шопенгауэр активно выступал вообще против прогрессивности истории (?). У Шеллинга прогресс — это возвращение к абсолютизму (?!), проявляющемуся в форме спиралей (?!). Гегель, создавший идеалистическую систему, представляет прогресс, как «прогресс в сознании свободы», завершившийся в Германии, конечной точке исторического развития. У Гегеля история человечества не имеет будущего: прогресс был велик, но он в своих основных моментах закончился, достиг в пруссачестве (?) последней ступени. Этим самым Гегель извращал сущность прогресса» (стр. 9).

Здесь все, буквально все неверно. Шеллинг и Гегель, как известно, представители классической немецкой философии. С «вырождением буржуазной социологии» они не имеют ничего общего. Шопенгауэр тоже создал свои основные произведения в первой трети XIX века. Малограмотные фразы о Шеллинге и Шопенгауэре вообще лишены смысла. Характеристика же Гегеля как реакционного философа, представителя «вырождающейся буржуазной социологии», не только фактически ошибочна, но и противоречит оценкам Маркса и Ленина.

Еще хуже обстоит дело у К. Буслова с критикой современной буржуазной философии и социологии. Идеологи современной буржуазии уделяют большое внимание проблеме прогресса. Одни из них прямо отрицают поступательность общественного развития, рассматривая историю то как повторение одних и тех же циклов, то как регрессивный процесс, ведущий к гибели человеческой цивилизации. Другие, не отрицая прогресса, извращают его действительное содержание и направление, пророчествуют долгую жизнь и процветание капитализму (например, известная теория «стадий экономического роста» американского экономиста У. Ростоу). В советской литературе основательно критиковались эти и подобные теории. Что дает в этом плане рецензируемая книга? На поверхностный взгляд может показаться, что автор ведет активную борьбу против буржуазных концепций. Книга буквально пестрит цитатами и ссылками на разных иностранных авторов, которые награждаются весьма неслестными эпитетами. Но, увы, К. Буслов критикует не концепции буржуазных ученых, а лишь отдельные, зачастую случайные цитаты. Ленин учил, что нужно вскрывать не только социальные, но и гносеологические

корни любых реакционных теорий. Это предполагает анализ не только выводов, но и доводов разбираемого учения. В книге К. Буслова нет и намека на такой анализ, а потому все буржуазные авторы выглядят одинаково глупыми и примитивными.

Как же освещается в ней сама теория прогресса? Увы, плохо. Из нее нельзя даже понять значения слова «прогресс». «Коммунизм как гуманная цель советского народа немыслим без социального прогресса. Коммунистический труд, бурное развитие производительных сил, науки, техники, культуры, искусства, морали обуславливают социальный прогресс» (стр. 347). Что же такое прогресс? В первой фазе прогресс — предпосылка коммунизма, во второй — результат всяческого развития. Невнятно, путано излагается и вопрос об объективном критерии прогресса, хотя об этом имеется уже солидная марксистская литература.

Неумение определить проблему приводит к тому, что автор механически соединяет в своем труде самые разнородные положения и факты. Большое место в книге занимают вопросы ленинской теории социалистической революции. Само по себе это правильно. Но К. Буслов не только не двигает эту теорию вперед, но и допускает ошибки, неверные формулировки.

На странице 37 утверждается: «Хотя рост производства и происходит еще, но империализм в интересе своего собственного сохранения ставит все больше препятствий развитию производства». Как понимать это утверждение? Докматическая «теория» стагнации капитализма не имеет ничего общего с ленинизмом. Конечно, капиталист внедряет новую технику, только когда это ему выгодно; можно привести много примеров «замороженных» патентов и т. д. Но, с другой стороны, реакционная техническая политика ставит фирму в невыгодное положение по сравнению с более оперативными конкурентами. Одно дело — антагонистические противоречия капитализма, объективно тормозящие рост его экономики, и другое дело — выдуманная К. Бусловым «заинтересованность» капиталистов в торможении собственного производства.

На странице 39 утверждается, будто доход эксплуататоров в ряде стран намного превышает национальный доход. Это уже нечто новое в политической экономии. На странице 34 фигурирует «монополистиче-

ский империализм», а на следующей странице — «капиталистический империализм». Как будто может быть монополистический и даже некапиталистический империализм! На странице 144 К. Буслов пишет, что на высшей фазе коммунизма исчезает противоположность между физическим и умственным трудом. Но, как известно, противоположность между умственным и физическим трудом преодолевается уже при социализме. Высшая фаза коммунизма решает другую, более сложную задачу — преодоление еще сохранившихся существенных различий между людьми умственного и людьми физического труда.

Неряшливые, безграмотные формулировки встречаются буквально на каждой странице. Вот взятые наугад примеры: «Расслоение внутри классов за счет роста числа служащих» (стр. 39), «высокий политический режим» (стр. 182), «НЭп в какой-то мере перспективен, как и в свое время Брест» (стр. 223), «Дело не меняется, если адвокаты буржуазии слегка посласловуют (!) о недостатках капитализма...» (стр. 275). А что можно понять из такой фразы: «Марксистская концепция социального прогресса в противоположность механическому отождествлению развития в природе и обществе противоположна плоскому вульгарному эволюционизму» (стр. 27)?

Несколько замечаний о главе «Гармоническое развитие человеческой личности — основа социального прогресса». Неверно уже ее название. Гармоническое развитие личности — цель коммунистического общества. Этой гармонии не было и не могло быть ни при капитализме, ни при феодализме. Поэтому сказать, что гармоническое развитие личности — основа социального прогресса, это все равно, что сказать, что до сих пор прогресса вообще не было.

Говоря о критериях социального прогресса, В. И. Ленин не случайно выдвигал на первый план интересы развития производительных сил и в особенности — производительность труда. Конечно, производство для коммунистов не самоцель, и прогресс оценивается не только по уровню развития производства, но и по тому, как это сказывается на человеке, его личности, его взаимоотношениях с обществом. Личность не только продукт, но и субъект общественных отношений, и проблема свободы и блага личности занимает важное место в марксистской теории про-

гресса. Однако и степень этой свободы и само положение и характер личности определяются прежде всего характером общественного строя. Автор не может не знать этого.

Проблема гармонического развития личности занимает одно из ведущих мест в современной советской философии и социологии. И рассматривают ее не «вообще», а конкретно, в связи с перспективами общественного разделения труда, количеством и характером использования свободного времени, соотношением естественно-научного и гуманитарного образования и т. п. По всем этим вопросам есть специальная научная литература. Но К. Буслов не обнаруживает даже знакомства с нею. Он просто перемежает общие фразы с цитатами из разных авторов от Кондорсе до Шпенглера и с многочисленными фактами из жизни советского общества, которые могли бы быть полезны как иллюстрация и доказательство авторской мысли, но в данном случае они никакой познавательной функции не несут. А отсюда — новые недоразумения. Автор, который только что критиковал буржуазный индивидуализм, вдруг заявляет, что «общественность, коллективность — продукт творческой личности» (стр. 363). С таким же (и даже большим) основанием он мог бы утверждать обратное: что творческая личность — это продукт общественности, коллективности. Серьезные, трудные проблемы, над которыми бьются философы и психологи: что такое творческая личность, каково соотношение коллективного и индивидуального творчества, какие формы коллективности способствуют формированию творческой индивидуальности, а какие приводят к нивелировке людей и т. д., — К. Буслов подменяет бессодержательными, общими фразами, которыми оперирует с легкостью необыкновенной.

В разделе о социалистической культуре тоже имеется все что угодно, вплоть до характеристики буржуазной эмпирической социологии, в которой, по словам К. Буслова, «отрицается объективность фактора (?) и спекулируется на решающей роли духовного момента в человеческой деятельности» (стр. 427). Автор много говорит об идейной борьбе в период нэпа. И это правильно. Раскрытие ленинского стиля руководства духовной жизнью общества имеет колоссальное значение не только для теории, но и для практики. Но для этого нуж-

но исследование, а его-то, к сожалению, и нет в книге К. Буслова. Он не только не вносит собственного вклада в разработку вопроса, но игнорирует то, что уже давно внесено другими.

К. Буслов приводит много фактов, но не утруждает себя ни проверкой их, ни конкретным анализом. Так, на странице 454 он пишет: «На позициях Пролеткульта стояли Бухарин, Деборин, Авербах». Потом вдруг такое: «Возникшие литературные объединения «Перевал», «Кузница», «На посту» и др. являлись рупором правотроцкистских тенденций» (стр. 463). И несколькими строками ниже: «В эти годы выходят безыдейные, антихудожественные произведения Романова, Малашкина, Гумилевского, извращающие советскую действительность, упаднические стихи Есенина, Ахматовой, бессодержательные рассказы Зошенко» (стр. 463). Спрашивается, что общего имеет эта «вселенская смазь» с принципом конкретного историзма, разработанным Лениным, которому посвящена книга и на которого все время ссылается К. Буслов?

Подведем итоги. Книга К. Буслова посвящена актуальной теме. Но чем ответственнее тема, тем более высокие требования предъявляются к уровню ее разработки. К сожалению, иногда получается иначе. В рецензии на книгу К. Буслова, опубликованной в журнале «Коммунист Бе-

лоруссии» (№ 6, 1964), профессор В. Степанов и доцент В. Панкратов отметили ряд серьезных идейно-теоретических ошибок автора, декларативность изложения, расплывчатость и неточность многих формулировок, «небрежность в использовании цитат из произведений Маркса, Энгельса и Ленина», слабое использование конкретно-социологического материала и т. д. Тем не менее они нашли возможным дать общую положительную оценку книги. Почему? Только потому, что актуальна тема. Ведь именно так можно понять авторов рецензии.

Не ясно ли, что книга о Ленине не должна ограничиваться простым сводом цитат, даже если они подобраны безукоризненно. Творческую лабораторию ленинской мысли нельзя раскрыть без собственного творческого подхода к проблеме. Так стоит ли хвалить книгу фактически только за ее тему? Не честнее ли сказать автору по-товарищески, прямо, что его труд не удался?

Видимо, это должны были сделать еще раньше сотрудники Института философии Белорусской Академии наук, директором которого является К. Буслов, а также научный редактор книги, чья подпись стоит на титульном листе, — доктор философских наук А. Ф. Окулов.

**В. КУЧЕРОВА,
И. КОН,**

доктор философских наук.

Ленинград.

★

ОБ ЭТОМ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ

А. Полтораки. Нюрнбергский эпилог. «Звезда», №№ 2—6, 1964.

Еще в те дни, когда в Нюрнбергском Дворце юстиции Международный трибунал судил руководителей третьего рейха, реакционный английский журналист Монтгомери Бельджон писал, что в Нюрнберге «царит сплошная бессмыслица». Несколько позднее американский сенатор Тафт, «потрясенный» судьбой Геринга, Риббентропа и прочих преступников, заявил, что «Соединенные Штаты еще долго будут жалеть о приведении в исполнение Нюрнбергского приговора». А уже в наше время, разъезжая с лекциями по Западной Германии, французский профессор Рассиньи внушал своим слушателям, что Нюрнбергский приговор вынесен на основе «фальшивых свиде-

тельских показаний и коммунистической травли». Не удивительно, что и в самой Западной Германии попытки ревизовать решения Нюрнбергского процесса, представить его как «подлейшую фальсификацию истории» (именно так охарактеризовала его газета «Анклагге») стали распространенным и будничным явлением.

Чем же объяснить такое единодушие реакционных кругов Запада в оценке Нюрнбергского процесса? Конечно, кое-кто сожалел о личной судьбе Геринга, Риббентропа и других. Но известно, что именно в этих кругах сразу же по окончании войны возникла мысль расстрелять гитлеровских заправил без суда и следствия. Наиболее

дальновидные представители империалистической реакции поняли, что международный процесс создаст опасный прецедент для будущего, раскроет тайники империалистической политики. Именно поэтому они всячески стремились избежать процесса, а когда суд все-таки состоялся — развернули кампанию, направленную на пересмотр его решений, на реабилитацию гитлеровского режима и его деятелей. Эта кампания достигла своего апогея в Западной Германии, где с мая 1965 года прекращается судебное преследование нацистских преступников.

Вот почему мы говорим, что Нюрнбергский процесс — не только историческое прошлое; это целый комплекс проблем, имеющих непосредственное отношение к нашей современности, к разоблачению новоявленных германских реваншистов и их зарубежных покровителей. Именно поэтому опубликованная в «Звезде» работа А. Полторака о Нюрнбергском процессе воспринимается с особым интересом. Автор изучал материалы процесса не со стороны, а принимал в нем непосредственное участие, возглавляя секретариат советской делегации в Международном трибунале. Насыщенная богатым фактическим материалом, книга привлекает сочетанием серьезной исследовательской работы с личными воспоминаниями автора.

Нюрнбергский процесс стал первым примером международного сотрудничества юристов союзных стран, которые выразили непреклонную волю народов привоздить к позорному столбу фашизм — одно из наиболее уродливых порождений империализма. Процесс длился около года. Только его официальные стенограммы занимают сорок два тома. В зеркале процесса отразилась целая эпоха трагических испытаний, которые обрушились на мир вместе с коричневой чумой гитлеризма.

А. Полторака не претендует на всесторонний охват событий, не старается писать историю второй мировой войны. И тем не менее сквозь призму процесса он сумел отразить наиболее значительные моменты исторической драмы, предшествовавшие ее развязке. Вместе с автором мы как бы присутствуем в залах Нюрнбергского Дворца юстиции, вглядываемся в обличье подсудимых, видим тюремные камеры, где провели свои последние бесславные дни бывшие власти рейха. Автор вводит нас в атмосферу суда, доносит до нас тот дух сотрудничества, который благодаря справедли-

вой и благородной цели и несмотря на идейные различия восторжествовал на Нюрнбергском процессе.

Нет буквально ни одной существенной проблемы процесса, которая не получила бы в книге своего осмысления и иллюстрации. Штрихом, деталью, точным примером автор помогает читателю разобраться в этих проблемах, уловить их связь с различными аспектами агрессивной политики современных милитаристов. Гитлеровские генералы, окончившие в бундесвере, до сих пор утверждают, что нападение гитлеровской Германии на СССР носило превентивный характер. Сторонники этого мифа есть и в Пентагоне, и в штабах НАТО. А Полторака убедительно показывает, что они отнюдь не оригинальны. Он приводит свидетельские показания Паулюса, вынужденные признания Геринга, Кейтеля и других подсудимых, разоблачающие миф геббельсовской пропаганды о превентивной войне. В свете этих признаний фальсификаторская сущность измышленной сегодняшних пропагандистов этого мифа не может вызвать иллюзий даже у мало искушенного в политике человека.

Нюрнберг явился эпилогом кровавой трагедии, навязанной миру фашизмом. А начало ее было в Мюнхене. Теперь на Западе многие стараются забыть, что именно здесь Гитлер получил благословение западных держав на агрессию, изображают Мюнхен чуть ли не триумфом западной дипломатии, победой политики умиротворения. Но вот любопытная деталь, приведенная автором. Идет допрос Шахта. Американский обвинитель Джексон с полным основанием напоминает бывшему экономическому диктатору гитлеровской Германии о разграблении Чехословакии. Но Шахт с не меньшим основанием отвечает: «Простите, пожалуйста, Гитлер же не взял эту страну силой. Союзники просто подарили ему эту страну... Имел место не захват, а просто подарок...» И еще один штрих, дополняющий картину мюнхенского предательства. По словам Геринга, в ответ на наглое требование в отношении Чехословакии он «ожидая взрыва, но не последовало и писка».

Рисую общую картину процесса, показывая его механизм в действии, автор развертывает перед нами серию портретов нацистских преступников, бросивших вместе с Гитлером человечество в пучину безмерных страданий. Особенно удачной в книге полу-

чилась фигура Шахта. Перед нами человек, державший в своих руках ключи от сейфов гитлеровского рейха, человек, сама личность которого символизировала единство германских монополий с гитлеризмом. Расчетливый политический делец и циничный дипломат, Шахт не любил света рампы, он предпочитал оставаться в тени. Но именно Шахт являлся представителем того монополистического капитала, который расчистил Гитлеру дорогу к власти. У Шахта нашлись на Западе покровители, которые не хотели его смерти: в Нюрнберге он был избавлен от казни. Автор приводит весьма красноречивое признание самого Шахта. «Если бы обвинителям удалось добиться моего осуждения на Нюрнбергском процессе,— заявил он,— то было бы легко пригвоздить к позорному столбу много других лидеров германской промышленности». В свете этого признания вполне понятно, почему один из главных нацистских преступников стал предметом трогательного великодушия со стороны западных политиков.

Характерный тип современного империалистического деятеля, поставившего дипломатию на службу генеральных штабов, сделавшего обман и вероломство основным принципом и орудием политики, запечатлен в личности гитлеровского министра иностранных дел Риббентропа.

Можно пожалеть, что автор ограничился психологическими портретами лишь нескольких гитлеровских заправил, а не включил в эту своеобразную галерею всех, кто восседал на скамье подсудимых, не дал, в частности, развернутых характеристик Кейтеля, Йодля и других военных преступников.

История знает немало политических судебных процессов. Поведение людей на таких процессах прямо зависело от характера и целей всей их предшествующей деятельности. Глубокая идейность, преданность интересам народа, сознание исторической

справедливости своей миссии рождали самоотверженность, бесстрашие и принципиальность перед лицом врага. Достаточно вспомнить поведение Димитрова в Лейпциге, где нацисты предъявили ему обвинение в поджоге рейхстага. Димитров не защищался, он сам обвинял, он защищал свои идеалы, коммунистические убеждения, дело, которому посвятил жизнь. А как вели себя на скамье подсудимых представители гитлеровской элиты? Политические проходимцы и авантюристы, чуждые высоких общественных идеалов, они напоминали пауков в банке. «Никто из них,— пишет автор книги,— не решился открыто выступить в защиту подлого дела, которому они столько лет служили... В Трибунале они вели себя как типичные уголовные преступники, имеющие за плечами не одну судимость: схваченные с поличным — отрицали свое участие в содеянном. Сваливали на мертвых и на соседей по скамье, делали все, чтобы спастись».

Нюрнбергский процесс дал возможность всему миру увидеть подлинное лицо нацистских лидеров, он как бы явился окном в страшный, порожденный капитализмом мир мерзости и полной деградации человеческой личности.

Но, конечно, этим не ограничивается роль Нюрнбергского процесса. Уроки Нюрнберга и поныне сохраняют свое поучительное значение, напоминая некоторым не в меру ретивым политикам о том бесславном конце, который нашли их предшественники на пути антисоветских авантур и провокаций.

В книге А. Полторака читатель найдет не бесстрастную фотографию далеких исторических событий, а живое и страстное слово публициста, обличающее мюнхенцев и реваншистов наших дней, слово, призывающее к миру и к бдительности.

О. СЕМЕНОВСКИЙ.



КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ И ПОЛИТИКА

Н. А. Ковальский. Ватикан и мировая политика. Организация внешнеполитической деятельности католического клерикализма. «Международные отношения». М. 1964. 268 стр.

Этот разговор состоялся в прошлом году в Риме, в дни очередной сессии Вселенского собора. В «вечный город» съехалось со всего мира множество корреспон-

дентов, и их точки зрения на все происходящее были самые разнообразные. Однако большинство сходилось во мнении, что внутри католической церкви происходят серьез-

ные изменения. Но каков характер и направление изменений? Об этом мы и спорили в нашем пресс-клубе.

В разговоре затрагивалась животрепещущая тема о «деполитизации» католической церкви, за которую ратуют радикально настроенные круги духовенства. Собственно говоря, термин «деполитизация», то есть отказ от политической деятельности, не совсем точен. Сторонники и последователи папы Иоанна XXIII, реалистично подходившего к современности, вовсе не подразумевают под «деполитизацией» исключение политики из жизни церкви. Все это не более, чем стремление представить католическую церковь стоящей над блоками, лагерями, военно-политическими союзами.

Однако и эта тенденция «обновленцев» подверглась критике со стороны некоторых моих собеседников. Корреспондент многогранного журнала, издающегося в яркочерной обложке, сказал: «Дело в том, что этот нейтрализм на руку вам, русским. У нас же создается впечатление, что мы теряем союзника».

В спор с ним вступил представитель одной крупной западногерманской газеты. По его мнению, Запад вовсе не теряет союзника, просто союзник считает необходимым перестроить свои ряды, так как старые боевые порядки безнадежно устарели.

И хотя у большинства присутствовавших были самые различные мнения о том, меняется ли, а если меняется, то в каком направлении, политический курс католической церкви и ее международного центра Ватикана, все сходилась в том, что ныне она является влиятельной силой в области мировой политики и ее нельзя недооценивать.

Этот разговор пришел мне на память, когда я прочитала книгу Н. Ковальского «Ватикан и мировая политика». В ней много нового и интересного. Видно, что автор поработал не только в библиотеках Москвы, Ленинграда, но и в книгохранилищах Парижа и Рима. Он имел также возможность ознакомиться с работой Вселенского собора, на который выезжал в прошлом году в качестве специального корреспондента журнала «Мировая экономика и международные отношения». Все это позволило ему получить информацию непосредственно «из первых рук».

Первая половина книги посвящена идеологическим проблемам, в основном — различным внешнеполитическим теориям като-

лицизма. Автор делит их на «обновленческие» и «консервативные». «Обновленцы» — это те круги высшего католического духовенства, которые считают, что в области внешней политики католическая церковь должна перестать открыто поддерживать правящие круги империалистических государств. В книге приводятся такие слова одного из ближайших сотрудников папы Иоанна XXIII: «Когда мы поддерживаем один из блоков, мы отталкиваем от себя половину человечества». Церковники боятся оказаться в изоляции от масс в условиях, когда народы отказываются выполнять роль пушечного мяса в военных авантюрах империализма, активно выступают за мир, против подготовки империалистами мировой термоядерной войны.

В книге отмечается, что в этом смысле деятельность Иоанна XXIII и его сторонников в среде высшего католического духовенства была с одобрением встречена рядом руководителей коммунистических и рабочих партий. Так, В. Гомулка отмечал, что позиция Иоанна XXIII совпадала с «миролюбивой политикой социалистических стран, несмотря на разницу, существующую между марксизмом-ленинизмом и философией, которой руководствуется церковь в своей деятельности».

В книге приводятся аналогичные оценки деятельности Иоанна XXIII и «обновленческих» кругов в пользу мира, сделанные Морисом Торезом, Пальмиро Тольятти и другими видными деятелями мирового коммунистического движения.

«Обновленцев» отличает также относительный реализм их политики в отношении социалистических государств. Папа Иоанн XXIII фактически признал границу по Одеру — Нейссе и тем самым совершил значительный отход от политики Пия XII, который с упорством фанатика продолжал вплоть до самой смерти поддерживать притязания боннских реваншистов на западные польские земли.

Реалистичным является отношение «обновленцев» к социалистической Кубе. В связи с этим автор приводит интересные сопоставления. Если США сочли нужным разорвать дипломатические отношения с Кубой, то Иоанн XXIII аккредитовал в 1962 году при Ватикане представителя правительства Фиделя Кастро. В начале 1963 года, когда правящие круги США после провала военной блокады Кубы приложили все силы для

того, чтобы добиться политической и экономической изоляции острова Свободы, римский папа послал свое «особое апостольское благословение» кубинскому народу, а президенту республики Дортикосу была вручена от имени папы памятная медаль, выбитая по случаю Вселенского собора.

Свидетельством того, что элементы трезвой оценки сил социалистической системы государств не исчезли со смертью Иоанна XXIII, может служить подписание в сентябре 1964 года соглашения между Ватиканом и Венгрией, которое нормализует до известной степени отношения между ними. Это соглашение явилось своеобразным признанием со стороны Ватикана крепости социалистического строя в Венгрии.

Однако тенденции, отличающиеся определенной трезвостью в оценке важнейших проблем современности, не всегда являются господствующими в католической церкви.

Сильным и влиятельным продолжает оставаться консервативное крыло высшего духовенства католической церкви. Оно выражает интересы самых агрессивных кругов монополистического капитала, фашистских режимов — словом, мировой реакции. Признанным лидером этой группы является кардинал Оттавиани, возглавляющий конгрегацию Священной канцелярии, которая некогда носила название «священной инквизиции».

Эта группа, отличающаяся мракобесием и обскурантизмом, испытывает тоску по временам «атлантической» политики Пия XII. Она выступает за продолжение антикоммунистического крестового похода не только в плане идеологической борьбы, но и дает понять, что не имеет ничего против развязывания термоядерной войны, лишь бы стереть социалистические государства с лица земли. В книге приводится заявление епископа Флетчера из Литтл-Рока (города США, ставшего всемирно известным несколько лет тому назад из-за преследования в нем негров), который осудил Московский договор о частичном запрещении испытаний ядерного оружия под тем предлогом, что он «поддерживает в общественном мнении Запада веру в добрую волю и мирные намерения врага».

После смерти Иоанна XXIII крайняя католическая реакция стремится поднять голову и более активно использовать церковь в качестве орудия «холодной войны» империализма против социалистических стран.

Весьма удачной представляется, на мой взгляд, и вторая часть книги, где рассказывается о том громадном и сложном механизме, при помощи которого католическая церковь стремится оказывать влияние на мировую политику.

Автор подробно анализирует структуру и деятельность государственного секретариата — этого своеобразного министерства иностранных дел Ватикана. «Святейший престол» располагает одной из самых старинных дипломатических служб, зарождение которой историки относят еще к IV веку н. э., когда папа Дамасий I впервые ввел должность апостолического викария, в обязанности которого входило представлять папу в отдаленных от Рима государствах.

В настоящее время Ватикан имеет разветвленную сеть своих дипломатических представительств за границей. В свою очередь около пятидесяти государств аккредитуют своих представителей при Ватикане (в том числе социалистическая Куба).

О стремлении Ватикана влиять на мировую политику свидетельствует участие его наблюдателей в работе Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений — ЮНЕСКО, ФАО, Всемирной организации здравоохранения. Ватикан — член Международного агентства по атомной энергии. Папские представители принимали участие в работе конференции ООН по торговле и развитию, проходившей в начале 1964 года в Женеве.

Значительной силой мирового клерикализма является католическое духовенство. В ряде капиталистических стран высшее духовенство, связанное с правящими кругами, оказывает влияние на формирование правительств, осуществляет посреднические функции при возникновении трений между правящими группировками, играет определенную роль в разработке законодательства и т. д. Об активном участии церкви в политической жизни свидетельствуют, в частности, факты вмешательства духовенства в избирательные кампании в Италии, ФРГ, Франции, Бельгии и в ряде других стран Западной Европы.

Среди монашеских орденов привлекает внимание деятельность ордена иезуитов, который всегда ставил во главу угла политику. Как сообщает автор, деятельность ордена несколько раз запрещалась и в отдельных странах, и в мировом масштабе. Четыре раза его запрещали во Франции, пять раз —

в Испании. Но правящие классы вновь возрождали его для борьбы с прогрессивными силами. И поныне орден иезуитов пользуется репутацией орудия мировой реакции. Его члены принимают участие в мероприятиях самой реакционной части правящих кругов США. Католическая печать сообщала о том, что в высадке на Плайя-Хирон на Кубе в 1961 году иезуиты принимали участие в качестве капелланов.

В современную эпоху особый размах приняло использование католической церковью таких орудий политической борьбы, как партии и общественные организации. «Ныне в католическом мире потребности настолько велики и многообразны, что духовенство, монахи, монахини, кажется, не в состоянии удовлетворить их в полной мере», — отмечал Иоанн XXIII. С этой целью он рекомендовал создавать «мирское войско», то есть сеть объединений католиков-мирян.

Подобного рода светские объединения развили значительную активность после второй мировой войны. Во многих странах Западной Европы клерикальные политические партии, находящиеся под контролем католической церкви, в течение ряда лет стоят у власти и собирают наибольшее количество голосов на выборах в парламент.

Нет ни одной страны в Латинской Америке, в которой не было бы христианско-демократических партий или групп. Свидетельством их влияния является победа хри-

стианского демократа Фрея на президентских выборах в Чили в сентябре 1964 года. Такие же партии создаются или уже созданы в ряде стран Африки.

Кроме политических партий, включились в международную деятельность также католические общественные организации. Ныне насчитывается около сорока международных объединений таких организаций. Некоторые из них — такие, как Всемирный союз женских католических организаций, Международная конфедерация христианских профсоюзов и другие, — объединяют в своих рядах по несколько миллионов человек.

Ныне на Западе широко дебатировался очень важный вопрос о возможности сотрудничества между коммунистами и католиками в борьбе за мир и социальный прогресс. В связи с этим автор совершенно правильно подчеркивает, что критика марксистами-ленинцами католической идеологии и политической деятельности реакционных клериков вовсе не означает, что между католиками и коммунистами не может быть «диалога». Он вполне возможен в практической деятельности при решении вопросов, имеющих взаимный интерес. И прежде всего речь идет о том, что люди всей земли, независимо от их отношения к религии, заинтересованы в том, чтобы империализму не удалось зажечь пожар мировой термоядерной войны.

И. КИЧАНОВА.



НОВАЯ КНИГА О ГРИБОЕДОВЕ

О. И. Попова. Грибоедов-дипломат. «Международные отношения». М. 1964. 219 стр.

«Молния не свергает на мураву, но на высоту башен и на главы гор. Высь души, кажется, манит к себе удар жребия»... Этими проникновенными словами Александра Бестужева о трагической гибели Грибоедова начинает О. И. Попова свою книгу о писателе-дипломате, желая сразу же предупредить читателя, что рассказ пойдет о жизненном пути человека редкой духовной высоты.

О Грибоедове и говорено и написано много. Отыскать о нем новые материалы трудно. Написать свежую работу, посвященную ему, написать ярко, оригинально, не повторяя уже сказанное другими историками или литературоведами, — задача сложная.

Но в то же время «грибоедовская тема» отнюдь не исчерпана, и большой ее знаток, страстный и неутомимый собиратель грибоедовских материалов, к тому же исследователь, владеющий пером, О. И. Попова могла бы дать ценную работу о дипломатической деятельности А. С. Грибоедова.

О. И. Попова «по мельчайшим крупичкам» собрала значительный материал и сопоставила некоторые новые данные о Грибоедове (иногда очень интересно) с уже известными свидетельствами документов и материалов. Она, как это отмечено в самом начале книги, высказала «новые соображения о Грибоедове-дипломате». Книга написана хорошим языком, рассказ о Грибоедове увле-

кает читателя. Однако книга оправдывает далеко не все его надежды; некоторые же «новые соображения» автора о Грибоедове-дипломате должны быть категорически отвергнуты.

Несомненно, удался О. И. Поповой рассказ о жизни и деятельности Грибоедова в России и на Кавказе. Некоторые эпизоды (вступление Грибоедова на дипломатическую службу, вывод им беглых солдат из Ирана и т. п.) она излагает в соответствии с заключениями предшествующих исследователей, что, однако, не мешает ей дать свой рисунок событий. Автор умеет одной-двумя скупыми строками из неизвестного, а иногда просто забытого источника освежить свой рассказ. Вот когда пригодились драгоценные «мельчайшие крупички» нового о Грибоедове, найденные в тоннах мемуарной и документальной руды.

О. И. Попова подробно рассматривает взаимоотношения А. П. Ермолова с А. С. Грибоедовым. Развивая соображения о причинах расхождений между ними, она приходит к заключению, что «монархически властный» Ермолов «предпочитал чиновников, слепо исполнявших его волю», Грибоедова же было «трудно вести... в узкие рамки чиновничьей службы», к тому же за Грибоедова, «беспокойного чиновника», ему «приходилось отвечать перед начальством». Вот почему при Ермолове способности Грибоедова, «способности человека государственного, оставались без употребления» (А. С. Пушкин). Никакой «измены» дипломата «проконсулу Кавказа» не было. Не честолюбие и низменные расчеты на покровительство блистательного фаворита царя и своего родственника привели Грибоедова в лагерь Паскевича, отмечает автор, а то, что он «не хотел или не умел закрывать глаза на недостатки и ошибки даже тех людей, которыми он умел и восхищаться...»

Думается, что работа О. И. Поповой несколько перегружена «ермоловским материалом». Могучая фигура «главноуправляющего Грузией» действительно главенствовала в политической жизни Кавказа, но это еще не основание, чтобы в книге о Грибоедове оставить без рассмотрения всю ту среду, в которой вращался в Закавказье «дипломатический чиновник Грибоедов», безотносительно к тому, включались ли его знакомые в ближайшее окружение главнокомандующего или были далеки от «ермоловцев».

Читатель не пройдет мимо интересных за-

ключений автора о взаимоотношениях Грибоедова и декабристов. Говоря о горячей дружбе Грибоедова с участниками восстания на Сенатской площади, О. И. Попова указывает, что, вероятно, на киевском свидании с декабристами Грибоедовым, «несмотря на все свое сочувствие их политическим убеждениям», были «произнесены его скептические слова»: «Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России». Это «расхождение Грибоедова с декабристами в решающие их судьбы дни», — пишет О. И. Попова, — легло тяжелым гнетом на его душу. Сознание, что он оставляет друзей на очевидную для него гибель и страдания, создавало для Грибоедова мучительный заколдованный круг, разорвать который он был не в состоянии».

Значительно слабее разделы книги, относящиеся, собственно, к освещению дипломатической деятельности А. С. Грибоедова. Прежде всего почти полностью отсутствует тот общий «фон исторических событий», который был обещан читателю аннотацией. Иран, как объект соперничества великих европейских держав, по-настоящему не показан. Известно, что одним из проявлений восточного кризиса двадцатых годов прошлого века была русско-иранская война 1826—1828 годов. А в книге о восточном кризисе даже не упоминается. Отдельные же замечания автора о русско-английских противоречиях (преимущественно в последних главах) явно недостаточны. Удивляет, что О. И. Попова не использовала весьма интересную фундаментальную работу А. В. Фадеева «Россия и Восточный кризис 20-х годов XIX века» (1958), без обращения к которой в настоящее время, строго говоря, нельзя строить очерк по истории русско-иранских отношений первой трети прошлого столетия.

Нет также картины той обстановки, в которой разворачивалась деятельность дипломата Грибоедова и в которой оборвалась его жизнь. Не очерчены фигуры большинства государственных деятелей Ирана и английских резидентов, против которых ему приходилось «работорговать», не охарактеризованы в должной мере ни руководство русской внешней политикой, ни «сотруженики» Грибоедова — те дипломатические чиновники, вместе с которыми он служил России. Наконец о дипломатической деятельности самого Грибоедова до направления его полномочным министром в Иран сказано

очень мало, а о работе его в качестве дипломатического чиновника при Паскевиче во время войны 1826—1828 годов и о заключении Туркманчайского трактата — почти ничего. Вряд ли можно принять объяснение автора (кстати, противоречащее аннотации на его книгу), что его основной задачей было дать в развернутой документации представление о дипломатической деятельности Грибоедова при реализации статей Туркманчайского договора в Иране, за достаточное основание к подобному сокращению «дипломатической биографии» Грибоедова.

Едва ли можно объяснить подобные проблемы тем, что в других трудах о дипломатической деятельности А. С. Грибоедова этот материал имеется. Само название книги — «Грибоедов-дипломат» — обязывало автора максимально полно осветить жизненный путь выдающегося государственного деятеля, каким, несомненно, показал себя Грибоедов на дипломатической службе. Книга предназначена в первую очередь не для узких специалистов («грибоедоведов»), а для широкого круга читателей. Аннотация уверяет, что ее с интересом прочтут и дипломат, и историк, и литературовед, и педагог, и студент, и учащийся средней школы. И, обращаясь к этому широкому кругу читателей, автор не должен был отбрасывать существенные вопросы, относящиеся к его теме, в особенности учитывая то, что он умеет интересно и в то же время научно (я не противопоставляю одно другому) излагать материал, опираясь не только на свои заключения, но и на выводы, добытые другими исследователями.

Более подробны и документально аргументированы главы о деятельности Грибоедова в качестве полномочного министра России в Иране. Замечу только, что в этом разделе книги довольно часто встречаются неточности, останавливаться на которых в краткой рецензии не представляется возможным.

Автор обстоятельно рассматривает вопрос о гибели русской миссии в Тегеране. Кто же был виновником злодеяния?

Читателя, знакомого с биографией Грибоедова, неприятно удивит оценка, которую дает О. И. Попова свидетельствам о тегеранской катастрофе. В основу собственного повествования о разгроме миссии и убийстве А. С. Грибоедова она положила известный «Рассказ о делах Русской Миссии», впервые опубликованный в Англии в 1830 году как

анонимный «рассказ персиянина», якобы сопровождавшего Грибоедова в качестве секретаря его мехмендара (прикомандированного чиновника) в пути по Ирану от Тавриза до Тегерана и бывшего при русской миссии в столице шаха в январе 1829 года, в частности, и в самый день гибели посланника. «Рассказ» этот с очень незначительными купюрами был в том же 1830 году помещен в одном французском журнале. В русской литературе о Грибоедове он известен в переводе с французского под названием «Реляция».

«Реляция», как это точно установлено советскими исследователями, документ англо-иранского происхождения. Это лживый рассказ о тегеранских событиях — намеренно, со злобной предвзятостью извращающий факты, смешивающий быль с клеветой, исподволь, но не жалея красок, чернящий Грибоедова и людей русской миссии. Цель «публикаторов» «Реляции» заключалась в том, чтобы обвинить в гибели Грибоедова и всей миссии самого посланника, а также лиц из его свиты. Фальсификаторы пытались скрыть истинный характер конфликта, представить «злополучное тегеранское происшествие» как случайный инцидент, вызванный дурными поступками дурных людей миссии.

Этот-то «документ», оскорбляющий память погибшего на своем посту дипломата, О. И. Попова принимает за совершенно достоверный. И в то же время она фактически игнорирует донесения первого секретаря миссии И. С. Мальцова, единственного из ответственных сотрудников оставшегося в живых в день разгрома миссии, — донесения же Мальцова имеют совершенно особое, первостепенное значение среди русских источников о гибели Грибоедова. Удивляет и то, что О. И. Попова игнорирует советскую литературу о «Реляции»; в частности, она ни разу не ссылается на интереснейшую работу В. Т. Пашуто «Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова» (1947), где «Реляция» была подвергнута тонкому анализу.

Безоговорочно доверяясь «Реляции», О. И. Попова строит свою версию гибели Грибоедова и совершенно бездоказательно утверждает, будто участниками заговора против русского посланника, кроме реакционного шиитского духовенства, придворной клики и английских резидентов в Иране, были также люди «из свиты полномочного министра — Рустем-Бек и Дадаш-

Бек». Однако и Рустем Бежанов, и Василий Дадашев вместе со свитой и почетным конвоем российского министра пали в неравной борьбе с обезумевшей фанатичной толпой, подстрекаемой действительными заговорщиками к нападению на русских.

Очень досадно, что О. И. Попова, написавшая довольно интересную работу о Грибоедове, — противореча своим же высказываниям об Александре Сергеевиче как о «бле-

стящем дипломате», — сделала шаг назад от принятой в советской историографии «пушкинской» традиции признания высокого дипломатического мастерства Грибоедова к «нессельродовскому» утверждению об «опрометчивых порывах усердия» посланника.

С. ШОСТАКОВИЧ.

доктор исторических наук.

Иркутск.

★

СТАРОЕ В НОВОМ

А. Г. Харчев. Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования. «Мысль». М. 1964. 325 стр.

Надо ли говорить, сколь велик всеобщий интерес к вопросам семьи и брака. Тем не менее наши общественные науки, и в частности философия, не баловали эту сторону жизни своим вниманием. К тому же ряд проблем, связанных с семейно-брачными отношениями, в период культа личности не подлежал научному рассмотрению. Считалось, что существующие на этот счет декреты снимают все проблемы. Но и после того, как не стало запретов, вопросы семьи и брака не привлекли пристального внимания социологов.

При таком положении вещей трудно переоценить значение капитальной книги А. Г. Харчева, являющейся по сути первым опытом обстоятельного социологического исследования этих вопросов.

В ее первых трех главах: «Брак и семья как объект социологического исследования», «Социальная сущность брака и семьи» и «Тенденции развития брака и семьи при капитализме» автор подвергает критическому анализу основные принципы и тенденции зарубежной (главным образом американской) социологии. Он убедительно показывает, что современная буржуазная социология в своих взглядах на семью и брак, несмотря на всю свою наукообразность, не так уж далеко ушла от «домостроя». Помимо заведомого идеализма и мелочного, если можно так сказать, «безыдейного эмпиризма», буржуазная социология не в состоянии дать даже приблизительно верной картины семейно-брачных отношений. И прежде всего потому, что над рассуждениями западных социологов, как первородный грех, тяготеет теория неполноценности женщины.

Великий Октябрь был не только револю-

цией социальной, но также революцией быта, революцией семейно-брачных отношений, составляющих важнейшую часть быта. «Мы», — писал В. И. Ленин, — не оставили в подлинном смысле слова камня на камне из тех подлых законов о неравноправии женщины, о стеснениях развода, о гнусных формальностях, его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, о розыске их отцов и т. п., — законов, остатки которых многочисленны во всех цивилизованных странах к позору буржуазии и капитализма. Это означало всемирно-исторический шаг вперед, ставило советскую цивилизацию с первых дней ее существования на громадную высоту.

Служители церкви, юристы, буржуазные социологи во всем этом увидели «разрушение устойчивости семейного очага» и вообще упразднение института брака в СССР. А. Г. Харчев, пытаясь отбить эти атаки, мог бы с успехом опереться на известное высказывание Ленина, которое приведено выше. К сожалению, в книге из этого высказывания опущены слова «о стеснении развода, о гнусных формальностях, его обставляющих, о непризнании внебрачных детей, о розыске отцов и т. п.». И действительно, как мы увидим дальше, А. Г. Харчев защищает многие положения Указа 1944 года, которые противоречат ленинскому духу законодательства о семье и браке.

Этот Указ, как известно, ввел метрики с прочерком и тем самым установил понятие «внебрачный ребенок» (вместе с этим понятием вошла в нашу жизнь оскорбительная кличка «мать-одиночка»). ввел многоступенчатую процедуру развода и т. д. А. Г. Хар-

чев оправдывает эти принципы тем, что они призваны предупредить несерьезное отношение женщины к «половой жизни». Но почему только женщины? Ведь Энгельс говорил, что развитие семьи должно пойти в том направлении, чтобы сделать моногамию действительной и для мужчин. Соглашаясь предоставить обманутой женщине право на взыскание алиментов, А. Г. Харчев озабочен выработкой юридических критериев, отделяющих таких женщин «от жертв половой распущенности или сознательных искательниц высокооплачиваемых алиментоплательщиков» (?). Признавая, что «процедура развода» создает иногда ситуацию, напоминающую «грязь бракоразводного процесса», против которого решительно выступал В. И. Ленин, автор крайне умерен в конкретных рекомендациях. В этом трудно усмотреть какую-либо последовательность, особенно если иметь в виду данные, приводимые автором по Ленинграду, где двадцать восемь процентов разводов имеют своей причиной супружескую неверность, двадцать один процент — утрату чувств или несоответствие характеров и семнадцать процентов — неспособность иметь детей или половую неудовлетворенность. Таким образом, шестьдесят шесть процентов разводов приходится на самые сокровенные, интимные, сугубо личные отношения между людьми.

А. Г. Харчев не только не приемлет законодательство двадцатых и тридцатых годов, но только защищает ряд принципов Указа 1944 года, который порвал с ленинским духом этого законодательства, но как социолог не считается с объективным материалом, который сам довольно полно представил в книге. Разве из того, что в 1925 году на каждую тысячу человек населения в России было заключено десять браков, а сейчас — двенадцать, можно сделать вывод о росте «морального авторитета самого акта регистрации брака»? Ведь автор признает, что, несмотря на обязательность регистрации, незарегистрированные браки «имеют еще некоего распространение».

В 1945 году было введено восемьдесят две тысячи «матерей-одиночек», а в 1960 году — около двух миллионов семисот тысяч, из них примерно четыреста тысяч имели двух и более детей. В этих цифрах отразилось немалое количество незарегистрированных браков; можно также предположить, что нема-

ло так называемых «матерей-одиночек» состоят в фактическом браке с отцами своих детей, которые не оформили развода с прежней семьей из-за препятствий на путях развода. Что такое предположение вполне основательно, можно судить по данным автора, собранным в Ленинграде. Оказывается, что «около 20 процентов составляют дела, когда оба разводящиеся или один из них уже состоит в другом (фактическом) браке и имеют в нем детей».

На основании объективного социологического материала, приведенного в книге, сам собою напрашивается вывод о том, что ликвидация самого понятия «мать-одиночка» и «внебрачный ребенок», помимо колоссального морального выигрыша, в значительной мере упрочила бы семейные связи. Однако вместо такого вывода А. Г. Харчев в качестве панaceи от всех зол ратует за введение помолвки. Можно, разумеется, вместе с автором пожалеть, что слова «невеста» и «жених» все реже упоминаются в их прямом значении, а приобретают какой-то иронический смысл. Но создавать с помощью официальной помолвки какое-то искусственное состояние «третьей стадии» ухаживания, которая должна предшествовать браку, вряд ли стоит.

Заметим кстати, что утверждения о легкомысленном отношении нашей молодежи к браку не подтверждаются объективными данными, которые приведены в книге. Так, из анкеты Ленинградского Дворца бракосочетания следует, что только тринадцать процентов браков имеют место после кратковременного знакомства (до шести месяцев), остальные же заключаются после более продолжительного знакомства: от одного года до двух лет (двадцать три процента), от двух до трех лет (двадцать шесть процентов), от трех до пяти лет (пятнадцать процентов), от пяти до восьми лет (девять процентов) и наконец — знакомства с детскими лет (девять процентов). Встречается и то, что можно назвать неофициальной помолвкой: значительная продолжительность времени от решения о браке до его регистрации.

Не поиски паллиативов, которыми занимается автор книги, необходимы для дальнейшего укрепления нравственной основы семейно-брачных отношений, а приведение нашего законодательства в соответствие с моральным кодексом строителей коммунизма; следовательно, возвращение на ле-

нинские позиции и в этом вопросе. Вместо этого А. Г. Харчев рекомендует двигаться дальше в «русле основных идей и целей», провозглашенных Указом от 8 июля 1944 года. В книге утверждается, будто бы достоинство Указа заключается в том, что он повысил социальный авторитет матери и стимулировал рост рождаемости. Так ли это? Обратимся к цифрам. Они свидетельствуют, что в 1961 году рождаемость по сравнению с 1940 годом снизилась почти на двадцать пять процентов. По данным переписи 1959 года, четвертая часть всех семей не включает в себя детей, а из числа остальных половина семей воспитывает лишь одного ребенка.

Какой же вывод делает автор из этих данных, требующих пристального внимания и размышлений? Его больше всего волнует, что малолетность может вступить в противоречие... с коллективистскими целями нашего воспитания. Поэтому А. Г. Харчев с удовлетворением констатирует, что в трех-четыре процентах всех семей имеется более трех детей, но не помогает в должной мере разобраться в другом — в том, что одна из причин бездетности и малолетности многих семей — слишком большая занятость женщины. Рабочий день семейной женщины, которая работает на производстве и ведет домашнее хозяйство, настолько велик, что практически ей почти невозможно создать семью с двумя или

тремя детьми, если ее родители или родители мужа не возьмут на себя часть ее материнских обязанностей.

Остановимся в заключение на проблеме будущего семьи, поставленной А. Г. Харчевым в последней главе. Он справедливо подвергает критике утверждения тех, кто считает, что семья при коммунизме не сохранится в качестве социального института. Среди них он называет И. Ефремова, автора «Туманности Андромеды». А. Г. Харчев пишет, что семья сохранится при коммунизме, что любовь к детям, чувство отцовства, материнства и ответные чувства не только не отомрут, но еще более разовьются. И это верно. Но с одним утверждением автора вряд ли можно согласиться. А. Г. Харчев считает, что и при коммунизме, когда будет иметь место лишь «моральная санкция брака», все же сохранится «необходимость в своеобразном нравственном арбитраже, а подчас даже и принуждении со стороны общества по отношению к отдельным его членам». Таким образом, он полагает, что не только право должно «развиваться» в «русле основных идей и целей» Указа, но в его прокрустово ложе он пытается уложить и будущую мораль. Не ясно ли, что такая позиция автора снижает теоретическую и практическую ценность предпринятого им опыта социологического исследования.

И. МИНДЛИН.



Т Р И Б У Н А Ч И Т А Т Е Л Я

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ШТОРМЫ

Недавно я прочитал повесть Георгия Кубанского «На чужой палубе» (издательство «Молодая гвардия», 1963) и не могу не поделиться своим мнением о ней.

Во многих повестях молодых авторов изображается романтика моря, бушуют морские штормы, свирепствуют бури и ураганы.

Я хочу взглянуть на одну из таких повестей с точки зрения человека, связанного со всеми этими вещами в своей повседневной деятельности.

Сюжет повести Г. Кубанского несложен. Советский траулер «Тамань» штормует вдали от берегов в полярном море. Радист траулера принимает сигнал бедствия с иностранного парохода «Гертруда». Пароход стал игрушкой волн. Грот-мачта рухнула. Волны снесли спасательные шлюпки. Сместившийся груз и обледенение парохода вызвали крен, достигающий на размахе до шестидесяти градусов. Часть команды ранена и обморожена. Пароход на краю гибели. «Тамань» поспешила на помощь «Гертруде». Капитан «Тамани» посылает на гибнущий пароход спасательную команду во главе с помполитом. Моряки-иностранцы убеждены, что гибель парохода неизбежна, и просят снять их на траулер. Помполит не считает положение безнадежным и пытается уговорить команду «Гертруды» помочь спасательной команде в борьбе за пароход. Моряки-иностранцы отказываются. Они полагают, что советские рыбаки рискуют своими и их жизнями ради вознаграждения за спасение парохода. Но затем выясняется, что авария «Гертруды» подстроена ее капитаном и боцманом по приказу боссов компании «Меркурий», которой принадлежит пароход. «Гертруда» — пароход старей. Прибыли он приносит грошовые, и боссы решили утопить его для получения

страховой премии. Что могло произойти при аварии с командой «Гертруды», компанию не интересовало. Возмущенные моряки-иностранцы решают сорвать преступную комбинацию судовладельцев и вместе с советскими рыбаками спасают пароход.

У автора была возможность описать мужество советских рыбаков, их отзывчивость, стремление помочь попавшим в беду людям, показать, как раскрываются лучшие черты характера советских моряков. Видимо, это и было намерением автора, но, к сожалению, между намерением и исполнением оказалась «дистанция огромного размера».

Первое, что бросается в глаза — это неосведомленность автора в том, о чем он пишет. Уже на первой странице автор показывает приблизительность своего знакомства с морем, когда пишет: «Свист ветра в оснастке».

Морскому выражению «оснастка судна» соответствует примерно выражение «обстановка комнаты». И как нельзя сказать: человек вошел в комнату и сел на обстановку, а надо сказать: сел на стул, на диван, на табуретку и т. п., так нельзя сказать «свист ветра в оснастке», а надо сказать «свист ветра в снастях».

К оснастке судна относится все, что необходимо для работы на нем и его безопасного плавания: корпус судна, машина, мотор, паруса, радио, фонари, тросы, якоря, цепи, снасти бегучего и стоячего такелажа, карты, лоции, транспортиры, параллельные линейки, бинокли, пеленгаторы и т. д. и т. п. — словом, кроме снастей, где ветер действительно может свистеть, сюда входит масса вещей, до которых он никак не доберется.

На странице 26 автор пишет: «Луч прожектора с ходового мостика осветил... шлюпку... тали; даже дымогарная труба

стала серебристой». Вблизи шлюпок находится дымовая труба. Дымогарные трубы бывают лишь в котлах. Котлы помещаются внутри судна. Луч прожектора с мостика осветить их не в силах. Просто автор дымовую трубу траулера перепутал с дымогарной трубой.

Не знает, видимо, Г. Кубанский судовых инструкций, правил, не понимает значения морских командных слов и оттого коверкает морской язык и выдумывает новые значения команд. Вот лишь один из многих примеров:

«Рулевой... перекачывал штурвал.

— Так держать! — остановил его капитан» (стр. 16).

Значение команды «Так держать!» — не приказание рулевому остановить перекладку руля, а приказание заметить в этот момент курс по компасу или по видимому впереди предмету и держать судно на этом курсе.

Автор часто употребляет специальные выражения, не понимая их смысла.

На странице 11 читаем: «Грот-мачта рухнула... и сорвала запасную антенну. Поэтому радиосвязь крайне ограничена».

Не существует на судах запасных антенн. Антенна — это канатик из медных проволочек. Если он порвется, легко соединить концы, восстановить антенну, и нет смысла иметь запасную.

Допустим, что на «Гертруде» — пароход иностранный — имелась запасная антенна, но от того, что ее сорвало, радиосвязь не могла стать «крайне ограниченной». Радиосвязь зависит от наличия антенны и тока. Основная же антенна на «Гертруде» осталась цела. Ток имелся. Радиосвязь была.

На страницах 112—113 — моряки «должны были... срастить... конец перляня с цепью».

Срастить «конец перляня с цепью» — то же самое, что скрестить гаксу с канарейкой. Перлянь — это толстый пеньковый канат. Срастить — означает соединить концы двух канатов, переплетая пряди одного каната с прядями другого. Цепь прядей не имеет. Переплести звенья цепи с прядями перляня невозможно. Конец перляня к цепи можно присоединить, лишь привязав его тонким, так называемым бензельным тросом или проволокой. Как говорят моряки, принайтовать перлянь к цепи.

Устройство траулера автор гоже не знает.

На странице 12 читаем: «Домнушка (повариха.— Н. П.)... скрылась в камбузе, отделенном от салона легкой дощатой перегородкой».

Не отделяют на судах камбуз от салона «легкой дощатой перегородкой». Камбуз изолируют от других помещений железными переборками. Чаще всего пожар возникает именно на камбузе, и железные переборки создают наибольшее препятствие для распространения огня.

На странице 16 — «Степан Дмитриевич стоял у поднятого окна. Морщась от резкого ветра... он всматривался в черное ревшее море».

Не мог Степан Дмитриевич «морщиться от резкого ветра». Поднятое окно в рубке — это закрытое окно. Опушенное — открытое.

На странице 21. Из ходовой рубки Алеша, «привычно хватаясь за поручень и порой нависая над кипящим морем, пробежал по качающемуся переходу, поднялся по трапу на открытый ходовой мостик».

Нет «качающегося перехода» из ходовой рубки к трапу на ходовой мостик. Ходовой мостик находится над ходовой рубкой, и на траулерах на него с каждого борта ведет трап, находящийся рядом с дверью в ходовую рубку.

На странице 105 автор усаживает под водой на гребной вал двух человек, нырнувших, чтобы освободить винт от намотавшегося на него пенькового каната. Но это совершенно невозможно. Гребной вал выступает из судна лишь на столько, сколько требуется для того, чтобы надеть на него винт. И в заторе между винтом и судном нельзя сесть двум человекам.

Могу сказать, что это все пустяки, мелкие негочности, ошибки в описаниях. Но это не так. Ведь при этом герои повести — опытные моряки — выглядят как люди, не знающие своего дела, легкомысленные, не очень развитые.

То же впечатление остается, если мы более внимательно присмотримся к поведению, действиям и поступкам героев.

Вот, например, Степан Дмитриевич, капитан траулера. Видимо, он немало лет поработал на море. У него уже седеют волосы. Автор его представляет нам как «опытного капитана-коммуниста».

Но прочитав, как Степан Дмитриевич приказывает матросу Алеше для связи с

бедствующим английским судном сигнализировать прожектором по-русски: «Идем на помощь». И все. До получения ответа,—мы вынуждены отметить, что Степан Дмитриевич не только забывает, что прожектором морзят, а не пишут, но даже и не принимает в расчет то, что иностранцы не поймут такой сигнал и вряд ли ответят на него.

К кому же Степан Дмитриевич плохо разбирается в оценках матросов по классам, не знает, матросом какого класса прислан на «Тамань» новичок Алеша Вихров. Желая, видимо, повисить его в должности за старание, «уже после третьего рейса... аттестовал Алешу матросом второго класса», допуская в то же время юного героя стоять вахту на руле, хотя матрос второго класса — это самая низкая категория, с какой на суда посылают новичков. А вот они наберутся опыта, их на судах переводят в высшую категорию, в матросы первого класса. И только матросы первого класса согласно уставу могут быть допускаемы к несению самостоятельной вахты на руле.

О поведении Степана Дмитриевича в море в шторм мы можем судить, прочитав на странице 7 о том, как «Тамань» третьи сутки держалась носом на волну, а Степан Дмитриевич в капитанской каюте третьи сутки «выражал досаду на непогоду по своему: отсыпался после двенадцати суток напряженной промысловой работы». Неужели Степан Дмитриевич не чувствует своей ответственности за жизнь доверенных ему людей, за сохранность траулера, а больше всего заботится о своем удобстве, отдыхе и здоровье? Ведь в действительности капитан во время шторма безотлучно находится на мостике, кое-как питаясь и разрешая себе лишь время от времени придремнуть, сидя на диванчике в штурманской рубке, если таковой там имеется, а нет, так сидя на табуретке-раскладушке, даже если до шторма ему приходилось долгое время напряженно работать.

Получив известие о бедствующем судне, Степан Дмитриевич рассуждает: «Что можно сделать? Чем помочь «Гертруде»? Прежде всего придется завести трос, выровнять пароход притопленным бортом на ветер. Надо помочь ему продержаться на плаву» (стр. 18—19).

Если до этого поступки Степана Дмитриевича можно было расценивать снисходительно — ну что ж, неумен, мало сообразителен,— то теперь, когда дело идет о

жизни людей, надо прямо сказать: такое решение мог принять только головоуяп. Даже не моряку понятно, что поставить пароход притопленным, угрожающе обледеневающим бортом на ветер и волну означает ускорить его гибель. Это то же самое, что тушить пожар, заливая огонь не водой, а керосином!

Особенно же странно, что помощники капитана оставались при этом безгласны, «ловили каждое его движение, взгляд, стараясь предугадать развитие событий» (стр. 19). И никто из командного состава «Тамани» не мог подсказать Степану Дмитриевичу, что нужно, как и «Тамань», придержать «Гертруду» носом на волну. Тогда не будет бортовой качки, доводящей пароход до шестидесяти градусов крена, меньше станет обледеневать накренившийся борт: ведь положение носом на волну — самое безопасное в шторм для любого судна.

О помощнике капитана по политической части (помполите) Петре Андреевиче Левченко в повести сказано больше, чем о ком-нибудь. У Петра Андреевича «волевое, а иногда и упрямое выражение». Мы узнаем, что капиталистов он «привык ненавидеть с детства», но о причинах этой ненависти в повести не говорится ни слова. В траловый флот он пришел «из Военно-Морских Сил», где служил «главным боцманом на крейсере». Там его воспитали «превыше всего ставить порядок», там он «проявил вкус к парработе, умение воздействовать на товарищей и подчиненных».

Теперь остается проверить Петра Андреевича в деле.

Помполит присутствовал в рубке, когда капитан рассуждал о том, как он думает помочь «Гертруде». Возражений против более чем оригинального способа оказания помощи гибнущему судну у Петра Андреевича не было, и его капитан назначил старшим посылаемой на «Гертруду» спасательной команды.

Спасательная команда добралась до «Герруды» на шлюпке, и Петр Андреевич «впервые в жизни попал в условия, где выработанные за десятки лет привычные средства убеждения людей бессильны и неуместны... Отдыхая, он осматрелся. На... полубаке готовили буксирный трос. Скоро «Тамань» вытянет его и стане! придерживать «Гертруду» в наиболее безопасном положении, низким бортом на ветер, волну. Но придать пароходу большую остой-

чивость — только первая помощь. А дальше?.. Стоило ветру еще свернуть на норд, и удар могучего океанского вала — тысяч тонн стремительно несущейся воды — в высоко поднятый правый борт перевернет неустойчивый пароход» (стр. 33—34).

Приведенные выше мысли Петра Андреевича показывают, что он, говоря словами автора, «вкуса к морскому делу не проявил». Не знает, что остойчивость — это конструктивная особенность судна, придать или отнять которую «Тамань» не в силах. Оценить правильно обстановку на «Гертруде» помполит не умеет и не может сообразить, что одним буксирным тросом невозможно придержать пароход бортом на ветер и волну: для этого необходимо завести два троса — и на полубак «Гертруды», и на ее корму, а самому траулеру держаться носом на волну и ветер; что положение «Гертруды» низким, обледеневающим бортом на ветер и волну отнюдь не «наиболее безопасное», а напротив — самое опасное; что безразлично, в низкий или в высоко поднятый борт парохода придется удар «тысяч тонн стремительно несущейся воды», результат будет один — пароход перевернется.

Петр Андреевич идет к капитану «Гертруды». Тот считает, что дальнейшая борьба за судно бесполезна, и просит помполита снять экипаж. Петр Андреевич не согласен. Он полагает, что положение «Гертруды» не так уж безнадежно, и, кроме того, «честь нашего флага» обязывает его спасти пароход. «Если на палубу потерпевшего аварию судна поднялись советские моряки, они все сделают, чтобы не дать ему погибнуть», — говорит он (стр. 68).

Оказывается, по автору, честь советского флага состоит в том, чтобы не дать погибнуть аварийному судну! Но это не так. Прочитай Петр Андреевич § 102 Устава службы на судах флота рыбной промышленности Союза ССР, он бы знал, что при оказании помощи бедствующему судну капитан принимает все меры для спасения людей, а в отношении спасения имущества, груза и судна предлагает капитану бедствующего судна на подпись спасательный контракт формы МАК и после подписания приступает к спасению.

Но, видно, Петр Андреевич, так же как и капитан «Тамани», не изучал устава.

После разговора с капитаном-иностранцем Петр Андреевич выходит на палубу

«Гертруды», видит, что — рассудку вопреки, наперекор стихиям — «буксирный трос с «Тамани» надежно придерживал «Гертруду» накренившимся бортом на ветер. Волна за волной захлестывали палубу, обегали горловины (кстати, не горловины, а комингсы.— Н. П.) грузовых люков и шумно скапывались за борт».

Петра Андреевича обступают моряки-иностранцы, требуют снять их с парохода. Они не считают, что это невозможно, и, имея понятие о морском опыте рыбаков, мы склонны больше верить им, чем Петру Андреевичу.

«— Пора снимать людей,— говорит матрос-иностранец.

— Я не обращался к вам за советами,— сухо остановил матроса Петр Андреевич...— Видите море?.. Вы беретесь посадить пострадавших на шлюпку? Переправить их на траулер?

— Если корабль перевернется, им легче не станет...

— Корабль не должен перевернуться,— отрезал Петр Андреевич.— Не должен, и не перевернется».

Очень интересно разговаривает Петр Андреевич с матросом-иностранцем! Других слов, кроме «сухо остановил», «отрезал», «холодно спросил», «бросил презрительный взгляд в сторону собеседника», автор не находит.

Прочитав же на этой странице дальше: «Петру Андреевичу хотелось прикрикнуть на... матроса..., назвать его трусом... Но здесь была чужая палуба», — мы понимаем, как Петр Андреевич на своем траулере «воздействовал» на подчиненных.

Не убедив моряков-иностранцев спасти «Гертруду», он начинает угрожать: «Пока мы не сделаем все возможное для спасения судна, ни один человек снят с борта не будет,— твердо сказал Петр Андреевич». Из последних слов Петра Андреевича видно, что снять раненых и обмороженных с парохода на траулер было все же возможно. Раз шлюпка с «Тамани» добралась благополучно до «Гертруды» и рыбаки, среди которых была женщина, высадились на пароход, то, приняв меры к успокоению бушующих волн — о таких мерах пишут почти в каждом произведении на морскую тему,— рыбаки могли и должны были посадить на шлюпку раненых и обмороженных, отправить их на траулер. Это показало бы, что советские рыбаки первоочередной за-

дачей ставя: спасение людей, а не судна, успокоило бы оставшийся экипаж «Гертруды». Часть же спасательной команды с помполитом во главе вместе с здоровыми моряками-иностранцами могли попытаться спасти пароход.

Но неумелые действия «Тамани», высокомерный, резкий тон Петра Андреевича восстановили моряков-иностранцев против рыбаков, вызвали враждебность, заставили подозревать, что советские рыбаки хотят спасти «Гертуду» ради вознаграждения, крупного куша денег.

Опять Петру Андреевичу захотелось пустить в ход «привычные средства убеждения». Глубоко, видно, въелись они в него. Но рассудок его справился с бушующими чувствами, и он стал уверять моряков-иностранцев, что деньги рыбаков совершенно не интересуют.

«— Владелец траулера не какая-нибудь компания, а Советское государство...

— Тем более! Вы не можете говорить от имени государства,— отвечает боцман с «Гертруды» Тони Мерч.— И государство не станет спрашивать у вас, как поступить ему с компанией «Меркурий» и сколько заплатить вам.

...Как мог Петр Андреевич, недавний главный старшина крейсера, отвечать за высокие инстанции, о которых имел очень смутное представление? К тому же, как и большинство советских моряков, он весьма слабо знал положение о вознаграждении за спасение судна и оказание помощи в море».

Вот это да! Петр Андреевич, помощник капитана по политической части, не только ничего не смыслит в морском деле, но он и политически безграмотный человек! Вель «высокими инстанциями» в данном случае являются Советское государство, Советское правительство. Кроме того, и советские моряки, и рыбаки знают, что спасение людей Советское государство производит бесплатно, а за спасение судна и груза взимает плату в соответствии с понесенными при этом расходами. Об этом предельно ясно сказано в Уставах службы на судах морского и рыбной промышленности флотов Союза ССР.

Но мы уже знаем, что устава Петр Андреевич не читал. Он в замешательстве. Что отвечать морякам-иностранцам?

Петр Андреевич уходит с твердым наме-

рением действовать теперь только через капитана «Гертруды». Тот отдает распоряжение старпому объявить яврал, и то, что не мог сделать Петр Андреевич, сделала дисциплинированность моряков-иностранцев. По приказу своего старпома они приступают к околке льда, вооружают шланги, чтобы смывать лед горячей водой. Часть команды вместе с рыбаками лезет в трюм перегрузить ящики для выравнивания крена.

Для полного понимания помполита нужно упомянуть еще об одной сценке. Моряки-иностранцы разбиваются на партии, и к помполиту подходит моряк-иностранец, выбранный ими старшим по смыванию льда горячей водой:

«— Люди и шланги готовы! — доложил Жозеф Бланшар...— Разрешите приступить к работам?»

...Петр Андреевич задумался: можно ли полагаться на этого незнакомого третьего механика? Явный южанин! Да еще и из машинного отделения. Пожалуй, лучше здесь оставить кого-либо из своих. Любопытный матрос траулера умеет бороться с обледенением. Для него это повседневная привычная работа...» (стр. 77).

Какое высокомерие, пренебрежение к людям из другой страны звучит в этом размышлении помполита. Смывать лед горячей водой — это примитивнейшая работа, с которой справится любой человек, даже житель Сахары сообразит, что лед тает от кипятка.

Итак, Петр Андреевич по уму и знанию морского дела под стать Степану Дмитриевичу, капитану. Как помощник капитана по политической части Петр Андреевич никуда не годится. К людям он относится пренебрежительно. Привычные для него средства убеждения — грубость, крик и ругань. Устава службы на судах флота рыбной промышленности Союза ССР он и в руки не брал. Политически он не развит. А ведь роль помощника на судне очень велика, иногда с него спрашивается больше, чем с капитана.

Теперь о самом юном герое повести — об Алеше Вихрове. Поначалу он производит неплохое впечатление. Старательный, трудолюбивый парнишка, мечтающий о морских просторах, о том, как бы ему попасть на «пароход с синими полосами на трубах», не существующей, правда, в Советском Союзе, придуманной автором марки.

Но вот Алеша послан со спасательной командой на «Гертруду». И здесь он ведет себя как недисциплинированный недотепа. Он отделился от своих, хочет сам найти, за что взяться в первую очередь, бродит один по иностранному пароходу, рискуя навлечь на себя подозрения, что он хочет что-то украсть.

«Остановился он у последней двери, запертой на висячий замок... Алеша не понимал, что кричит человек за дверью. Но он знал, что запирать каюты запрещено, тем более в шторм, да еще и на обреченном пароходе» (стр. 60).

Алеша взламывает дверь в каюту, выпуккает запертого в ней человека.

Возможно, что и была на «Тамани» инструкция, запрещающая запирать каюты. Степан Дмитриевич мог издать такую нелепую инструкцию. Но Алеша-то находился на иностранном пароходе. Должен же он был сообразить, что на чужом пароходе свои инструкции, свои правила, нарушать которые он не имеет права.

Если запертая на пароходе каюта внушила ему такое беспокойство, естественнее было попытаться найти кого-нибудь из команды «Гертруды», как-то объяснить, привести к этой двери.

Такой же недотепа и пошехонец штурман Морозов. Он и приданный ему в помощь матрос-иностранец ныряют освобождать винт от намотавшегося на него пенькового каната, захватив с собой зубило и молоток. Любый мало-мальски сообразительный моряк взял бы для этой цели топор, острый нож или, на худой конец, ручную пилу, так как зубилом и молотком перлинь разрубить нельзя. Этого Морозов не соображает, а так оно и получилось: «зубило отскакивало от пружинящего каната, оставляя на нем лишь царапины» (стр. 106).

Своей кульминации условность описаний Г. Кубанского достигает в главах, где рассказывается, как Домнушка ухаживала за ранеными и обмороженными моряками-иностранцами, и где рыбаки вместе с моряками-иностранцами в трюме занимаются перегрузкой ящиков для выравнивания парохода.

Мы знаем, что у иностранного парохода «Гертруда» от смещения груза образовался постоянный крен в двадцать два градуса, доходящий при размахе до шестидесяти градусов. Знаем также, что «Тамань» поставила «Гертруду», оказывая ей «по-

мощь», низким бортом на ветер и волну, то есть не сделала ничего ни для уменьшения крена, ни для прекращения размахов парохода. Автор же, забывая об этом, изображает события так, будто никакого крена нет и в помине: «Домнушка вошла в салон... На тюфяках, брошенных на пол, лежали матросы. Несколько человек сидели (!), опираясь на стену,— так меньше трепала качка». Но если при размахе пароход кренится на шестьдесят градусов на левый борт, то и тюфяки и матросы должны были стремительно лететь на левый борт, а когда пароход кренится на правый борт, все должно было катиться на правый борт. Остается предположить, что тюфяки были накрепко прибиты к палубе, а матросы привязаны к ним и к стенам. Ведь только так они могли оставаться на месте. Но автор, видимо, не пытаясь даже представить, что должно в самом деле происходить на пароходе в такую качку, пишет: матросы, «оживленно переговариваясь между собой, набрали в таз воды из бака, проворно вымыли стол, накрыли его чистой простыней и принялись протирать швабрами пол» (стр. 48).

Без всякого чувства реальности пишет автор и о работе рыбаков и моряков-иностранцев в трюме. Ведь работать, стоять, не держась за что-нибудь, при крене в шестьдесят градусов нельзя. Люди должны изо всех сил, двумя руками уцепиться за что-то прочное и неподвижное, чтобы не ездить от борта к борту парохода. Автор заставляет боцмана Акимыча стать новатором, соорудить «подобие подвесной дороги». Но это ложное «новаторство». Здесь не место подробно объяснять суть дела, но поверьте мне (я даже составил специальный чертеж, все подсчитал), что это «подобие подвесной дороги» представляет собой чистый литературный вымысел.

А вот как описывается работа в темном трюме, при страшном крене, когда люди должны были лететь вместе с ящиками, расшибаясь, ломая себе руки:

«Ящик за ящиком, тяжело покачиваясь и поскрипывая канатами, переправлялись через пустое пространство к правому борту... Близился перерыв». Совсем идилия обычного трудового дня: «близился перерыв». Не хватало бы еще добавить «обеденный»!

Приближение перерыва беспокоило Петра Андреевича. Он «напряженно искал, чем бы отвлечь людей от ненужных размышле-

ний? А не хватить ли задорную частушку? Пусть послушают, увидят, что русский моряк нигде не робеет... Запевай «Катюшу!» — ударил он по плечу Морозова... Морозов... запел по-мальчишечьи звонким голосом:

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой...

Петр Андреевич подхватил...»

Присоединяются и моряки-иностранцы, и Петр Андреевич любитесь, как все прекрасно!

«Вон Беллерсхайд, от которого он так хотел избавиться, обхватил узловатыми ручищами колени и, пригнбая лобастую упря-

мую голову, давит голоса соседей своим могучим басом».

Видите, как все просто! Приклеил автор Беллерсхайд к месту, и тот не держась ни за что, при крене парохода в шестьдесят градусов сидит, обхватив ручищами колени, и давит голоса соседей..

Много еще других чудес происходит в этой книге, если перечислить их все — выйдет письмо чуть поменьше самой повести. Но самое главное чудо — это тираж книги. 115 тысяч экземпляров литературного брака — этого понять нельзя.

Н. ПРОТАСОВ,

капитан дальнего плавания.

Ленинград.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

РАБОЧИЙ КЛАСС СОВЕТСКОЙ РОССИИ В ПЕРВЫЙ ГОД ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА. Сборник документов и материалов. Под редакцией Д. А. Чугаева. «Наука». М. 1964. 404 стр. Цена 1 р. 60 к.

Весна 1918 года... Враги молодого Советского государства навязывают ему гражданскую войну. Саботажники и провокаторы всячески пытаются разрушить производственную дисциплину, снизить производительность труда...

В этих условиях 16 апреля рабочие и работницы Куваевской ситценабивной мануфактуры обсуждают «текущий момент» и постановляют: «Во имя спасения страны и свободы... проводить рабочее время за своими машинами, не злоупотребляя, а, наоборот, способствуя усилению выработки товара».

Что касается тех товарищей, говорится далее в этом решении, которые по своей малосознательности не хотят выполнять ту работу, которая на них возложена, то на них постараемся воздействовать нравственным путем, то есть посредством увещаний, если же это не подействует, то будем принимать меры вплоть до увольнения через фабрично-заводской комитет как организацию, стоящую на защите интересов революции и прав граждан.

Постановление рабочего собрания — выразительный документ первых дней социалистической государственности. Более трехсот таких документов вошло в этот сборник. Они рассказывают, как боролся рабочий класс за укрепление советской власти, организацию социалистической промышленности, продовольственное снабжение пролетарских центров и строительство социалистической культуры. Последний из перечисленных разделов сборника особенно разнообразен и содержателен. Пролетарские университеты в Калуге, Царицыне, Орле, Туле. Народная консерватория в Пензе. Свободные государственные художественные мастерские в Иваново-Вознесенске. Рабочие театры на фабрике Цинделя, заводе «Каучук», Прохоровской и Даниловской мануфактурах Москвы. Цикл общеобразовательных лекций «Грамота гражданина» для петроградских красноармейцев. Математические курсы для рабочих Вятки...

Многие традиции рабочего класса нашей страны зарождались и формировались в то время. Рассказывая о них, составители

сборника использовали не только материалы Центрального партийного архива, государственных архивов Октябрьской революции, Народного хозяйства СССР, Советской Армии, архивохранилищ автономных республик и областей. Они обратились и к свидетелям печати тех дней: к «Правде», «Известиям», «Экономической жизни», множеству провинциальных изданий, порой не менее труднодоступных исследователю, чем фонды того или иного архива.

К этому сборнику не раз обратятся историки и публицисты, писатели и пропагандисты — словом, все те, кто призван воспитывать советских людей на лучших революционных традициях.

Б. Яковлев.

★

Т. С. ХАЧАТУРОВ. Экономическая эффективность капитальных вложений. «Экономика». М. 1964. 279 стр. Цена 85 к.

Вопросы экономики интересуют все более широкие круги нашей общественности.

Что же касается экономистов, руководителей предприятий и строков, то проблему, сформулированную в названии этой книги, они, несомненно, сочтут одной из самых важных и острых в нашей экономической науке и хозяйственной практике. «Создание материально-технической базы коммунизма,— говорится в Программе КПСС,— требует огромных капитальных вложений. Задача состоит в том, чтобы эти вложения были использованы наиболее разумно и экономно, с максимальным результатом и выигрышем времени». В этих словах — корень вопроса об эффективности капитальных вложений.

В среде советских экономистов не утихают споры вокруг этой проблемы. Автору не случайно приходится то и дело полемизировать с коллегами. Впрочем, именно это делает работу интересной и злободневной. Ее главное достоинство в том, что в ней обобщены результаты многолетних исследований большого коллектива советских ученых. Причем обобщены, так сказать, наиболее авторитетно и достоверно: ведь членкорреспондент Академии наук СССР Т. Хачатуров — председатель научного Совета, объединяющего усилия всех экономистов страны, занятых этой проблемой.

Особенно содержательны главы, в которых развивается теория вопроса, обоснованы

вается ряд экономических показателей и нормативов эффективности, рассматривается связь между ростом национального дохода и капитальными вложениями. Отмечен новизной раздел о факторе времени.

Т. С. Хачатуров известен как один из авторов «Методики» определения эффективности капитальных вложений, которая широко применяется в планировании и проектно-делом. В книге он излагает принципы расчетов в соответствии с этим документом. Но известно, что хотя «Методика», утвержденная четыре года назад, в целом выдержала испытание временем, на практике в ней обнаружился и ряд существенных недостатков. Жаль, что автор не подверг анализу поправки, выдвинутые жизнью.

Нельзя не отметить и некоторые другие недочеты этой, несомненно, очень интересной и полезной книги.

Описательный характер — если не сказать компилятивный — носит глава, посвященная в основном эффективности химизации народного хозяйства; в некоторых местах автор изменяет своей же хорошей для экономиста привычке подкреплять доказательства счетом; есть и страницы, которые кажутся излишними в этой книге (например, о поисках так называемого «бездислокационного металла»). Думается, что следовало бы обстоятельней рассказать, как решают вопросы эффективности капиталовложений наши друзья — экономисты социалистических стран.

Л. Лопатников.

★

Ю. НИКОЛАЕВ, В. СИНЕДУБСКИЙ. Двадцать ступенек в завтра. «Советская Россия». М. 1964. 279 стр. Цена 64 к.

Советский человек стал господином не только земли, но и воды, он «командует ею, как ему нужно», писал М. Горький, считая это одним из чудес нашего времени.

Книга «Двадцать ступенек в завтра» рассказывает именно о том, как советские люди устанавливают свою власть над водными потоками. Авторы показывают, что власть эта имеет огромное значение для развития различных областей экономики: электроэнергетики, водного транспорта, орошаемого земледелия. Двадцать ступенек в завтра — это двадцать важных народнохозяйственных проблем, связанных с покорением рек Сибири, Средней Азии, европейской части Советского Союза.

Книга рисует огромные потенциальные возможности нашей гидроэнергетики. Только реки Восточной Сибири тянут в себе больше энергетических сил, чем все водные артерии Соединенных Штатов, Канады и Японии. Перед нами — величественные картины не столь уж далекого будущего: ангаро-енисейский каскад; освоенная «энергетическая целина» многоводной Лены с уникальной Нижне-Ленской станцией мощностью в двадцать миллионов киловатт (почти пять таких гигантов, как Братская ГЭС!), покоренные Вахш, Нарын, Аму-Дарья, Или, Ингури, Амур и другие реки.

Авторы рассказывают о преобразении Голодной степи, где применяются новые оригинальные методы орошения, о Кара-Кумском канале, уже врезавшемся в пустыню на восемьсот километров, о строящейся Нурекской гидроэлектростанции на реке Вахш, которая по мощности превзойдет американскую Грэнд-Кули, о подъеме при помощи электрических насосных станций аму-дарьинских вод на двухсотметровую высоту, превращении Каршинской степи в новую зону хлопководства и о многом другом. Благодаря этим стройкам площадь орошаемых земель в СССР за короткий срок возрастет на несколько миллионов гектаров.

Особенно интересны страницы, посвященные планам переброски больших масс воды с севера на юг страны, где нужда во влаге очень велика. Придет время, и воды Печоры и Вычегды воьются в чашу мелеющего Каспия. Потом наступит черед сибирских рек, призванных поделиться своими огромными водными богатствами с пустынями Средней Азии. Власть человека над водой даст ему возможность парализовать атаки засух, а затем и оказывать влияние на климатическую обстановку.

Жаль, что, говоря о роли «белого угля» в развитии электроэнергетики страны, авторы недостаточно внимания уделили рождению Единой энергетической системы СССР. Ведь уже в 1970 году наша страна подойдет вплотную к созданию ЭЭС СССР, что явится высшим этапом развития энергетики.

Читатель с пользой ознакомится с книгой, рассказывающей об инженерных планах, которые «либо уже претворяются в жизнь, либо стучатся в нашу дверь».

Книга выиграла бы от более тщательной редактуры. То и дело спотыкаешься о тяжелые, неуклюжие фразы. Едва ли нужны псевдозанимательные, вычурные заголовки вроде «Речной секстет», «Гирлянда зеркал», «Студеный компресс». Странно выглядит концовка книги, посвященная строящемуся в Москве зданию института «Гидропроект». Вряд ли именно эта глава достойно венчает наше путешествие в будущее.

Мих. Цунц.

★

Л. И. ЯКОВЛЕВ. Интернациональная солидарность трудящихся зарубежных стран с народами Советской России. 1917—1922. «Наука». М. 1964. 264 стр. Цена 1 р. 6 к.

«Мир народов», «Освобождение мира», «Свобода народов», «Знамя свободы», «Свободное слово»... Эти гордые названия принадлежали газетам красноармейцев-интернационалистов. В годы гражданской войны они выходили не только в Москве и Петрограде, но и в Минске, Казани, Царицыне, Оренбурге, Одессе, Ташкенте, Иркутске, Верхнеудинске, Харькове, Челябинске... На каких только языках не издавались тогда эти газеты во всех концах Советской страны, отражавшей натиск интервентов и белогвардейщины! Революционное, коммуни-

стическое, ленинское слово звучало и по-немецки и по-английски, на французском и польском языках, венгерском и румынском, чешском и сербском, финском и корейском. То были печатные трибуны интернациональных бригад, полков и батальонов Красной Армии. Они формировались в восьмидесяти пяти пунктах республики — от Дальнего Востока до Средней Азии и сражались едва ли не на всех фронтах.

«Обязуюсь воевать и защищать до последней капли крови власть пролетариата», — говорилось в присяге добровольцев-интернационалистов. Тысячи из них ценой жизни подтвердили верность своей клятве.

Героям и подвигам интернационалистов в годы гражданской войны, деятельности зарубежных рабочих комитетов «Руки прочь от России!», агитации и пропаганде в войсках интервентов, которую вели в оккупированных районах подпольщики-большевики, посвятил свою монографию Л. И. Яковлев, уже много лет изучающий эту тему.

Книга рассказывает о Карле Либкнехте и Розе Люксембург, о Бела Куне и Мате Залке, Ярославе Гашеке и Олеко Дундиче, Гарри Поллите и Ференце Мюннихе, о сотнях их единомышленников и соратников. Они мужественно выступали против интервентов и с винтовкой, и с пером в руках.

Автор изучил большой литературный и — что особенно важно — архивный материал. Опирается он и на многочисленные очерки и статьи других исследователей.

Участие воинов-интернационалистов в решающих битвах гражданской войны, забастовки и демонстрации в тылу интервентов показали, что русская революция стала делом мирового пролетариата. Такова сила международной солидарности рабочего класса. Недаром именно ее всеми средствами стремятся разрушить современные милитаристы.

Книга Л. И. Яковлева рассказывает о событиях, отдаленных от наших дней уже почти полувеком, но она современна и поучительна.

Я. Борисов.

★

Я. Р. ЕЛЬКОВИЧ. Рассказы о незабываемых годах. Алтайское книжное издательство. Барнаул. 1964. 160 стр. Цена 19 к.

В Барнауле есть улица Присягина, в поселке Осипенко — улица Чаплина, этим же именем назван железнодорожный разъезд № 18. По Оби плавают пароходы «Елисей Дрокин» и «Николай Тихонов». Кто эти люди? В Алтайском краеведческом музее можно увидеть портреты этих героев и кое-какие материалы о них.

Но куда интересней живые рассказы о героях. Автор книги «Рассказы о незабываемых годах» Я. Елькович — участник описываемых им событий, его рассказы об отдельных эпизодах из славного прошлого Сибири окрашены горячим чувством любви и уважения к людям, вместе с которыми он сражался за власть Советов.

Я. Р. Елькович рассказывает о знаменитых алтайских комиссарах — председателе Алтайского губкома партии Иване Воинфатьевиче Присягине, председателе ревкома Матвее Константиновиче Чаплине и заместителе председателя совдепа Михаиле Кирилловиче Казакове. Он пишет также о начальнике Красной Гвардии на Алтае Архипе Селезневе, о рабочем-слесаре, ставшем заместителем председателя Барнаульского совета рабочего контроля Петре Яковлевиче Машкове, о славных большевиках Сергее Михайловиче Сычеве, Александре Шемелеве и других, о которых до него писали незаслуженно мало. В книге много интересных эпизодов того героического времени. Вряд ли, например, кто-нибудь мог еще так обстоятельно объяснить историю заемной расписки, в которой говорилось о том, «что Томский комитет РКП (б) получил взаимнообразно у товарища Хаврина десять тысяч рублей, которые должны быть возвращены ему немедленно по восстановлении Советской власти в Томске, и что ценность настоящей долговой расписки обеспечивается всем достоянием РСФСР. Дата — октябрь 1919 года».

Автору этой книжки повезло видеть и слышать Владимира Ильича Ленина на Втором и Восьмом Всероссийских съездах Советов, а также на XI съезде партии, о чем он вспоминает в рассказах «Орлиное племя» и «Смолянинские силуэты».

Выпустив «Рассказы о незабываемых годах», Алтайское книжное издательство не только дало читателям интересный материал, но и пролило новый свет на важный период революционной истории края. Думается, что надо всячески поощрять выпуск подобных книг местными издательствами.

Л. Серебрянник.

★

СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ЛЮДЯМ. Рассказ о жизни и деятельности Григория Ивановича Петровского. Политиздат. М. 1964. 191 стр. Цена 26 к.

Прекрасная жизнь Г. И. Петровского — это живая история нашей партии, рабочего класса. Однако долгое время о жизни и деятельности этого верного ленинца не рассказывалось. Только в последние годы появилась книга «Григорий Иванович Петровский», изданная в Киеве на украинском языке, да книга Ф. Бега и В. Александрова «Петровский», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей».

Новая книга «Сердце, отданное людям» написана группой старых большевиков, работавших вместе с Григорием Ивановичем, и наиболее полно, ярко раскрывает сложный процесс формирования профессионала-революционера ленинской когорты.

Сын рабочего и бывшей крепостной крестьянки, Г. И. Петровский с юных лет связывает свою судьбу с большевистской пар-

тием. Депутат IV Государственной думы, он самоотверженно борется за права рабочих. Страницы книги доносят до нас волнение пролетария, вступившего в неравный бой с зубрами царской думы, высокое достоинство защитника интернационализма, мужественно выступившего против войны.

Победившая революция ставит Петровского на пост народного комиссара внутренних дел. А с 1919 до 1938 года — он на посту всеукраинского старосты — Председателя ВУЦИК. Г. И. Петровский с гордостью говорил, что прошел ленинскую школу руководства. Простота и доступность, мягкая задушевность в общении с людьми сочетались в нем с твердой принципиальностью.

Запоминаются страницы книги, рассказывающие о встречах Петровского с В. И. Лениным, о закладке фундамента Днепрогэса, о встречах с Николаем Островским. Ведь это Григорий Иванович первый проявил государственную заботу о писателе-герое.

В тяжелые годы сталинского произвола старший сын Г. И. Петровского Петр — один из руководителей КИМа, редактор «Ленинградской правды» — был оклеветан и расстрелян. Второй сын Леонид — командир Московской Пролетарской дивизии — был также оклеветан, исключен из партии и снят с должности (во время войны он был возвращен в строй и геройски погиб).

Самому Г. И. Петровскому официальных обвинений не предъявляли, но в 1938 году он был отозван с Украины, затем отстранен от государственного и партийного руководства. Напрасно он пытался добиться правды. Вместо объяснений он встречал глухую стену молчания. Но страдания и лишения не сломили его. По предложению своего друга Ф. Н. Самойлова Г. И. Петровский с лета 1940 года становится заместителем директора Музея революции по хозяйственной части. Он спасает музейные ценности в трудные дни эвакуации, ведет огромную переписку с трудящимися, воспитывает молодежь на традициях ленинизма. Счастлив был Григорий Иванович, что дожил до XX съезда КПСС, положившего конец беззакониям. С молодой энергией он помогает реабилитации невинно осужденных, часто выступает перед рабочими, студентами... Григорий Иванович Петровский скончался 9 января 1958 года и похоронен у Кремлевской стены.

Эта небольшая книжка — взволнованный и правдивый рассказ о замечательной жизни одного из соратников Ленина.

Л. Зак,
кандидат исторических наук.

★

Н. В. КРЫЛЕНКО. Судебные речи. Избранное. «Юридическая литература». М. 1964. 328 стр. Цена 57 к.

«Это ли не издевательство, не насмешка не только над думской фракцией и над товарищами по работе партии, но и над кровью и потом сотен тысяч рабочих!

Это — хладнокровное надругательство над святой-святых революционным движением, это — циничное, превосходящее все пределы оплевание наших целей и понесенных жертв...»

Так говорил в своей обвинительной речи по делу провокатора Малиновского Николай Васильевич Крыленко на заседании Верховного трибунала ВЦИК 5 ноября 1918 года. Государственный обвинитель вскрыл корни отступничества бывшего члена ЦК и председателя думской социал-демократической фракции Р. В. Малиновского, показал, что в основе всех действий этого провокатора — «самый бесшабашный и самый беспринципный, руководимый исключительно личным честолюбием авантюризм».

Выступлением по делу Малиновского открывается сборник судебных речей Н. В. Крыленко — выдающегося деятеля Коммунистической партии, вошедшего в первый состав Советского правительства в качестве члена Комитета по военным и морским делам Верховный главнокомандующий русской армией с ноября 1917 года, а затем один из организаторов Красной Армии, организатор революционных трибуналов, прокурор республики, автор более восьмидесяти книг и брошюр, человек разносторонних способностей и высокой культуры — таким знаем мы Николая Васильевича Крыленко, оклеветанного и погибшего в годы культа личности Сталина.

Кроме обвинительной речи по делу Малиновского, в сборник вошли: речь в 1919 году по делу бывшего товарища прокурора Петербургской судебной палаты Виппера, выступавшего в 1913 году обвинителем на процессе Бейлиса, речь по делу контрреволюционного Тактического центра в 1920 году, речь по делу правых эсеров А. Р. Гоца, Д. Д. Донского и других в 1922 году и речь по делу бывшего народолюбца провокатора И. Ф. Окладского (он же Иванов, он же Александров, он же Петровский) в 1925 году.

В сборнике помещена довольно подробная биографическая справка о Н. В. Крыленко, а перед каждой речью — вводные материалы, составленные по обвинительным заключениям.

Б. Исаев.

★

П. Н. СУСЛИН. Экономика и внешняя торговля стран Африки. Внешторгиздат. М. 1964. 292 стр. Цена 1 р. 5 к.

Советская литература об Африке пополнилась еще одним интересным изданием. Предлагаемая вниманию читателей книга об экономике и внешней торговле Африки — первая крупная работа советского автора на эту тему. В ней подвергнуты тщательному анализу сложные экономические процессы, происходящие в настоящее время в молодых африканских странах, делается попытка заглянуть в их будущее.

В книге много интересных фактов, цифр, убедительных комментариев. Вот характер-

ное сравнение: потребление стали на душу населения в ФРГ в сто раз больше, чем потребление ее даже в такой развитой африканской стране, как ОАР. Такие же широко раскрытые «ножницы» можно наблюдать, сравнивая национальные доходы африканских и европейских стран.

Сельское хозяйство Африки малопродуктивно из-за отсталых методов его ведения. Так, если один американский фермер производит в среднем пять тонн зерновых, то африканский крестьянин только 0,4 тонны. В этом кроется и одна из причин постоянного недоедания африканского населения.

Экономические возможности Африки, говорится в книге, поистине неисчерпаемы. Так, в памятный 1960-й «год Африки» на ее долю приходилось девяносто девять процентов мирового производства колумбита и алмазов, восемьдесят процентов — кобальта, около шестидесяти процентов — золота и т. д. Небезынтересно отметить, что почти половина всей добычи минерального сырья в Африке приходится на одну страну — Южно-Африканскую Республику. Девяносто два процента добываемых на континенте полезных ископаемых империалисты вывозят за бесценку за границу. Африка все еще находится в сильной зависимости от капиталистических государств, куда направляется около семидесяти процентов их экспорта.

СССР оказывает странам Африки всестороннюю помощь. В книге приводятся данные, показывающие, что экономические и, в частности, торговые отношения Советского Союза со странами Черного континента непрерывно расширяются.

Большой интерес представляет раздел «Роль государственного сектора в национальной экономике». В ряде стран этот сектор становится преобладающим. В ОАР, например, национализированные предприятия охватывают девяносто процентов всей промышленности.

В. Молчанов.

★

ВЛАДИМИР ОГНЕВ. Книга про стихи. Заметки. Наблюдения. Выводы. «Советский писатель». М. 1963. 480 стр. Цена 75 к.

«Писать о стихах почти так же трудно, как писать стихи», — сказал когда-то Ю. Тынянов. Сложность заключается в том, что анализ — это еще не все. Холодные пальцы науки, прощупав и разобрав на составляющие части стихотворение, не улавливают все же чего-то главного, основного, того о б а я н и я, которое в конечном счете и побуждает читателя.

Пишущий о стихах по большей части не может говорить об алмазе, не превратив его сначала в уголь, — и все, что он говорит, относится, в сущности, к углю, хотя пишущий и подразумевает в своих рассуждениях алмаз.

Победа достигается только в том случае, когда исследователь является в то же вре-

мя еще и сам художником, умеющим в нужный момент отложить аналитический скальпель и начать говорить образами, умеющим включить интуицию художника.

«Книга про стихи» Владимира Огнева — это плод многолетних раздумий талантливого критика о судьбах советской поэзии. Здесь — наблюдения за «извилистым законом» поэтической речи, как говорил В. Холдасевич, за «поведением» стиха, за его общими принципами.

Книга В. Огнева хороша тем, что он избег в ней Сциллы — механически-формального подхода, с одной стороны, и Харибды — разговора только о проблемах, «затронутых» в стихах, с другой стороны. Критики формального толка рассматривают обычно пуговицы на гигантской фигуре поэта, они заняты изучением лежащих на поверхности «метафор», а все богатство поэтического явления оказывается где-то за бортом. Те критики, которые заняты только «поднятыми» вопросами, рассматривают стихи лишь как документ, свидетельствующий о том-то и том-то, — похожи на людей, не имеющих пальцев, не могущих пощупать самой ткани произведения, его фактуры.

Лучшая глава у Вл. Огнева, на мой взгляд, это глава о Блоке и Катулле. Надо обладать истинным поэтическим чутьем, чтобы уловить связь между галлиямбами лирического стихотворения Катулла, в котором Блок угадал ритмы бурных событий в жизни Рима, — и мелодией поэмы «Двенадцать» Блока. Вл. Огнев понял глубинную связь мелодики, интонации, ритмики с настроением, с общей мыслью, со смыслом. Доказывая тезис, что «в искусстве причинная и временная связь обнаруживает себя не так логически просто, как в том же инженерном деле», он демонстрирует перед читателем сложную ассоциативную зависимость, существующую между самыми различными факторами, участвовавшими в создании поэтического произведения. Блок в дни революции работал над переводом стихотворения «Аттис» Катулла, ритмы этого стихотворения («Super alta vectus Attis») и настроение блоковской статьи о Катиллине, современники Катулла, внутренне перекликаются с ритмами («Вдаль идут державным шагом...») и настроением «Двенадцати». В статье Блока о временах Катиллины есть мысль, что великие общественные события подчеркивают черноту фона. В поэме эта мысль образно конкретизируется: «Черный вечер, белый снег...»

Читая эту главу из книги, видишь, как органически, тончайшими, интимнейшими нитями связаны в поэзии мысль и ритм, настроение и детали описания, краски и мелодика.

Вл. Огнев видит в стихе организм, а не механизм, он анализирует и расчленяет, не убивая живого пульса жизни стиха, он проследживает — необычайно чутко — закономерности, а не раскидывает на полочки с неподвижными этикетками отрубленные и уже омертвевшие части. Сила «Книги про стихи» и в умении проникнуть в суть так

называемых «чисто» формальных компонентов стиха, расшифровать их содержательность, выявить их значение для смысла.

Книга Вл. Огнева читается живо — я бы не сказал легко: ведь для уяснения всего нового и важного требуется усилие, но это то усилие, которое связано с удовольствием.

Евг. Винокуров.

★

А. АДАМОВИЧ. Становление жанра (Белорусский роман). Авторизованный перевод с белорусского З. Крахмальниковой и Е. Стоянской. «Советский писатель». М. 1964. 340 стр. Цена 79 к.

Содержание книги А. Адамовича — история белорусского романа. Однако это не совсем обычный историко-литературный очерк. В книге поставлены важные теоретические проблемы, и многое здесь удачно и плодотворно. Показано, как белорусский роман от описательного воспроизведения действительности переходит к более сложным формам, как меняется подход романистов к бытовому и социальному материалу. Автор связывает усложнение характеров героев с разработкой стилей белорусского литературного языка; намечает различия между «поэтическими» и «прозаическими» стилями языка и т. д.

В книге А. Адамовича история становления жанров перемежается и конкретными литературно-критическими характеристиками. О герое Т. Гартного («Соки целины») А. Адамович замечает, например: «Автор настолько влюблен в своего героя, что даже не замечает, в каком невыгодном свете предстает перед читателем Рыгор Незвычайный, когда он громит других за нерешительность, требует выступлений, несмотря ни на что, а сам не столько действует, сколько резонерствует».

Отдельные главы посвящены наиболее крупным этапам развития белорусского романа. Довольно полно оценено творчество писателей двадцатых — тридцатых годов, послевоенных и современных романистов (Я. Ерыля, А. Кулаковского, В. Быкова и других). В современной прозе особо выделена тема Отечественной войны, к которой последние годы не раз обращаются белорусские писатели. А. Адамович говорит об изменении читательского восприятия произведений на эту тему, о необходимости более глубокого авторского осмысления описываемых событий. Он приводит, например, эпизод из книги Г. М. Линькова «Война в тылу врага», написанной на мемуарной основе. Автор книги рассказывает, как он расстрелял в упор из пистолета командира партизанского отряда. При этом, замечает А. Адамович, уверенность мемуариста в правильности своего поступка, не подтвержденная глубоким анализом характеров и ситуаций, резко расходится с впечатлением читателя, поэтому сцена поражает «своей бессмысленной жестокостью».

Эта точность морального критерия очень привлекательна в книге А. Адамовича.

В этой работе много довольно обширных цитат, пересказов. Это не случайно. Книга А. Адамовича — первое широкое ознакомление всесоюзного читателя с историей белорусского романа.

Жаль только, что общие места, все еще, к сожалению, продолжающие быть традицией, кое-где теснят интересный и по настоящему увлекательно рассмотренный материал литературы.

М. Чудакова.

★

НАДЕЖДА ГРИГОРЬЕВА. Звездам не сгится. Стихи. Калужское книжное издательство. 1964. 44 стр. Цена 9 к.

Это уже третья книга Н. Григорьевой, выходящая в областных издательствах. Первые две — «Лирический дневник» и «Песни под солнцем» — вышли в Курске.

Многое в поэтическом сознании автора еще зыбко — «что-то было», «что-то будет»; слишком часто встречается неуверенное «мне кажется»:

И облака, мне кажется, веками,
Не проливаясь, ждут над головой.

и «мне кажется, я помню с давних лет», и еще три настойчивых «мне кажется» в этом же стихотворении. Есть и романтическая риторика:

Хочешь, к твоей постели
Северный океан
Вместо ковра постелим?

Но вдруг тебя останавливает цепкость взгляда, пристальное внимание и к внешней и к внутренней особенности описываемого. Неуверенность исчезает, путь к настоящему найден.

Путь этот ведет в неожиданное и не очень поэтичное место — в парикмахерскую, где

стареющей маникюрши
Беломраморный локоток.

Где

Красота продается дешево,
С Афродитой здесь на «ты».

А кончаются стихи зазорным заявлением:

Ну, и что же в том нехорошего,
Если хочется красоты?

Но Н. Григорьева знает настоящую цену красоты и не обольщается парикмахерской Афродитой. В стихах ее есть тайная горечь, ее героям часто не хватает личного счастья, и найти его особенно трудно при повышенной требовательности, когда не мириться с малой любовью.

Для поэтессы драгоценна стихийная жизненность и «девчонки» «в кофточке простой», и молодой женщины на даче, вбегущей босиком, с размаху бросающей на кровать мокрую сирень и вдруг замечающей недоумение чинных гостей и взгляд мужа, которому весь этот ералаш «совсем не нужен».

Наиболее выразительна ее Джульетта из стихотворения «Ромео и Джульетта»:

Моя Джульетта свитер носит
И ходит в выпуклых очках.

Стихи Григорьевой художественно неравноценны. Рядом с точно найденными словами можно встретить и натурализм, и даже такую безвкусицу, как «бывших дерзаний ключья», брошенные «на шаткий стул».

Но важней не срывы и ошibки, а то, что в книге чувствуются поиски собственного пути, пути к душевной цельности, к единству жизни и творчества.

Надежда Павлович.

★

ИГОРЬ ЕФИМОВ. Высоко на крыше. Повести и рассказы. «Детская литература». Л. 1964. 96 стр. Цена 23 к.

В книге Игоря Ефимова — две повести и рассказы. Перед нами проходит история, молоденькой учительницы Дины Борисовны («Взрывы на уроках»), которая нарушает каноны ведения урока, и от этого ребятам (и даже читателю!) урок интересен. Poleмика с унылой назидательностью определяет главное в книге. Лучшая повесть сборника «Я хочу в Сиверскую» рассказывает о пятикласснике Саше, которого из-за троек в табеле не пустили в Сиверскую, к другу, именно потому, что он туда хотел, — это был, конечно, не лучший способ воспитания.

Повести и рассказы И. Ефимова неназойливо несут читателю моральные идеалы честности, искренности, справедливости. Они лишены нравоучительности, но незаметно действуют и на маленьких, и на взрослых читателей своей направленностью. И. Ефимов «снимает» дидактику юмором, необычной деталью, неожиданным поступком. В этом сказывается вкус, а вкус — качество редкое.

Вот, например, на лыжной прогулке Дина Борисовна сломала лыжи. Чтобы выправить положение, все ребята начинают кричать, что Косминский не хочет больше кататься, он отдаст ей лыжи — ведь правда, Косминский? Он и ездить-то не умеет, давай снимай! Он лучше дома на рояле играет, слышишь, Косминский? «Сейчас же перестаньте! — воскликнула Дина Борисовна. — Вы такие!.. Такие чужие — я больше с вами не могу». И пошла обратно к станции. «Ну что, Косминский, — сказал Толя, — видишь, что ты наделал. Добился своего. Эх, ты!» — И тут Косминский не выдержал и заплакал». Такая здесь правда, такая мальчишеская жестокость — хотя бы и во имя доброй цели, — и создается та полнота, которая помогает совершенно живо вообразить всю эту сцену.

Книга И. Ефимова написана свежим языком, с живыми диалогами, читать ее интересно.

В. Марамзин.

Ленинград.

Я. О. ЗУНДЕЛОВИЧ. Романы Достоевского. Статьи. «Средняя и высшая школы». Ташкент. 1963. 243 стр. Цена 1 р.

Достоевский — неисчерпаемая тема для литературоведов. О нем появляются все новые работы. Книга Я. Зунделовича (отдельные части которой публиковались ранее в «Трудах Самаркандского университета») — серьезный вклад в научную литературу о Достоевском.

Статьи Я. Зунделовича, посвященные вопросам поэтики, появлялись еще в двадцатые годы. Затем работа ученого была надолго прервана. «Романы Достоевского» — первая книга семидесятилетнего автора.

Книга состоит из пяти глав, объединенных общностью замысла. Работы о романах «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» посвящены отдельным сторонам мастерства художника. В каждой главе выдвигается на первый план та сторона, которая наиболее существенна для понимания данного романа. «Преступление и наказание» изучается под углом зрения стиливых приемов, в главе о «Бесах» рассматриваются различные «памфлетные круги» повествования; в связи с анализом романа «Подросток» ставится вопрос: какими способами Достоевский переплавлял отвлеченно-логические понятия в художественные образы.

Я. Зунделович показывает, как взаимодействуют в романах Достоевского автор, который знает все о героях, — рассказчик-очевидец, к которому нередко передоверяется повествование. У очевидца свои преимущества: он видит персонажей вблизи, он свой человек для них, он может с наибольшей непосредственностью передать атмосферу действия. Но автор — демиург, всеведущий и всевидящий, тоже нередко оказывается необходим: ведь Достоевский хочет не только изображать и рассказывать, но и учить. Я. Зунделович показывает, как, например, в «Идиоте» «непрерывно на протяжении всего романа идет борьба между желанием автора «повестей» читателя, «наставить» его и напряженно-страстной жадной поисков, исканий. Утверждения и отрицания взаимно сталкиваются, сочетаются в сложнейшем единстве или взаимоуничтожаются».

Внутренняя противоречивость Достоевского иной раз приводила гениального художника к просчетам и срывам. Так, религиозная проповедь, по мысли Я. Зунделовича, находит лишь весьма шаткую опору в образной системе «Преступления и наказания». Зато в «Бесах» противоречивость художника оборачивается добродетелью. Роман, задуманный как антиреволюционное выступление, по объективному своему значению богаче и глубже замысла: художник поправил идеолога-памфлетиста. «...«Бесы» не только издевка над нигилистами и либералами (а с другой стороны — в определенном смысле — и над властью имущими), но и над многоликим обывателем. Порою же даже кажется, что Достоевский подтруни-

вает и над самим собой, над своим непомерным желанием безоглядно «уничтожить» нигилистов».

В главе о «Братьях Карамазовых» исследуется «образ мира» у Достоевского — художественная реализация миропонимания писателя. Современная Достоевскому эпоха осознавалась им как век разъединенности, разорванности, «никогда не завершающегося становления». Это сказалось и в способах обрисовки персонажей, и в их взаимоотношениях, развитии, судьбах.

Перед нами содержательная, ценная книга. Жаль, что она издана столь малым тиражом и доступна сравнительно узкому кругу читателей.

Т. Мотылева.

★

А. ЗЕЛЬВЕРОВИЧ. Рассказ старого комедианта. Перевод с польского. «Искусство». Л.—М. 1964. 224 стр. Цена 1 р. 5 к.

«Рассказ старого комедианта» — так с некоторой долей иронии озаглавил свои мемуары выдающийся польский актер, педагог и режиссер Александр Зельверович.

С первых же страниц книги вы поддаетесь удивительному человеческому обаянию «старого комедианта», его жизнелюбию, добродушному юмору, его умению непринужденно и занимательно вести беседу (иначе и не назовешь манеру его повествования) и с удовольствием следуете за ним далее по его долгой и насыщенной событиями жизни.

Наиболее подробно Зельверович рассказывает о своем детстве и юности. Это позволяет лучше проследить и понять, как в шаловливом Олутеке (так называла его мать) «пробуждался театральный микроб», как из детской любви к лицедейству постепенно выросла и окрепла настоящая, глубокая страсть к театру. И Зельверович, обычно столь скупой на описания своей интимной жизни, в первых главах очень детально описывает среду, в которой он рос, давая нам возможность понять, какие жизненные факты повлияли на формирование его человеческой и актерской личности, составили необходимый жизненный багаж, помогавший ему лучше проникать во внутренний мир изображаемых персонажей (в частности, при создании любимой роли чеховского дяди Вани, после исполнения которой, по признанию самого автора, он стал настоящим актером, понимающим тончайшие движения человеческой души).

Но вообще о своей актерской работе, об исполняемых им ролях Зельверович лишь упоминает, более подробно — образно и ярко — описывая окружающую его обстановку, людей, с которыми пришлось сталкиваться на протяжении его долгой сценической жизни. На страницах книги мы знакомимся с его знаменитыми соотечественниками видными деятелями польского искусства. Казимежем Каминским, Юзефом Котарбинским, Леоном Шиллером, Арнольдом Шифманом, Юлиушем Остэрвой и многими другими.

И что самое главное: из всех рассказов

книги четко вырисовывается портрет самого автора — портрет человека, отдавшего любимому искусству все богатства своей души и таланта, создавшего на разных сценах страны более восьмисот образов в пьесах отечественного и мирового репертуара, воспитавшего блестящую плеяду учеников, наследников его жизненных и творческих принципов.

З. Раевская.

★

М. И. СЛУХОВСКИЙ. Из истории книжной культуры России. Старорусская книга в международных культурных связях. «Промсвещение». М. 1964. 243 стр. Цена 44 к.

Если бы составить карту странствий старорусских рукописных и печатных книг, маршруты их пролегали бы из Москвы, Новгорода, Киева, Львова во многие города и страны Европы. В маленьком немецком городке Вольфенбюттеле находился один из двух известных списков сборника князя А. М. Курбского «Новый Маргарит», в Королевской библиотеке в Копенгагене хранится учебник Ивана Федорова, напечатанный во Львове или в Остроге почти четверста лет назад, а одна из рукописей, вышедших из Кирилло-Белозерского монастыря, несколько веков кочевала по монастырским библиотекам Сербии и Боснии, трижды сменив свое местопребывание. И они не только странствовали, эти книги, но и оставляли заметный след в культуре многих европейских народов. Русская «Задонщина», попав в Болгарию, переписывалась болгарскими книжниками, вносившими в нее свои национальные черты, а русская «Повесть о взятии Царьграда» Нестора Искандера воспринималась сербскими читателями как патристический призыв к борьбе с турками порабощателями.

Книга М. И. Слуховского сочетает в себе черты документального исследования с живым рассказом о судьбах литературных памятников. В ней подробно говорится об оценке иностранцами состояния книжного дела в России, о проникновении в Европу сведений о русских библиотеках и наконец о воздействии русской книжности на развитие культуры других народов.

Большинство материалов, содержащихся в этой книге, было до сих пор рассредоточено в многочисленных источниках и специальных исследованиях, и потребовалось поистине ювелирный труд, чтобы собрать из сотен книг и статей затерянные в них крупинки разрозненных сведений и свести их воедино.

Но создается впечатление, что враждебное отношение к русской книге со стороны «иезуитов разных орденов» (?? — стр. 74) порою заслоняет для автора сложную политическую, социальную и экономическую подоплеку взаимовстреч различных культур. Объявляя «папистов» главными врагами русской книжности, он некритически относится к деятельности русской церкви, настойчиво подчеркивая, что «поступавшая из России литература православия играла в

западнославянских землях прогрессивную роль» (стр. 42). Но если этот вывод в известной степени верен в отношении Болгарии, Сербии, Боснии, то применительно к Польше, Чехии, Хорватии он вызывает серьезные сомнения. Недооценка автором самостоятельности национальной культуры западнославянских народов приводит его к прямым ошибкам. Так, он утверждает, что в XVI веке по объему печатной продукции Россия занимала в славянском мире первое место, хотя известно, что в то время Польша опережала Россию в этой области.

Заключая свою книгу, М. И. Слуховский указывает, что собранный им материал «свидетельствует о широком культурном явлении, но требует осторожности в выводах». Именно подобной осторожности и исторической обоснованности выводов иногда недостает автору этой интересной и содержательной книги.

А. Гольдберг.

★

Н. В. ШЕБАЛИН. Планета Земля... что мы знаем о ней. Воениздат. М. 1964. 119 стр. Цена 18 к.

В познании планеты Земля человечество прошло долгий и трудный, полный борьбы, радости побед и горечи поражений путь — от невежественных религиозных измышлений и поэтических легенд до современных научных представлений.

Огромные возможности для изучения околоземного пространства и самой нашей планеты дают науке исследования самых последних лет, проводимые при помощи искусственных спутников Земли. Благодаря им открыта новая оболочка Земли — магнетосфера, состоящая из поясов радиации и огромного разреженного облака ионизированной плазмы; очень точно определены размеры и форма твердой Земли; с большой точностью измерены расстояния между континентами. Отклонения орбит спутников от расчетных послужили основанием для важных заключений о распределении масс в земных недрах.

О том, как изучаются недра Земли, что известно сейчас о ее строении, рассказывается в книге Н. В. Шебалина. Автор знакомит читателя с новейшими данными о возрасте, размерах и форме Земли, о ее полях (магнитном и поле тяготения) и о происходящих в ее глубинах процессах. В свете новейших данных пересматриваются многие привычные и казавшиеся нам неизблемыми представления о строении Земли, о состоянии отдельных ее слоев.

Автор критически рассматривает существующие теории об источниках внутреннего тепла Земли, о путях ее дальнейшего развития.

Основная часть книги посвящена методам сейсмической разведки. Идя от простого

к сложному, автор постепенно подготавливает читателя к восприятию довольно сложных для неспециалиста понятий.

Книга занимательна и сообщает новые сведения о нашей планете. Земля предстает перед читателем не в виде застывшего космического тела, а во всей сложности и динамичности происходящих в ней процессов; она живет, дышит и развивается.

В. Шейнман.

★

С. А. АДАСИНСКИЙ. Транспортные машины на воздушной подушке. «Наука». М. 1964. 108 стр. Цена 20 к.

Сведения о транспортных машинах на воздушных подушках нередко встречаются на страницах научно-популярной литературы. В книге С. А. Адасинского сущность устройства этих машин и их принципиальное отличие от других видов механического транспорта освещены полно и всесторонне.

Автор доказывает экономические выгоды внедрения транспортных машин на воздушной подушке. Не соприкасаясь с опорной поверхностью, испытывая только сопротивление воздуха, они — теоретически — могут развивать скорости, приближающиеся к скоростям самолетов. Чрезвычайно заманчивые перспективы сулит их способность передвигаться и над сушей, и над водой.

Объяснив сущность вопроса, автор посвящает первую главу истории развития машин на воздушной подушке, из которой мы, в частности, узнаем, что «первая попытка использовать давление воздуха и осуществить «воздушную смазку» была сделана в России еще в 1853 году, хотя изобретатель (архитектор Иванов) и не задавался целью полностью избавиться от соприкосновения корпуса сконструированного им судна с водной средой. Изобретение это не было реализовано, так как теоретическая база для создания транспортных машин на воздушной подушке была разработана позднее, причем наиболее полно — в трудах К. Э. Циолковского.

Далее мы узнаем о существующих в настоящее время схемах образования воздушной подушки и конструкциях транспортных машин, разработанных как в СССР, так и за границей.

Последнюю треть книги автор посвятил некоторым теоретическим положениям, различным комбинациям воздушной подушки в сочетании с обычным движением по опорной поверхности и сравнительным технико-экономическим показателям.

Книга, несомненно, привлечет внимание всех, кто интересуется проблемами развития транспорта. Думается, однако, что не следовало перегружать ее теоретическими выкладками и довольно сложными диаграммами.

Инженер В. Левачев.

КНИЖНЫЕ НОВИՒКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

Ю. Альперович. На полях будущего. 176 стр. Цена 17 к.

В редакцию не вернулся... 448 стр. Цена 87 к.

За сплоченность международного коммунистического движения. Документы и материалы. 270 стр. Цена 53 к.

Организационно-партийная работа. Вопросы и ответы. 80 стр. Цена 6 к.

Ответы верующим (Популярный справочник). Выпуск первый 384 стр. Цена 36 к.

Партия шагает в революцию. Рассказы о соратниках В. И. Ленина. 560 стр. Цена 1 р.

Революционно-исторический календарь-справочник на 1965 год. 416 стр. Цена 73 к.

Словарь атеиста. 272 стр. Цена 58 к.

Соревнование двух систем. Справочник. 256 стр. Цена 43 к.

«МЫСЛЬ»

В. Богуславский. У истоков французского атеизма и материализма. 253 стр. Цена 87 к.

П. Виноградская. Женни Маркс. 357 стр. Цена 54 к.

Ю. Гайдуков. Роль практики в процессе познания. 334 стр. Цена 1 р. 22 к.

Ю. Головин. Марокко. 183 стр. Цена 23 к.

Н. Данилова, А. Кеммерих. Времена года. 173 стр. Цена 34 к.

Э. Кэмпбелл. 60 семейств. владеющих Австралией. Перевод с английского. 222 стр. Цена 83 к.

Г. Нестеренко. Идеология, ее особенности и формы. 197 стр. Цена 73 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. Четвертое измерение. Стихи. 1962—1963 136 стр. Цена 21 к.

В. Быков. Альпийская баллада. Повести. Перевод с белорусского. 288 стр. Цена 41 к.

Э. Герштейн. Судьба Лермонтова. 496 стр. Цена 91 к.

Э. Зедгинидзе. Весна началась рано. Повесть. Перевод с грузинского. 264 стр. Цена 54 к.

И. Зверев. Все дни, включая воскресенье... Рассказы. 384 стр. Цена 46 к.

Ф. Кнорре. Родная кровь. Повести и рассказы. 440 стр. Цена 76 к.

К. Малинов. Думь о завтрашнем дне. Стихи и поэмы. Перевод с киргизского. 84 стр. Цена 15 к.

С. Маршак. Сатирические стихи. Избранное. 192 стр. Цена 33 к.

Э. Нийт. Земля полна открытий. Стихи и поэма. Перевод с эстонского. 92 стр. Цена 12 к.

П. Проскурин. Горькие травы. Роман. 528 стр. Цена 91 к.

А. Прокофьев. Под солнцем и под ливнями. Стихи. 128 стр. Цена 26 к.

М. Рагим. Ветер странствий. Стихи. Перевод с азербайджанского. 80 стр. Цена 11 к.

А. Ткаченко. Стланник, туман... Рассказы и повести. 316 стр. Цена 61 к.

Г. Тропольский. В камышах. Из тетрадей охотника. 240 стр. Цена 27 к.

Братья Тур. Среда бела дня. Фельетоны и рассказы. 424 стр. Цена 63 к.

Д. Хайкина. Верность. Стихи. Перевод с еврейского. 76 стр. Цена 9 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Боков. Лирика. 287 стр. Цена 48 к.

В. Ванчура. Пекарь Ян Маргоул. Роман. Повести. Рассказы. Перевод с чешского. 328 стр. Цена 74 к.

К. Конрад. Отбой! Роман. Перевод с чешского. 312 стр. Цена 67 к.

А. Кушниров. Стихи. Перевод с еврейского. 168 стр. Цена 39 к.

Лим Чже. Мышь под судом. Повесть. Перевод с корейского. 247 стр. Цена 70 к.

А. Матуте. Мертвые сыновья. Роман. Перевод с испанского. 487 стр. Цена 1 р. 44 к.

А. Пана. Оковы. Роман. Перевод с индонезийского. 144 стр. Цена 36 к.

П. Спасов. Хлеб людской. Роман. Перевод с болгарского. 456 стр. Цена 1 р. 33 к.

Хосе Хоакин Фернандес де Лисарди. Перикильо Сарньенто. Роман. Перевод с испанского. 192 стр. Цена 1 р. 58 к.

У. Фолкнер. Деревушка. Роман. Перевод с английского. 392 стр. Цена 1 р. 20 к.

Цвет чая. Рассказы писателей Цейлона. Переводы с сингалского и тамильского. 159 стр. Цена 27 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Г. Бель. Город привычных лиц. Рассказы. Перевод с немецкого. 255 стр. Цена 63 к.

Г. Голубев. Тайна пирамиды Хирена. Повесть. 223 стр. Цена 45 к.

А. Дорохов. Прс то. чего нет. 176 стр. Цена 25 к.

Б. Кремнев. Шуберт. 302 стр. (Жизнь замечательных людей). Цена 62 к.

Б. Куликов. Стихи 104 стр. Цена 14 к.

Т. Масенко. Пол небом Гуцульщины. Перевод с украинского. 176 стр. Цена 20 к.

А. Приставкин. Записки моего современника. Сибирские повести. 320 стр. Цена 63 к.

Ш. Рашидов. Могучая волна. Роман. Перевод с узбекского. 352 стр. Цена 72 к.

М. Ребров, Н. Мельников. Лунные старты ближе. Очерк о полете космического корабля «Восход». 79 стр. Цена 14 к.

Слово о партии. Сборник. 336 стр. Цена 63 к.

Я. Смеляков. Избранный лирика. 32 стр. Цена 4 к.

Современная зарубежная фантастика. Сборник. 399 стр. Цена 91 к.

З. Шахин. Темиртау. Роман. Перевод с казахского. 256 стр. Цена 53 к.

Эврика. Сборник. 1964 280 стр. Цена 45 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Берестов. Улыбка. Стихи. 110 стр. Цена 34 к.

К. Васин. Сабля атамана. Рассказы. Перевод с марийского. 143 стр. Цена 28 к.

С. Георгиевская. Сказки моего друга. Негритинские народные сказки. 39 стр. Цена 10 к.

Дневник Нины Костериной. 126 стр. Цена 29 к.

Э. Зязинов. Девять дней из жизни героя. Повесть. Перевод с ингушского. 111 стр. Цена 29 к.

М. Коршунов. Две секунды света. 208 стр. Цена 41 к.

Д. Красицкий. Юность Тараса. Рассказы о юности Т. Г. Шевченко. Перевод с украинского. 207 стр. Цена 55 к.

Ю. Курдиновский. Незримые разведчики. 125 стр. Цена 29 к.

С. Орлов. Созвездье. Стихи. 111 стр. Цена 20 к.

Я. Пинясов. Шумный брат. Повесть о детстве. Перевод с мокша-мордовского. 80 стр. Цена 22 к.

А. Родимцев. Машенька из Мышеловки. Документальная повесть. 95 стр. Цена 21 к.

«НАУКА»

М. Андреев. Будущее индонезийской нефти. 175 стр. Цена 65 к.

А. Аркадьев, Э. Браверман. Обучение машины распознаванию образов. 110 стр. Цена 15 к.

Армянские пословицы и поговорки. Перевод с армянского. 78 стр. Цена 10 к.

А. Бабкин. Лексикографическая разработка русской фразеологии. 76 стр. Цена 24 к.

Т. Балашова. Творчество Арагона. К проблеме реализма XX в. 312 стр. Цена 98 к.

В. Буганов. Московское восстание 1662 г. 136 стр. Цена 43 к.

Венгерско-русские литературные связи. 282 стр. Цена 88 к.

Вопросы грамматики бенгальского языка. 152 стр. Цена 65 к.

А. Гонзалес. История испанских секций Международного Товарищества Рабочих. 1868—1873. 192 стр. Цена 61 к.

Т. Григорьева, В. Логунова. Японская литература. Краткий очерк. 282 стр. Цена 60 к.

Индия в древности. Сборник статей. 260 стр. Цена 1 р. 55 к.

Исследования по отечественному источниковедению. Сборник статей, посвященных 75-летию проф. С. Н. Валка. 519 стр. Цена 2 р. 41 к.

История Библиотеки Академии наук СССР. 1714—1964. 599 стр. Цена 3 р. 12 к.

Х. Кини. Египет до фараонов. По памятникам материальной культуры. 196 стр. Цена 90 к.

И. Книжник-Ветров. Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской коммуны. 258 стр. Цена 1 р. 29 к.

В. Королук. Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв. 383 стр. Цена 1 р. 42 к.

В. Луцкий. Национально-освободительная война в Сирии (1925—1927 гг.). 335 стр. Цена 1 р. 50 к.

Остров красавицы Си Мелю. Мифы, легенды и сказки острова Сimalур. Собраны в этнографической экспедиции д-ром Г. Келлером. 168 стр. Цена 46 к.

Памятники позднего античного ораторского и эпистолярного искусства II—V века. 234 стр. Цена 1 р. 3 к.

Песнь о Роланде. Старофранцузский героический эпос. 192 стр. Цена 93 к.

Повести, сказки, притчи древней Индии. Перевод с пали и санскрита. 300 стр. Цена 1 р. 11 к.

Распад Британской империи. 647 стр. Цена 2 р. 62 к.

Революционный подъем в Литве и Белоруссии в 1861—1862 гг. 707 стр. Цена 1 р. 85 к.

Сибирский географический сборник. Вып. 3. 319 стр. Цена 2 р. 25 к.

В. Сущенко. Монополистический капитал Канады. 454 стр. Цена 1 р. 62 к.

Успехи микробиологии. Сборник обзорных статей. 167 стр. Цена 1 р. 23 к.

Л. Файнберг. Общественный строй эскимосов и алеутов. 258 стр. Цена 1 р.

Человек и эпоха. 259 стр. Цена 1 р. 21 к.

Экономическое положение стран Азии в 1962 г. 275 стр. Цена 1 р. 55 к.

Б. Яворский, А. Детлаф. Справочник по физике. 847 стр. Цена 1 р. 40 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Ю. Бондарев. Тишина. Двое. Романы. 400 стр. Цена 79 к.

И. Варавва. Золотая бандура. Стихи. 64 стр. Цена 9 к.

Я. Голованов. Кузнецы грома. Фантастическая повесть. 112 стр. Цена 24 к.

В. Каверин. Очерк работы. 56 стр. Цена 6 к.

В. Конечный. Огни на мерзлых скалах. Рассказы. 152 стр. Цена 18 к.

А. Кузнецова. Народный артист. Страницы жизни и творчества И. С. Козловского. 208 стр. Цена 38 к.

Ю. Лаптев. Даша. Повесть и рассказ. 112 стр. Цена 15 к.

Л. Леонов. Evgenia Ivanovna. Повесть. 108 стр. Цена 12 к.

Н. Москвин. Над белым листом. Заметки о литературном труде. 112 стр. Цена 13 к.

На разных широтах. Стихи. 144 стр. Цена 38 к.

С. Наумов. Лена и степь. Рассказы. 88 стр. Цена 10 к.

Л. Обухова. Прекрасные страны. Путешествия в дневниках. 304 стр. Цена 45 к.

И. Олейников, В. Шилин. Коммунистическое воспитание тружеников села. 128 стр. Цена 12 к.

В. Полторацкий. Профиль пути. Повесть о жизни машиниста, рассказанная им самим, с некоторыми дополнениями от автора. 168 стр. Цена 24 к.

М. Рожнова, В. Рожнов. Легенды и правда о гипнозе. 192 стр. Цена 48 к.

В. Тендряков. Костры на снегу. Рассказы. 72 стр. Цена 9 к.

Э. Эристин. Повесть и рассказ. Перевод с якутского. 144 стр. Цена 28 к.

«ИРФОН» (ДУШАНБЕ)

Из таджикской народной поэзии. 192 стр. Цена 18 к.

Д. Икрами. Паутина. Повесть. 124 стр. Цена 14 к.

Ф. Мухаммадиев. Взрыв, которого не было. Повесть. Перевод с таджикского. 119 стр. Цена 12 к.

Ф. Ниязи. Люди и встречи. Перевод с таджикского. 239 стр. Цена 37 к.

ЛЕНИЗДАТ

Б. Кежун. Веселая книга. Литературные пародии. 111 стр. Цена 12 к.

Г. Набатов. Феодосий Смолячков. Документальная повесть. 126 стр. Цена 20 к.

А. Нинов. Вера Панова. 240 стр. Цена 42 к.



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1964 ГОД

По ленинскому пути. IV—5.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ДРАМЫ, КИНОСЦЕНАРИИ

Генрих Бёль. Ирландский дневник. Перевели с немецкого В. Нефедьев и С. Фридлянд. V—55.

В. Богомолов. Рассказы: Кладбище под Белостоком; Второй сорт; Кругом люди; Сосед по палате; Сердца моего боль. VIII—84.

Юрий Бондарев. Двое (Вторая книга романа «Тишина»). IV—21; V—5.

Т. Борисов. Заботы и радости Тимофея Лунина (Страницы из жизни одного колхоза). X—9.

Леонид Волинский. Двадцать два года. I—102.

Е. Герасимов. Куда речка течет (Из подмосковных впечатлений). VI—125.

Хуан Гойтисоло. Народ в походе. Перевел с испанского А. Макаров. II—102.

А. В. Горбатов, генерал армии. Годы и войны (Страницы воспоминаний). III—133; IV—99; V—106.

Юрий Домбровский. Хранитель древностей. Повесть. VII—3; VIII—10.

Ефим Дорош. Дождь пополам с солнцем. Деревенский дневник. 1959. VI—11.

Ион Друцэ. Последний месяц осени. Рассказ. С молдавского перевел автор. IV—68.

Вадим Емельянов. Зверушка. Рассказ. VII—115.

С. Залыгин. На Иртыше (Из хроники села Крутые Луки). II—3.

Ю. Крелин. Семь дней в неделю (Записки хирурга). X—113.

А. Кузнецов. У себя дома. Повесть. I—3.

Виль Липатов. Чужой. Повесть. III—55.

Виктор Лихоносов. Рассказы: И хорошо и грустно; Домохозяйки. IX—49.

А. Марьямов. Полярный август. XI—6; XII—85.

Джон Моррисон. Австралийские рассказы: Мы мужчины...; Бунт Рори О'Мэхони. Перевела с английского И. Архангельская. I—144.

О. Морозова. Одна судьба. IX—86.

Вера Панова. Из американских встреч. VII—95.—Рабочий поселок. Киносценарий IX—3.

М. Пархомов. Девять баллов. Рассказ. VI—89.

А. Побожий. Мертвая дорога (Из записок инженера-изыскателя). VIII—89.

Надежда Поведенок. Соперницы. Рассказ. IX—77.

Е. Ржевская. Второй эшелон. Рассказ. VI—160.

В. Розов. В день свадьбы. Драма в трех действиях. III—10.

Анатолий Рыбаков. Лето в Сосняках. Роман. XII—9.

Жан-Поль Сартр. Слова. Перевели с французского Ю. Яхнина и Л. Зонина. X—60; XI—73.

Лев Славин. Неудобная жертва. Рассказ. II—88.

С. Славич. На морской дороге. Рассказ. VIII—74.

И. Шмелев. Из прошлого: Обед «для разных»; Ледоколье; Ледяной дом. Публикация подготовлена В. Баумовым. I—124.

Георгий Штурм. Потаённый Радисhev (Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву»). Предисловие доктора филологических наук А. Западава. XI—115.

Вас. Шукшин. Рассказы: Зменный яд; Степка. XI—58.

СТИХИ

В. Алатырцев. Да, мы жестоки были на войне... Стихотворение. II—83.

Луис Арди. О мой край, Испания! Стихотворения. Перевела с испанского Н. Горская. IX—151.

Анна Ахматова. Из трагедии «Пролог, или Сон во сне» (С послесловием А. Синявского — Раскованный голос. К 75-летию А. Ахматовой). VI—172.

Петрусь Бровка. Слава; Мой шар земной!..; Люблю, прибрав свой стол рабочий... Перевел с белорусского Яков Хелемский. VII—91.

Расул Гамзатов. Восьмистишия и четверостишия. Перевел с аварского Н. Гребнев. XI—3.

Евг. Евтушенко. Новые стихотворения. VII—105.

Леонид Завальнюк. Стихи о доме. II—84.

Алим Кешоков. Лермонтову. Стихотворение. Перевел с кабардинского Я. Козловский. II—100.

Мусбек Кибиев. Белые звезды. Стихотворение. Перевела с чеченского Новелла Матвеева. XII—137.

Вл. Корнилов. Четыре стихотворения. XI—83.

Нина Королева. Три стихотворения. V—52.

Лев Кропп. Пружина времени. Стихотворение. IX—84.

Давид Кугультинов. Из цикла «Жизнь и размышления». Стихи. Перевела с калмыцкого Ю. Нейман. V—3.

Сайфи Кудаш. Три стихотворения. Перевел с башкирского Александр Глезер. X—58.

Аркадий Кулешов. Новые стихи. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. II—81.

Кайсын Кулиев. Из лирики. Перевел с балкарского Я. Козловский. II—98.— Из новой книги стихов «Раненый камень». Перевел с балкарского Н. Коржавин. VI—3.

С. Маршак. Лирические эпиграммы. I—98.— Лирические эпиграммы. III—132.— Лирические эпиграммы (Эмрис Хьюз. Несколько слов о Маршаке. Перевод с английского). VII—3.— Из стихов последних лет (С предисловием А. Твардовского). IX—44.

Эдуардас Межелайтис. Из новой книги стихов. Перевели с литовского Б. Слуцкий, Ю. Левитанский. Б. Окуджава. IV—13.

Алитет Немтушкин. Моя тропа. Стихи. Перевела с эвенкийского М. Борисова. VI—88.

Пимен Панченко. В родных местах. Перевел с белорусского Яков Хелемский. VII—92.

Надежда Полякова. Новые стихи. X—109.
А. Прасолов. Десять стихотворений. VIII—68.

Максим Рыльский. Тайна осенней листвы; Кленовые листья; Дождик; Неугомонное сердце; Последние розы; Огни моего города; Что я ненавижу и что я люблю. Стихи. Авторизованный перевод с украинского Дмитрия Седых. I—119.

Умберто Саба. Стихи разных лет. Перевел с итальянского Евгений Солонович. I—164.

Д. Самойлов. набросок портрета. Стихотворение. VII—134.

М. Светлов. Два стихотворения. VI—84.

Валентин Сидоров. Стихи об отце. XI—56.

Мамаду Ламиң Сиссэ. Вот это все, мой сын, и есть Мали! Стихотворение. Перевела с французского Т. Сикорская. VIII—182.

Дмитрий Сухарев. Небо. Стихотворение. IX—76.

Максим Танк. Письмо, найденное плугом; Шторм начинался резким натиском... Перевел с белорусского Яков Хелемский. VII—93.

Вадим Халупович. Сосна; Последнего тумана ключья... Стихи. X—111.

Назым Хикмет. Из неопубликованного. Стихи. Перевела с турецкого М. Павлова. III—53.

Людмила Шикина. Полевые цветы. Стихотворение. IV—20.

Степан Щипачев. Пряха и ткачиха; Бьюга в Подмосковье. Стихи. I—100.

Александр Яшин. Запасаемся светом; Пора и мне. Стихи. VI—86.

Страницы лирики словенских поэтов (в переводах и с предисловием Алексея Суркова).

Матей Бор. Видение; Герой Хиросимы. XII—3.

Сречко Косовела. Солнце имеет корону; Усталые от работы. XII—7.

Тоне Селишкар. Товарищи; Водопад. XII—6.

К 70-летию со дня рождения
Сакена Сейфуллина

К. Джумалиев, доктор филологических наук, член-корреспондент Академии наук Казахской ССР. Наш Сакен. IX—154.

Сакен Сейфуллин. Ашай (Из книги «Трудный путь»). Перевод с казахского С. Талжанова и И. Щеголихина. IX—159.

150 лет со дня рождения
Тараса Григорьевича Шевченко

Тарас Шевченко. Заповіт. III—3.

Тарас Шевченко. Завещание. Перевел с украинского А. Твардовский. III—4.

Ал. Сурков. Великий кобзарь Украины. III—5.

К 150-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова

Павел Антокольский. Из пламя и света рожденное слово. X—3.

Аркадий Кулешов. Встречи с Лермонтовым. X—6.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Анатолий Злобин. Дорога на Тайшет. VII—135.

И. Осипов. Воздушный патруль. IV—157.— Брат Апшерона. IX—163.

Виктор Панов. По Сухоне и Двине. VIII—185.

А. Терентьев. На Воткинской ГЭС. Записки рабочего-монтажника. III—157.

Ю. Черниченко. Целинная дорога. I—166.

ПУБЛИЦИСТИКА

Л. Безыменский. Перевоплощения Мартина Бормана. X—161.

И. Белов. Общежитие в Сегеже (Из блокнота корреспондента). II—186.

Н. Верховский. Навстречу новой весне. Заметки из Целинного края. IV—215.

Полина Виноградская. Женни Маркс (По ее письмам). III—179.

Е. Гнедин. Судьба европейского наследства. I—202.— Модель и действительность.

Социологические заметки о современном буржуазном обществе. IX—172.

С. Иванов. Третье слагаемое. VI—177.

Б. Кедров. Страница 100. Как родилось ленинское определение диалектики. VII—171.

И. Кичанова, кандидат философских наук. В погоне за XX веком (Современные проблемы католической церкви). VI—193.

А. Манфред, проф. Голос Жореса. VIII—212.

В. Смолянский, комментатор АПН. Новые концепции на старый лад. V—187.

Я. Тавров. Год минувший и год наступающий. I—186.— На сибирских просторах. X—146.

В. Шкловский. Четыреста лет русской книги. III—190.

Б. Яковлев. Плюс химизация... (В. И. Ленин и химия). IV—197.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Мехти Гусейн. Месяц и один день (Путевой дневник). Перевела с азербайджанского Т. Калякина. II—140.

Борис Изаков, специальный корреспондент АПН. Все меняется даже в Англии. IV—171.

Т. Мотылева. Двадцать шесть дней в США. V—154.

С. Утченко. Египет: пятьдесят веков и современность. XI—177.

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

Цецилия Кин. Вопросы анкеты и вопросы жизни. Италия. «Nuovi argomenti» («Новые темы»), №№ 67—68, marzo-giugno, 1964. X—183.

В МИРЕ НАУКИ

Лев Католин. Большой поиск (У киевских кибернетиков). II—168.

Юл. Медведев. Защитница полей. III—194.

В МИРЕ ИСКУССТВА

Б. Бабочкин. Через тридцать лет. XI—162.

Бор. Медведев. Перелистывая страницы истории... (О кинопублицистике). II—198.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. Шаров. Языки окружающего мира... IV—139.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. Аникст. О «системе» Шекспира. К 400-летию со дня его рождения. IV—233.

Г. Березкин. Беседа впадает в океан (К 50-летию Аркадия Кулешова). II—217.

И. Виноградов. Деревенские очерки Валентина Овечкина (К 60-летию со дня рождения писателя). VI—207.— Философский роман Лермонтова. X—210.

А. Дементьев. Горький и книга (По неопубликованным материалам). V—218.— А. М. Горький и советская журналистика (По неопубликованным материалам). XI—213.

В. Каверин. Юрий Тынянов (К 70-летию со дня рождения). X—232.

Ю. Карякин. Эпизод из современной борьбы идей. IX—231.

В. Катанян. О сочинении мемуаров (Заметки на полях). V—227.

Н. Конрад, академик. Шекспир и его эпоха. IX—203.

Л. Лазарев. Военные романы К. Симонова. VIII—238.

В. Лакшин. Иван Денисович, его друзья и недруги. I—223.

А. Лебедев. Искусство «для широкого потребления» (По страницам «Тюремных тетрадей» А. Грамши). XI—232.

Мих. Лифшиц. В мире эстетики. II—228.

С. Маршак. О Шекспире. IX—199.

А. Нинов. Искусство невыдуманного сказа. III—213.

З. Паперный. Смех Чехова. VII—224.

Ф. Светов. Человек и его дело (О романе Бориса Полевого «На диком берегу»). III—226.

В. Сурвилло. К вопросу о наследственности. VII—214.

М. Туровская. Гамлет и мы. IX—216.

Л. Черная. Литература «дня ноль» (Заметки о литературе ФРГ). VII—198.

Еще о мемуарах

Р. Савицкая. Листая страницы воспоминаний о В. И. Ленине. XII—195.

В. Шкловский. Память и время. XII—201.

Л. Малюгин. Сочинение с ошибками (Заметки на полях мемуаров А. Штейна). XII—206.

Из литературных архивов. Материалы, посвященные сорокалетию «Нового мира». Переписка А. М. Горького с редактором журнала В. П. Полонским. Письма А. В. Луначарского и И. И. Скворцова-Степанова. Подготовлены к печати Н. И. Дикушиной и А. Е. Погосовой. V—200.

Из литературных архивов. Материалы, посвященные сорокалетию «Нового мира». Письма В. Александровского, В. Вересаева, Ф. Гладкова, Б. Лавренева, И. Майского, И. Огнева, Б. Пастернака, М. Пришвина, В. Саянова, Л. Сейфуллиной, А. Серафимовича, И. Соколова-Микитова, А. Толстого, И. Уткина, О. Форш, В. Фриче, А. Чапыгина редактору журнала В. П. Полонскому и соредктору И. И. Скворцову-Степанову. Публикация подготовлена Н. И. Дикушиной. X—192.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

А. Воронский. Из книги «Гоголь» (К 80-летию со дня рождения критика). С предисловием Ю. Манна. VIII—228.

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Дневник Анастасии Васильевны Якушкиной. Публикация подготовлена Т. И. Якушкиной (С послесловием Н. В. Якушкина — Несостоявшаяся поездка А. В. Якушкиной в Сибирь). XII—138.

И. М. Майский, академик. Дни испытаний. Из воспоминаний посла. XII—160.

Ник. Смирнов. Первые годы «Нового мира». VII—185.

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Луиза Брайант. Беседа с Н. К. Крупской. Публикация, комментарии и перевод А. Байковой. XII—220.

Два письма Н. П. Горбунова В. И. Ленину. Публикация И. Смирнова. VIII—276.

Из архивов мюнхенского гестапо. Публикация кандидата исторических наук Е. Бродского. VI—258.

К 60-летию со дня рождения Николая Острожского. Публикацию подготовила А. П. Аптоненкова. X—207.

Об одном замысле Горького. Публикация подготовлена кандидатом филологических наук В. С. Бараховым. IV—271.

Он брал Зимний (Документы о В. А. Антонове-Овсенко). Публикация и комментарии Антона Ракитина. XI—200.

Письма деятелей I Интернационала. Публикация подготовлена научными сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС: Л. Леваневской, О. Сенекиной, И. Синельниковой. IX—188.

Письмо А. К. Воронского В. И. Ленину. Публикация И. Смирнова. XII—213.

Трибуна читателя

Н. Протасов, капитан дальнего плавания. Литературные штормы. XII—263.

Снова о книге А. Арнольдова. Письма: **А. Потемкина,** кандидата философских наук, доцента Ростовского университета; **М. Кузьмина,** научного сотрудника Института славяноведения АН СССР. **От редакции.** V—267.

И. Травкина, библиотекарь Государственной публичной исторической библиотеки. Гармония внешняя и внутренняя. VII—272.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ*Литература и искусство*

В. Адмони. С позиций человечности (Генрих Бёль. Глазами клоуна. Роман. Перевод с немецкого Р. Райт-Ковалевой). XII—245.

Ю. Айхенвальд. Воссозданный мир (Карло Каладзе. Стихотворения. Перевод с грузинского). V—246.

Е. Алексанян. Книга о мастере прозы (Л. Левицкий. Константин Паустовский. Очерк творчества). I—256.

В. Баранов Во имя дружбы... (Александр Абрамов. Прошу встать! Повесть). III—243.

Е. Барышников. Изображение и слово (Н. Дмитриева. Изображение и слово). VII—239.

Г. Березкин. Он сделал все, что мог... (Максим Лужанин. Якуб Колас рассказывает... Авторизованный перевод с белорусского Е. Мозолькова). XII—223.

М. Блинкова. Достоверность и схема (Георгий Семенов. Сорок четыре ночи. Рассказы). VII—233.

И. Борисова. День за днем (В. Белов. Знойное лето. В. Белов. Деревня Бердяйка Повесть). VI—233.

Ю. Буртин. Свое и «общее» (Арка. Эляшевич. Герои истинные и мнимые. Литературно-критические статьи). IV—249.

М. Галлай. Рассказы о спокойной профессии (Игорь Эйнис. Профессия у нас спокойная... Игорь Эйнис. Второй и первый. Рассказ. Игорь Эйнис. Рассказы о спокойной профессии). IV—242.

В. Гоффеншефер. Хорошее — только совершенствоваться! (Н. Мацуев. Советская художественная литература и критика. 1960—1961. Библиография). X—260.

Л. Долгополов. На переломе лет (Наби Хазри. Когда мне сорок... Стихи и поэма. Авторизованный перевод с азербайджанского). X—248.

Е. Дорош. Проза художника (Николай Кузьмин. Круг царя Соломона). VIII—257.

В. Жданов. В поисках нового (Иракий Андроников. Лермонтов. Исследования и находки). X—250.

М. Злобина. Любовь и падение Рикардо Мольтени (Альберто Моравиа. Прозрение Роман. Перевод с итальянского Г. Богемского и Р. Хлодовского). IV—253.— Воспитание чувств (Турборг Недреос. Музыка голубого колодца. Роман. Перевод с норвежского Л. Горлиной). X—262.

А. Каменский. Писатель и история живописи (Леонид Волянский. Зеленое дерево жизни. Леонид Волянский. Лицо времени. Книга о русских художниках. Леонид Волянский. Семь дней. Повесть). III—255.— Революция и искусство (Из истории строительства советской культуры. 1917—1918. Документы и воспоминания). VIII—253.

Н. Крымова. Телевидение и первая книга о нем (Вл. Саппак. Телевидение и мы. Четыре беседы). II—257.

И. Кудрова. Рассказы Владимира Солоухина (Владимир Солоухин. Свидание в Вязниках). XI—253.

Э. Кузьмина. Прочная основа (Василий Шукшин. Сельские жители Рассказы). IV—244.— Соблазны решенного (Ю. Томин Шел по городу волшебник. Повесть, в которой случаются чудеса...). VIII—259.

В. Кутейщикова. «Старые моряки» и вечно юная мечта (Жоржи Амаду. Старые моряки. Две истории порта Баия. Перевод с португальского Ю. Калугина). VII—242.

В. Лакшин. «Человеческая философия» Лихтенберга (Георг Кристоф Лих-

тенберг. Афоризмы). V—248.— Необходимая реплика. VIII—273.

М. Ландор. Книга идей и характеров (В. Л. Паррингтон. Основные течения американской мысли. Том I. Система взглядов колониального периода (1620—1800). Том II. Революция романтизма в Америке (1800—1860). Том III. Возникновение критического реализма в Америке (1860—1920). Перевод с английского). VI—242.— Рассказы о современной Америке (Современная американская новелла. Перевод с английского. Послесловие Е. Романовой). IX—252.

А. Лебедев. На грани или за гранью? (Иван Ефремов. Лезвие бритвы. Роман приключений). VI—236.

Л. Лебедева. Люди на «Воейкове» (Юхан Смуул. Японское море, декабрь. Сэстонского. Авторизованный перевод Леона Тоома). I—246.— Выбирать могут все (Миколаас Слуккис. Лестница в небо. Роман). IX—245.

И. Левидова. Молодой Хемингуэй (Э. Хемингуэй. Праздник, который всегда с тобой. Перевод с английского М. Брука, Л. Петрова, Ф. Розенталя). XI—263.

Л. Левицкий. Судьба, не ремесло... (Варлам Шаламов. Шелест листьев. Стихи). VIII—261.— Неведомый враг (Анатолій Поперечный. Невидимый бой. Стихотворения и поэмы). XII—242.

Л. Лившиц. Как само искусство (Н. К. Крупская об искусстве и литературе. Статьи, письма, высказывания. Подготовка текста, вступительная статья и примечания И. Эвентовой). V—237.— Условие обязательное (Л. Яновская. Почему вы пишете смешно? Об И. Ильфе и Е. Петрове, их жизни и их юморе). X—258.

А. Македон. Поэзии пристальный опыт (Вадим Шефнер. Знаки земли. Стихи. Вадим Шефнер. Рядом с небом. Вадим Шефнер. Стихотворения. «День поэзии»). VI—230.

Н. Мацуев. Новый библиографический указатель (История русской литературы конца XIX—начала XX века. Библиографический указатель). I—258.

О. Михайлов. Мишкó Супрун — как он есть (Михаил Годенко. Минное поле. Роман). VII—236.

Сергей Наровчатов. Истоки мужества (Борис Ручьев. Стихи и поэмы). III—241.

В. Непомнящий. Могущество любви. (Вадим Андреев. Детство. Повесть). IX—249.

Вл. Огнев. Патриарх абхазской культуры (Георгий Гулиа. Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце). V—244.— Право выбора (Юстинас Марцинкявичюс. Кровь и пепел. Героическая поэма. С литовского. Авторизованный перевод А. Межирова. Юстинас Марцинкявичюс.

Кровь и пепел. Героическая поэма. Перевод с литовского А. Межирова). XI—249.

В. Павлова. Неизвестные страницы Слепцова (Литературное наследство. Том 71. Василий Слепцов. Неизвестные страницы). II—264.

З. Паперный. В плане языка и по линии анализа (Григорий Соловьев. Ответственность перед временем. Сборник критических статей). III—250.

В. Портнов. Пути и судьбы (Вл. Орлов. Пути и судьбы. Литературные очерки). IV—246.

Ст. Рассадин. «Нужна мне розовая дымка» (Ашот Гарнакерыан. Лирическое наступление. Стихи). II—261.— О людях, которые работают (С. Маршак. «Умные вещи». Сказка-комедия). IX—240.— Среди людей (Фазиль Искандер. Дети Черноморья. Стихи. Фазиль Искандер. Молодость моря. Стихи). XII—233.

И. Роднянская. «Пишущий правду...» (Бертольт Брехт. Трехгрошовый роман. Перевод с немецкого В. Стенича). III—258.

С. Розанова. Художественный мир Толстого (С. Бочаров. Роман Л. Толстого «Война и мир»). VI—240.

К. Рудницкий. Комиссаржевская в юбилейных изданиях (Вера Федоровна Комиссаржевская. Письма актрисы, воспоминания о ней, материалы. В. Носова. Комиссаржевская). XI—257.

Б. Рунин. Далекое и близкое (Новелла Матвеева. Кораблик. Сборник стихов). V—240.

Б. Сарнов. Зрелость (Д. Самойлов. Второй перевал. Стихи). III—246.— Глазами художника (В. Шкловский. Лев Толстой). VII—249.

Ф. Светов. «Просто» или «не просто» детектив? (Юлиан Семенов. Петровка, 38. Повесть). I—252.— За кулисами цирка (Виктор Драгунский. Сегодня и ежедневно. Повесть). X—254.

А. Синявский. «Пойдем со мной...» (Роберт Фрост. Из девяти книг. Перевод с английского под редакцией и с предисловием М. А. Зенкевича). I—260.— Памфлет или пасквиль? (Иван Шевцов. Тля. Роман-памфлет). XII—228.

М. Сокольский. Еще о славе и о тоске (Леонид Борисов. В тоске и славе. Повесть). II—255.

С. Соложенкина. Быть самим собой (Сергей Наровчатов. Взыскательный путник. Книга стихов. Сергей Наровчатов. Избранная лирика). XII—225.

Вл. Солоухин. Годы и судьбы (Н. Коржавин. Годы. Стихи). I—249.

Е. Старикова. Портреты и размышления (Майя Ганина. Я ищу тебя, человек.. Рассказы и повесть). III—236.

Арсений Тарковский. Языком поэзии (Георг Эмин. Стихи. Авторизованный перевод с армянского). II—252.

Г. Трефилова. Азбука этики (Глеб Горышин. Синее око. Повесть и рассказы. Глеб Горышин. Земля с большой буквой. Повести и рассказы). XII—238.

А. Турков. Народ — это люди (Антал Гидаш. Мартон и его друзья. Роман. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводе Л. Мартынова, Антал Гидаш. Другая музыка нужна. Роман. Перевод с венгерского А. Кун. Стихи в переводе Л. Мартынова). VII—244.

Л. Швецова. Обобщение или упрощение? (А. Кулинич. Русская советская поэзия. Очерк истории). IX—255.

Политика и наука

В. Азерников. Информация из первых рук (Рассказывают ученые-химики (Научно-популярная серия). X—271.

Э. Алаев, кандидат географических наук. Книга, заставляющая думать (А. И. Ведишев. Проблемы размещения производительных сил СССР). V—254.

Руд. Бершадский. Пристало ли это «Знанию»? (Аркадий Ваксберг. Преступник будет найден. Рассказы о криминалистике). IV—269.

А. Бирман, доктор экономических наук. Ленинская вера в народ (В. И. Ленин о принципах социалистического хозяйствования). VIII—264.

Ю. Буртин. О социологических исследованиях (Вопросы организации и методики конкретно-социологических исследований). VII—262.

Полина Виноградская. Заново рассказанная жизнь (В. М. Далин. Грахв Бабеф. Накануне и во время Великой французской революции. 1785—1794). VIII—269.

Ю. Гаврилов. Новые флаги над Африкой (Встреча с Африкой). VII—258.

М. Галлай. Нет, не исчерпана военная тема... (А. Федоров. Плата за счастье (Записки летчика-командира)). VI—251.

Б. Галанов. На Севере дальнем (Геннадий Фиш. Норвегия рядом. Геннадий Фиш. Здравствуй, Дания! Отшельник Атлантики. Путешествия по Дании и Исландии). II—273.

Ю. Геккер. Встречи с Югославией (Родолюб Чолакович. Записки об Освободительной войне. Сокращенный перевод с сербского). I—275.

С. Гомов. Унылое перо педанта (В. И. Чернов. Философия и фольклор). VII—267.

В. Гоффеншефер. Жизнь, не ставшая прошлым (Их простота и человечность (Письма и воспоминания о К. Марксе и Ф. Энгельсе). Составитель С. Виноградов). IX—260.

П. Деревянко, кандидат исторических наук. Ленин и военная наука (Н. Н. Азовцев. Военные вопросы в трудах В. И. Ленина. Аннотированный указатель произведений и высказываний В. И. Ленина по важнейшим вопросам войны, армии и военной науки). VII—254.

Е. Дорош. Книга о грозном царе (С. Б. Веселозский. Исследования по истории опричнины). IV—260.

В. Дюшен. О большой жизни (А. М. Иткин а. Революционер, трибун, дипломат. Очерк жизни Александры Михайловны Коллонтай). XI—277.

И. Ермашев. Опасные иллюзии одержимых (Г. Аптекер. Внешняя политика США и «холодная война». Перевод с английского). II—269 — На передовом дипломатическом посту (И. М. Майский. Воспоминания советского посла). От редакции. VI—248.

И. Желтиков, полковник, кандидат военных наук. Американский военный бизнес (Ю. М. Шейнин. Наука и милитаризм в США. Научно-технический переворот в военном деле и возникновение предпосылок кризиса милитаризма). IV—263.

И. Иноземцев. Цена карты (Гр. Федосеев. Смерть меня подождет). III—273. — Идеи, поиски, решения... («Эврика»). Сборник). X—269.

А. Кадишев, доктор исторических наук. Два командарма (Командарм Якир. Воспоминания друзей и соратников. Командарм Уборевич. Воспоминания друзей и соратников). IV—258.

А. Калачников. В жизни — сложнее (П. Филонович. О коммунистической морали. Популярный очерк. В. А. Сухолинский. Нравственный идеал молодого поколения). II—267.

Ю. Капусто. Письма с войны (...Сражалась за родину. Письма и документы героини Великой Отечественной войны). X—266.

А. Китайгородский, доктор физико-математических наук. Пути развития науки (Глазами ученого. От Земли до галактик. К ядру атома. От атома до молекулы. От молекулы до организма). I—267.

И. Кичанова. Католическая церковь и политика (Н. А. Ковальский. Ватикан и мировая политика. Организация внешнеполитической деятельности католического клерикализма). XII—254.

И. Кравченко. Книга о Тейаре де Шарден (Giancarlo Vigorelli. Il gesuita proibito. Vita e opere di P. Teilhard de Chardin. Джанкарло Вигорелли. Запрещенный иезуит. Жизнь и труды Тейара де Шарден). I—278.

М. Крутов. Господин Риттер переодевается (Вернер Бертольд. «...Голодать и повиноваться». Историография на службе германского империализма. Перевод с немецкого и комментарии А. А. Ахтамзяна и Л. И. Гинцберга). VII—270.

А. Крюков. Воспитание нового человека (Н. С. Хрущев. О коммунистическом воспитании). VI—245.

В. Кучерова, И. Кон, доктор философских наук. Безответственный подход к ответственной теме (К. Буслев. Проблемы социального прогресса в трудах В. И. Ленина. 1917—1923). XII—249.

Р. Ланда. Голос свободного Алжира (Ахмед Бен Белла. Речи и выступления. Перевод с французского). IX—273.

О. Лацис. Рабочему — об экономике (А. Омаров. Школа хозяйствования. Книга для чтения по экономике социалистического промышленного предприятия). IV—256.

Г. Лекомцев, кандидат исторических наук. Правду не скрыть (Против фальсификации истории второй мировой войны. Сборник статей). XI—271.

Мих. Лифшиц. Книга, которую следует переиздать (Феликс Кон. За пятьдесят лет. Собрание сочинений в трех томах. Феликс Кон. За пятьдесят лет. Издание второе. Том 1—2. Том 3—4). IX—263.

И. М. Майский, академик. Воспоминания о Дальневосточной республике (П. М. Никифоров. Записки премьера ДВР. Победа ленинской политики в борьбе с интервенцией на Дальнем Востоке (1917—1922 гг.). М. И. Казанин. Записки секретаря миссии. Страничка истории первых лет советской дипломатии). V—251.

И. Миндлин. Против философии антикоммунизма (Критика современной буржуазной идеологии). III—271.—Старое в новом (А. Г. Харчев. Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования). XII—260.

Ф. Олещук. Неустаревающие мысли (Н. К. Крупская. Из атеистического наследия. Сборник. Составитель Г. С. Цовьянов). VII—256.

В. Писарев, проф. Мужество ученого (Н. М. Тулайков. Избранные произведения. Критика травопольной системы земледелия). I—271.

Ю. Попков. «Некто в черном» (И. Халифман. Муравьи). II—278.

Марк Поповский. Добрая память современников (Рядом с Н. И. Вавиловым. Сборник воспоминаний. Составитель Ю. Н. Вавилов). IX—267.

Дм. Рудь. Могучий фактор сельскохозяйственного прогресса (И. И. Сигов. Разделение труда в сельском хозяйстве при переходе к коммунизму). III—267.

Б. Рудяк, З. Саралиева. Летопись Первого Интернационала (Генеральный Совет Первого Интернационала. 1864—1866. Лондонская конференция 1865 года. Протоколы. Генеральный Совет Первого Интернационала. 1866—1868. Протоколы. Генеральный Совет Первого Интернационала. 1868—1870. Протоколы). XI—266.

О. Семеновский. Об этом забывать нельзя (А. Полторак. Нюрнбергский эпизод). XII—252.

В. Сиденко. В джунглях апартеида (Пер Вестберг. В черном списке. Сокращенный перевод со шведского. А. Иваницен-

ко. Оскорбленные звезды. Рассказы очевидца). IX—270.

Я. Смородинский, доктор физико-математических наук. Размышления о своей науке (Макс Борн. Физика в жизни моего поколения. Сборник статей. Под общей редакцией и с послесловием С. Г. Суворова). III—269.

А. Степанов. Генеральный ленинский курс (Документы внешней политики СССР. Тома I—IX). XI—268.

С. Г. Струмилин, академик. Мир капитализма и социализма в цифрах (Экономическое положение капиталистических стран. Конъюнктурный обзор за 1962 г. и начало 1963 г. Народное хозяйство СССР в 1962 году). III—263.

Л. Сухаревский, доктор медицинских наук. Ленинская забота о здоровье трудящихся (Б. М. Потулов. В. И. Ленин и советское здравоохранение). IX—257.

В. Твардовская. Тема осталась нерешенной (В. А. Малинин, М. И. Сидоров. Предшественники научного социализма в России). V—262.

А. Турков. Под присмотром «славных парней» (С. Гоудсмит. Миссия «Алсос». Перевод с английского В. Н. Дурнева. М. Рузе. Роберт Оппенгеймер и атомная бомба. Сокращенный перевод с французского Т. Е. Гнединой и А. Н. Соколова). I—273.

Г. Федоров, доктор исторических наук. История и поэзия (Б. А. Рыбаков. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи). II—275.

А. Хавин. Курс на Большую химию (В. С. Лельчук. Создание химической промышленности СССР. Из истории социалистической индустриализации). V—257.

Эр. Ханпира. О языке — популярно (Е. А. Земская. Как делаются слова. А. А. Леонтьев. Возникновение и первоначальное развитие языка). VII—264.

Мих. Цуни. Поэзия научной мысли (Путешествие в группу «А». Сборник). VI—254.

Ю. Шарапов, кандидат исторических наук. Плод кропотливого труда (Большевистская периодическая печать (декабрь 1900—октябрь 1917). Библиографический указатель). VIII—267.

Д. Шелестов, кандидат исторических наук. Комсомольцы первого призыва (В кольце фронтов. Молодежь в годы гражданской войны. Сборник документов под общей редакцией Е. Д. Стасовой). V—260.

И. Шереметьев, кандидат экономических наук. Помощь? Нет, закабаление (З. И. Романова. Экономическая экспансия США в Латинской Америке). IV—266.

С. Шостакович, доктор исторических наук. Новая книга о Грибоедове (О. И. Попова. Грибоедов-дипломат). XII—257.

Д. Щербаков, академик. Десять лет, которые потрясли Волгу (М и х. Цунц. Рассказ о Большой Волге). X—264.

С. Эпштейн. Против догматизма (Е. В а р г а. Очерки по проблемам политэкономии капитализма). XI—275.

М. Юрьев. Революционное наследие Сунь Ят-сена (С. Л. Т и х в и н с к и й. Сунь Ят-сен. Внешнеполитические воззрения и практика. Из истории национально-освободительной борьбы китайского народа 1885—1925 гг.). VIII—271.

Б. Яковлев. Живые ленинские черты (В. Д. Б о н ч-Б р у е в и ч. Избранные сочинения. Том III. Воспоминания о В. И. Ленине. 1917—1924 гг.). I—264.

Коротко о книгах: I—282; II—281; III—276; IV—275; V—275; VI—277; VII—278; VIII—280; IX—276; X—273; XI—281; XII—270.

Книжные новинки: I—287; II—287, III—287; IV—286; V—286; VI—286; VII—285; VIII—287; IX—283; X—283; XI—287; XII—279.

Самуил Яковлевич Маршак VII—287.

Василий Семенович Гроссман IX—288.

От редакции. IX—286.

От редакции. X—285.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, **А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин**, **А. М. Марьямов**, **В. В. Овечкин**, **К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.
Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 30/X-64 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 7/XII 1964 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16} 9 бум. л. (24.66 усл. п. л.)
А 08466. Зак. 2420 Тираж 113 000.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова Москва, Пушкинская пл., 5.

**ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА НОВОЕ ИЗДАНИЕ
«ИСТОРИЯ СССР С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН
ДО НАШИХ ДНЕЙ»**

в 12-ти томах

Издательство «Наука» предпринимает выпуск «Истории СССР с древнейших времен до наших дней» в 12-ти томах. Издание подготовлено Институтом истории АН СССР (первый том — Институтом археологии АН СССР) и выходит в двух сериях.

Серия первая — 6 томов. История СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической революции.

Серия вторая — 6 томов. История СССР от Великой Октябрьской социалистической революции до наших дней.

Подписка проводится в трех вариантах: на все издание в 12-ти томах, а также на каждую серию в отдельности.

Ежегодно начиная с 1965 года будет выходить по два тома каждой серии, то есть четыре тома в год. Все издание будет завершено в 1967 году.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

Стоимость всего издания — 27 р. 60 к., одной серии — 13 р. 80 к., каждого тома — 2 р. 30 к.

При подписке вносится задаток в размере стоимости одного тома — 2 р. 30 к. Подписка принимается книжными магазинами, распространяющими подписные издания, а также магазинами «Академкнига».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «АКАДЕМКНИГА»:

Москва, ул. Горького, 8 (магазин № 1); Москва, ул. Вавилова 55/5 (магазин № 2); Ленинград, Д-120, Литейный проспект, 57; Свердловск, ул. Белинского, 71-в; Новосибирск, Красный проспект, 51; Киев, ул. Ленина, 42; Харьков, Уфимский пер., 4/6; Алма-Ата, ул. Фурманова, 139; Ташкент, ул. Карла Маркса, 29; Ташкент, ул. Шота Руставели, 43; Баку, ул. Джапаридзе, 13; Уфа, Октябрьский проспект, 129.

«АКАДЕМКНИГА»